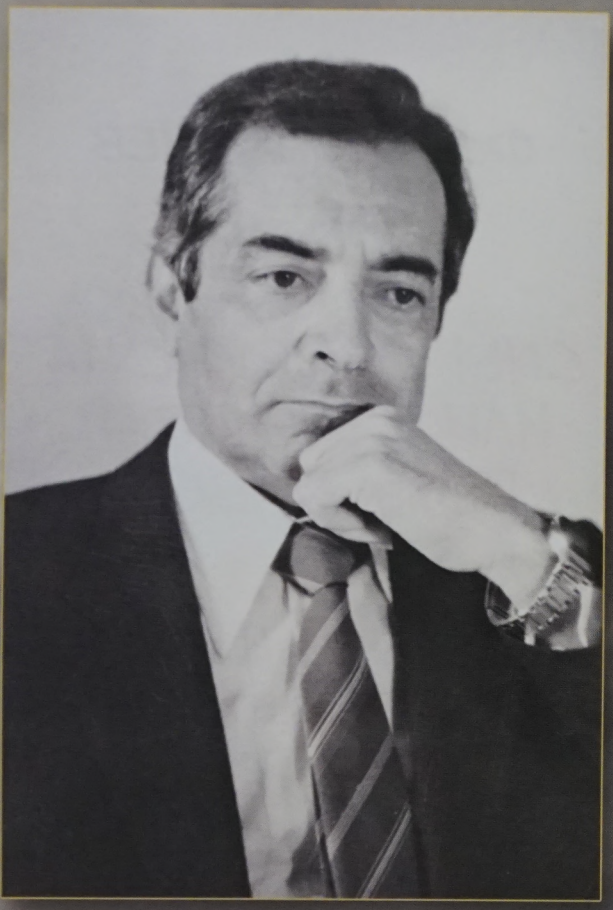
Феликс Бахшиев

Сны скорпиона, или Не умирай, пока живешь



Феликс Бахшиев

Сны скорпиона, или не умирай, пока живешь



Феликс Бахшиев

Сны скорпиона, или не умирай, пока живешь

Дагестанское книжное издательство
Махачкала 2016

ББК –84(2=Рус.)–4
УДК – 821.351
Б – 33

Бахшиев Ф.

Б–33 Сны Скорпиона, или не умирай, пока живешь: Романы и новеллы. – Махачкала: ГАУ РД «Дагестанское книжное издательство», 2016. – 464 с.

В юбилейную книгу известного писателя и журналиста вошли два романа и новеллы. Оба романа «Монолог на площади Согласия» и «Сны Скорпиона, или не умирай, пока живешь» объединяет один главный герой, судьба которого, полная драматизма и приключений, несомненно, вызовет интерес читателя.

События романов разворачиваются на фоне героического прошлого и непростого настоящего. И в романах, и в новеллах автор, следуя правде жизни, показывает своих героев с их достоинствами и недостатками и свою приверженность незыблемым человеческим идеалам.

ББК 84(2=Рус.)–4
УДК 821.351

Б $\frac{4702360201-38}{М123-2016}$

ISBN 978-5-297-01856-3

© Бахшиев Ф., 2016
© Дагестанское книжное издательство, 2016

МОНОЛОГ НА ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ

Роман

1

Я вспоминаю плас де ля Конкорд, куда мы вышли прогуляться накануне моего отъезда, огромную просторную чащу площади Согласия, искрящийся великолепный фонтан, каменные статуи, олицетворяющие города Франции, и тебя.

Красивый, черноволосый мужчина, ты сидел у подножия статуи и смотрел на меня. В твоем взгляде не было ни тоски, ни вопроса. Но я знал: все узнанное, услышанное от меня, было для тебя серьезно, слишком серьезно.

Я вспоминаю просторную чашу площади Согласия, Париж в солнечном свете, кружева балконов, опоясывающие дома и придающие им невесомость и изящность, облачную белизну Сакре-Кер, Сен-Жермен де Пре, четкую планировку Марсова поля и впечатляющий мемориал на Мон-Валерьен... Я мысленно возвращаюсь к просторному, красивому бульвару Осман и к магазину, над входом которого крупными буквами пламенела вывеска «Осман». Казалось, сама судьба привела меня к этой вывеске, к этому магазину, заставила задержаться, а затем и войти. Здесь я увидел пожилого мужчину и молодого, которому могло быть чуть более тридцати. Это был ты. А пожилой, как позже выяснилось, твой отец, а мой – дядя...

Встреча с твоим отцом была трогательной.

Вспомни, как я зашел в ваш магазин, и твой отец, сидевший в углу, в кресле, любезно спросил:

– Что желаете, мсье?

– Ничего, – ответил я, – увидел вывеску, разобрало любопытство: что могло привести турка в Париж?

– Мсье, – произнес твой отец, – я не турок.

– Простите, если обидел.

– Мой отец приехал из России, – произнес он спустя некоторое время, не слушая меня. – Из России, – повторил он.

– И давно? – поинтересовался я.

– Давно, – коротко ответил он.

– А я, вот недавно... из России.

Я с любопытством оглядел забитые богатыми товарами полки и направился было уже к выходу, как хозяин магазина вскочил из кресла, подбежал ко мне, схватил за руки и, тряся их своими, закричал:

– Осман, иди сюда скорей, Осман...

И ты появился в дверях, ведущих из торгового зала в комнаты. Ты несколько секунд глядел на нас, и хотел было повернуть назад, когда твой отец проговорил:

– Осман, он из России.

Что было потом, ты прекрасно помнишь. Вы усадили меня за стол и твой отец рассказал мне о себе, о своей жизни, о городе, в котором родился, и в глазах у него стояли слезы, а у меня в горле застыл ком, и мне казалось, что бледность растекается по моему лицу, и мысль мучила сознание: «Но я-то какое имею к нему отношение? Пусть из одного города, пусть даже с одной улицы, но он уехал, покинул землю отцов, когда, меня еще не было на свете». А ком в горле не таял. Потом твой отец выложил на стол восточные яства. Провожал он меня целый квартал, а, прощаясь, никак не хотел отпускать руку и очень просил, настойчиво просил зайти, если выпадет свободная минута, а ты пошел со мной до отеля. Шел и расхваливал свой дом, торговое предприятие отца, оставшееся в наследство от деда, ночи Парижа.

– Я вам покажу мой Париж, весь Париж, – говорил ты, улыбаясь. – И вы его полюбите. Париж не любить нельзя.

Я хотел тебе возразить: «Он не твой город, откуда у тебя к нему такая любовь? – Но вовремя сдержался, задумавшись. Ну, а какой же твой? Город, в котором родились дед и отец? О котором ты только слышал? Или все-таки тот, в котором ты издал свой младенческий крик. – И тут же другая мысль смутила меня, – а может ли Париж стать твоим городом, твоей родиной, если земля твоих предков, твой язык, твои песни и танцы там, далеко на востоке... Там, где ты никогда не был даже во сне».

– Я вам покажу Париж, – повторил ты, – он вам понравится. Вам понравится наша жизнь...

Я слушал тебя, ступая по вечерним парижским улицам, и вдруг невольно представил свой город, родных, жизнь. Я мог бы поведать историю моего города и его людей и тебе. Но поймут ли меня твои сердце и разум? Ведь они – плоды дерева, выращенного на другой почве и привитого иной культурой.

Я решил пощадить тебя. И, слушая твой рассказ о Париже, вспомнил свой дом.

2

Перистые облака, еще несколько минут назад плывшие в бездонном небе сиреневыми лоскутами, окрасились в пепельный цвет, когда Джамал через Ашага-Гапы вошел в город. Бесконечно длинная стена яшерицей тянулась с горы к морю.

Джамал возвращался с виноградников Юсуф-бека. Изношенные, потрескавшиеся чарыки поднимали дорожную пыль, неясного цвета косоворотка не отлипала от мокрой спины, некогда солдатские штаны были живописно усеяны заплатами, а от самого Джамала исходил запах пота. За ним устало шли десятки таких же, если не хуже одетых, мужчин.

У базара Джамал остановился, снял невысокую, выцветшую каракулевую шапку, вытер бритую голову тряпицей и повернулся к мужчинам:

– Спокойной ночи, братья.

Потом заложил руки за спину и спокойным, ровным шагом побрел в сторону площади.

Площадь, мощенная гранитным булыжником, разделяла город на две половины: верхнюю, которая состояла из магалов, и нижнюю, убегавшую ровными узкими улицами к морю. Неказистый, с низкими, вросшими в землю окнами дом Джамала стоял на площади, от него убегала вниз улочка, на которой даже в знойные летние месяцы не просыхала грязь.

Джамал отворил калитку, вошел во двор, повесил шапку на сучок, скинул чарыки, снял рубашку и громко позвал:

– Симон, Гаврил, есть кто дома?

Во двор выбежали мальчишки. Увидев отца, один устремился за кувшином, другой – за полотенцем, и вскоре Джамал умывался холодной родниковой водой Шейх-Салаха.

Когда Джамал вошел в комнату, на полу уже было расстелено сюфре[1]: жена положила на середину кукурузные лепешки, несколько кусков овечьего сыра, зелень, потом занесла видавший виды, но начищенный до блеска самовар.

– С чего это ты меня сегодня по-царски кормишь? – шутливо удивился Джамал.

– Глядите-ка на него, как будто в другие дни он голодает! – обиделась жена.

– Да шучу я, – быстро сдался Джамал. – Уже и шуток не понимаешь. Симон, Гаврил, идите есть. И ты садись, жена.

Сыновья сели по обе стороны от отца, жена напротив, и все тихо и степенно принялись есть. Джамал допивал третье блюдечко чая, когда скрипнула калитка и на пороге появился небольшого роста сухонький старик. Сложив руки на груди, он ждал, когда Джамал оторвется от блюдца.

– Садись, Аскер-даи, гостем будешь, – прервала молчание жена Джамала.

– Спасибо, уважаемая, я пришел передать Джамалу, что его просит к себе Осман-бей.

---

[1] *Сюфре* – скатерть.

Джамал чертыхнулся, но продолжил безмятежное чаепитие.

– Я жду, уважаемый Джамал, – заискивающе, но с повелительной ноткой в голосе проговорил старик.

– Жди, никто тебя не гонит.

– Как ты сказал? – изумился старик.

– Послушай, я не слуга Османа, а если он просил меня прийти, пусть подождет. А теперь иди.

Старик тут же исчез. Когда за ним скрипнула калитка, жена Джамала всплеснула руками:

– Ты в своем уме, как можно грубить...

Но Джамал с улыбкой прервал ее:

– Слуге богатого купца? Неужели ты хочешь, чтобы я стал слугою слуги? Хорошо же ты думаешь о своем муже. Ну, довольно пустословить, вытащи из сундука мой праздничный наряд, не пойду же я к богачу в чарыках и залатанных штанах.

Жена долго возилась в соседней комнате, наконец, вышла, бережно положила сверток в угол и горестно произнесла:

– Почему Всевышний наказывает только бедных...

– Что еще случилось? – насторожился Джамал.

– Мыши точили зубы о твои штаны.

Джамал сделал удивленный вид, широко раскрыл глаза и вдруг громко расхохотался.

Поздно вечером Джамал вышел из дома. В старых парусиновых туфлях, серых холщовых штанах и черной рубашке, опоясанный кавказским ремешком, высокий, стройный, он долго стоял у своего неказистого дома, глядя в небо и любуясь звездами. Потом заломил тулью каракулевой шапки, достал из кармана четки и, перебирая их, пошел через площадь.

На противоположной стороне, метрах в семидесяти, стоял дом Османа, от которого вверх уходили магалы. Джамал подошел к дубовой калитке, взялся за медное кольцо, потянул его несколько раз. Во дворе залился колокольчик, а вслед за ним залаяла собака. Наконец калитку приоткрыли и пропустили Джамала.

– Осман-бей устал от ожидания. Он долго не любит ждать.

Старик выскочил вперед Джамала и засеменил по дорожке, выложенной из гранитных плиток.

– Что же ты его не позабавил? – спросил спокойно Джамал. – Или уже отупел и ничего забавного не смог придумать?

– Я здесь, Джамал, – раздался голос из беседки, увитой виноградом. Навстречу ему вышел высокий, худощавый мужчина. – Если ты не против, посидим здесь, на воздухе.

– Какая разница, – сказал Джамал.

Оба одновременно опустились на подушки. Джамал снял шапку, положил на колено и принялся перебирать четки.

– Говори, купец, для чего я тебе понадобился.

Осман засмеялся.

– И с годами ты не меняешься, сосед. У всех принято в первых словах справляться о здоровье домочадцев, о делах или ты живешь по законам неведомого нам мира?

Джамал провел ладонью по бритой голове, усмехнулся:

– Мои слова здоровья твоей семье не прибавят, как, впрочем, и твои. Лучше скажи, для чего я тебе понадобился.

– Мой старый слуга от тебя без ума, – снова засмеялся Осман.

– Дай ему волю, он погнал бы меня камчой.

– Тебя погонишь...

– Чего звал, говори.

– Мне нужен верный человек сопровождать караван с товарами в Табасаран.

– Дальше.

– Небольшую охрану из верных людей. Хорошо заплачу.

– Хорошо заплатит, – хмыкнул Джамал. – А ради чего еще нам идти в такой путь... Сейчас из каждой расщелины, из-за каждого дерева может выстрелить ружье...

– Смутное время, – поддержал Осман.

– В разбойники уходят не от хорошей жизни, – сказал Джамал, и тут же сменил тему разговора, – но если мы сейчас, в самый разгар работы, уйдем с виноградников, Юсуф-бек нас рассчитает и больше не пустит на плантации.

– С Юсуф-беком я поговорю и все улажу.

– В таком случае я подумаю.

Осман достал из-под подушки небольшой мешочек, наподобие кисета, и бросил к ногам Джамала. Мешочек упал у ног, издав металлический звон.

– Раздай немного своим людям.

– Не надо. Когда вернемся – расплатишься. Я пойду: засиделся.

Джамал встал, заломил шапку и лихо надел.

– Прости меня, сосед, – Осман громко хлопнул ладонью по лбу, – я не предложил тебе полакомиться чем-нибудь вкусным.

Джамал глянул на него и вдруг громко расхохотался:

– Это твой старый слуга сбил тебя с толку. Передал о моем долгом ужине, а вот что я ел – не разглядел. Ну да ладно, я шучу. Будь здоров, сосед, я пошел.

Вернувшись домой, Джамал лег на тахту, сделанную из досок и обернутую изодранной буйволиной кожей, и закрыл глаза. Жена на веранде месила тесто из кукурузной муки. Было тихо и спокойно. Вдруг на узкой улочке раздались мальчишечьи крики: «Бей его, пузатого», потом все стихло.

«Вот, пострелята, – подумал Джамал и улыбнулся, – да мы сами были такими». Он не заметил, как в комнату вошли Симон и Гаврил с опущенными головами. Лишь после того, как до слуха дошли причитания жены, бросил взгляд на сыновей.

– Кто это вас так разукрасил?– спросил Джамал, не двигаясь.

– Керим, – пробубнил Симон, – и Назым.

– Наверное, за дело. Как вы думаете, за дело? Молчите? Значит за дело. Если бы умели драться, постоять за себя, не ходили бы побитыми. Не хочу на вас глядеть, уйдите с глаз моих.

В это же время Керим и Назым, оборванные, исцарапанные, стояли перед отцом. Старый слуга, всплескивая руками, громко охал:

– Эти оборванцы никак не угомонятся. Каждый вечер – потасовка...

– Прекрати, – прервал его Осман. – Кто вас побил?

– Кто же еще, как не дети этого оборванца, нашего соседа Джамала...

– Я просил тебя не кричать, я спрашиваю своих сыновей: кто побил?

– Симон...

– Гаврил...

– Они зря не тронут. Побили – значит поделом. Идите, умойтесь.

– Как же, как же, не тронут, для них ни бога, ни закона нет... – старый слуга засеменил за мальчишками, продолжая причитать как женщина.

3

Осман, полулежа на подушках, думал о предстоящей поездке. С торговыми караванами он ходил в горные районы и прежде, бывал в Азербайджане, но, то было славное время, когда встречать его выходили всем аулом, а торговля становилась настоящим праздником для горцев. Сейчас отправляться в горы было рискованно из-за разбойников. Черт бы их побрал. Что ни год, – их становится все больше и больше. Когда вернется на нашу землю покой и согласие, никто не ведает, кроме одного Аллаха».

Осман провел ладонями по лицу сверху вниз, потом налил из чайника, стоявшего на подносе, чай в блюдце и, подняв его на растопыренных длинных тонких пальцах, принялся с наслаждением пить крепкий горячий напиток.

«Сейчас идти одному с караваном опасно, – продолжал размышлять он. – Обдерут, разденут. Без верных, смелых сопровождающих нельзя. А Джамал тот, кто мне нужен. Бедняк, которому дороги честь и имя. И щедростью Аллахом не обделен: последние ча-

рыки может отдать нуждающемуся. Выбор мой верен. И с собой приведет себе подобных. Нет, что тут и думать, на него я могу положиться».

Осман положил в рот кусок ореховой халвы с медом, наполнил блюдце чаем и поднес к губам.

«Табасаранцы должны принести мне выгоду: я им — ткани, домашнюю утварь, они мне — ковры. Их ковры имеют спрос на кавказских рынках. В Баку, Тифлисе за них дают хорошую цену. Из Табасарана мы можем направиться в Кайтаг. Правда, Джамалу я не сказал о том, но ведь он не бросит меня в пути. Не должен бросить».

Опустив блюдце на поднос, Осман принялся с удовольствием есть кишмиш и грецкий орех. Это лакомство он любит с детства, и оно не переводилось в его доме.

«Итак, решено: Табасаран и Кайтаг. Джамал не осерчает, он понимает душу купца. Да и серчать-то ему за что: оплачу вдвойне. Пока еще можно, надо торговать, делать деньги. А там, глядишь, может, и торговле придет конец, земля наводнится разбойниками и грабителями, а у меня другого ремесла нет. Чем владел отец, то передал и мне».

Осман поднялся, подошел к окну и распахнул его. В густой зелени пела цикада. Откуда-то доносился писк неведомой птицы. Залаяла собака, ее поддержала другая, третья, и, казалось, собаки всего города вдруг ополчились на неизвестного беднягу, оказавшегося поздно на улице. Вскоре не стало слышно ни собак, ни писка птицы, только цикада продолжала петь свою длинную, бесконечную песню.

4

Ты ушел. А дымок сигареты, оставленной тобой в пепельнице, еще долго поднимался осторожно, боязно, таял в середине комнаты, оставляя после себя лишь запах: сладковато-терпкий. Наконец, сигарета, погасла.

Сидеть одному в комнате стало невыносимо скучно, Я вышел на улицу. Стоял теплый, тихий вечер. Было

безлюдно. На фронтоне кинотеатра висел огромный портрет женщины, очевидно, героини фильма. Неоновые трубочки и лампы всевозможных цветов раздевали и одевали ее.

Дойдя до конца улицы, я свернул направо. И остолбенел. На меня обрушились сразу пожар реклам и гул. Несколько минут я не мог понять, что происходит. Улица полыхала в неоновом свете. Красное, зеленое, желтое, синее пламя выплескивалось на толпы людей и вереницы машин.

Люди и машины шли так медленно, движение было так тягуче и вязко, словно их сдерживала невидимая магнитная сила.

Но людская река все-таки текла, и над ней стояли запахи жареного мяса и бисквита, духов и сигаретного дыма. И выхлопных газов.

Я вошел в эту реку и, сдавленный ею, поплыл по течению, не ведая, куда она меня вынесет. По обе стороны ярко горели окна порно-и секс-магазинов, аттракционов, ресторанов и кафе, салонов эротики.

Кто-то взял меня за локоть. Рядом стоял крепко сбитый мужчина в клубном костюме.

– Мсье, зайдите в наш салон эротики, вы не пожалеете.

– Спасибо, мсье, у меня нет желания.

– Вам его разбудят, – широко улыбнулся зазывала.

– Премного благодарен за услуги, но обойдусь без вашего искусства.

– Не пожалейте потом, мсье, упущенного шанса.

– Не беспокойтесь, довольствуюсь тем, что отпущено богом, – засмеялся я.

Зазывала оставил меня и поспешил искать клиента.

Наконец, я вышел на площадь, от которой в разные стороны уползали улочки, словно щупальца спрута. Слева от меня на темном здании медленно вращались крылья ветряной мельницы. Вспыхнул свет и погас. Но я успел прочесть: «Мулен Руж». Значит, знаменитый «Мулен Руж»!.. я вышел на Пигаль, воспетую корифеями литературы.

Вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Стал озираться. И опять взгляд, острый. Я принялся искать его в толпе, но тщетно. Это он вызвал в душе неясную тревогу.

5

Дюжина тяжело навьюченных низкорослых лошадей, осторожно перебирая копытами, то и дело соскальзывая, лихорадочно напрягшись и удерживаясь на скалистой тропе, медленно поднималась в гору. Слева в голубовато-пепельном тумане бездны пропасти гудела бурная река.

Впереди каравана шел Джамал, пособляя себе тяжелой палкой из орехового дерева. За ним ступал Осман. Остальные – шесть сопровождающих и двое слуг купца – замыкали шествие. Солнце давно скатилось за гору и низкое остывающее небо укутывалось лиловыми полосами легких облаков.

– Благополучно выбраться бы с этой тропы, пока не застала ночь, – сказал Осман.

– Выберемся, не тревожься, – успокоил его Джамал. – По этим камням не раз ступала моя нога. – Джамал тихо затянул песню Ашуг Гариба.

– Брат, спел бы громче, – раздался голос из конца каравана. – Уж очень душевно и жалостливо поешь.

– Можно и громче...

Голос у Джамала был хриплый, но довольно сильный и приятный. Наконец, караван вышел к лесу.

– Его нам сейчас и недоставало, – пробурчал Осман и обратился к Джамалу, – может, станем здесь на ночь, не пойдем в лес.

– А какая разница, – хмыкнул Джамал. – Хаспушу[1] и здесь вольготно. За нами-то пропасть.

– Поступай, как знаешь, да надеемся на Аллаха.

Джамал ступил в лес и прошел несколько сотен метров, когда мысли его оборвал свист. Он остановился и глянул вперед. Метрах в десяти от него у широ-

[1] *Хаспуш* – разбойник.

кого ствола дерева виднелся человек в большой мохнатой папахе и в рваном бешмете. В правой руке он держал ружье наизготовку.

– Эй, люди, хотите жить – отойдите в сторону, иначе всех перестреляем, – гаркнул тот.

– Ты что из себя хаспуша строишь, – спокойно ответил Джамал.– Сначала узнай, кто мы, с чем идем, а потом угрожай и требуй.

– А я и есть хаспуш, – гаркнул человек в папахе и захохотал. – Сначала узнай: кто мы, с чем идем, – передразнил он. – Знаю, с чем идете, потому и встал на вашем пути.

Он снова захохотал. Дружный смех раздался в темноте леса.

– Перестань страшить нас, тьфу. – Джамал смачно плюнул. Человек в папахе оборвал смех.

– Лучше назови свое имя.

– Зачем тебе мое имя, босяк...

– Ну, если тебя отец не нарек в младенчестве именем, то у меня оно есть. Меня звать Джамал.

Человек в папахе опустил ружье, приблизился к Джамалу,

– Джамал из Рукели, что ли?

– Джамал из Дербента.

– Такого я не знаю, – с сомнением произнес он.

– Это Джамал из Дербента, я его знаю, – раздался голос из леса.

– Ну и что с того, что он Джамал из Дербента... – произнес человек в папахе. – Чего ты хочешь, – обратился он к Джамалу.

– Поговорить с вашим главарем, – усмехнулся Джамал.

– Иди. – Человек в папахе махнул ружьем. – А вы стойте здесь, ждите. И чтоб никто не пытался убежать, перестреляют мои ребята вас, запомнили?.. А ты иди за мной...

Джамал не сделал и пятидесяти шагов, как кто-то коснулся его плеча:

– Присядь, дальше не пойдем. Джамал опустился на пень, оглянулся. Вокруг рассаживались человек

двадцать обросших мужчин в изношенных платьях, босые. За веревочными поясами торчали кинжалы, в руках увесистые дубинки.

– Я сразу догадался, что не разбойники вы, – усмехнулся Джамал.

– А кто же мы, по-твоему?– гаркнул человек в папахе.

– Нищие, обездоленные люди. Такие же, как и я сам. Только вас страдания ваши повели на разбой.

– Правильно говорит Джамал из Дербента, – произнес кто-то, – верно говорит...

– Дай послушать... – прервали его.

– Переловят вас, пересажают, какие вы борцы... нищие хаспуши...

–Ты что это нас за дураков принимаешь, – гаркнул человек в папахе. – Умник нашелся, поглядите на него.

– Да, умник нашелся, – засмеялись мужчины.

–Чуть умнее вас, – сказал Джамал. – Да ладно, это ваше дело. А я пришел вам не нагыл[1] рассказывать, а просить: отпустите караван, его ждут в аулах. И хозяин каравана Осман не такой уж плохой человек. Бедняков не унижает, старается им помочь. Ну, а то, что он купец, это ремесло его, так же как ваше – разбойное дело, – усмехнулся Джамал. – Вы живете своим ремеслом, он – своим. Каждому свое.

– А если мы вас перебьем, – сказал человек в папахе.

– Мы тоже не кур кормим. И мы перебьем вас немало. Ты знаешь, кто сопровождает караван? Мустафа-пехлеван, Ревшан, Саид-Хан...

Среди мужчин прошел гул одобрения. Джамал продолжал:

– Дадаш-халу, Нариман, Юсуп... Да у каждого по ружью против ваших дубинок.

– Что же ты предлагаешь, Джамал из Дербента? – спросил человек в папахе. – Не можем же мы вас от-

---

[1] *Нагыл* – сказка.

пустить просто вот так, любая лисица расхохочется над хаспушами.

– Зачем же просто вот так? – засмеялся Джамал. – Осман, я думаю, даст вам денег и ткани на одежду...

– Ну, если так... – протянул человек в папахе.

– И мы согласны, Хасбулат, – загалдели разом мужчины.– Ради чего бить своих братьев?

– Так ты Хасбулат из Кайтага, который ограбил казну, раздал бедным, угодил в Сибирь и бежал? Слышал о тебе, слышал... – проговорил Джамал, пристально глядя на человека в папахе.

Тот осклабился и трижды с силой стукнул кулаком себя в грудь.

–Да, это я.

Когда подошел Осман, Джамал усадил его рядом и тихо спросил:

– Ты можешь дать им немного денег и ткани на одежду? Гляди, как обносились.

– Дам, конечно, Джамал, только бы не было кровопролития и грабежа.

Вскоре в небольшом овражке горел костер. Вокруг него, вольготно расположившись на земле, спали и хаспуши, и сопровождавшие караван. Джамал лежал рядом с Османом, слушал потрескивание сучьев, глядел в темное безлунное небо, и ни о чем не думал. Просто лежал, слушал и глядел. Потом закрыл глаза. Сквозь дремоту он услышал голос Османа:

– А не унесут они в чащу половину каравана?

– Будь спокоен, – проговорил Джамал, не открывая глаз. – Хасбулат человек слова.

Как только забрезжил рассвет, караван тронулся в путь. До самого Хучни его сопровождали несколько человек Хасбулата. Когда вдали показалась отлогая гора, возвышавшаяся над Рубас-чаем, они повернули обратно.

В полдень караван вошел в Хучни. На узкие пыльные улочки высыпал простой люд. По возгласам, взглядам, сутолоке было видно, как они заждались купца.

Джамал отворил калитку, вошел во двор, распахнул ворота.

– Заходи, гостем будь...

Лошадь ступила во двор и встала.

– Иди, иди, никто тебя не обидит. – Джамал хлопнул легонько ладонью по крупу.

Во двор выбежали из дома жена и дети.

– Где ты пропадал целый месяц? Я уж извелась, мальчики все глаза проглядели, думали, не дай бог, что случилось...

– Думал, полегче хлеб заработать, а оказалось, что на Юсуф-бека спину гнуть, что на Османа – один черт. И там батрачишь, и тут. Легкого хлеба нигде нет.

– А ты думал, тебя Осман озолотит...

– Человек он неплохой, но купец есть купец, и мысли его, как пчелы вокруг нектара, только вокруг денег и роятся. Да ладно, черт с ним, с Османом. Давайте-ка снесем мешки.

– Что ты привез, порадуй хоть нас, – спросила жена.

– Мешок кукурузной муки, мешок орехов и бурдюк сыра.

– А денег не дал?

– Как не дал? Все это я купил на деньги, да кой-какая мелочь осталась. Симон, отведи лошадь Осману.

Симон взял лошадь за поводья и пошел через площадь, осторожно ступая босыми ногами по горячим булыжникам. Калитка была приоткрыта. Он просунул голову во двор и негромко позвал:

– Есть здесь кто-нибудь?

Из беседки выскочил мальчик ростом с него, аккуратно одетый и причесанный. Увидев Симона, он осклабился и радостно закричал:

– А, голодранец, уж сейчас-то я намну тебе бока.

– Я тебе намну, – Симон пригнулся и вобрал голову в плечи.

– Не посмотрю, что двор твой, так намну, что запищишь.

– Посмотри на себя, червяк.

– А ты на себя, курдюк.

– Чего ты такой худющий?

– А оттого, что ты сильно обжираешься.

– Ух, голодранец.

– Купеческий щенок.

– Керим, сколько раз тебе говорить, чтобы ты забыл это слово? – раздался вдруг повелительный голос и во дворе показался Осман. – Кто тебя учит таким гадким словам? Ну-ка пойди принеси сюда мешок, который я засунул под тахту на веранде. Живо.

Керим побежал. Осман подошел к Симону, оглядел его жалостливым взглядом, вздохнул:

– Тощий, совсем как голодный козленок.

– Я не козленок. Возьмите вашу лошадь и я пойду, – оскорбленно проговорил Симон.

– Ну ладно, не козленок, подожи, я кое-что тебе подарю. Вот и Керим бежит. Открой, Керим, мешок, вытащи штаны, рубашки, куртку, ботинки, правда, они немного поношенные, но вид у них еще хороший, возьми себе, Симон, носи на здоровье.

– Я не побираюсь, пусть носят их ваши дети. – Симон бросил поводья и побежал со двора.

– Ах ты, негодник, ты еще и оскорбляться умеешь, – возмутился Осман, – (глядите-ка на него, до захудалого ишака не дорос, цыплячьими ногами еле передвигает, а уже оскорбляться умеет и грубить, ах ты, постреленок.

А про себя подумал: «Из таких голодранцев могут вырасти настоящие люди».

7

Получив от портье ключ, я быстро поднялся на второй этаж, почти взбежал: хотелось быстрее зайти к себе, броситься на диван почувствовать, как отдыхают ноги и тело, как с них сползает усталость, потом принять ванну и лечь спать – все-таки Париж, похотли-

вый, жадный до жизни и красивый до умопомрачения, утомлял меня. Итак, получив от портье ключ, я быстро поднялся на второй этаж, отпер дверь своей комнаты, вошел, провел рукой по стене, ища выключатель. Послышался щелчок, вспыхнул свет, я бросил взгляд на свою временную обитель и... ахнул.

На моей кровати лежала раздетая женщина.

Я зажмурился, вернее, что-то заставило меня зажмуриться и отвернуться.

«Неужели ошибся комнатой, – мелькнула мысль, срам, так и на неприятность можно напороться».

Я спустился вниз, и, подавляя в себе неловкость, тихо спросил у портье:

– Вы мне дали ключ от моей комнаты?

– Да, мсье, – ответил он, удивленно глядя на меня. – А что вас беспокоит?

– Ничего. Благодарю.

«Наверное, все-таки я угодил в чужой номер», – сказал я себе, и поднялся снова на второй этаж.

Открыл дверь комнаты.

На кровати в эротической позе лежала женщина.

Нет, теперь ошибки быть не могло. Она лежала в моей комнате. Я осмелел и пригляделся к ее лицу. Она была молода, очень молода и обаятельна.

Поняв мое внимание к себе по-своему, она растянула чувственные губы в улыбке и подняла одну ножку, делая очевидные призывные жесты.

– Bonjour, mon ami! Vite au lit[1] – проговорила, она красивым голосом.

– Bonjour, madame! Comment es tu ici?[2]

– О мой друг, ты знаешь французский язык? – Она удивленно и артистично подняла тонкие брови. – Ну, беги же ко мне, я давно тебя жду.

– Как ты здесь оказалась? – Повторил я. – Может, ты перепутала номер?

– О нет. – Она кокетливо улыбнулась. – Тебе дали ключ или завели?

---

[1] Здравствуй, мой друг! Беги быстро в постель. (Перевод с фр. яз.)

[2] Здравствуй, мадам! Как ты здесь оказалась? (Перевод с фр. яз.)

– Какая тебе разница? Иди же, быстро, я заждалась тебя.

«Как без шума избавиться от нее», – сверлила мысль мой мозг, в то время как чувства подчинялись уже ее похотливой красоте.

– Ну... иди же, – она протянула ко мне руку.

– Но прости, мне нечем платить...

– Нечем, – она звонко рассмеялась. – Поделись-ка, как ты мог остановиться в этом отеле с пустым карманом? Я не верю тебе, иди же.

– Мадам, поверь, мне уже нечем платить.

– Неужели не любишь играть в любовь? Ха-ха-ха. Или, может, просадил в казино? Ну да ладно, я не для того хожу в отель, чтобы штопать дырки в карманах.

Она встала, голая красивая француженка, быстро оделась и бросив: «Адью, мон шер ами», выскочила из комнаты

Не скрою, мне вначале казалось, что к визиту в мой номер в отеле был причастен ты, Осман. Но те редкие часы, в которые мы виделись, отметали эту мысль. А одна встреча, знаменательная для нас с тобой и с твоим отцом, и вообще ее перечеркнула.

8

Джамал достал из-под матраца огрызок карандаша, клочок газетной бумаги, из которой крутил самокрутку, и на чистой ее полосе написал: «Чаша переполнилась». Он долго еще думал, держа карандаш на весу, но так больше ничего и не добавив, позвал Симона.

Мальчик прибежал со двора и замер перед отцом, вытянув руки.

– Дядю Петра помнишь еще, не забыл? – спросил Джамал, скатывая бумажку.

– Какого? – лицо Симона, удивленно вытянулось.

– Который работает на железной дороге. В депо. Ну, там, где паровозы ремонтируют.

– А, это тот дядя с пышными усами и голой головой?

– Голой, – Джамал укоризненно поглядел на сына и засмеялся.– Бритой головой. Так вот, разыщи его и передай ему эту бумажную палочку. Только ему. Если кто-нибудь к тебе пристанет, ну, сам знаешь, не маленький, заложи незаметно ее за щеку. Понял?

– Да, отец.

– Ну, беги.

До депо было далеко. Симон бежал то трусцой, то вприпрыжку, а то и останавливался передохнуть. У железнодорожного переезда с криками металась огромная толпа. Симон приблизился, присмотрелся. Шла драка между рабочими и полицией. Симон обошел ее стороной и побежал по железнодорожному полотну.

У входа в депо его остановил окриком сторож:

– Куда разогнался, постреленок?

– Дядя Петр нужен.

– Так и сказал бы. Ребята, кликните Петра.

В депо стоял гул. Шипели и свистели маневровые паровозы, гремело железо, сновали люди, перепачканные углем. Эта картина так заворожила Симона, что он не заметил подошедшего Петра.

– Ты чей, малец?

Голос заставил его вздрогнуть. Он съежился было, весь напрягся, но увидев пышные усы, сразу успокоился.

– Джамала я.

– Что-нибудь случилось? – насторожился Петр.

– Отец просил передать вот это. – Симон протянул ему записку.

Петр развернул ее и принялся читать, потом проговорил:

–Ты погоди, я сейчас.

Он очень скоро вернулся и протянул Симону записку.

– Передай отцу. Только отцу, понял? Никому больше.

Дома Джамал с нетерпением ждал Симона. Развернув принесенную им записку, он прочитал: «Недовольство на плантациях – это хорошо. А как отходники, ремесленники? Поддержат? Поговори, узнай настроение. Готовим митинг и забастовку».

Значит, подошло время. Сколько же можно ждать? Все требовали свергнуть царя, ну, свергли его. А что изменилось? Временное правительство продолжает топтать нас, богачи богатеют. Пора народу брать власть, пора. Кажется, это время подходит. Петр знает, он все знает.

Джамал надел шапку, лихо заломил ее и направился в чайхану Ашота. Крупный и тучный мужчина в белом накрахмаленном фартуке сапогом раздувал начищенный до блеска медный самовар. Джамал окинул взглядом чайхану и, не найдя свободного места, пошел к стойке.

– Здравствуй, Ашот. Мир и благополучие твоему дому, – приветствовал он громко.

– И ты здравствуй, Джамал. Давно не заглядывал... Что тебя привело в чайхану?

– Подал бы лучше другу чаю.

– Баш юсте[1], садись, дорогой Лучшего чая ты не выпьешь во всем Дербенте.

– Так бы сразу...

Ашот поставил на стойку небольшой чайник с чаем, тонкий стакан с блюдцем и колотый сахар. Джамал сел на высокий табурет, облокотился на стойку и пристально взглянул на Ашота:

– Ребята готовы? А, главное, с желанием идут?

– Бог их знает. Но говорят искренне: если Джамал зовет, значит ведает, на что идет.

– Не я зову, Ашот, большевики зовут, а они борются за меня, за тебя, за всех нас. Я не большевик, я безграмотный Джамал из Дербента, всю жизнь на подённой работе, но вот сердцем чувствую: они ведут борьбу ради нас, простых обездоленных людей. Как же не идти с ними, не поддерживать их. И потом, на-

[1] *Баш юсте* – с удовольствием. (Перевод с азербайджанского.)

до уразуметь, Ашот, если не мы, то кто же поддержит их... Я с ними, Ашот, я не уроню свой намус[1].

– Мы с тобой, Джамал.

– Спасибо за доброе отношение. Давай пить чай. – Джамал налил чай в блюдце, отхлебнул и разинул рот. – Ай-яй-яй, обжег рот, негодник, ты что мне кипяток подсунул...

– Надо было пораньше обжечь, чтоб меньше трепался.

Они глянули друг на друга и весело расхохотались.

Вернувшись домой, Джамал лег на тахту и пустился было в размышления, как скрипнула калитка и на веранду поднялся мальчик.

– Керим?

– Отец велел передать, чтоб вы зашли к нему вечером.

– Что ему нужно? Случилось что-нибудь?

– Он не сказал. Велел передать, чтобы обязательно зашли.

Вечером Джамал пошел к Осману не через площадь, а обогнув ее, миновав несколько улиц. Калитка была незапертая, Джамал нырнул во двор, притворил ее, закрыл на щеколду. Осман ждал, сидя на подушках под развесистым тутовым деревом.

– Долго же ты шел ко мне, – сказал с иронией Осман.

– Не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, кружил, как хитрый лис.

– Почему «как»? Ты и есть хитрый лис. – Осман улыбнулся, потом пригнулся и хлопнул ладонью по колену. – Не обижайся, что лисом тебя назвал... – Он задумался, затем продолжил.– Чувствую сердцем и вижу своими глазами: люди готовят бунт. Большой бунт. Не принесет ли он большой беды?

– Ты спрашиваешь, как купец, я отвечаю, как бедняк: нет для бедняка больше той беды, в которой он оказался. Что ему остается, как не драться за себя, за будущее своих детей? Так жить больше невмоготу.

---

[1] *Намус* – совесть, честь.

– Но объясни мне, как поступят с моим добром. Я его не крал, я наживал своим горбом, своим трудом, смекалкой. Как поступят с моим добром?

Джамал задумался, погладил бородку, потом посмотрел Осману прямо в глаза.

– Ты знаешь, сосед, я не большевик, я многого в политике не понимаю. Но чувствую... Сам посуди: стоит ли проливать кровь, если богатеям оставят их богатство? Что изменит борьба, если бедняк останется бедняком, а богатый – богачом? Я так думаю.

Установилось долгое молчание. Наконец, его прервал Осман.

– По-моему, Джамал, в твоих словах есть правда. Наши богачи, – он усмехнулся, произнеся эти слова, и снова повторил, – наши богачи замышляют что-то недоброе. Слышал я сегодня в городской думе, что собираются они арестовать кое-кого. Не осложнил бы этот арест жизнь нашего города.

«Дает знать, чтобы были осторожны», – сказал про себя Джамал, но внешне ничем не выказал своих чувств. Посидели молча еще несколько минут, потом Джамал поднялся, пожелал хозяину дома спокойной ночи и тем же кружным путем вернулся к себе.

Не успев еще переступить порога комнаты, он нетерпеливо окликнул Симона.

– Что еще стряслось, дай мальчику спокойно заснуть, – заворчала жена, раскатывавшая в углу веранды плоские листы теста для лаваша.

– Попозже заснет, мать, сейчас дело есть, очень срочное.

– Жалко мальчика, весь день помогал по хозяйству, уморился...

Но Симон уже выходил из комнаты, протирая глаза.

– Дело есть сынок, срочное. – Джамал ласково погладил его по взъерошенной голове, чего от него редко видели. – Беги к дяде Петру, скажи, пусть, не раздумывая, уходит из дому. Понял? Не раздумывая. Его могут арестовать.

Мальчик кивнул головой и сбежал с веранды.

– Что-то серьезное стряслось Джамал? – спросила тревожно жена.

– В мире каждый день что-то серьезное происходит. Разве этим удивишь людей?

– Да прекрати ты свои пустые рассуждения. Неужели не можешь просто и вразумительно объяснить, что происходит?

– Э, что ты понимаешь, женщина, в таких делах, как...

Но дальше Джамал не стал говорить, он снял шапку, повесил ее на большой ржавый гвоздь, растянулся на тахте и блаженно вздохнул. Жена что-то долго говорила себе под нос, но он не слушал – его мучил вопрос: знает Петр о разговорах, происходивших в городской думе, или до него они еще не дошли? Его вывел из полудремотного состояния голос Симона:

– Отец, дяди Петра дома нет.

Джамал вскочил, сел на тахте, уставился на сына:

– Как так нет... Надо было подождать... Как ты мог уйти, не предупредив его, постреленок, ну-ка сбегай обратно.

– Нет его, отец. Увели его.

– Как увели, кто? – не понял Джамал.

– Тетя Мария сказала: пришли трое и увели. Она сидит дома и плачет.

«Увели. Не успели предупредить. Гляди, упрячут за решетку всех большевиков, если их не предупредить об опасности. Значит, прав был Осман. Прав? А почему он мне сообщил поздно вечером? Ждал, пока арестуют большевиков? Невероятно. Ждал их ареста, а потом предупредил меня? Но ведь могли и меня взять. Меня? Тьфу. Кому я нужен. Кто я такой для них? Значит, Осман специально ждал до вечера... Не верится мне... Не хочу в это верить... Что делать... Что же делать... Уйти. Да, уйти к тем, кто может помочь. Не за себя боюсь, кто меня возьмет и кому я нужен... Их надо спасать, вызволить из неволи. А это Джамал должен совершить. И совершит».

– Жена, я ухожу.

Из рук жены от неожиданности выпал лист лаваша.

– Ты что, отец, опять чудачества свои вспомнил, куда ты в такое смутное время уходишь от семьи? На кого ты оставляешь нас, детей своих... – запричитала она.

– Молчи, мать, молчи. Так надо, слышишь? Людей надо выручать. Ухожу в Табасаран. Но никому ни слова о том, где я. Поняла? Если вдруг объявится Петр, кто знает, может, объявится, ему скажи. Больше ни одному человеку. Сыновей береги. Я пошел.

Джамал снял с гвоздя шапку, надел, заломил тулью и ушел в темноту.

9

День близился к концу. Джамал споро поднимался по горной тропе. Далеко внизу ревела река.

Наверх вела и широкая дорога, по ней гнали скот, скрипели арбы и повозки, но Джамал любил эту тропу: то ли потому, что она была безлюдна, то ли за дикую первозданную красоту, а то ли потому, что вчетверо сокращала путь...

Наконец, Джамал преодолел последний крутой подъем, тяжело вздохнув, остановился. Пот струился по его лицу. Со вчерашнего вечера, с той минуты, как вышел за порог своего дома, он еще не отдохнул. Несколько минут сидел у своего старого друга – аробщика за Шуринскими воротами, пока тот выводил из стойла лошадь, ровно столько же у кунака в Ханжалкале, которому оставил лошадь, чтобы тот перегнал в Дербент. И вот этот переход по тропе.

Джамал снял шапку, вытащил из кармана тряпицу, служившую платком, вытер бритую голову, потом глаза, лоб, губы и бороду, засунул обратно в карман и водрузил шапку на прежнее место. Впереди стоял лес.

«Теперь надо найти их, – сказал Джамал себе. – А вдруг они ушли из этого леса... – От такой шальной мысли по спине пробежали мурашки. – Куда они уй-

дут, не должны, – пытался успокоить Джамал себя, а мысль не оставляла его. – Ну что ж, пусть уходят, буду искать всюду, пока не найду. Да и люди помогут разыскать их. Хаспуш не иголка в стоге сена. Джамал вошел в лес и двинулся по еле приметной, давно нехоженой тропе. – А что, если окликнуть... Идти и окликать, – подумал он и обрадовался такому решению. – Вдруг кто-нибудь из его людей услышит».

– Эй, Хасбулат, слушай, это я, Джамал из Дербента, – крикнул он, не сбавляя шага.

– Эй, Хасбулат, слушай, это я, Джамал из Дербента, – неслось через каждые сто шагов.

Была минута, когда Джамалу почудился шорох, он остановился, прислушался, но вокруг все сковала тишина. Уже в глубине леса раздался властный голос:

– Что тебя привело в такой поздний час?

Джамал от неожиданности остановился, но не испугался, а наоборот, обрадовался и коротко сказал:

– Долго ж я тебя искал.

– Долго, скоро звезды будут гаснуть...

– Что же не отзывался?

– Мой человек тебя не знает. Новый он. Шел за тобой. Потом прибежал ко мне. Так что все-таки привело тебя? Что-то очень серьезное, иначе ночью в лес не сунулся бы.

– Посидеть надо, поговорить, Хасбулат. На ногах мы наше дело не разрешим.

– Иди за мной, Джамал из Дербента.

Спустя некоторое время они вышли к приземистому домику.

– Пока входить не будем, – предупредил Джамал. – Дело серьезное, надо поговорить наедине.

– Как знаешь. Пойдем приляжешь на копну сена, отдохнешь с дороги. Исмаил, – сказал Хасбулат в темноту, – принеси поесть.

Мужчина, к которому обратился Хасбулат, не мешкая, расстелил на земле перед Джамалом тряпицу, разложил на ней куски лаваша, овечий сыр, кувшин с айраном и исчез в темноте. Неторопливо жуя, Джамал поведал Хасбулату, что его привело в лес.

– В большевики записался?– сказал Хасбулат, – с большевиками связался?

– Я тебе уже говорил, что я безграмотный и политикой не занимаюсь. Вот ты стал хаспушем не ради удовольствия или громкой славы. Я знаю о тебе все. И грабишь, и обираешь богатых, чтобы раздать бедным награбленное. А не будет богатых – чем займешься?

– Ха-ха-ха, – расхохотался Хасбулат. – Домой поеду, землю пахать, вино давить...

– А ты над большевиками насмехаешься. И они хотят, чтобы мы землю пахали, вино давили, но свое, а не Юсуф-бека и ему подобных...

– Довольно словами лесных зверей пугать. Скоро рассвет, вздремнуть надо. Исмаил, – бросил он в темноту, – дай нам бурки. Утром продолжим разговор.

Джамал растянулся на сене, подложив под себя половину тяжелой жесткой бурки, покрылся другой половиной, закрыл глаза и тут же уснул.

Первым, кого увидел Джамал, проснувшись, был Хасбулат. Тот полулежал на копне сена.

– Ты меня сторожишь от Симург-гуша[1]?– пошутил Джамал откидывая бурку.

– Наоборот, Симург-гуша от тебя, – осклабился, довольный своей остротой, Хасбулат. – Сижу и думаю. И ничего в голову не лезет.

– Конечно, трудно, – согласился Джамал.

– Главное, как подобраться к начальнику тюрьмы. Вот и ломаю голову. Но одна мысль все же родилась в моей голове.

Не прикинуться ли мне человеком князя Кайтагского. И заявиться от его имели к начальнику тюрьмы. Слыхал я, они знакомы. Но вот как пробраться в тюрьму... Я пройдусь по лесу, а ты пока умойся, поешь, что бог послал.

Небо было холодно-голубым, когда тронулись в путь. По тропе спускались ловко, гуськом, в самом

[1] Симург-гуш – сказочная птица, персонаж арабских сказок.

хвосте один из хаспушей вел за собой трех привязанных друг к другу лошадей.

– Скорей, братцы, скорей, – покрикивал шедший впереди Хасбулат, – до первых лучей солнца мы должны быть в лощине. Там мелколесье, – объяснил он Джамалу, шедшему позади него, – наша защита. Там и переждем до сумерек.

Они вышли в лощину запыленные, пропотевшие, а лучи солнца так и не позолотили небо: оно с каждой минутой становилось хмурым, облачаясь в рваные тучи.

– Это нам годится, – усмехнулся Хасбулат.– Меньше людей будет шляться по дорогам.

В мелколесье хаспуши разбрелись и каждый занялся своим делом: кто зашивал рваную штанину, кто ремонтировал чарыки, а многие, раздевшись у речушки, славившейся на всю округу теплой целебной водой, принялись размазывать по телу ил и землю, которые выгребали с неглубокого дна. Джамал, не долго думая, тоже разделся, полез в воду, лег на спину и принялся размышлять над злой судьбой этих несчастных и обездоленных людей: «У каждого из них были жена, дети, старые родители, а они вынуждены скрываться в горах и лесах и лишь только потому, что где-то в чем-то не услужили беку, не согнули спину перед городовым, осмелились упрекнуть землевладельца в бесчеловечности и в обмане. Каждый из них был травинкой этой земли, придорожным цветком, придорожным кустом, без них земля оголилась бы, высохла и зачахла. Джамал хорошо знал одного из них – Шими. С малых лет он гнул спину на рыбозаводчика, а семья из восьми человек жила впроголодь. Непокорный, несгибаемый дух жил в Шими. Намус свой нес высоко, ходил с гордо поднятой головой, а рубаху и штаны носил в заплатах. Голова его никогда не знала тяжести шапки, и потому она поросла густой копной волос. Как-то он пошел проведать больного родственника и засиделся. День клонился к вечеру, когда услышал шум во дворе. Успокоив больного, он вышел, плотно закрыв дверь, и

увидел, как чиновник тянул тощую козу со двора, а хозяйка вцепилась в нее, голосила и не отдавала. Рядом голосили дети. На вопрос Шими, что здесь происходит, чиновник и ухом не повел. Конечно, Шими понял, что произошло: родственник задолжал Юсуфбеку и тот послал чиновника конфисковать его имущество, а поскольку ценного в доме ничего не было, выбор пал на единственную живность. Шими повторил свой вопрос, на что опять не получил ответа.

Тогда он засучил рукава рубахи, подошел к чиновнику, высоко подмял его и перебросил через забор на улицу. Спустя час, чтобы не оказаться в тюрьме, он ушел в горы».

– Хасбулат, эгэй, где Хасбулат...

Громкий голос прервал раздумья Джамала. Мелколесье пришло в движение. Кто обшивался – быстро оделся, кто купался – выскочил на берег.

– Здесь я, – послышалось из чащи. – Что случилось?

– Обоз идет.

– Большой?

– Десять подвод. И на каждой – солдат. Он же и погоняет лошадь, он же и охраняет.

– Обоз... Это же хорошо. Джамал, эгэй, Джамал.

Джамал успел одеться и уже спешил к Хасбулату.

– Джамал, сам Аллах послал нам этот обоз. Мы такое дело провернем... вся округа будет о нас легенды рассказывать. Братцы, берем обоз, только без единого выстрела, без рукоприкладства. Рассыпьтесь по обе стороны дороги. И замрите до моего сигнала.

Хаспуши быстро выполнили команду Хасбулата. Джамал сидел в придорожной канаве, в густых камышах, и внимательно глядел на дорогу. Вскоре послышался скрип колес, потом показалась подвода, доверху груженная, за ней тянулись другие. Лошади шли устало, понуро опустив головы. На подводах сидели солдаты, держа в руках поводья, на коленях покачивались винтовки. Многие дремали.

Хасбулат появился на дороге неожиданно. Как привидение. Он взял левой рукой первую лошадь за уздцы и громко и повелительно сказал:

– Поднимите руки, не стрелять... Всех уложим.

По обе стороны дороги из камышей выбежали хаспуши.

– Эх, матерь божья, попали, как кур во щи, – тоскливо произнес пожилой солдат, сидевший на первой подводе.

– Кура ты и есть, Степан, – зло произнес другой. – Чего ж дремал, а еще старшим тебя выбрали. Тьфу, на погибель нас затащил.

–Сам ты кура, хрен воронежский, – разозлился Степан. – Я глядел во все гляделки, а он будто из-под земли вырос. Черт их знает, где они здесь окопались. А ты, дура, храпел и рот разинуть не успел, как у тебя винтовку отобрали. Отслужил, пора петь и отходную.

– Заткнись, кура...

– Я тебе щас так заткну харю, что навечно перестанешь горланить...

– Горцев обирали? – прервал их Хасбулат? – Продукты у них забрали?

– У них, – сказал Степан, у кого же еще.

– Ваших побили?

– Поручика да Никиту из Аксайки, что под Ростовом, да Савелия из Дубравки, что под Саратовым... Мужиков жаль. А поручика, – Степан махнул рукой, – злой очень был. Нашего брата люто ненавидел. Вот над Трошкой так измывался, что злым сделал как собаку. Слыхал, как со мной разговор ведет? Аж, словно, с цепи рвется.

– Домой хотите?

– Пошто же не хотеть. Хотели бы, да боязно. А вдруг поймают, вернут.

– Не вернут. А вы нас не подведите.

И Хасбулат не скрывая, изложил план действий.

Поздно вечером через Шуринские ворота в Дербент въехал обоз. На каждой подводе на мешках сидело по

двое человек, да на облучке солдат. За обозом скакали три всадника.

Обоз протарахтел в южную часть города и остановился у ворот тюрьмы. С первого коня спешился высокий, статный, широкоплечий всадник; он был одет в черкеску, на голове белая папаха. Вслед за ним спешились два других всадника.

Первый быстрым, четким шагом направился к проходной. Часовой при виде его выбросил винтовку вперед, окликнул:

– Стой, кто идет, не велено пущать.

Человек в белой папахе рукоятью плетки с силой отвел винтовку, презрительно бросив:

– С кем говоришь, дурак, с князем Кайтагским.

– Не велено.

Но человек в белой папахе уже вошел на территорию тюрьмы, вслед за ним шли двое, тоже в черкесках, но в черных, папапах.

– Где начальник тюрьмы? Канцелярия где? – бросил первый часовому.

– У себя, ваше-с. Прямо, а потом налево.

– Как величать?

– Александр Григорьевич, ваше-с. Долгополов.

Человек в белой папахе быстро пересек двор, поднялся на крыльцо, миновал просторную комнату, служившую приемной, и без стука вошел в кабинет.

– Ваше выс-благородие, от князя Кайтагского.

Пожилой худощавый мужчина, сидевший в кресле за столом, от неожиданности вздрогнул, потом вскочил было с места, но заставил себя сесть, однако, продолжал упираться руками в стол, вобрав голову в плечи. Перед ним стояли три горца в папахах, положив руки на рукояти кинжалов.

– Кто будете и как попали сюда без разрешения, – попытался гаркнуть начальник тюрьмы, но голос подвел его.

– Ваше выс-благородие, от князя Кайтагского.– Повторил человек в белой папахе. – Его выс-благородие приглашает ваше выс-благородие на свадьбу.

– На какую еще свадьбу?

– Они выдают красавицу дочь замуж за сына одного из членов городской думы, почетнейшего человека города, крупного землевладельца и богатейшего...

– Он меня не интересует... Князь Кайтагский... Это не тот, который...

– Так точно, ваше выс-благородие, именно тот, кто вас принимал по-княжески, когда вы были в Кайтаге. Да и сейчас он вам прислал гостинцы и просил, убедительно просил приехать, на свадьбу.

Горцы в черных папахах бросили на стол два бурдюка с вином.

– Куда ж вы бросаете, на стол, и как так можно... Басурманы...

– Никто не видел, ваше выс-благородие.

– Садитесь, отдыхайте. Никифоров, где ты, черт тебя побери.

– Там никого нет. Что вы хотели, ваше высблагородие?

– Стаканы. Угостить вас, как-никак гости.

Он вышел в приемную и вернулся с бокалами.

А в это время, привлеченные обозом, у ворот сгрудились свободные от вахты солдаты.

– Что везете служивые?

– Никак, много харчей?

– Да все туда же, в гарнизон, – отвечал Степан, сидевший на облучке первой подводы. – А харчей видимо-невидимо. И вино тебе, и сыр овечий, и кукуруза, и мука, и фрукты...

– Вот битюги. Гарнизонных кормить изволят, а нас на похлебке держат.

– Так и быть, ребята, угощу винцом, – махнул рукой Степан. – Ну чего топчетесь, как телки, пейте, пока я добрый.

Минут десять спустя солдаты хмельные сидели на подводах и жаловались на свою судьбу.

– Братцы, а поручик-то Дракин трезвый, – молвил один из них. – Вот нам от него влетит.

– Сильно злой? – опросил Степан.

– Злой – не то слово. Зверюга.

– У нас тоже был такой. Убили его в перестрелке и легче стало нам. Значит, поручик где-то там?

– Кажись, обходит посты. Особо сторожит политических.

– Ну, вы пейте, ребята, я щас...

Степан незаметно прошел через проходную и направился в канцелярию.

Открыв дверь кабинета, он вытянулся во весь свой богатырский рост и гаркнул:

– Ваше выс-благородие, поручик Дракин ведет недозволенные разговоры.

– Кто такой?– выпучив пьяные глаза вскричал начальник тюрьмы.

– Поручик Дракин.

– Ты кто такой, дурак?

– Солдат Степан Ситный, ваше выс-благородие.

– Ситный. Тьфу. Поручик Дракин не может вести такие разговоры.

– Все слышали, ваше выс-благородие.

– Все?... Арестовать. Дракина арестовать, отобрать ключи. Завтра я ему, сукину сыну...

Степан бросил взгляд на человека в белой папахе, развалившегося в кресле. Глаза у того смеялись.

– Пошел вон... – вскричал штабс-капитан.

Степан вышел со двора на улицу, где у обоза, в темноте, сидели хмельные солдаты, и взмахнул рукой. С подвод сошли люди в папахах и растеклись по территории тюрьмы.

Спустя полчаса по дербентским улицам в сторону Шуринских ворот направлялся обоз. В подводах, укрытых тряпьем и соломой, лежали люди. Замыкали обоз три всадника.

Из города обоз вышел без происшествий.

10

Пер-Лашез покорил нас. Нет, не то слово – потряс. У Стены коммунаров мы возложили живые цветы.

Ты не мог понять наших чувств, нашего преклонения перед их именами. Очевидно, потому, что ты вос-

питан в другой среде, нет, не очевидно, а безусловно. Ты продукт другого общества, которое не вмешивается в политику, мирно, безропотно, безоговорочно ладит со всеми классами и общественными формациями, заботясь только о процветании своего дела. Своего бизнеса.

Мне кажется, ты не понял нас. Осман, и в тот миг, когда мы замерли у памятников безымянным, отдавшим жизнь в борьбе с гитлеровским фашизмом. С какой любовью был сделан памятник погибшим в Освенциме, узникам Бухенвальда. До этой минуты я не мог знать, не смел даже представить себе, что на Пер-Лашез могут быть воздвигнуты памятники из мрамора, обвиняющие, клеймящие фашизм. Один из них заставил меня содрогнуться. То была рука, прорывающаяся из толщи земли. Она словно взывала к живым: помните, мы ушли во тьму, в небытие, чтобы жили вы, в ваши сердца вечно должна стучаться память о нас, ненависть к человекообразным, нас, безвинных, замучившим и уничтожившим, решимость не осквернить саму суть и смысл жизни человеческой. Помните, такое не должно повториться. Никогда.

Я чувствовал мольбу, страсть, силу этой руки, и боялся, что у меня вот-вот зашевелятся волосы на голове. А ты стоял безучастный и холодный. А тебя не коснулась война? Фашистский сапог не осквернил траву в твоем дворе, не бил кованым каблуком в дверь, не топтал женщин, девушек, детей?..

В голове роятся мысли о кованом сапоге, а передо мною рука, белоснежная рука, вырвавшаяся из темной тверди земли.

– Я вам покажу сказочный Париж...

Голос донесся до меня, то ли со стороны, то ли сверху, я никак не мог понять, откуда, кому принадлежит он и чего хочет от меня. Я не мог понять, почему он должен был раздаться сейчас, как он осмелился раздаться, нарушив строй моих мыслей, вползая в святая святых – мою душу, мое сердце.

И снова:

– Я вам покажу сказочный Париж...

И я пошел вслед за друзьями, которых увел ты, Осман. Кесарю кесарево, живым живое.

Мы уселись в твою машину, и она понесла нас по улицам Парижа, догоняя закатные лучи солнца. Машина шла мягко и быстро, съедая проспекты, площади и бульвары, заюлила по узким улочкам и замерла на вершине холма.

Мы вышли из машины. Рядом высился белокаменный Сакре Керр – храм Святого Сердца. Внизу, насколько хватало глаз, лежал Париж, залитый золотом заката. Я выхватил взглядом Монпарнас, Марсово поле, а перед глазами стояла рука, вырвавшаяся из земной тверди.

Потом ты нас снова повез по бульварам, выехал на улицу Королей, рядом с Нотр Дам де Пари, забитую автомобилями многих стран мира. Мы вошли в этот чудовищно огромный, массивный и в то же время изящный собор, забитый тысячами людей и, замерев, долго слушали орган, захвативший нас, приковавший к себе божественной музыкой.

А в моих ушах стояла другая музыка – стон белоснежной руки, вырвавшейся из земной тверди.

Слышал ли ты, Осман, когда-нибудь музыку – стон той руки?

11

«Сам черт не разберет, что тут происходит. Взяли власть Советы, люди только успели вздохнуть свободно, как появились деникинцы. А вслед за ними и красные фески[1]. И вот гуляют они в моем городе, к купцам захаживают, землевладельцев оберегают от бывших батраков, в игорных домах набивают карманы. В офицерском клубе табачный дым вырывается из окон, словно там разгорается пожар. А солдатня... Тьфу, пакостники. В курятнике не оставят ни одной птицы, увидят смазливую женщину или девушку, тут же лезут облапить. Ни бога у них нет, ни намуса. Ка-

[1] *Красные фески* – турки, так назвали их, потому что они носили фески.

кую власть они думают установить, какую жизнь дать людям – ни богу, ни дьяволу не ясно». – Так думал Джамал, возвращаясь поздно вечером домой. Он спускался по узкой улочке магала к площади, когда по камням мостовой раздался гулкий стук каблуков, а потом и грозный окрик:

– Стой.

Перед Джамалом выросли три фигуры.

Первый из них был в кителе, перепоясанном портупеями.

– Где был? Куда идешь так поздно?

– К мулле ходил.

– Все они ходят к мулле, – зло проговорил другой, с винтовкой в руке. – А ковырнешь клинком – большевик.

– Какой он большевик, – проговорил третий, – босяк, да и только. Гляди, в чем ходит. Босяк и есть.

– А шапка заломана-то...

– Без шапки им нельзя, ваше выс-благородие, – подал голос третий. – В шапке у них, так сказывают, вся честь.

– Ладно, иди, – махнул рукой первый, – и смотри у меня, по ночам не ходи, не то в тюрьму угодишь, либо пулю схлопочешь.

«Сволочи, – сказал про себя Джамал, спускаясь по улочке, – встретились бы вы мне поодиночке, я бы вам показал босяка, а то ходите сворой со страху, одного-другого проучишь, да третий успеет укусить...»

– Кто идет, – мысли Джамала прервал окрик.

– Чтоб вы все сгорели в аду, – проговорил Джамал, – потом громко бросил:

– Босяк идет.

– А что босяку ночью делать в магалах? Воровал, видать?

Перед ним стояли двое в красных фесках.

– Не вор я, Аллах свидетель. К мулле ходил, совета спрашивал.

– Что тебе может мулла посоветовать в ваше смутное время? Нас спроси, понравишься – поможем. Ну, говори, что с тобой стряслось?

– Лошаденка была во дворе, неказистая, от жеребца и ишачки, неказистая, да помощница, ведь я аробщик, без лошаденки пропаду, так вот лошаденка неказистая была, и ту увели.

– Кто увел?

– Не знаю, кто их разберет... Зашли в кителях, фуражки на голове, не ведаю, что и кого искали, но лошаденку увидали, взяли под уздцы и увели. Неказистая была, а увели.

– Это гяуры были. Конечно, гяуры. Ладно, иди оплакивай свою лошадь.

Джамал пошел, ухмыляясь над своей фантазией, но вдруг приостановился, прислушался.

– Рустам-бей, если этот голодранец легко отдал гяурам лошадь, он с той же легкостью отдаст мне свою шапку.

– У него и так горе, а ты ему прибавишь другое. И зачем тебе его шапка? Она не стоит и одного абаси[1].

– Не говори так, я хорошо разглядел. Она стоит того, чтобы ее сдернули с головы этого дурака.

Джамал не стал слушать дальнейшего их разговора и быстро пошел прочь.

Вскоре за спиной послышались шаги. Потом повелительный голос окликнул его:

– Ну-ка стой. Я тебе говорю. Стой, не то стрелять буду.

– Я не понял, что ты ко мне обращаешься. Стою.

– Сними шапку и подай мне.

– Чем моя шапка провинилась перед тобой?

– Снимай, говорю.

Джамал незаметно оглянулся: второго турка не было видно.

– Подойди, возьми. Одни лошаденку неказистую увели, другие шапку снимают с головы. Что за время такое...

– Много не болтай, давай шапку и беги, если жить хочешь...

---

[1] *Абаси* – монета, равная 20 копейкам.

Турок приблизился. Джамал резко ударил ногой турка ниже паха. Тот согнулся и с пронзительной болью выдохнул:

– Вай, ана.

Не давая турку опомниться, Джамал сцепил обе руки и с силой обрушил ему на голову. Турок мешком свалился на землю.

Кипя яростью, Джамал ногой отбросил его к забору, свернул за угол и вышел на площадь.

12

Утром красные фески забрали Османа. Под забором его дома был обнаружен турок без сознания. К счастью для Османа, к полудню тот пришел в себя и мог говорить. Купца отпустили, даже не извинившись перед ним.

Потрясенный грубым обращением, Осман вернулся домой подавленный. Он почему-то стыдился самого себя, хотя и не совершил никакого проступка. Просто стыдно за то, что его, купца, известного в городе человека, повели, не разобравшись и не попытавшись даже прислушаться к его объяснениям, а потом выставили на улицу, не признав своей вины за нанесенное оскорбление. «Неужели эти люди надеются надолго оставаться в городе, – спросил он себя. – Они же растопчут, изгадят все наши нравственные устои, внесут в нашу жизнь сумятицу и страх. О всемогущий, если ты есть на небе, – воскликнул он в душе, не дай им хозяйничать в нашем городе, изгони их, избавь нас от их лая и оскала...»

Осман осторожно открыл калитку, ступил во двор, обернулся и только тогда понял, что она была незапертая. Он поднялся на веранду, уставился на кресло, потом опустился в него. Тяжесть не покидала: тяжесть возмущения, гнева, протеста давила душу.

Вдруг его слух уловил причитания и резкий мужской голос. Он прислушался, потом встал, открыл дверь в комнату.

Жена сидела на корточках, била себя по лицу и плакала, причитая. Мимо нее носился взад-вперед худощавый невысокий мужчина, злой и желтый от желчи. Он то и дело выбрасывал руки вперед и повторял:

– Не плачь, сестра, не изводи себя, мои друзья ему помогут.

– Чего же они до сих пор спят, твои друзья? Его, бедного, там бьют не один час... Аллах, спаси его, вытащи из рук этих жестоких турков...

– Не изводи себя, сестра, мои друзья ему помогут, – вновь повторял мужчина, перебегая от стены к стене.

Осман молча прошел к подушкам, опустился, прислонился к стене, откинув голову. Жена замерла, мужчина остановился посреди комнаты.

– Вот я и вернулся, – Осман попытался улыбнуться, но выдал только ухмылку.

– Я сказал тебе, сестра, что мои друзья ему помогут, – произнес металлическим голосом мужчина.

– Ты прав, дорогой Илдирим, они ему помогли, – удивленно и радостно произнесла женщина.

– Твои друзья... – медленно, с иронией признес Осман. – Твои друзья – меньшевики и не знали, что я у турков.

– Как же ты вышел? Убежал, – удивился Илдирим.

– Спасибо турку, которого не до смерти избили. Пришел в себя... – Осман вдруг от души рассмеялся. – Э, нет, спасибо надо сказать тому, кто не до смерти его избил.

От этого смеха ему стало легче и уютней в своем доме.

– Ну что за поганое время настало, сам дьявол не разберет. Белогвардейцы свои порядки устанавливают, турки – свои, а настоящего-то подрядка нет. Власть должна быть одна. И порядок один. – Илдирим входил снова в раж: он стал бегать по комнате, выбрасывая вперед руки. – Настоящий порядок могут установить только меньшевики. Посуди сам, военные

вызвали ненависть у местного населения. Почему – знаешь сам. Грабеж, самоуправство, беззаконие и всякое другое. А меньшевики имеют свою программу, свое отношение и к буржуазии, и к крестьянству, и ко всяким прочим...

– Ну и беги к своим меньшевикам, – отрезал ему Осман.

– Что ты сказал? – опешил Илдирим.

– Беги, говорю, к своим меньшевикам. У меня от этих ваших шикающих слов – меньшевик, большевик – голова тупеет, понимаешь, щелкни по ней сейчас загудит, как казан. Меньшевик, большевик... Мне плевать на этих шиков, мне торговать надо, делать деньги, понял, вот мое занятие, а эти шики мне не дадут своим ремеслом заниматься. Я не глупее тебя. А теперь иди домой и будь спокоен: я у себя и больше меня не заберут. Если, конечно, под моим забором не обнаружат избитого турка или белогвардейца.

Илдирим бросил взгляд на Османа, потом перевел его на сестру, повернулся и быстро пошел прочь.

– Почему ты ему нагрубил, – начала было жена, но Осман прервал ее:

– Помолчи, жена. Этот бездельник, кроме как болтать, ни на что не способен. Не хочу упрекать твоих родителей, я не в праве это делать, но они не сумели воспитать и вырастить себе достойного наследника. Сколько ему уже, за тридцать или около, но он кроме болтовни, как я знаю, ни на что не способен. Лучше закрой плотно дверь, присядь поближе и послушай, что я тебе скажу. Насколько я уразумел, а меня пока моя голова не подводила, ни при большевиках, ни при меньшевиках нам жить так, как мы жили, уже не дадут. Большевики, что тебе о них сказать, это народ простой, голодный, обездоленный; народ, который хочет уничтожить кабалу, нищету, невежество, неравенство, конечно, не потерпит и богатых. А мы с тобой относимся к ним. Конечно, не убьют нас, не пустят по миру, но попытаются уравнять с собой. Меньшевики, эти хитрее. Они нас в обиду не дадут, но сосать будут нашу кровь, как пиявки. Так что, как го-

ворят в народе, в доме Ивана морозно, в доме Ахмеда горячо. И принял я решение уехать.

Жена всплеснула руками.

– Помолчи и слушай. Пока они здесь передерутся, нам надо отсидеться где-нибудь. А лучшего места, чем в Тавризе, нет. Велихан нас примет, в обиду не даст, это старый и верный мой кунак, да ты его помнишь. А кончится эта драчка, восстановится порядок, я надеюсь, старый порядок, единозаконие, вернемся в свой дом.

Осман замолчал. И тут жена запричитала:

– Несчастные, несчастные мы люди. Бросить свой дом, свою землю могилы отцов и уйти на чужбину и из-за чего... о Аллах, почему ты на все закрыл глаза, почему ты нас гонишь на чужбину, неужели ты не хочешь вернуть мир своей земле... О мои родители, что же происходит на земле...

– Перестань, жена, не изводи себя, плачем вчерашний день не вернешь. Прекрати, я тебе сказал.

Жена перестала причитать и только всхлипывала.

– Слушай меня внимательно. Вечером сшей несколько кожаных поясов, в которые можно положить золотые монеты. Вели Аскеру помочь, он верен нам. Собери самое ценное и необходимое, слышишь, не казаны и тазы, а самое ценное и необходимое. Я все сказал, что хотел.

Осман встал и медленно вышел во двор. На душе было неясно и беспокойно. Конечно, срываться с насиженного места, уезжать с земли предков в неведомое было тяжело, ох, как тяжело, но успокаивала мысль: «А вдруг все образумится, вернутся старые добрые времена и все пойдет своим чередом. А вернутся ли? Сколько хребтов поломает это противоборство, пока кто-нибудь не возьмет власть... Нет, что тут думать и изводить себя думами, – он решил: надо ехать».

Опускался вечер. На улицах и дворах беспокойно завывали собаки.

– Аскер! – требовательно позвал Осман.

– Здесь я, – послышалось из беседки и на дорожку выскочил верный слуга и работник.

– Аскер, разузнай, у кого можно купить три фаэтона и коней, да смотри, чтобы и те и другие были добрыми. Рассчитывай на долгую дорогу.

– Коней бы надо по паре в упряжке.

– А я тебе не говорю – по одной. Сегодня вечером постарайся купить. Завтра будем собираться в дорогу. Послезавтра с рассветом в путь. Ты как посоветуешь?

– Верно решил, ночью ехать нельзя, на дорогах кто только ни шныряет: и чужие могут пристать, и свои, сейчас брат брата бьет, сын отца... А днем как-то безопасней...

– Так и решим. Предупреди Гасана, Садыка и Вели, чтобы лишнее не болтали своим приятелям и приятельницам.

Весь следующий день Осман с домочадцами и работниками собирались в дорогу. Дорогие одежды и ценности запихали в огромные саквояжи и уложили во второй фаэтон, мануфактуру, втиснутую в несколько сундуков, – в первый, а ковры – в третий фаэтон. «На первых порах будет чем торговать», – так мыслил Осман. На рассвете перед выездом он набил кожаные пояса золотыми монетами, обмотался ими несколько раз, велел то же самое сделать жене. Кроме того в кармане его брюк лежало письмо, любезно доставленное Илдиримом, которое разрешало беспрепятственно передвигаться по дорогам до Баку.

...Осман с плачущей женой и сыновьями вышел из дома, навесил на двери несколько больших замков, затем запер калитку и все четверо сели в средний фаэтон, где их терпеливо поджидал Аскер. На переднем сидел один работник, на заднем – двое. У каждого за пазухой лежал револьвер, а у Аскера вдобавок под облучком был спрятан карабин.

– Все ставни закрыл на засов? – спросил Осман.

– Все.

– Подушки, оттоманки, утварь отнес старикам моей жены?

– Да, как велел.

– Сказал, что мы скоро вернемся?

– Конечно. Попросил присмотреть за домом.

– Ну, кажется всё. – Осман замолчал, потом тихо произнес, – прощай, мой дом, моя земля... постараемся недолго быть на чужбине. Жди нас.

Жена всхлипнула, но Осман мягко положил ей на плечо руку и она умолкла.

– Поехали, – проговорил он тихо.

– Трогай, – негромко сказал Аскер тому, кто сидел в первом фаэтоне и лошади, цокая копытами, тронулись с места.

Город еще спал. Небо только начинало светлеть. Когда фаэтоны выехали за Шуринские ворота, Осман встал, обернулся, долго глядел на крепость, длинную каменную, стену, уходившую в сторону моря, на раскинувшиеся сады и что-то сжало его горло. Он пересилил себя, сел и закрыл глаза, словно решил вздремнуть.

Сытые кони бежали резво. Дорога была безлюдна. Только с восходом солнца, когда на землю легли теплые золотистые лучи, появились арбы крестьян, да и тех было очень мало: боялись белогвардейцев или красных фесок, охочих до чужого добра. В полдень сделали привал на обед, отъехав от дороги в рощицу. Сидя за скатертью, Осман обратил внимание, что Керим ест без охоты.

После обеда, трясясь в фаэтоне, Осман внимательно поглядывал на сына, который с трудом открывал слипающиеся веки.

– Что с тобой, сыночек, тебе нездоровится, – заволновалась мать, все еще находившаяся в горе и печали. – Положи голову мне на колени. Осман, он весь горит, Осман, он пропадет в пути...

– Молчи, жена, – хмуро произнес Осман и крикнул Аскеру:

– Сверни с дороги, сделаем привал.

Остановились под развесистым дубом, у родника. Для мальчика расстелили ковер, под голову подложили маленькую подушку, накрыли буркой. Все си-

дели в замешательстве, глядя на него и не зная, что делать.

– Ему бы трав сейчас целебных, – проговорил со вздохом Аскер.

– Ты сведущ в травах? – с надеждой в голосе спросил Осман.

– Где там.

– Так может из местных кто разбирается в травах? Аскер, сходи в селение, узнай, кто лечит травами. Обещай хорошо заплатить. А еще лучше – попроси его прийти сюда.

Аскер вернулся к вечеру. Рядом с ним шел пожилой крестьянин. Он был бедно одет, небрит. Крестьянин приветствовал их, подошел к Кериму, присел, приложил руку ко лбу, потом коснулся его губами.

– Я вижу, вы собрались в дальнюю дорогу, мальчика нельзя брать с собой.

– Почему нельзя, – вдруг закричала жена Османа, – я не могу его бросить... Аллах, за что ты нас так сурово караешь, чем мы провинились перед тобой, мальчик мой, никому я тебя не отдам...

Осман обнял ее за плечи, привлек к себе, успокоил, а про себя подумал: «Не дай бог, если с ней случится истерика».

– Объясни, земляк, почему нельзя? – спросил Осман.

– Кажется мне, у него горячка или лихорадка.

– Откуда тебе знать?

– Я лечил таких.

– Ну так вылечи. На награду не поскуплюсь.

Крестьянин усмехнулся:

– Думаешь, раз-два выпил настой из трав и уже встал на ноги? Быстрый. Недели пройдут. Но вылечить можно. А в дороге пропадет мальчик...

Осман посмотрел ему в глаза и почему-то поверил. Снова заголосила жена.

– Замолчи, – взорвался Осман. – Ты чего хочешь, чтоб мы его похоронили в дороге? Или видеть живого? Замолчи, говорю. И оставаться мы не можем долго, – произнес он тихо, словно про себя. – Послушай,

земляк, может, ты возьмешь его в свой дом, – с надеждой в голосе сказал Осман, – вылечишь, денег я оставлю тебе сколько надо, а потом отправишь в Дербент. Сделай благородное дело, прошу тебя как человек человека...

– Жалко мальчика, – проговорил крестьянин. – Надо взять к себе. Так к кому его отправить?

Осман задумался: «К кому? К родителям жены? Но их крестьянин не знает и в городе не все знают. Джамал... – Османа от неожиданной мысли даже бросило в пот. – Джамал... А почему бы и нет? В дом этого бедняка? О, Аллах, о чем я думаю: не у Джамала же моему сыну жить. Джамал отведет его к Илдириму. Это уже родная кровь как-никак».

– Джамала знаешь? Джамала из Дербента.

– Порасспрошу, найду, – сказал крестьянин. – Впрочем, что-то я о нем, по-моему, слышал.

– Ну это уже лучше, – обрадовался Осман и ему показалось, будто камень свалился с плеч. – Это хорошо, что слышал. Значит, найдешь.

– Найду и здоровым передам ему мальчика. Если решились, собирайтесь, поедем в селение, как-нибудь переночуете у меня, кто в доме, кто на сеновале, а кто в фаэтонах. У меня, не обессудьте, ни комнат нет, ни матрацев, ни одеял.

– Как называется селение, – спросил Осман, уже трясясь в фаэтоне. Крестьянин сидел рядом с Аскером.

– Магарамкент.

Крестьянин не обманул Османа. У него не оказалось ни лишних комнат, ни лишней постели. Под одним густо залатанным одеялом спали шестеро детей. При виде незнакомых мужчин и женщины жена крестьянина зажгла свечу, вызвала мужа в другую комнату, долго шепталась, потом пригласила их и расстелила постель, которую держали для гостей. Остальные заночевали в фаэтонах.

Проснувшись рано утром, Осман с женой подошли к сыну, спавшему под буркой. Осман осторожно разбудил его:

– Как ты себя чувствуешь, сынок, – спросил он тихо.

– Ничего, папа.

– Сынок, послушай меня. Мы уезжаем, оставляем тебя у этого доброго человека, который тебя вылечит. Делай все, что он будет говорить. Как вылечишься, он отвезет тебя в Дербент, к дяде Илдириму. Понял, сынок?

– Понял, папа. Но я хочу ехать с вами. Как я буду без вас... – голос его сорвался.

– Ты болеешь, сынок, дорогу не осилишь... Я хочу, что б ты был жив и здоров. Придет время, мы опять будем вместе.

– Хорошо, папа.

Горло Османа перехватило, он переборол себя, тихо обратился к жене:

– Едем. С Керимом все будет хорошо.

Жена стояла не шелохнувшись. Осман взял ее под руку и повел во двор: она шла как в тумане.

Крестьянин успел уже напоить и накормить коней и смотрел, как гости собираются в дорогу. Осман протянул ему мешочек с золотыми монетами и тихо проговорил:

– Прошу тебя, убереги его, вылечи и убереги...

– Будь спокоен, брат. Все будет хорошо.

Вскоре фаэтоны выехали со двора.

Керим, приподнявшись, вздрагивая от рыданий, долго смотрел в низкое окно вслед уходящим фаэтонам, пока они не скрылись вдали.

13

Отряд белых вышел к Ашага-Гапы[1] гурьбой. Видно было, они торопились, и подгонял их страх быть захваченными.

Дорога уже гулко гудела от офицерских и солдатских сапог, когда воздух прорезал крик «азади[2]».

---

[1] Южные ворота.

[2] *Азади* – свобода.

В мгновение ока смешалось все.

Джамал бросился на смуглого мужчину, подмял его под себя, потом схватил за грудки. Но тот оказался напористым, а может злость придала ему силы, только он обхватил Джамала за шею, и оба покатились по пыльной дороге. Джамал умудрился ударить его коленом в пах. Тот охнул и обмяк. Джамал взялся за эфес кинжала, вытащил его из ножен, но тут противник вдруг истошно и жалобно закричал:

– Земляк, побойся Аллаха, что ты делаешь. Наши отцы и деды родились и умерли на этой земле, а мы пускаем друг другу кровь. Земляк, опомнись...

Рука Джамала с обнаженным кинжалом застыла в воздухе.

– Кто ты?

– Дербентец я, Илдирим, ты меня должен знать. Деверь Османа я...

– Какого Османа...

– Купца Османа...

– Что же ты, поганец, с белыми, или отец для того тебя родил, чтобы ты обесчестил его могилу, стал врагом своего народа?

– Я не враг вам, нет... поверь, просто я хотел уйти с ними, чтобы не мешать вам, нет, что я говорю, чтобы найти сестру, Османа... поверь.

«И этому ублюдку Осман хочет отдать своего сына, – подумал вдруг Джамал, глядя в широко раскрытые, испуганные глаза Илдирима. – Чему он может научить Керима, если сам лишен и чести и мужества? Вот лежит, распластался как червь подо мной... И он должен был стать воспитателем Керима! Тьфу. Да я ему и не заикнусь, что мальчик у меня, в моей семье. Пропадай сам, ублюдок, в какой желаешь стороне, но мальчика погубить я тебе не дам. А страху-то в твоих глазах, страху-то! Как же ты думаешь прожить остаток своих лет, ты, червь...»

Джамал схватил Илдирима за грудки, отбросил от себя и тихо произнес:

– Благодари Аллаха, что ты деверь Османа. Из уважения к нему, слышишь, только из уважения к

нему отпускаю тебя. Сгинь, чтобы я не видел и тени твоей.

Джамал вскочил и с обнаженным кинжалом в руке бросился в гущу боя.

14

Джамал опустился на истертый и выцветший палас, бросил взгляд на сюфре и, потирая руки, произнес:

– Покорми, мать, вкусно и сытно...

Жена бросила на белое сюфре несколько плоских сухих лавашей, принесла в серебряной посуде сыр, налила в глиняные кружки кислое молоко. Она вышла и вскоре зашла, неся осторожно большую сковороду, на которой еще в масле продолжало жариться жаркое из коровьих кишок, печени и легких. Потом на сюфре появились арбуз, дыня и виноград.

Сыновья сели, как всегда, по обе стороны от него, напротив расположились жена и Керим. Керим сидел, насупившись, отвернувшись от сюфре. Джамал бросил на него мимолетный взгляд, отломил кусок лаваша, опустил его в сковороду и, пропитав жиром, поднес ко рту.

– Только наша мать может готовить такие вкусные блюда.

– Это твоя новая власть продает нам такие продукты.

– Ты так не шути, жена, – нахмурился Джамал.– Сейчас всей стране тяжело. И прошу тебя, при людях эти глупые слова не произноси. Опозоришь имя Джамала на весь Дербент.

– Не такая уж я дура...

– Керим, а ты почему не ешь? Не нравится? Может, голова болит? Не болит? Так чего ты ждешь? Когда в сковороде останется запах жаркого? Ну-ка, ломай лаваш и ешь, мужчина должен есть, чтобы иметь силу.

Керим нехотя стал есть.

– Ты живешь у меня потому, что так велел твой отец. Хороший он был человек, Осман. Хотя и не ходили мы друг к другу, куда уж нам ходить, я бедняк, он купец, но относились с уважением. Скажу тебе от сердца, человек он был с намусом. Но вот уехал зря, этого я не одобряю. Как можно уйти с той земли, где родились твои предки, твой отец, давший тебе жизнь, где живет твой народ, который обучил тебя своему языку? Нет, этого я не понимаю.

Я расскажу тебе, мальчик, сокровенное, о котором никто из моей семьи, кроме жены, не знает. В пору моей юности приглянулась мне одна турчаночка, гостившая в Дербенте. Прелестная, нежная, глаз не оторвать. Но и сладкий сон имеет конец. Однажды она уехала. Как потом я узнал – в Истамбул. Я места себе не находил. И в один из безрадостных для меня дней, ни слова не сказав родителям, ушел я из дома. Пошел пешком в Истамбул. Не буду тебе рассказывать, как я шел. Путь мой был долог и не так весел, как я думал. На пропитание зарабатывал случайной работой. Но дошел. Только вот радости никакой не испытал. И не потому, что не нашел своей красавицы, да разве ее в таком огромном городе, как Истамбул, сыщешь. Не потому. Мне вдруг стало не хватать запахов моих пыльных улиц, моих накаленных солнцем камней крепостных стен, моего неказистого дерева, ладоней моей мамы, от которых всегда пахло теплым лавашем и сыром... Ничто не могло убить во мне эти запахи: ни шум истамбульских улиц, ни его минареты и мечети, ни его каштаны, потрескивавшие на жаровнях... И я вернулся. И, подойдя к Ашага-Гапы, опустился на колени и глубоко вдохнул запах дороги, а потом обнял нагретые камни крепостной стены... Земля велика, стран и народов множество, а родина у человека одна и язык один.

Тоска по родителям бывает тяжела и мучительна, но по родине – во сто крат мучительней. Я бы ни за какое золото мира не покинул бы свой город, который облазил на четвереньках, обежал мальчишкой, обошел уже взрослым и изучил все его голоса и шорохи,

испил студеную воду из родника Шейх-Салаха, собирал инжир и виноград, пусть даже из чужих садов и плантаций... Поверь мне, мальчик, я ни за какое золото мира не отдам это жаркое, даже его запах.

Ешь, Керим, и помни мои слова, ты уже большой мальчик. А я хочу тебе добра. Хочу, чтобы этот город оставался как и прежде, твоим.

15

Вторую половину дня я посвятил нашей совместной прогулке по Парижу. Была середина сентября, когда небо становилось густого синего цвета, а солнце ласкало и нежило, постепенно наливаясь соком, чтобы потом поджечь горизонт и сверкающие стекла домов. Париж был великолепен. Может быть, ты преднамеренно вывел меня на улицу в этот час, чтобы я влюбился в город? А не влюбиться было нельзя. Бульвары купались в золоте солнца, окна зеленых мансард начинали полыхать огнем, а белые ажурные балконы, опоясывающие этажи домов, бросали длинные тени и казалось, что огромные здания стоят в переплетении кружев.

Эйфелева башня вблизи мне не понравилась; я стоял под ней и недоуменно глядел на это хаотичное переплетение грубого металла, но, поднявшись в стоместном лифте на третью смотровую площадку, был приятно поражен панорамой Парижа! Ты что-то мне говорил, но я не слышал тебя. Я просто смотрел на Париж, выискивая знакомые мне улицы, бульвары, соборы... Я наслаждался простором, красотой и покоем города.

Потом мы праздно шли по просторным улицам и вышли к дому-музею Родена. Ты пригласил меня посетить музей.

Потом ты повел меня в Тюильри посмотреть на прелестных дев. Идти сквозь эти ряды под насмешливые взгляды было испытанием не из легких, но я прошел, ловя твою усмешку.

День отгорал, небо было в розовых полосах и пятнах, когда мы вышли на Елисейские поля. Я понимал, я чувствовал твое желание раскрыть передо мною каждую страницу этой многовековой книги под названием Париж.

Ты взял такси, и машина помчала нас в неведомую мне сторону. Наконец такси остановилось у входа в кабаре. Здесь будет небезынтересно, сказал ты, это музыкально-литературное кабаре «Ловкий заяц». Быть в Париже и не посетить «Ловкого зайца» на Монмартре нельзя.

Ты и на сей раз оказался прав. Было поистине интересно: мы слушали музыку, смотрели канкан, пили кофе с коньяком, к нам подсели миленькие девушки, которых ты подозвал незаметно взглядом, но также незаметно, после какого-то танца, я вышел из кабаре и ступил в темноту узких улиц. Я шел по каменной мостовой и чувствовал на себе взгляды девиц, стоящих вдоль глухих каменных стен, источавших сырость.

16

Джамал проснулся до первых петухов. Он лежал, глядя на гаснущие звезды, потом встал, надел истоптанные чарыки, прошелся по веранде из угла в угол и, как был в нижнем белье, вышел во двор.

Было прохладно и сыро. Октябрь доживал последние дни.

Джамал медленно прошел до калитки, бесстрастно глядя на фруктовые деревья, теснившие небольшой двор, потом вернулся и присел у летней кухоньки на колченогую грубо сколоченную скамью.

«Теперь бы жить и жить, сады закладывать, сыновей растить, а я старею, – безропотно сказал он про себя и провел ладонью по бритой голове. – Пятьдесят лет прожито, целая жизнь человека. А что я видел, что нажил? Если бы родиться вновь...»

Джамал улыбнулся, хмыкнул и несколько раз ударил согнутыми костлявыми пальцами по груди: гул-

ко. «На здоровье обижаться не следует, – подумал он, – крепок еще, да и бритая голова молодит меня. Что это я стал расхваливать себя, как старая дева? Не дай бог, мои мысли узнают приятели, люди».

Джамал встал и направился к веранде, увешанной тяжелыми гроздьями винограда, связанными суровой ниткой. «А все-таки жить хочется долго, – сказал он себе, – время-то настало какое! Работай, прояви себя – и ты в почете и уважаем. Не хочешь – через силу засучишь рукава рубахи, закатаешь штаны и побежишь за этими молокососами сломя голову... Вон какой канал вырыли лопатой, киркой и ломом, не канал, а настоящее русло реки. Пыль глотали, комаров кормили, в грязи скользили и ползали, солнцем и потом пропитались, а строили. И пошла вода. И зацветут сады, заколосятся хлеба на радость детям нашим. Время-то какое настало».

Джамал поднялся на веранду, сорвал крупную ягоду с увесистой грозди черного винограда, отправил в рот. Он закрыл от удовольствия глаза и покачал головой: «Сладок, как наша жизнь».

Мысли его прервал истошный крик соседского петуха. Взлетев на гребень забора, он неистово кукарекал, багровея от натуги. Джамал сорвал ягоду, запустил ею в петуха. Тот захлопал крыльями и, продолжая кукарекать, слетел к себе во двор.

– Время мне напоминает, горлопан, – пробурчал беззлобно Джамал, – я и без твоего крика свое время знаю. Тоже мне, страж времени.

Джамал сбросил с ног чарыки, босой осторожно вошел в комнату и открыл ставни окна. На полу, на широком матраце, укрытые одним одеялом, латаным и перелатанным, спали трое мальчишек. Симон лежал на спине, подтянув одеяло под подбородок, Керим, упершись ногами ему в бок, наполовину вылез наружу, Гаврил свернулся калачиком в ногах Симона. «Эх, дети, – усмехнулся Джамал, – надо же так куролесить во сне».

– Вставайте, мои мальчики, вставайте, – сказал он вслух бодро, но не громко, чтобы не испугать ребят.– Вставайте, вас ждет школа.

Симон открыл глаза сразу, будто и не спал, Керим долго ворочался, потом долго протирал глаза, пока не сел, скрестив под себя ноги. Гаврил продолжал посапывать.

– Вас ждет школа, – повторил Джамал, – выйдите во двор, умойтесь под краном, вода освежит и ободрит вас.

Мальчишки вышли во двор, а вскоре тишину утра нарушили крики и визг: Симон мылся под краном и брызгал водой на Керима.

– Жена, что ты замешкалась, – крикнул Джамал с веранды, обратившись в сторону летней кухни, – детям в школу пора.

– Не шуми, старик, детям в школу пора, – беззлобно передразнила жена, – не с петухом надо было сражаться ни свет ни заря, а разжечь огонь в куруге[1].

– Мужчинам – мужское дело, женщинам – женское.

– Если мужчины побьют всех петухов, что станется с бедными курочками... Да и людей обречете на голод.

– Что ты сказала?

– Яиц лишитесь.

– Договорились. – Джамал улыбнулся и спустился к крану. – Идите завтракать. Женщину хлебом не корми, только дай ей возможность развязать язык...

Позавтракав, мальчики подхватили свои сумки и вышли со двора. Школа находилась в верхнем магале и дорога к ней проходила мимо дома, в котором еще недавно жила семья Османа.

Поравнявшись с калиткой, Керим невольно остановился, приоткрыл ее и заглянул во двор. Здесь все было, как при отце. Только напротив беседки, по другую сторону от дорожки, появилась еще одна, да звонкие детские голоса, смех и плачь слышались во всем доме.

---

[1] *Куруг* – сложенная из кирпичей печь, в которой пекут чурек или лаваш.

Керим обвел взглядом двор. Вот старое, большое тутовое дерево, под которым он собирал крупные мясистые сочные ягоды, вот вишенка, а вот яблоня, на ней и сейчас краснеют яблоки, вон на верхних ветках, куда не добрались руки, а вот и виноградник, но уже без тяжелых гроздьев – съели... К горлу подкатил комок, на глаза навернулись слезы.

–Что ты тут высматриваешь? – за плечом раздался голос Симона.

Керим вздрогнул, тяжело вздохнул, опустил голову.

– Жалко стало, что дети едят? Они же сиротки. Ни отца у них, ни матери. Погибли за революцию. Пусть уж хоть фруктов наедятся.

– Пусть едят, мне не жалко, –пробурчал Керим.

– А чего ты сопли распустил?

– Наш дом...

– Был, – отрезал Симон.

И остался бы нашим, – продолжал Керим, – если бы дядя Джамал согласился перейти в него. Давали же вам полдома?

– Да, давали.

– Чего ж не пошли? Не на глиняном полу спали бы сейчас, не в фанерном туалете сидели бы, облепленном мухами.

– Мой отец на чужое добро не зарится. Мы этот дом не строили, и ни к чему он нам. А вот сироткам нужен: у них никого на всем белом свете не осталось, пусть хоть этот дом и сад радость им доставят.

Симон повернулся и пошел скорым шагом, бросив через плечо:

– Так и мой отец сказал.

Джамал долго смотрел мальчикам вслед, стоя у полуразвалившихся ворот, потом пошел по двору, покачивая головой и размышляя: «Конечно, тяжко Кериму свыкнуться с нашей бедностью, что тут и говорить, семья жила в достатке, широко, не стесняя себя ни в чем, и вдруг ни семьи, ни достатка... Семью он постепенно забывает, годы камень обтачивают, не только чувства человека, но вот достаток... Ах, Ке-

рим, Керим, жалко мне тебя по-человечески, уж лучше бы ты не заболел, а уехал с отцом и братом, пусть и на чужбине, но был бы рядом с единокровными, и радость делил бы, и горе. А здесь все для тебя ново. Мы к этой жизни рвались, боролись за нее, головы сложили, детей сиротами оставили, а ты жил в достатке, рос хозяином. Кого винить в твоей судьбе? Винить-то и некого. Ах, Керим, Керим, как тяжело вырастить тебя таким, чтобы ты продолжал любить землю своих предков, а вырастить тебя таким я должен».

Джамал подошел к неказистым воротам, сколоченным из фанерных отходов, долго смотрел на них и вдруг с силой пнул их ногой.

– Вâй, кто там рушит наше добро, вай...

– Не кричи, жена, это я, – подал голос Джамал.

– Ты что, старик, рехнулся, свой дом рушишь?

– Ха, ха, – Джамал засмеялся. – Новый буду строить, жена.

Новые поставлю ворота и сад разведу. Вот тут, вдоль стены, разделяющей меня от соседа, посажу гранаты, инжир, миндаль.

– Я только и слышу от тебя: сделаю, посажу. Одни, праздные слова, а дел ни на шои[1].

– Ах, ты так заговорила, ну-ка неси сюда топор, ножовку, молоток, гвозди, в кухне лежат, в ящике, неси, неси, а я доски перенесу, я тебе докажу, способен я еще работать на шои или нет.

Джамал принялся за дело. Спустя полчаса он строгал доски и сколачивал их, обнажившись по пояс.

Когда мальчики вернулись из школы, они не поверили своим глазам. Отец работал в поте лица.

– Чего глазеете, как совы, – шутливо прикрикнул на них Джамал. – Идите обедать и бегом ко мне. Будем ставить новые ворота.

Уже в сумерках, когда ворота были насажены на петли, во двор вошел Петр. Он крепко обнялся с Джамалом, потом отстранился, шутливо спросил:

---

[1] *Шои* – пять копеек.

–Что ты дышишь, как загнанный мерин?

– И не спрашивай, брат, целый день старую жизнь ломаю.

Петр уперся взглядом в Джамала, ничего не понимая.

– Ну как ты не замечаешь, брат, новые ворота...

И обменявшись взглядами, они вдруг весело и звонко рассмеялись.

Проводив Петра в комнату, Джамал с мальчиками прибрали двор, умылись, потом все вместе сели ужинать.

– Вот ты сегодня организовал строительство у себя во дворе, а мы задумали крупное строительство за городом. – Петр отложил стакан и откинулся на подушку.– Завод будем строить. Стекольный. По нашим подсчетам выходит, что он будет самым крупным в России. И первым.

– Это хорошо, – протянул Джамал, потягивая из стакана горячий напиток.

– Хорошо-то хорошо, да вот людей не хватает. Рабочие руки нужны.

– Какой разговор. – Джамал отложил стакан. – Я наберу людей.

– Нет, этого мало.

– Как мало? Ты же не знаешь, сколько я наберу?

– Мало, Джамал. Нужны каменщики, хорошие первоклассные мастера, плотники, разнорабочие. Тысячи мастеров. Где мы их найдем? В Армении, в Центральной России...

– Значит, ехать надо, искать.

– То-то, искать. Наш край мало кто знает, да сам знаешь, с насиженных мест не так-то легко снимается мужик.

– Значит, ехать надо, – повторил Джамал.

– Да, вот я и подумал: а не поможет ли нам в этом деле и Джамал? Он с простым людом находит общий язык, душу его знает, мысли читает... Посылаем мы не одного тебя, ехать надо в разные края. А ты нам помог бы в этом важном деле. Подумай. И новые края увидишь, и с новыми людьми наговоришься, а то

Дербент, да Дербент, за стенами города ничего и не видел.

Джамал усмехнулся. Петр заметил его усмешку, добавил:

– Это я так, образно. А поглядеть на Россию было бы интересно.

– Подумать надо, – коротко сказал Джамал. – Хватит об этом. Давайте-ка лучше есть. Где твое говурме[1], жена?

– Несу, несу, – донесся голос из кухни.

Но прежде, чем зашла хозяйка, по комнате разлился аппетитный аромат вкусного восточного блюда.

17

Фаэтоны вырвались, наконец, из грязных и шумных окраин Тавриза и покатились по респектабельной, тенистой улице, застроенной особняками.

Фаэтон, в котором сидел Осман с женой и сыном, катил первым. Здесь, в Тавризе, Осман мог позволить себе не бояться нападений и вылазок бандитов.

Было далеко за полдень. Но солнце, словно присохший желток на раскаленной сковороде, источало жар. На узких улочках, заселенных ремесленниками и беднотой, оно раскалило стены ветхих домов, однако здесь, на булыжной мостовой, политой водой, под широкими кронами деревьев было довольно прохладно.

Осман велел Аскеру остановить лошадей у высокого двухэтажного дома с колоннами и высокими ступеньками и, спрыгнув с фаэтона, подошел было уже к ручке колокольчика, повисшей на чугунной калитке, когда на балкон вышел дородный мужчина в голубом халате, расшитом золотом. Увидев Османа, он сделал удивленно-радостное лицо, воздел руки к небу и громко воскликнул:

---

[1] *Говурме* – жаркое.

– Сам Аллах прислал мне тебя, друг мой. Мой дом – твое владение, твоя крепость, прими лошадей, Пирвели, – крикнул он слуге, – помоги гостям.

Он споро спустился вниз, обнял Османа, низким поклоном и словами «моя добрейшая ханум» приветствовал жену Османа, привлек к себе Назыма и повел их в гостиную. Уже переступив порог гостиной, он вдруг хлопнул мясистой ладонью себя по лбу:

– Я ошалел при виде вас. Вместо того, чтобы дать вам возможность после долгой дороги помыться и отдохнуть, потащил на праздную беседу. Ну, не дурной я, что ты скажешь, Осман... Ха-ха-ха... Простите меня, брат и сестра, идите, располагайтесь, как у себя, отдыхайте. Для бесед времени у нас будет много.

Полчаса спустя, умывшись и приведя себя в порядок, Осман вышел на балкон, удобно расположился в плетеном кресле-качалке и тихо проговорил:

– Вот такие дела, брат Велихан, еще несколько дней назад у меня был свой дом, свой город, свои деревья, свои, прохладные аллеи в саду. Сегодня у меня три фаэтона, шесть лошадей и небо над головой.

– Увидев твой обоз, я сразу догадался, что произошло, – сказал Велихан, отирая платком бритую голову, – но при ханум не стал ни о чем спрашивать.

Велихан задумался, потом произнес:

– Неужели то, что они затеяли, серьезно? – И не дожидаясь ответа, продолжил: – Откуда у этой голытьбы столько ума, решимости, ненависти к жизни... Жили же веками отцы, деды и не роптали, а этим подавай свободу, равенство, братство. Тьфу. Придумали слова, а теперь в них вдыхают жизнь свою. Надолго они, Осман? – вдруг резко спросил Велихан.

Осман пожал плечи.

– Вот, вот. Вы там дали им волю, вот они и взбрыкнули. И кто отвечать перед Аллахом за весь этот тахта-базар будет? И куда мы с тобой денемся... Ты на меня, брат, не обижайся, это я так, философствую, а честно говоря, не скрою от тебя, не дай Аллах

нашей голытьбе замутить ум: все побьет, разрушит. Подумать страшно.

Велихан замолчал, разгладил ладонью длинные пышные усы, и в это время со двора раздался голос;

– Хозяин, а хозяин.

Он удивленно округлил большие глаза, но тут Осман встал из кресла, подошел к перилам и глянул вниз.

– Что, случилось?

– Хозяин, прости нас и не сердись, не держи на нас зло. Мы решили покинуть тебя.

– Расстаться с тобой, – уточнил другой. – Верой и правдой служили тебе, не обессудь, сейчас решили завести семьи, заняться делом, пока молоды.

– Ну что ж, воля ваша. Вам спасибо за службу, работали вы у меня исправно. Передайте Аскеру, чтобы выплатил вам; куда вы пойдете на ночь глядя, переночуйте, завтра уйдете.

– Спасибо за великодушие, хозяин.

Когда работники ушли, Велихан непонимающе взглянул на Османа и удивленно спросил:

– И ты их отпускаешь?

– А что мне с ними делать? Они же не рабы мои.

– Я бы не отпустил. И пикнуть бы не смели. Ну и мягкотел ты, друг мой. Ну ладно, дело твое. Пойдемка ужинать и спать.

Утром Османа осторожно разбудил Аскер. Осман сел на постели и тихо, почти шепотом, пристально глядя в бледное лицо старика, спросил:

– Что еще стряслось?

– Коней угнали... – прошептал Аскер.

– Каких еще коней? Кто угнал?

– Гасан и Садык, ты их отпустил, а они и коней угнали. Двух коней...

– Этого еще не хватало. – Осман замолчал, потом прошептал: – Никому не говори об угоне. Сделай так, чтобы Велихан не узнал, ну дай его работникам по несколько монет, сам знаешь, как поступать.

– Может, все-таки разыскать их и как следует наказать за воровство? Тут умеют наказывать, – Аскер зло хихикнул, – отсекут кисть руки или ухо...

– Что ты, что ты, побойся Аллаха, – Осман встал, прошелся по комнате. – Из-за каких-то кляч... Никому об угоне, слышишь, не позорь меня перед Велиханом. Он достаточно насмехается над нами, а тут еще угон кляч... Ни в коем случае, ты меня понял?

– Как знаешь, воля твоя.

– Ты лучше займись поиском небольшого и недорогого дома, где можно открыть и лавку. Поживем, приглядимся, прислушаемся, что происходит в дорогом сердцу городе Дербенте, может, скоро придется возвращаться... как знать...

– Да услышит Аллах твои слова, – Аскер поднял глаза к потолку, затем опустил голову и произнес, – в мои годы жить на чужбине, вдали от камней моих предков – горше смерти.

– Ну хватит, не береди рану сердца, иди. – Осман отвернулся к окну, чтобы скрыть свое волнение.

Через несколько дней, благодаря поискам Аскера и большому коммерческому опыту Велихана, Осман купил небольшой старенький особняк за сносную сумму, сделал ремонт и поселился в нем. Жена тут же занялась хозяйством, сын Назым облюбовал запущенный сад, а Осман с двумя работниками принялся за обустройство лавки. Неделю спустя его лавку посетил первый клиент – Велихан. Он бросил взгляд на шерстяной палас табасаранских мастериц и, подмигнув Осману, громко воскликнул:

– Прекрасная вещица. И вообще, твоя лавка полна прекрасных вещей.

Выйдя вслед за работником, который нес покупку, перекинув через плечо, Велихан продолжал восклицать на всю улицу:

– Мои глаза увидели в лавке Османа то, чего не увидели у других. Верно говорят, Кавказ богат умельцами и мастерами...

После Велихана в лавку зашел сосед по дому, служащий полицейского управления. Он долго прицени-

вался к кубачинским кинжалам и, наконец, решившись, выбрал себе один, попросив в долг. Прошло несколько дней, и клиентура достигла такой цифры, что Осман стал спокоен за существование и жизнедеятельность своего небольшого предприятия.

Теперь у него был дом, лавка, приятель, с которым вечерами пил чай, играл в нарды и вел длинные разговоры о том, что происходит на Кавказе, в России, предсказывал исход борьбы, конечно, выдавая желаемое за действительное, а на душе не было ни покоя, ни радости. По ночам ему все чаще и чаще стал сниться Керим, покинутый дом, могилы родных с каменными, иссеченными временем, ветром, солнцем и дождями плитами, исписанными вязью... Но чаще всего Осман думал о сыне. «Как там мальчик», – спрашивал он себя и сам себе же отвечал: «Наверное, Джамал давно передал его Илдириму. Джамал человек честный, добропорядочный, верю ему. А вот Илдирим... Хоть бы дал знать о себе, а то живем в неведении. Бедный мой мальчик, если бы злая судьба не разлучила, был бы сейчас с нами, и печаль моя не была бы так мрачна, и взор мой не был бы устремлен на дорогу, и слух мой не искал бы твоего голоса, бедный мой мальчик...».

Как-то ночью, мучаясь бессонницей, он впервые за последние месяцы, вернее за время приезда, обратился к жене.

– Спишь? – коротко и тихо окликнул он ее.

– Я давно забыла, когда спала. Дремлю, просыпаюсь... Только закрою глаза, как она протягивает руки и зовет к себе...

– Кто она?

– Земля наша... – жена тихо всхлипнула. – На какую муку мы обрекли себя. То за мной бегут могильные плиты, и я с криком просыпаюсь, ты не слышал моего крика?

– Нет.

– Значит, я кричу во сне. То меня ищет мой Керим, то на меня обрушивает свои камни Нарынкала... Не знаю, как я не сошла еще с ума.

– Потеряли мы землю отцов, – проговорил Осман. – Я думал, привыкну к другой земле, переборю себя, переломаю... не получается. Запах не тот и цвет не тот... Кричит ее голос во мне, душу раздирает. Хожу по улочкам Тавриза, а перед глазами – мои магалы, слышу зов муэдзина, а перед взором Джума-мечеть, пью воду, а пытаюсь вспомнить вкус родниковой воды Шейх-Салаха, а мое море... Какую же силу надо иметь, чтобы не отчаяться и не...

Осман не договорил, но жена поняла и твердо произнесла:

– И думать не смей. У нас дети, их надо на ноги поставить. – Она замолчала, опять тихо всхлипнула.– Помнишь, как я тебя просила, умоляла не уезжать, да разве вы, мужчины послушаетесь когда-нибудь женщину? Сидели бы сейчас в своем доме, в городе отцов и дедов, а здесь... кому мы здесь нужны, что нам здесь дорого?..

– Кто знает, как бы мы сейчас там жили? – с сомнением сказал Осман.

– Жили бы не хуже остальных. Женское сердце тоньше чувствует. Да ладно, не мучай себя и меня, постарайся уснуть. Кто знает, может нам еще улыбнется счастье и мы вернемся на родину? Кто знает...

Они проговорили до рассвета и следующую ночь, и еще одну, и еще... Успокоение не приходило.

Однажды на закате дня, когда шум улицы стал утихать, а жара спадать, к Осману, сидевшему у широких дверей лавки, подошел Аскер. Он прислонился к косяку, покашлял в ладонь, потом тихо произнес:

– Не омрачай сердце думами. Так и здоровье подорвешь свое, а на твоих плечах семья...

Осман взглянул на него, но ничего не ответил.

– Тебе надо уехать подальше... – Аскер опять покашлял. – Подальше, куда не доходят ветры родной земли, ее запахи... Подальше...

– Я думаю об этом, – произнес Осман. – Ты говоришь, Багдад, Истамбул. Но ведь там такая же нищета, как и здесь. Ты посмотри на этих несчастных, живущих на грязных окраинах, пропитавшихся зло-

вонием и пылью. На теле лохмотья, в глазах – молчаливый крик о хлебе. Разве на них можно глядеть без состраданья?

– А разве у нас не так было? – усмехнулся Аскер.

– У нас? Там? Нет, не так. До такой степени может докатиться только безвольное существо. У нас люди были не безвольны.

– По их милости мы и оказались здесь.

Осман бросил взгляд на Аскера, но не стал спорить с ним. Несколько минут он молчал, потом медленно проговорил:

– Вот, может, во Францию податься?

– Во Францию? – протянул Аскер.

– А чем она тебя пугает? Ты же предлагаешь дальше от ветра, запахов родной земли. Вот и я подумал о Франции. Чем она тебе не нравится?

– А почему она должна мне нравиться?–удивился Аскер.

– Вот именно, приложим все свое умение и жизненный опыт, чтобы она нам понравилась.

На улице показались Велихан и начальник городской полиции, весело беседовавший с купцом и широко жестикулировавший.

«Опять спешит за очередной порцией золотых монет, – подумал Осман и зло сплюнул, – тьфу ты, пакостник. Каждый месяц заходит за своей долей, пиявка, тьфу. А я-то, глупый, думал, что здесь пиявки к нам не присосутся».

– На стакан чая можно к тебе? – широко разведя руки и улыбаясь, нараспев протянул Велихан.

– И на чай можно, – ответил Осман и склонил в поклоне голову перед начальником городской полиции.

18

В разные концы страны разъехались посланцы Дербента в поисках искусных мастеровых. Джамал поехал в Армению. Он рассчитывал, что людей этого горного края не придется упрашивать ехать на строй-

ку. «Кто из бедняков не согласится, – думал он про себя, – покинуть безжизненные горы ради хорошего заработка?». Джамал еще крепче уверился в своем мнении, когда проезжал по безжизненным степям Азербайджана. Он глядел из окна вагона на потрескавшуюся, иссохшую и выжженную горячим солнцем и выскобленную ветрами землю и горько сокрушался о судьбе людей, которые пытались зажить в этих богом забытых местах. В степи вдруг появлялись несколько чахлых деревьев, низкие глинобитные домики, колодец. Небольшие огороды, пропеченные солнцем, и нефтекачки. На жалостливый, протяжный гудок паровоза из домиков выбегали ребятишки и махали ручонками вслед уходившим вагонам. И жалкий оазис удалялся, а вскоре и исчезал в знойном мареве как привидение, как мираж.

«Тяжела доля человеческая, – думал Джамал, – а там, в горах Армении, где вокруг одни голые камни, как рассказывают старики, во сто крат тяжелей. Разве сравнить их с нашими горами, покрытыми лесами, кустарниками, альпийскими лугами?»

Как обескуражен, поражен был Джамал, когда столкнулся с упорным нежеланием жителей гор покинуть родные места. Селения, в которые он заходил, были как две капли воды похожи друг на друга: каменные домики, каменные заборы, каменные завалинки, камнем мощенные улочки, дворы выложены камнем. Везде, куда ни кинь взгляд, камень, нагретый солнцем и источавший тепло. И ни деревца, ни кустарника. А люди и не помышляли покидать эти места.

Глубоко запал в душу Джамала разговор на закате дня в селении Аревик. Удобно расположившись на теплой завалинке, мужчины вели непринужденную беседу. Говорили о новой жизни, о новых стройках, а потом и громко вздохнул белобородый столетний Ованес.

– Эти горы, – он поднял тяжелую суковатую палку и стал тыкать ею в сторону возвышавшихся вокруг селения скал, – наш дом. Отчий дом. Их могли поки-

нуть прадеды наши, деды, отцы, мы... Ведь сколько пришлось испытать... Но сидим, не уходим. Здесь – прах наших предков, наша история, наша судьба. Они, вот эти суровые, безмолвные горы, дали нам ремесло. Мы стали мастерами по камню. Искусными мастерами. Посмотри, дорогой гость, что творят наши резчики. Ты видел дом Самвела или Карапета? От их искусной резьбы трудно глаз оторвать... А родник Аревик, который расписал Мартирос? А школу? А кладбище? Да, дорогой гость, горы нам дали ремесло каменотеса и резчика, как другим степи – ремесло хлебопашца и скотовода, леса – охотника, реки и моря – рыболова... Природа-мать всех наделила ремеслом.

Столетний Ованес замолчал, задумался. Потом, улыбнувшись в усы, тихо проговорил:

– А если тебе нужны мастера, – дадим. И в других селениях соберем. Как же не помочь соседям в большой стройке?

Он тяжело поднялся, постучал палкой о каменные плиты и пошел шаркающей походкой, бросив из-за плеча:

– А теперь пойдем ко мне в гости. Дом мой посмотришь, детей порадуешь, о своем городе расскажешь. И вы тоже вставайте, послушать умного человека – что мудрую книгу прочесть.

Шестьдесят искусных мастеров привез с собой Джамал. А спустя неделю после заката солнца три каменотеса вошли во двор Джамала.

– Мир этому дому, есть здесь кто? – спросил один из них сильным голосом.

Джамал спустился с веранды.

– О, мои армянские друзья! Рад вас видеть, проходите, садитесь под виноградник... жена, поставь-ка нам самовар.

– Мы не чаи пить пришли... – Они сели на расстеленный палас, скрестив по-турецки ноги.

– И все-таки сначала угощу вас чаем, а потом ругайте меня. Я ведь чувствую, что вы чем-то недовольны.

– От чая мы не откажемся, ваш чай славится, – армянин с зычным голосом улыбнулся. – А недовольство выскажем до угощения, иначе не в сладость твое угощенье. Приехали мы сюда строить завод. Видим, завод будет большой. Приехали не только мы: много мастеровых с Брянщины, с Тамбовщины... Приехали с большим желанием работать. Устроили нас в палатках, в бараках; мы понимаем, стройка только начинается. Но как мы живем? Воды нет, днем и ночью комары и гнус, хлеб из города привозят с перебоями... Над свалками мусора гудят тучи мух. Среди мастеровых пошел ропот, уважаемый Джамал. Если так будет и дальше, уедут они. И каменотесы, и печники, и плотники... Обратились мы к начальникам... Главный инженер отмахнулся: мне, говорит, для вашего быта времени не остается. Мне завод надо поднимать. Неужели он не понимает, кто должен поднимать завод?

Джамал, глядя на его большие, тяжелые, испещренные бесчисленными бороздками и покрытые твердым панцирем ладони, внезапно вспомнил селение Аревик, каменные заборы, дома, улицы, скамейки, пропитанные солнечным теплом.

Армянин продолжал:

– Нас дома камни окружают со всех сторон, но такой грязи, не было и не будет... Вот пришли к тебе, уважаемый Джамал.

– И правильно сделали, что ко мне пришли.

После ухода гостей Джамал отправился к Петру. Того дома не оказалось. «Что это за работа такая, – сказал про себя Джамал, – днем в исполкоме, ночью в исполкоме, когда же голове и сердцу отдыхать? Так и растаять можно, как свеча...»

Вытерев ноги о половик, он осторожно открыл тяжелую дверь, обитую черной кожей, вошел в кабинет и, подойдя к стене, опустился на скрипучий стул. Петр сидел за большим столом, уткнувшись в бумагу. Подняв голову и всмотревшись в Джамала, он откинулся на спинку стула, устало спросил:

– Джамал? По лицу вижу, что-то случилось.

– Случится, если будем сидеть в кабинете.

И Джамал подробно изложил жалобу мастеровых.

– Безобразие. Форменное безобразие, – тихо и жестко проговорил Петр.

– В безобразии виноват и я, друг мой. Как могло случиться, что я забыл этих людей? Ведь работаю бок о бок с ними, а ни разу не поинтересовался, как устроились, не зашел посмотреть, как живут... Или душа устает, черствеет?

– Ты-то при чем? Ты работаешь не меньше других, посмотри на свои руки, они стали жестче камня, и лицо обуглилось под палящим солнцем.

– Нет, Петр, не пытайся снимать с меня вину. Я их сорвал с насиженных мест, привез сюда, я и в ответе. Срам, какой срам...

–Довольно казниться. Рано утром отправлюсь к ним. Поедешь со мной?

– А ты как думаешь?

И Джамал, сгорбившись, словно под тяжестью вины, вышел из кабинета.

19

На вокзале Сен-Лазар Османа с семьей и работниками ожидал немолодой, но еще черноволосый, крепкого сложения, уверенный в себе высокий мужчина. В сером элегантном костюме и табачного цвета полуботинках он прохаживался по перрону, поигрывая бронзовой тростью с серебряным набалдашником, и скользил взглядом по лицам приезжих. Увидев Османа, он направился к нему, показывая в дружеской улыбке ровный ряд золотых зубов.

– Добро пожаловать. Восточные люди почти всегда воскрешают в моей памяти... что бы вы думали? Национальные блюда.

– И какие же, к примеру, уважаемый? – удивленно и настороженно спросил Осман.

– Долму из виноградных листьев, пити и тандырный лаваш.

Осман бросил недоуменный взгляд на спутников, но тут мужчина разразился заразительным, непринужденным смехом, успокаивая Османа.

– Простите меня за разглагольствования мои. Увидел вас и вспомнил Гянджу, я ведь из Гянджи. Вам Велихан разве не рассказал о моем происхождении?

– Не припомню, нет – сказал Осман.

– Ну, это непростительное с его стороны упущение. Он за чашкой чая изложит всю родословную. Это к слову. Сеттерхан, или Серж по-французски, так меня называет жена, – он чуть мотнул головой, представляясь. – Получив письмо Велихана, я долго думал, где вам подыскать дом. А потом решил: приедете, поживете пока в отеле и сами присмотрите себе жилище. Не дай Аллах не угодить вам – станешь вечным врагом. А я хочу видеть в вас друзей. Нас ведь здесь не так много.

Сеттерхан и Осман пересекли длинный перрон и вышли на улицу.

– Здесь, недалеко, приличный отель, «Морни», вам понравится, снимите семье апартаменты и работникам комнату. И ходите по городу, приглядывайтесь к домам. Здесь все покупается и продается. А я всегда к вашим услугам. Да, чуть не забыл, вот моя визитная карточка.

Осман спрятал протянутый ему прямоугольник плотной гладкой бумаги, а Сеттерхан тем временем подозвал два фиакра.

Отель «Морни» Осману и его домочадцам понравился, он был уютный, красивый, даже импозантный, в ресторане отеля готовили превосходно, но век в отеле не проживешь, надо было иметь свой дом, свой угол, да и делом заниматься.

Первые дни Османа знакомил с Парижем Сеттерхан. Брали с собой и Назыма. Уютно устроившись в фиакре, вслушиваясь в ритмичный цокот копыт, купцы беседовали между собой, но беседа не мешала Сеттерхану знакомить Османа с улицами, бульварами и площадями и особенно обратить внимание на дома, где продавались квартиры. Утомившись от качки

фиакра и монотонного стука подков, они заходили в кафе или бистро и, опустившись в глубокие удобные кресла, пили «Наполеон», запивая черным кофе, а мальчику брали сок и мороженое. Особенно нравилось Осману посещать бистро, откуда открывался вид на Марсово поле и Эйфелеву башню. Эта громадная чаша площади со строгой архитектурой зданий и фонтанами и устремившаяся в небо металлическая конструкция уводили его мысли от оставленного дома, магала, родного города, давали короткую передышку уставшей, утомившейся душе.

Вскоре Осман стал выходить в город один. Он пешком ходил по его улицам, прислушивался к языку, заходил в магазины, присматривался и прикидывал, чем можно здесь торговать. Как-то он остановился у магазина, над входом в который висела броская цветная вывеска «Вартан». «Вот так бы и мне, – мелькнула мысль, – назвать свой магазин своим именем: «Осман» и чтобы потом передать, сыну, внуку. Этот Вартан тоже, наверное, покинул родину в поисках счастья, нашёл ли он его? – Осман шагнул было к дверям, но вдруг заставил себя остановиться и повернуть прочь. – Не хочу, – сказал он себе успокаивающе, – если этот Вартан станет вспоминать свой отчий дом, причинит мне боль, а я не хочу боли, не хочу...»

Очутившись через полчаса на широкой людной и шумной улице и бросив взгляд на трафарет, Осман приятно удивился. «В честь кого? – спросил он себя, недоуменно пожав плечами и подняв брови. – В честь кого? Бульвар Осман? Надо узнать. Узнать немудрено, Сеттерхан разъяснит. Вот если бы на этой улице открыть свой магазин! Как звучало бы: магазин «Осман» на бульваре Осман. Красиво... Да, да, только на этом бульваре, именно на этом я должен купить дом. И нигде больше!

Несколько дней Осман ходил по облюбованному бульвару от его начала до конца, заглядывал в продающиеся дома, примеривался к ценам. Наконец, ему приглянулись два этажа в большом каменном доме, опоясанном ажурными белыми балконами.

В роли стряпчего Осман взял Сеттерхана и не ошибся. Сеттерхан сумел так обставить дело, что хозяин дома, в конце концов, не только заметно сбавил цену, но и помог найти таких ремонтников, у которых оказались быстрые и золотые руки. Не прошел и месяц, как дом Османа был готов. На первом этаже разместился магазин в пять окон. Из него вели две винтовые лестницы: одна – наверх, где со вкусом были отделаны и обставлены пять комнат, впрочем, тоже не без помощи Сеттерхана, другая – вниз, в подвал, где хранились тюки мануфактуры, ковры и восточные товары.

И, наконец, настал тот день, когда Осман сел в кресло в дальнем углу магазина, и, перебирая крупные янтарные четки, встречал и провожал взглядом покупателей, кивком головы веля своим работникам отпускать нужный товар, следил, как приобщается к делу Назым; быть предельно вежливым к клиентам он наставлял и учил его с первого же дня.

Время как будто утрясало все, Осман с домочадцами привыкал к другому городу, другому укладу жизни, но тоска... Тоска то и дело подкатывала к горлу, сжимая его безжалостными пальцами. И часто эту тоску нагоняли протяжные песни покинутой родины, которые напевали работники. Правда, старый Аскер, поймав взгляд Османа, тут же прерывал песню, но другой, молодой, и не думал. Он вкладывал в песню всю душу свою, вызывая у жены Османа слезы. Наслушавшись и наплакавшись, она уходила в свою комнату, ложилась на диван, приложив к разболевшейся голове грелку со льдом.

20

Отель «Флорида», в котором мы жили, располагал к праздной жизни и безмятежному отдыху. И роскошные номера, и превосходная кухня уютного ресторана, и богатая гамма цветов расслабляли, уводили от жизненных забот. Я с любопытством осматривал богатое убранство предоставленных в наше распоря-

жение комнат и приданных к ним вспомогательных помещений с ваннами и раковинами удивительных, диковинных форм и цветов, восхищался патио с музыкальным фонтаном посреди. Если на время забыть о мировых катаклизмах, выбросить из головы омрачающие мозги и душу думы о будущем человечества, – это был бы райский уголок земли.

После легкого завтрака мы вышли из отеля. Улица была загружена машинами; они шли медленно, словно слепые, на ощупь. У монолитного серого здания вокзала Сен-Лазар сновали толпы негров, и голову беспрестанно буравила мысль, что это не Париж, а какой-то неизвестный, неведомый экзотический африканский город. Женщины, дети, подростки, мужчины с черной кожей, толстыми губами, с гордой осанкой вели себя как хозяева. Они уверенно и спокойно взирали на гудевшую вокруг жизнь. Совершенно свободно и спокойно держались полуобнаженные молодые женщины и бесстрастно глядели тоже на гудевшую вокруг жизнь. По тротуару ступали высокие стройные молодые полицейские и тоже спокойно взирали на гудевшую вокруг жизнь.

Я с любопытством изучал парижскую улицу, но мой урок был прерван мягко подкатившим малолитражным автобусом. Нас ждали в редакции газеты «Фигаро».

И снова меня приятно поразила роскошь, на этот раз конференц-зала.

В непринужденной, казалось бы, приятельской беседе, мы с каждой минутой все больше убеждались в огромном различии целей наших газет. Нет в мире безыдейных изданий, даже в том мире, где правит капитал. И бульварные газетенки, порнографические журнальчики, вечерние листки, в которых не найдешь ни одного политического слова, ни одного лозунга – они тоже несут в себе политический заряд – идеи своего общества.

Шеф-редактор «Фигаро» кичился тем, что его газета – королева сенсаций.

– Вы не ставьте нашу прессу в один ряд с вашей, – говорил он, пристально глядя мне в глаза. – Наши цели крайне различны. «Фигаро» – королева сенсаций, как, предположим, «Монд» – королева информации.

– Может быть. А впрочем, так оно и есть. Но сенсация, согласитесь со мной, не должна служить дезориентации, дезинформации общественности, разжиганию страстей, особенно националистических, нагнетанию пропагандистской кампании.

– Что конкретно вы имеете в виду?

– Я вспомнил события в Закавказье. И как вы подбирали интервью с мест событий. А брали вы их только у боевиков, командиров так называемых «комитетов обороны». Целью газеты было скомпрометировать решение о введении чрезвычайного положения, представить дело так, будто для ввода армейских подразделений в Баку не было ни малейших оснований. Создать впечатление, что не было никаких погромов, что в городе нет такой необходимости защищать население от насилия. Что и насилия как такового не было. А суд вершили русские солдаты, которые ворвались в город без предупреждения, круша и сметая все и вся на своем пути, проливая кровь ни в чем неповинных людей.

Шеф-редактор «Фигаро» долго изучающе глядел на меня.

– Вы хорошо осведомлены о событиях в Закавказье?

– Если вы мне поверите... а впрочем, вряд ли вы мне поверите. По крайней мере, лучше ваших корреспондентов. Но... я хочу вот о чем сказать... вы ведь неплохо были информированы о том, как развивалась обстановка в Азербайджане и Армении, сколько усилий предприняло советское руководство, чтобы разрядить обстановку. Найти политические пути решения проблемы.

– О, вы мне делаете комплимент и заодно хотите блеснуть своей профессиональной и политической зрелостью? – Он снисходительно улыбнулся.

– Простите, я хочу сказать, что некая сенсационность вашей газеты страдает необъективностью. Ваши журналисты позволяют себе нарушать профессиональную этику...

– Это их взгляд на события, беспристрастный взгляд журналиста. Мы не навязываем им свое мнение. Лично я признаю право любого государства на обеспечение безопасности своих граждан, а в данном случае это – главная цель. Безусловно, необходимо восстанавливать порядок, но с минимальным применением силы.

– Вы, очевидно, не могли не знать, что боевики, которым сочувствовали «Фигаро» и другие газеты, захватывали заложников, нагнетали обстановку, нападали на военные объекты, на военнослужащих, членов их семей. Их отряды насчитывали тысячи хорошо вооруженных террористов.

– Да, да, я был информирован об этом.

– Но ведь издатель или шеф-редактор имели возможность наложить запрет на фальсификации...

– Вот тут-то вы и ошибаетесь. У нас каждый журналист имеет право высказывать свою точку зрения, свое мнение на события...

– Даже инсинуации...

– Он несет ответственность за каждое свое слово.

– Но бочку меда, в которую подбрасывают ложку дегтя, уже ничем не очистить.

Шеф-редактор поглядел на меня долгим взглядом, потом громко расхохотался.

– Но есть ведь катализаторы, которые перегонят его в другой продукт. Вы владеете биохимией?

«Мне не хватает еще биохимии», – подумал я про себя, поняв его намек.

– Да, да, я вас прекрасно понимаю. Нам следует всегда заботиться о беспристрастности, соблюдении чувства меры и здравого смысла в информационной работе, чтобы информация действительно служила взаимопониманию между народами. Но, свобода слова, право на собственное мнение – оно, по-моему, часто мешает нам в нашей работе.

– Конечно. Мне вчера рассказали, как ваше телевидение взяло интервью у старых нацистов-эсэсовцев, но правительство наложило запрет на передачу. По принципу: не будите спящую собаку.

Шеф-редактор расхохотался громко и непринужденно.

– Вы мне нравитесь, ха-ха-ха, клянусь святым Себастьяном, с вами интересно беседовать, ха-ха-ха...

– Мне было интересно поговорить с вами, – сказал я ему, глядя в холеное лицо, – чтобы понять ваш метод работы.

В уличной сутолоке, я вдруг почувствовал, что мне не хватает тебя, Осман. Да, да, именно, не хватает.

Нет, ты не ответил бы на мои вопросы, но мне все-таки не хватало тебя. Не хватало, чтобы поспорить, поговорить, излить душу, чтобы не нести думы в себе.

21

– Симон, сядь пониже, мне не видно, – прошептал Керим, макая перо в чернильницу.

Симон сполз ниже, вытянув ноги под партой далеко вперед.

–Не видно... Я сегодня, наверное, не сдам контрольную. – В голосе Керима чувствовались растерянность и нервозность.

Симон повернулся вполоборота.

– Сейчас как?

– Придвинь поближе.

В классе стояла тишина. Чуть поскрипывали перья, то и дело стучась острыми клювами в чернильницы. Восьмиклассники писали контрольную работу по алгебре.

Керим заполнял торопливо, но чисто и грамотно, то и дело повторяя:

– Не спеши, не успею...

Керим весь превратился в нервный комок, сердце стало биться в груди сильней, к горлу подступала тошнота, по лбу катились горошинки пота. Подерги-

вая обеими ногами, он старался не отставать от Симона: «А вдруг, шутки ради, возьмет да сдаст свою работу, как быть в таком случае? Положить на стол недописанный лист, нерешенную задачу? Надо успеть».

Керим только раз бросил взгляд на класс, уставился в окно, сказав про себя: «А на дворе уже вечер, как рано стало темнеть и снова принялся заполнять лист...».

Внезапно он перестал писать, уставился в затылок Симона и прошептал:

– Дальше. Ты что, не решил?

– Все.

– Как все? У кого ж теперь спишем?

Симон, облегченно вздохнув, сел удобно, закрыв широкой спиной парту, и сказал, не оборачиваясь.

– Контрольная решена. Можно сдавать.

– Ты что-то сказал? – пожилой длиннолицый учитель математики в очках в тонкой стальной оправе поднял от стола голову.

– Контрольная решена, говорю.

Симон повернулся к Кериму и подмигнул ему.

– Ну что ты горланишь на весь класс? Решена – сдавай.

Симон поднялся и направился к столу.

Глядя на него, крепкого, широкоплечего подростка в холщовой застиранной рубашке, подпоясанной узким ремешком, холщовых неясного цвета штанах и матерчатых, натертых мелом, туфлях, Керим зажмурился и мысленно сказал себе: «Какой стыд. Ведь я выгляжу точно как он, на мне те же отрепья. Какой стыд... Неужели отец одевал бы меня в такую рубаху, штаны? Нет, конечно, нет. Ну а если бы его, как сейчас красиво говорят, экспроприировали бы, забрали бы все для бедных, сумел бы он меня одевать иначе... Отец, если бы ты был здесь...».

Керим попытался представить образ отца, но лишь смутные очертания лица его всплыли в памяти и тут же погасли, вытесненные наплывшим образом Джамала.

– Керим, ты пишешь контрольную или сочиняешь поэму? – Голос учителя вернул его к действительности.

– Я уже написал.

– Ну так сдай ее и сочиняй себе на здоровье песни.

Когда Керим возвращался к своей парте, Симон тихо спросил его:

– Ты о чем размечтался?

– О нас с тобой, – также тихо ответил Керим.

– Подумалось: наденешь ли ты когда-нибудь приличное?

– Да ну!

– Ну конечно, сыну купца, срамно носить холщовые рубаху и штаны, – протянул с издевкой Симон. – А нам можно, ведь мы, дети батраков, и их не имели...

– При чем тут купца, – протянул Керим и вдруг огрызнулся, – для того вы буржуев прогнали, чтобы тряпье носить?

Симон повернулся к нему лицом, посмотрел открыто и долго в глаза, потом улыбнулся и сказал:

– Придет время и костюмы наденем, и рубашку с галстуком. Ведь вот учимся же, скоро школу окончим, а разве прежде к грамоте допускали? Да что объяснять, не дурачок же ты. Конечно, тяжело тебе, да уж привыкай.

– А я давно привык.

– И правильно. И нечего себе душу тревожить.

22

Обедали молча в большой столовой комнате за круглым столом. Первые месяцы на кухне хозяйничала принятая по объявлению молоденькая красивая француженка Катрин, подстриженная под мальчишку. Легкая, быстрая, она успевала и поесть приготовить, и в квартире прибрать, и в магазин сходить. Но с некоторых пор за плиту встала жена Османа, и на кухне вновь аппетитно запахло долмой, пити, гоур-

мой, пахлавой, шекер-черегом и шекер-бурой[1], различными восточными пряностями, остро щекотавшими ноздри.

Вот и в этот день на столе стояло блюдо с горячей дымящейся долмой, соусница с острым соусом, от которого исходил запах чеснока, зелень, плоские лаваши, прослоенные маслом, луком и орехом, графин с сухим вином, фрукты.

Обедали молча. Осман аппетитно отправлял в рот долму с виноградными листьями, запивал из бокала глотком вина и снова всаживал вилку в зеленое тело виноградного листа, лоснящегося от жира. Назым раздевал вилкой долму, откладывал в сторону листья и ел горячее мясо с рисом. Жена Османа делила долму на дольки и медленно, нехотя, ела, без аппетита.

В дверь просунулась голова Катрин:

– Месье, вас там, внизу, требует какой-то господин, говорит, что родственник, я попросила его подождать, а он...

Договорить она не успела. Отстранив ее, в комнату быстро и уверенно вошел Илдирим. Сидевшие за столом, пораженные неожиданным появлением Илдирима, с минуту молчали. Затем Осман вскочил со стула, пожал протянутую деверем руку и усадил его за стол.

– Аллах праведный, – всплеснула руками жена Османа, – откуда ты явился спустя столько лет... Я-то думала, что ты остался там...

– Верно, мы думали, что ты там, – протянул Осман.

Илдирим, не обращая внимания на них, обследовав цепким взглядом стол, потянул носом воздух, схватил со стола десертную вилку и принялся жадно уплетать одну долму за другой, опуская в соусницу.

Осман переглянулся с женой, та снова всплеснула руками и дрожащим голосом протянула:

– Откуда ты явился такой голодный и обносившийся...

---

[1] Азербайджанские блюда и сладости.

– Я не голоден, – сказал Илдирим, набивая рот, – просто давно, очень давно не ел наших блюд.

Он наполнил бокал вином, залпом осушил его и снова принялся есть. Наконец насытившись, откинулся на спинку стула и вдруг зло проговорил:

– Страна дураков, лентяев, лежебок, трусов. Так легко отдать ее голодранцам могли только наши ленивые и трусливые толстосумы. Вам повезло, вы счастливо отделались, вы не видели, что творили простолюдины. Они захватывали дома имущих, выгоняли семьи. Они разграбили город, в котором родился и вырос я, мой отец, дед и прадед. Родина, моя родина, тьфу, сейчас там господствуют простолюдины, вчерашние наши батраки...

– Подожди-ка, – прервал его Осман, – я слышал совсем другое.

– Ты слышал и слышал уже издалека, а я видел вот этими глазами, – Илдирим ткнул пальцем себе в глаза, – Да, да, вот этими. Я боролся, я сражался, как мог. И ты знаешь, с кем столкнулся, схватился в одном из боев? С Джамалом, твоим соседом-голодранцем. Я всю свою злобу выместил на нем, сделал его на всю жизнь инвалидом. Ох, как я хотел уничтожить его, но зная твое к нему отношение, даровал ему жизнь.

Осман слушал его терпеливо, не перебивая, почему-то переставая верить каждому произносимому им слову. Наконец, он спокойно и твердо произнес:

– Прекрати сорить словами. Скажи лучше, где мой сын Керим.

– Твой сын Керим? – Илдирим удивленно поднял брови. – Твой сын Керим? Не знаю. А он разве не здесь?

Лицо Османа побледнело, в глазах вспыхнула ярость.

– Я его послал к тебе. Где мой сын?

Илдирим бросил растерянный взгляд на сестру, на Назыма и тихо произнес:

– Я его не видел.

– Не видел? Я его, больного, оставил в селе, попросив, как только выздоровеет, привезти в Дербент, к Джамалу, чтобы он передал тебе. И ты говоришь, что не видел Керима?

– Не видел... Когда я столкнулся с Джамалом, он мне ничего о мальчике не сказал.

– Еще бы, ты его истязал, а он должен был о твоем племяннике вспомнить? – насмешливо сказал Осман.

– Он, несчастный, от боли забыл о нашем Кериме...

Осман отвернулся от Илдирима и отошел к окну, жена его, не вмешиваясь в разговор мужчин, тихо всхлипывала.

– Если Керим у Джамала, с ним ничего не случится, не плачь, сестра, поверь своему брату. Слышишь, я повторяю, если Керим у Джамала, с ним ничего не случится, – проговорил Илдирим.

Осман не шелохнулся. Он смотрел в окно, провожал взглядом поток машин, спешивших куда-то парижан, и думал про себя: «Все, что сейчас здесь говорил Илдирим, вранье. Чистейшей воды, вранье. Он с малых лет рос врагом и бездельником, им остался и в зрелые годы. Но последнее, что он сказал сестре о Кериме должно быть правдой, должно быть».

Осман почувствовал за спиной чье-то присутствие. Медленно повернул голову: стоял Илдирим.

– Я пришел к тебе с делом, Осман. Я долго, очень долго искал тебя, наконец нашел и пришел с делом: возьми меня в компаньоны.

– Тебя? К себе в компаньоны? – удивленно поднял брови Осман. – Ты никогда не занимался нашим делом, да что мне говорить о тебе, сам знаешь себе цену. – Осман замолчал, после долгой паузы спросил. – Что у тебя есть?

– Как что есть?

– Какую долю ты вкладываешь в дело, ну, чем ты располагаешь, какими средствами?

– А никакими.

Осман посмотрел на него долгим взглядом и вдруг громко расхохотался:

– Узнаю Илдирима... Узнаю, наконец, Илдирима, этого бездельника и трепача. Слышишь, жена, вот твой братец, каким мы его знали дома. Ну и нахал, ну и хитрец.

И он снова залился смехом.

– Обзывай, как хочешь, я тебя прощаю. Только скажи, что согласен.

– Пристрой его к своему делу, – робко произнесла жена. – Все-таки он на чужбине и одинок.

Осман вышел из комнаты, прошел в спальню, открыл потайной сейф в стене, достал из него не считая пачку банкнот и, вернувшись в столовую, бросил на стол.

– Возьми и займись делом.

Илдирим засунул руки глубоко в карманы брюк, весь вытянулся, как вытягиваются петухи перед кукареканьем, и удивленно поднял брови:

– Ты мне отказываешь?

– Возьми и займись делом, – повторил Осман.

– Своему родственнику? Брату по вере? Вместо того, чтобы протянуть мне руку участия, окружить заботой? Ты ли это, Осман, неужели очерствело твое сердце или оно всегда было черствым, безучастным к окружающим? Неужели тебя вскормил и вырастил тот древний город, в котором мы жили? В таком случае ты несчастен, Осман, и я плачу по тебе.

– Я сам давно плачу по себе, – Осман опять отвернулся к окну, – с того дня, как очутился на чужбине из-за таких болтунов и пустоголовых политиков, как ты и твои друзья меньшевики. Но... я не хочу об этом говорить. Возьми деньги, их тебе хватит надолго, и займись делом. Но ко мне не просись.

– Ты меня выбрасываешь за порог, – вдруг взвизгнул Илдирим, – на улицу, в грязь, в неведомое... Это бесчеловечно...

– Где ты был до сих пор? Сейчас у тебя деньги, иди, займись делом.

– Бездушный, Аллах знает, кого наказывать. Очевидно, он не зря наказал тебя, убив Керима, да да...

Установившуюся было тишину вспорол крик жены Османа. Она сползла на пол без чувств. Назым подбежал к ней. Осман подошел к Илдириму вплотную, жестко схватил за борта костюма, и прохрипел в лицо:

– Что ты сказал, повтори...

– Пусти, прошу, пусти, – задыхаясь прошипел Илдирим, – больно, пусти же... Не знаю ничего, со зла, со зла сказал, пусти...

– Чтоб я больше не видел твоей тени в своем доме. Пошел вон...

И Осман с силой оттолкнул Илдирима от себя. Тот отлетел к дверям, потом, придя в себя, поправил костюм, неожиданно устремился к столу, схватил пачку банкнот и, не оглядываясь, выскочил из комнаты.

23

Джамал сидел во дворе, медленно и со вкусом пил чай, держа блюдце на растопыренных пальцах. На грубо сколоченном низком столике стоял заварной чайник, накрытый полотенцем, и глиняная вазочка с мелко наколотым сахаром.

Кончался день, и багровый свет поднатужившегося солнца, не желавшего скрываться за гору, заливал небо и перистые облака.

Над головой Джамала, подпираемые неотесанными стволами срубленных в лесу молодых деревьев, шатром висели виноградные кусты: крупные, увесистые гроздья белых и черных ягод застыли, опутанные серебристой шелковой паутинкой.

Было тихо. Жена ушла к захворавшей соседке, и Джамал в уединении потягивал чай, с наслаждением ощущая его терпкость и тонкий, нежный аромат. Он любил такие минуты: оставаться наедине с собой, расслабиться и уходить воспоминаниями в прошлое или в будущее. И ход его мыслей не нарушал в такие минуты ни писк голодной мыши, доносившийся из сарая, ни оживление кошки, ни глухой шлепок сорвавшейся виноградной ягоды.

Джамал выпил третье блюдце чая, когда скрипнула калитка. Он не обратил на скрип никакого внимания, нащупал в вазочке самый мелкий кусочек сахара и положил его под язык.

– Ты стал забывать законы гостеприимства, – раздался громкий, веселый голос. – На тебя не похоже. Зазнался. Или, может, в нэпманы записался?

– Годы... Я не властен над годами. И слух стал слабеть, и зрение. Кто же там идет, не вижу. Петр? Неужели Петр? Садись, дорогой, рядом, чаю попьем. Жена, принеси-ка чашку и блюдце... Ах, будь ты неладна, ее же нет дома...

Джамал встал и направился в дом.

– Да угомонись ты, я к тебе не чаевничать пришел, – крикнул ему вдогонку Петр.

– Такого чая, как у меня, ты нигде не выпьешь – сказал Джамал, выходя из дома.– Еще не пробовал, а уже обижаешь: я к тебе не чаевничать пришел.

– А у тебя и слух стал слабеть, и зрение?

Петр и Джамал переглянулись, расхохотались.

– Находит на меня иногда такое, – проговорил Джамал. – Отвлекаюсь от всего, что окружает меня, и пускаюсь философствовать.

Он налил Петру чай, придвинул поближе к нему вазочку с сахаром, и потянулся к крупной виноградной грозди.

– Не срывай, – опередил его Петр. – Не хочу.

Отхлебнул чай, покачал головой, проговорил, – Хорош. Выпил полблюдца:

– Философствование, конечно, штука приятная, но философствовать надо не отвлеченно, а применительно к нашей действительности.

Джамал бросил испытующий взгляд на Петра, потом, протянув руку, сорвал от розовой грозди ягоду и отправил в рот. Выплюнул косточки, с улыбкой спросил:

– Что ты хочешь этим сказать?

– А то хочу, дорогой товарищ мой и друг, что в колхоз люди плохо идут. Жить хотят хорошо, иметь

желают многое, а в колхоз плохо идут. Такая вот философия.

– В колхоз не идут? Вспомни, как отозвались о наших людях Орджоникидзе, Калинин. Как сейчас помню их лица, их слова... Какие люди... Орджоникидзе, Калинин... Ты представляешь, Петр, какие люди...

– Рабочие заслушались.

– А ты говоришь... в колхоз плохо идут. Пойдут, еще как пойдут, дорогой товарищ Петр.

– Так помоги, чтоб пошли.

– И помогу.

Джамал сорвал еще одну ягоду:

– Думаешь, я не понял, с чем ты пришел? Хитрый ты, брат Петр, да я еще хитрее. Ты, видно, стал забывать что меня звали лоти Джамал из Дербента.

Оба тихо засмеялись.

– Годы, правда, уже не те. Шесть десятков прожил на белом свете. Но имя-то мое не потускнело, не поблекло. Лоти Джамал из Дербента, а звучит? Знаешь что? Мы с тобой сейчас выпьем белого вина.

Джамал встал и скоро направился в сарай.

– Не надо, мне еще в исполком идти.

– Ты как думаешь? – раздался голос из сарая. – А со мной ты сейчас не работаешь разве? Или не мне читал свою политграмоту?

Джамал вышел, держа в одной руке глиняный кувшин, в другой глиняную тарелку с миндалем.

– Выливай из стаканов чай, будем пить, брат ты мой, божественное вино, приготовленное вот этими руками.

Петр ушел, когда сгустились сумерки, а чуть погодя вышел со двора и Джамал. Заложив руки за спину и перебирая четки, он неторопливо направился в центр города, где строился большой кинотеатр.

Под черной тарелкой радиорепродуктора, вороной пригнездившейся к телеграфному столбу, на длинной грубо сколоченной скамейке сидели старики. Седобородые, все в каракулевых шапках, они молча перебирали четки. Джамал подошел, поздоровался со всеми,

пожелав доброго вечера, тоже застучал костяшками четок.

– Ну что же ты молчишь? – послышался голос с другого конца скамейки. – Нам и без тебя скуки хватает.

– Не хочешь ли ты сказать, почтенный, что я принес скуку? – спросил Джамал.

– Не хочу. Оно и так видно.

– Меня зовут Джамалом не для того, чтобы я судачил о дырявом нижнем белье соседа, развешанном на сухих ветках гранатового дерева.

Дружный смех стариков был ответом ему.

– Слышал, ворчун, как тебе ответил наш Джамал?

– От него только грубости и колкости услышишь, – донеслось с конца скамейки.

– Помолчите, дайте послушать черную тарелку, – проговорил хриплый, прерывающийся голос.

Он принадлежал почтенному Дадашу.

Репродуктор передавал вечерние новости. Где-то в России, название области старикам ни о чем не говорило, засуха погубила урожай, где-то строился большой тракторный завод, где-то крестьяне всем селом пошли в колхоз. Затем заиграл духовой оркестр.

– Вот теперь можно не скучать, – тихо сказал Джамал. – Ну разве не тревожный хабар: засуха погубила урожай. Или не радует весть: всем селом пошли в колхоз, – осторожно заметил Джамал.

– Прав, почтенный, – раздался голос ворчуна, – никому не пожелал бы голода, тем более, когда власть наша, земля наша и работаем на себя...

– А там крестьяне всем селом пошли в колхоз, – вставил снова осторожно Джамал.

– Там пошли, а у нас не идут, – отпарировал ворчун с конца скамейки.

– И у нас пойдут, если не будут пугать людей, – проговорил один из стариков.

– Пугать? Ха-ха-ха, – рассмеялся ворчун, потом закашлялся, помолчал, чуть погодя повторил, – пугать? Побойся всевышнего, кто может пугать людей пойти в колхоз? Кто осмелится на такой шаг?

–Есть такой, есть.

– Прав он, есть, – поддержал Дадаш.

– Так кто же этот негодяй? – Любопытство разбирало ворчуна.

– Ты уж так сильно не оскорбляй его, – усмехнулся Дадаш.

– Хорошо, не буду, но кто же этот человек?

Установилось молчание, потом кто-то тихо проговорил:

– Нахсин.

– Сторож мечети? – удивленно протянул ворчун. – Нет, не поверю. Благоверный, добропорядочный человек. Не поверю.

– Своего соседа спроси, он Нахсина часто видит.

– Спроси у сторожа о колхозах, он тебя вразумит.

Заговорили наперебой старики, покашливая, похихикивая, одни бросали колкости в адрес Нахсина, другие заступались за него, защищая от наговоров.

– Нам самим тоже надо что-то предпринять, чтобы люди пошли в колхоз, – сказал Джамал.

– Что ты сказал, повтори, – попросил Джамала сосед, приставив ладонь к уху.

– Говорю, нам тоже надо что-то предпринять, чтобы люди пошли в колхоз, – громко повторил Джамал. – Советская власть нам добра желает, а мы еще раздумываем, брать это добро или нет.

– Верно ты говоришь, – высоким голосом заговорил сосед Джамала, – за эту власть мы тоже боролись, а теперь что получается: тому не прекословь – обидишь, тому не перечь – он человек всевышнего. Недостойно мы себя ведем, мужчины. При царе Николае не боялись городовым и жандармам правду в глаза говорить, руку на рукоять кинжала – и лезли в драку, а сейчас, когда власть наша, молчим. Я глухой, не все расслышал, о чем вы тут как курочки кудахтали, но одно скажу: позорно мужчинам молчать. Я все сказал, если кто услышал меня – спасибо.

– Спасибо и тебе за верные слова, дорогой Насим, и за нестареющую молодость, – проговорил, улыбаясь Дадаш. – Ты нам хороший урок преподал.

Старики заговорили все сразу, Джамал встал, попрощался, пожелав спокойного вечера, хотя на него никто не обратил внимания, и направился в верхнюю часть города.

Поднимаясь по темным улицам, прислушиваясь к стуку четок, Джамал думал, прикидывал, как ему подойти к сторожу Нахсину, и ничего не мог придумать.

Джамал поравнялся с дубовыми воротами Джума-мечети, как калитка в них скрипнула и на улицу вышел невысокий плотный мужчина в черной одежде. Увидев у ворот человека, тот остановился и, вытянув голову, устремил на Джамала взгляд.

– Слава Аллаху, это ты, Джамал. Напугал меня. Что ты делаешь в такую пору у моих ворот?

– Ворота не твои. Нахсин, а всевышнего. Твои ворота в первом магале и можешь быть уверен, что их я никогда не переступлю. А эти принадлежат всем детям Аллаха.

– Не вразумляй. Не так выразился, он мне уже прокламацию читает.

– И не думаю. – Джамал улыбнулся в темноте. – Ты у нас самый что ни на есть приближенный к Аллаху. Разве я позволю себе кощунствовать?

– Верно, верно ты говоришь! Что мы стоим на улице, зайдем в мечеть, присядем, поговорим о жизни, о человеческих душах...

– Утомился я от бесед сегодня, в ушах звон стоит и голова тяжела, как казан.

– Прокламации читал людям?

– Нет, Нахсин, не прокламации читал. Ходил к друзьям молодости, их детям, спрашивал, почему не идут в колхоз.

– И что же? – после минутного молчания спросил Нахсин.

Джамал затянул паузу.

– И что же говорят? – нетерпеливо переспросил Нахсин.

– Всякое говорят, – произнес Джамал.

– Мне было бы небезынтересно знать, о чем они говорят.

Джамал опять затянул паузу, потом тихо проговорил:

– Какие-то люди пугают колхозом. Говорят, что дома, дети, жены – все будет общим.

– Астаупирулла, астаупирулла, – Нахсин обеими ладонями замахал на Джамала. – Какие глупости ты изрекаешь, астаупирулла.

– Глупости они изрекают...

– А кто они? Не сказали?..

Джамал долго не отвечал,

– Имен не назвали. Но говорят, из тех, кто еще в восемнадцатом году туркам и белогвардейцам помогал, чтобы Советов не было.

Установилось долгое молчание, которое никто не хотел нарушать. Край темного неба засветился: из-за горы выползла луна.

– Смутное, непонятное было время, – произнес наконец Нахсин. – Люди не знали, что происходит, куда катится мир.

– Люди знали, куда катится мир, – усмехнулся Джамал. – Потому-то одни бились за новую жизнь, другие – за старую. Заболтался с тобой. Поздно уже, домой пора.

– Не торопись, вместе пойдем, ночь темная, не дай Аллах и голову расшибить можно...

– Мало я таких ночей прожил?..

И Джамал неторопливо пошел вниз, к площади.

24

Был воскресный осенний день. Одни фруктовые деревья, освободившись от тяжелого бремени, стояли голые и сиротливые, другие еще гнулись под тяжестью плодов. Радовали глаз гранаты, айва, инжир, миндаль. Скрестив под себя ноги, прислонившись спиной к стволу яблони, Джамал, закрыв глаза, покачивал головой в такт музыке. Напротив него на подушках сидели постаревшие друзья молодости. Гюр-

шюм, крупнолицый и крупноглазый, чуть прикрыв веки, играл на таре. Вартан, бритоголовый и с большим изогнутым носом на мясистом круглом лице, ежеминутно меняя выражение лица, так в нем сильно кипела страсть, водил смычком по кеманче. А Сеттер, выбивая сильными пальцами из бубна дробные звуки, пел. Пел, высоко задрав большую седую голову. Грустная, протяжная песня плыла над двором, который заполнили запахи гоурмы и жареной рыбы.

Песня кончилась, музыканты отложили свои инструменты, достали из карманов кисеты и принялись свертывать самокрутки.

– Жена, где же наконец твое угощение? – громко спросил Джамал, снимая шапку и кладя ее аккуратно рядом с собой.

– У меня не сто рук, – послышалось из летней кухни. – Когда управлюсь, тогда и подам угощение.

– Тебе не стыдно при моих друзьях так отвечать мне? – удивился Джамал. И тихо проворчал, – язык распустила.

– Не стыдно. Стара я, устала. Помощница нужна в доме. Женил бы старшего.

– Женить старшего? – удивленно протянул Джамал.– Ты что говоришь, жена? Ты думаешь, что говоришь? Он же еще птенчик, который и крыльев своих не пробовал. Ха-ха-ха-ха, рассмешила, жена.

– Да, да, да, и жени, пока не испортился.

–Ну, прекрати, – произнес Джамал. – Жениться должен мужчина, а не сосунок. Придет время, и орел найдет орлицу.

Не переставая ворчать, жена расстелила сюфре, положила перед гостями фади[1], овечий сыр, в сковородах гоурму и рыбу, графин белого вина, зелень, и сама села чуть поодаль.

– Не обижайся на мужа, сестра, – весело проговорил Гюршюм, протянув руку за кресс-салатом.– Он немного строг, но прав. Твоему старшему учиться надо, а подругу жизни он себе всегда найдет.

---

[1] *Фади* – лепешка, испеченная в масле.

– Но мне тяжело. Четверо мужчин на моих вот этих плечах. – И жена Джамала повела плечами.

– Ты гордись, сестра, что у тебя четверо мужчин, – вздохнул Вартан. – У моей жены одни девочки, мне-то каково.

Все весело рассмеялись.

– Мы для чего боролись за эту власть? – Гюршюм мягко посмотрел на хозяйку дома. – Чтобы наши дети получили образование, жили лучше нас, интереснее. А для женитьбы, ты меня извини, сестра, много ума не надо.

– Да вот они и сами, возмутители нашего спокойного вечера, – воскликнул Сеттер.

Симон и Керим поздоровались и присели на скамейку, стоявшую у веранды.

– Что за торжество, отец? – спросил осторожно Симон.

– Негодник, еще и спрашивает, – наигранно возмутился Джамал. – Окончание школы разве не наш праздник? Вот мы и отмечаем торжество, музыкой, песней. Ну-ка, сыны мои, признайтесь, подыскали ли вы себе невест? Не то мать женит вас на первых встречных.

– Какая еще женитьба? О чем ты, мама? – пробасил Симон. – Нам еще учиться.

– Тогда не надо было в чужие двери заглядывать, – назидательно произнесла мать.

– В чьи двери мы заглядывали? Что ты говоришь, мама?

– Ты – во двор Азизова, а Керим – Зейналова.

Джамал поднял удивленные глаза на жену и протянул:

– Посмотрите-ка на эту женщину! Все она знает и все скрывает от меня. Куда это годится? Так значит дочки Азизова и Зайналова, говоришь? Азизов – это мелкий торговец, что ниже училища живет? Пригожие у него девочки растут. И Зейналова детей я видел, одна краше другой. Вот что, друзья, – обратился Джамал к гостям, – поедим все, возьмем, что лежит на сюфре и с музыкой отправимся к будущей родне.

– Что ты говоришь, старый разбойник, какую глупость хочешь еще натворить? – всплеснула руками жена.

– Ну почему же глупость? – удивился Джамал.– Ты десять минут назад твердила, что надо женить старшего. Говорила?

– Неужели женишь? – проговорила жена, прижав руки к груди.

– А почему нет? Чем они хуже других. Поговорим с Азизовым и Зейналовым, сыновей отправим на учебу, получат высшее образование, приедут и женятся. Так я говорю, будущие орлы?

Симон и Керим, опустив головы, не отвечали.

– Все ясно. Вы сидите дома, а мы пойдем продолжать наш праздник.

Закончив трапезу, Гюршюм, Вартан и Сеттер взяли в руки свои инструменты и заиграли свадебную мелодию шолохо. С музыкой они вышли со двора. За ними степенно следовал Джамал.

После их ухода мать накормила Симона и Керима, потом ребята прибрали с сюфре, вытрусили и сложили палас, и сели на скамейку в ожидании отца.

Мать то и дело выходила во двор, прислушивалась и беззлобно ворчала:

– Старый дурак, не разумеет, что в гостях нельзя засиживаться. В первый день надоешь хозяевам, во второй немил будешь.

Уже время приближалось к полуночи, а Джамала все не было.

–Не напился ли? – испугано шептала мать. – А может, что случилось?

– Мы пойдем встретим отца, мама, – оказал Симон, вставая со скамейки.

– Нет, нет, не ходите, он скоро придет, – успокоила она сына, а про себя сказала: «Разве можно детей отправлять в ночь одних? Не дай бог что случится».

– Это же недалеко, мама, – произнес Керим.

– Недалеко Азизов живет, а Зейналов в магале. Не смейте никуда ходить.

За полночь скрипнула калитка. Симон, Керим и мать устремили глаза в темноту. Двое мужчин несли на руках Джамала. Они поднялись на веранду и уложили его на тахту. Джамал тихо стонал.

– О Всевышний, что же с ним случилось? – Мать всплеснула руками, засуетилась, забегала, не зная, что делать.

– Он лежал без сознания на улице в нижнем магале, – сказал один из мужчин, – недалеко от детского сада, бывшего дома купца Османа.

– О Всевышний, что ему надо было в нижнем магале? Ну да, он же ходил к Зейналову, сватать ходил, насватал себе на голову...

– Видать, его ударили по голове, сзади. Принесите полотенце и воду, умойте его.

Мужчина снял с Джамала шапку. Голова была в крови.

25

Остро врезался в мою память вечер, проведенный в ресторане «Максим».

Ты все чаще искал со мной встречи, а при встрече все настойчивее приглашал к себе в гости. Я никак не мог понять причину твоих настойчивых приглашений. «Неужели, – думал я, – тебе что-то нужно от меня, и ты никак не соберешься, не осмелишься признаться? А может, замышляешь дурное? В последнее я почему-то не верил».

Вот и в очередной раз, когда ты меня пригласил посетить свой дом, а я отказался, заявив, что еще не знаю Парижа, ты замолчал а потом, вскинув взгляд, в котором я уловил затаенную надежду, предложил:

– В таком случае поужинаем вместе. Мы пойдем к «Максиму».

Именно так и сказал к «Максиму», а не в «Максим». Я согласился. И не жалею.

Вечер, проведенный в «Максиме», надолго остался в моей памяти. Не блюдами, запах от которых напоминал букет терпких осенних цветов, не залихват-

скими, чередовавшимися с грустными, русскими песнями. А людьми. Людьми, называвшими себя парижанами, но с русской тоской в глазах. Тщетно пытавшимися вспомнить некогда родные березовые леса, золотые плесы, ковыльные степи.

Я ясно вижу перед глазами престарелую чету, которая старческими шажками, но чинно вошла в ресторан. Он белый как лунь, одетый в темно-синий костюм, и она в сером платье до пят, и тоже седая. Он бережно держал ее под руку. Остановившись по соседству с нашим столом, он выдвинул стул и чуть дрожащим голосом произнес:

– Прошу, сударыня.

– Благодарю, сударь.

Я вздрогнул от неожиданности, услышав русскую речь.

– Что будете заказывать, мон шер ами[1]?

– Я полагаюсь на ваш выбор, друг мой.

Это было поразительно и невероятно: за тысячи километров от России увидеть и услышать двух престарелых россиян, волею судеб заброшенных в Париж.

Поймав мой взгляд, он произнес, не отрывая глаз от меня:

– Мне сдается, мон шер ами, сей молодой человек из России.

– Что ты, Сашенька, тебе почудилось, – прикрыв рот ладонью, – тихо сказала она.

– Я это чувствую, сударыня.

Он встал, подошел к нашему столику, и, отвесив легкий поклон, спросил по-французски:

– Извините меня, мсье, что отвлекаю вас от трапезы, тысячи извинений, но удовлетворите мое любопытство: вы из России?

– Из России, – ответил я по-русски.

– Сударыня, Машенька, я же говорил тебе – из России, – по-детски обрадовано сказал он по-русски, повернувшись к спутнице. – Я же говорил тебе...

---

[1] *Мон шер ами* (франц.) – Дорогой друг.

– Садитесь за наш столик, – предложил я.

– Благодарю вас, сударь.– Он дернулся к спутнице, помог ей подняться и, взяв под руку, подвел к нашему столику. Они сели и принялись в четыре глаза глядеть на меня.

– Боже мой, как далека Россия, – прошептал он, и в шепоте его послышалась безнадежная тоска.

Она достала из черной сумочки белоснежный платок и приложила к влажным глазам.

– Как вы счастливы, сударь, если б вы знали, как вы безмерно счастливы, – сказал он тихо. – Вижу, вы хотели бы узнать, кто лишил нас этого счастья. Сами, сами лишили, по молодости лет.

Он замолчал. Сделав заказ подошедшему официанту, проговорил:

– Время было такое непонятное, смутное, в той круговерти брат терял брата, отец сына, имущие свое нажитое добро... Непонятное... Уехал Алексей Николаевич[1], уехал Иван Алексеевич[2], уехали и мы.

– Да, мой друг, – сказала она, обращаясь к нему. – Нам казалось, что в России гаснет огонь творчества и никто уже не способен будет создать таких воздушных, божественных строк:

«Сквозь эту белую вуаль
Я вижу берег очарованный
И очарованную даль...»

– А тот, чей гений родил такую воздушную поэзию, неожиданно создает образы двенадцати апостолов, мужицкую поэму, воспевающую буйную стихию революции. Как не потеряться, как не заблудиться в поисках правды?

Я не перебивал их. Я дал им возможность излить свою тоску, чаша которой не иссякала и не иссякнет до последнего их вздоха.

---

[1] *Алексей Николаевич* – Толстой.
[2] *Иван Алексеевич* – Бунин.

– Вы счастливы, сударь, – сказал он, – у вас есть своя земля, Россия. А мы словно пришельцы, пришли сюда никем не званные и ненужные и уйдем незаметные. Уж на что, сударь, был велик и известен Федор Иванович, а похоронили его на кладбище Ботильон, положили у изголовья камень и забыли[1]. Придешь в минуту тоски к нему, а в изголовье и ромашки полевой не увидишь, не то что букетов...

Он ссутулился, прилег грудью на край столика, опустил голову, потом вытянулся и посмотрел мне в глаза:

– Одно могу вам сказать, сударь, никогда мы с Машенькой ни единого худого слова не сказали о России нашей.

Она всхлипнула и тут же замолчала.

– Терпели многое: ломали образ жизни, талант молодости разменяли на потребу общества русских беженцев или, как они себя величают – русских парижан, но Русью не торговали. Да, сударь мой. Да что я на вас грусть-тоску навеваю. Расскажите, какая она сейчас Москва-матушка, Петроград, Ревель, Вильно. Сохранили ли старину, старина ведь, сударь, это воспоминание будущего, школа жизни, если хотите знать, да, да... Скажите-ка, сударь, а сохранили вы Чистые Пруды, Покровские ворота? Соборы и церкви, мы слышали, вам не приглянулись, и они теряли золотые маковки, таяли, как свечи, пока вы вдруг не образумились: для чего стирать с лица земли старую культуру, память о прародителях... Так сохранили ль вы Чистые Пруды?

– Живут и Чистые Пруды, и Покровские ворота.

– Слышишь, Машенька, Чистые Пруды сохранены. Вам знаком синематограф у Покровских ворот? Так вот в доме, в котором расположен синематограф, на третьем этаже мы и жили. Боже ж мой, как давно это было! – С тоской и болью в голосе протянул он.

---

[1] 29 октября 1984 года в Москве, на Новодевичьем кладбище, состоялось перезахоронение праха великого русского певца Ф. И. Шаляпина, скончавшегося в Париже в 1938 году.

– Но почему вам не поехать в Россию? Я понимаю, конечно, тяжело прожить всю жизнь здесь... Но сумела Одоевская перебороть себя...

– Что вы, сударь, Ирина цельный, мужественный человек, Мы ее близко знали. Признаться, право, и отговаривали от поездки. В таком возрасте, сударь, и в Россию? А как она мне ответила, надо было это услышать: пусть умру в дороге, но это смерть на пути в свою Россию. Так она ответила. А мы, два старых русских человека, боимся неизвестной нам России, да и могилы русских не отпускают нас. Могилы Романовых, Голициных, Юсуповых, ведь все они здесь... и Рахманинов, и Бунин, и Тарковский.

Он продолжал говорить, изливать свою больную по родине душу, а перед моими глазами проходили образы русских интеллигентов – Алексея Толстого, Александра Куприна, художника Билибина, артиста Александра Вертинского, Андрея Белого, И. Соколова-Микитова, Марины Цветаевой... «Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам, – писал А. Толстой. – Мы были просто несчастными существами, оторванными от Родины, птицами, спугнутыми с родных гнезд. Мы ели горький хлеб на чужбине... Совесть меня зовет... спать в Россию». А как трогательно, душевно, восторженно писал о своем отчем крае Александр Куприн в статье «Москва родная» в «Комсомольской правде»: «Душа отогревается от ласки этих незнакомых людей. Даже цветы на Родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей... На Родине все лучше!..»

Четверть века скитался по разным странам, вдали от родины Александр Вертинский. Четверть века его сопровождали шумный артистический успех и тяжёлая, изнурительная тоска по отчему краю. Многие там, на Западе, называли его «сумасшедшим», «ненормальным», когда он в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, возвратился домой.

Нет, не сумели разглядеть те «многие» в певце, а может и не хотели, его истосковавшуюся и изболевшуюся по родной земле душу, когда он пел со сцены: «Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда»... Уже в своих мемуарах он писал: «Все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, – я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на Родине».

Несколько потоков эмиграции объединили творческий потенциал, творческую мысль России. В первые годы советской власти часть художественной интеллигенции не поняла и не приняла программу большевиков. В шестидесятые годы не позволялось мыслить широко и демократично, и смелое слово, честное произведение вызывало ярость лидера и предложение покинуть страну. Семидесятые, душные для смело мыслящих людей, вынуждали их самих уезжать за рубеж. Но страшная болезнь, с которой они никогда еще не сталкивались в своей жизни – ностальгия, или попросту тоска по Родине, обрывала их путь. На чужбине, во Франции, скончались Виктор Некрасов, Андрей Тарковский, Александр Галич...

Я слушал сейчас голос русского эмигранта и запечатлевал в своей памяти образы двух престарелых людей, заброшенных то ли беспечностью, то ли страхом перед бурей событий на чужбину, но не забывших своего языка, отчего дома. И казались они мне двумя волею или прихотью судьбы уцелевшими листочками, оторвавшимися от березы.

26

Придя в себя, Джамал увидел жену. Она сидела у его изголовья и осторожно водила по лбу и лицу влажным полотенцем. По щекам ее текли слезы: она беззвучно плакала.

«Как постарела Марал, – а я и не замечал, как она постарела», – пронеслась мысль. Джамал зашевелил головой и тут же застонал от боли.

– Проснулся? На улице солнце заждалось тебя, что же ты так долго спишь? Твои друзья поминутно приходят и уходят, что же ты так долго спишь? Кто тебя хотел усыпить, кому ты в этом мире не угодил?..

– Не причитай, жена, я еще жив, – проговорил он еле слышно.

– Какой душман осмелился поднять руку на тебя, на моего Джамала, которого почитает весь город, да разве только город... .

–Не причитай, сказал я тебе, – повысил голос Джамал и снова застонал от боли в голове.

– Не буду, не буду, успокойся, ни слова, ни звука больше не произнесут мои уста, замок повешу на них.

– Кто там сидит под окном, бараньей папахой заслоняет солнечный свет? – прошептал Джамал.

– Сосед Азизова Ашур.

– Лекарь Ашур?

– Да, лекарь Ашур.

– Чего он пришел? У нас в доме больных нет, жена.

– Прослышал о тебе, принес казан и бритву. Говорит, что тебе надо...: в тебя надо жизнь вдохнуть.

– Кровь пустить вздумал?

Жена промолчала.

– Скажи ему, чтобы пустил кровь своим курам и индюкам. Я ему не птица, скажи...

Джамал скорчился от боли, которая, зародившись в затылке, поползла по позвоночнику.

– Успокойся, не разговаривай, тебе нельзя волноваться.

– Хорошо, вздремну немного.

Сквозь дрему Джамал услышал голоса, два голоса он узнал сразу, они принадлежали Симону и Кериму, третий был совершенно незнакомый. Он открыл глаза от прикосновения чужой руки, жесткой и тяжелой.

– А он, оказывается спал, просто спал, – круглолицый мужчина с мелкими, глубоко посаженными глазками, над которыми нависли густые мохнатые брови, пристально глядел на него.

«Неприятное лицо, – подумал Джамал, – кто это может быть? Наглый и колючий взгляд».

– На улице такое солнце, словно весна вернулась, а вы спите... Лежите, лежите, не вставайте. Вас удивляет, кто я и почему вас тревожу? По глазам вижу. Я следователь. Фамилия моя Кауров. Хочу выяснить, кто и почему вас ударил.

Джамал слабо улыбнулся и чуть заметно покачал головой.

– Вы не видели, кто вас ударил?

– У меня на спине глаз нет, – прошептал Джамал.

– А тень, может, тень заметили?

– Ночь была темная.

– Шаги хоть слышали? Шорох?

– Нет.

– Никаких звуков?

– Только постукивание.

– Четок? За спиной?

– Да, своих четок.

– Вы способны шутить, следовательно, окончательно пришли в себя. А не приходит вам в голову мысль, что сверху могло что-нибудь упасть?

– Откуда сверху? – спросил шепотом Джамал.

– С неба, конечно.

– Если бы с неба падали такие тяжести, на земле не осталось бы ни одного живого существа. – Джамал хотел засмеяться, но только хихикнул и тут же лицо его исказилось от боли.

Установилось молчание. Жена Джамала намочила полотенце в холодной воде, выжала его и осторожно приложила ко лбу.

– Кто этот человек, сидящий под окнами? – вдруг спросил Кауров.

– Лекарь, – ответила жена Джамала.

– Лекарь? Вы что же, не вызывали врача?

– Врач приходил. Сделал уколы и ушел.

– А лекарь почему здесь? – не унимался Кауров, глазки его так и бегали от Джамала к окну и обратно.

– Кровь хочет пустить, говорит, больной тут же оживет, избавившись от дурной крови, – сказала она.

– Так это же хорошо. Пускайте кровь, – оживился Кауров.

– Не хочет, – она указала глазами на Джамала.

– Как так не хочет? – возмутился Кауров. – Человек печется о его же здоровье. Ну-ка приступайте к работе, – обратился он к лекарю и осекся.

Джамал чуть приподнялся, вперил взгляд в его маленькие бегающие главки и вдруг что есть силы заорал:

– Убирайтесь отсюда. Во-о-он из моего дома!

И упал на подушки.

Когда вернулось сознание и он открыл глаза, голова была легкая и ясная, свинцовая тяжесть исчезла. У изголовья, сидел Петр и большой, шершавой, теплой ладонью водил по его щекам и лбу.

– Что же ты, брат, свою марку теряешь? Лежи, лежи. Устал лежать? Ну присядь, прислонись на подушки. Кауров, говорят, был у тебя? Кауров...

– Выгнал его из дома, – сокрушенно произнесла жена Джамала, стоявшая в темноте дверного косяка.

– Не твоего ума дело, – сухо проговорил Джамал.

– Кауров... Кауров... – снова повторял Петр.

– Знаешь, что ли его? – спросил Джамал.

– Откуда мне знать его... Черт его знает... Да ну его, так ты все-таки заметил, кто тебя стукнул? Кто крался хотя бы за тобой?

– Нет. Ты знаешь, что слуха и зрения мне не занимать.

– Да и врагов у тебя в городе нет. Так ведь?

– Нет, конечно. С чего у меня могут появиться враги?

Джамал долго молчал, потом проговорил:

– Не было.

– А теперь?

– Знаешь, на что я ему намекнул? – задумчиво произнес Джамал.

– Кому?

– Сторожу Нахсину. На его связи с турками и белогвардейцами.

– Что же он тебе ответил?

– Дай вспомню... Не торопись, говорит, вместе поищем, а дальше что он сказал, дай вспомнить... вспомнил: ночь темная, не дай Аллах, и голову расшибить можно.

– И голову расшибить можно? – переспросил Петр.

– И голову расшибить можно, – подтвердил Джамал. – И расшиб-таки.

– Ты уверен, что Нахсин?

– Если не своими руками, то руками своего приспешника. Кому же еще надо расшибать мне голову, и за что?

– По логике вещей – да. Но доказательств – никаких. – Петр задумался.

– Не хочешь ли ты сказать, что я сам себе расшиб голову, – возмутился Джамал. – Напился у Азизова, затем у Зейналова, потом проводил друзей-музыкантов, поднялся к мечети, встретился со сторожем мечети, пьяный наговорил ему дерзостей и, когда во мне прозрела совесть, сгорая от стыда и позора, взял и расшиб себе голову. Только чем, не могу придумать. У меня в руках были только четки.

Петр засмеялся.

– Не горячись, брат. Я тоже не сомневаюсь, что на тебя покушался Нахсин или его человек. Но доказать-то мы не можем. Ничем не можем.

– Не можем, – согласился Джамал.

– Так вот, если придет следователь Кауров, а он должен прийти, ни слова о Нахсине.

– Я тоже так думаю. Жена, – Джамал повернул голову к двери, – что ты стоишь, как догорающая свеча. Ты видишь, мой дорогой Петр у меня в гостях, где наши самые вкусные кушанья, неси все сюда.

– Я давно жду, когда ты велишь накрыть сюфре, – откликнулась жена.

– И открой окно настежь.

27

Симон и Керим уезжали на учебу в Москву.

Джамал шел по улице, опираясь на горбатую массивную палку: с того злополучного темного вечера у

него часто кружилась голова и он смастерил себе подпорку, чтобы, не дай бог, не упасть перед людьми. Сухощавый, жилистый, подтянутый, в шестьдесят два года он выглядел крепким, бодрым мужчиной. Усы его и небольшая бородка снежной белизны красиво выделялись на мужественном загорелом лице. Зеленые глаза не потеряли блеска и смотрели открыто и прямо: в любую минуту в них можно было прочесть лукавство, хитрость или гнев.

Позади него, шагах в пяти, шли жена и Гаврил. За плечами Гаврила болтались две тяжело набитые сумки. Женщина скоро семенила, обутая в остроносые калоши, и тяжело дышала.

Она бросила взгляд на мужа и, внезапно, щемящее чувство жалости охватило ее. «Боже мой, — подумала она, — когда же мы вылезем из этой проклятой бедности. Всю жизнь он боролся с нуждой, гнул спину. Гнул? Что я говорю! Нет, как раз он не гнул, не он ли пререкался с теми, кто заставлял его гнуться. Гордый был, самолюбивый, за это мне, наверное, и нравился. Да что бедность, — вздохнула она, — бедность ведь не порок, она человека не ломит. Слава богу, жить стало радостнее, вера в завтрашний день появилась. Вот дети закончат учёбу, пойдут работать, тогда и заживем лучше».

Она еще раз глянула на шедшего впереди мужа и покачала головой: «Разве в такой одежде она желала его видеть? Ходить бы ему в черкеске с золотыми газырями и в хромовых сапогах, а идет — боже мой, в выгоревшей солдатской шинели, холщовых брюках худых туфлях... Но идет... люди, вы только посмотрите, как он идет, гордо, красиво, осанка падишаха и будто на нем одежда падишаха. Вот таким только я его и знаю».

Осеннее солнце ярко светило, но не грело. Улицы были пустынны, если не считать мальчишек, которые у ворот играли в альчики. Черные тарелки репродукторов, прилаженные к телеграфным столбам, сообщали последние известия. Потом из них полилась музыка, под которую идти стало как-то веселее.

По улице проехал автомобиль, сопровождаемый тремя десятками ребятишек и шлейфом пыли. Глаза Гаврила засияли восторгом.

– Мама, я хочу научиться водить такие машины.

– Закончишь школу, сынок, и пойдешь учиться.

– Это настоящее мужское дело – водить такие машины.

– Мужских дел много, сынок, но если очень хочешь – води, кто тебе не дает...

Джамал остановился, повернул голову и, лукаво улыбаясь, сказал:

– Ты сначала замости улицу, не то пыль всем нам глаза выест, и тебе тоже, будущему водителю. Гляди, если одни станут катить в автомобилях, а другие учиться в больших городах, мы из пыли и грязи никогда не вылезем.

И он снова пошел своей неспешной уверенной походкой.

– Что ты говоришь, старый? – в голосе жены сквозило удивление и возмущение. – Почему ты решил, что мои сыновья должны мостить улицы? Мало ты гнул спину на этой земле?

– Первым делом город надо строить, а потом катить в автомобиле, – бросил из-за плеча Джамал. – А что касается меня, я спину насколько мне помнится, не гнул. – Он тихо засмеялся, потом продолжил серьезно: – правда, жизнь моя была не сытая, но спину я не гнул.

Их пререкания прервал звонкий мальчишеский голос:

– Эй, дедушка, смотри, не наступи...

Джамал бросил взгляд на землю и только сейчас заметил змейкой вытянувшиеся две веревки, потом поднял голову. На противоположной стороне улицы на телеграфном столбе, сцепив ноги, сидел мальчуган и завязывал веревки.

– Что ты там делаешь, постреленок? – спросил Джамал. – Или на земле уже места нет?

– Лозунг привязываю, не видишь?

– Лозунг?

– Ну, лозунг, или транспарант, как их там называют, вот красная материя, сколько бы из нее сорочек вышло!.. – мальчуган присвистнул.

– Что случилось?

– Ничего не случилось. Крупская приезжает, комсомольцы мне так сказали.

– Вот комсомольцы бы и привязывали лозунг-транспарант. А то нашли кого поднять на столб. Гляди, не упади.

Выйдя на перрон вокзала, Джамал заметил вдали силуэты двух ребят. «Не Симон ли с Керимом там стоят, – подумал Джамал, – плохо стал видеть, лет десять назад, да какое десять – пять назад я видел хорошо, далеко видел, а сейчас все расплывается перед глазами... Время – разрушитель, чтоб тебе пусто было...»

– Гаврил, – позвал он громко.

– Что, отец?

– Пойди, посмотри, не Симон ли с Керимом там стоят. Если они, позови.

Гаврил сбросил сумки к ногам матери и, весело бросив: по-моему, они, да, это они, с невестами своими, – побежал.

Симон и Керим не заставили себя ждать. Они быстро подошли к отцу и встали, внимательно глядя на него.

– Это кто там с вами? Невесты ваши?

Ребята молча кивнули головой.

– Я не буду ждать поезда, мать вас проводит. Расплачется, станет причитать, я не переношу женских слез, поэтому не буду ждать поезда. А ей нельзя без слез: у матерей и любовь вся в слезах, и горе.

Джамал провел ладонью по голове Симона, потом Керима, вздохнул:

– Вы уже взрослые мужчины, оценивайте свои поступки сами, и чтобы ни в коем случае между вами не разгорелся огонек неприязни, который может перерасти в огонь вражды. Ни в коем случае. Вы – братья и друг за друга в ответе перед родителями, передо

мной. Будут и тяжелые минуты, и грустные, они обязательно будут, жизнь не всегда сладка, как мед, и тогда вспомните, что ваш отец Джамал из Дербента никогда не склонял головы перед невзгодами. Я утомил вас, дети, идите к своим невестам.

– Береги себя, отец, – тихо проговорил Симон, глядя в зеленые глаза отца.

– О нас не беспокойся, – подхватил Керим, – себя береги и мать.

В душе Джамала что-то шевельнулось. Он хотел ответить детям, но в горле вдруг застрял ком, и он махнул рукой. Потом, тяжело глотнув и откашлявшись, проговорил:

– Ну, идите, идите...

И не дожидаясь, когда сыновья отойдут, повернулся и пошел по перрону.

28

Керим направился по Охотному ряду к Манежной площади, когда у гостиницы «Националь» приметил молодого человека, который шел под руку с девушкой. Приметил потому, что и со спины и по походке этот человек ему показался очень знаком. «Не может этого быть, очевидно, я ошибаюсь», – твердил он себе, а ноги несли его все быстрей и быстрей. Наконец, он перегнал примеченную парочку, дошел до улицы Герцена и, сворачивая на нее, обернулся на какую-то долю минуты и бросил быстрый взгляд.

Да, то был Симон. Он о чем-то весело говорил с белокурой девушкой, не обращая на прохожих никакого внимания. Более того, как определил Керим, он был поглощен своей спутницей.

Керим был удручен и потрясен. Он шел по улице, никого не замечая, весь во власти своих мыслей. «Ну как же так, – задавал он сам себе вопросы, – так быстро забыть ту, оставшуюся в Дербенте, щебетать под ухом первой попавшей, случайно встреченной или искавшей встречи девушки... Как так можно...»

Говоря с самим собой и не находя ответа на свои вопросы, Керим не заметил, как вышел к Никитским воротам. Остановившись и поразмыслив, куда двинуться дальше, он повернул на Суворовский бульвар и вскоре оказался на Арбатской площади. Блуждая глазами по толпе, он резко остановился, но шедший за ним мужчина наткнулся на него, чертыхнулся и заставил прибавить шагу. У синематографа стоял Симон с девушкой. Отойдя в сторону, к углу Арбата, Керим принялся воровато поглядывать на них. Девушка оказалась стройна, более того – изящно сложена. На ней была белая юбка, белая блузка с короткими рукавами, на голове белый берет. И обута в белые туфли на низком каблуке. Она часто закидывала голову, видно, смеялась.

Наконец, Симон с девушкой, затерявшись в толпе зрителей, исчезли за массивными дверями синематографа, и Керим, втиснувшись в автобус, поехал в общежитие.

Здесь, в пустой комнате, ему стало невыносимо одиноко, тяжко, и он бросился на кровать, уткнулся лицом в подушку, пытаясь уснуть. Сон не шел. Так пролежал он несколько часов, вспоминая родной город, знакомые и милые сердцу улицы и магалы, инжировые и ореховые сады, раскинувшиеся за мельницей, каменную косу, на которую ходили рыбачить, и молодежный клуб. Вспомнил сурового на вид, но мягкого сердцем и доброго Джамала, веселого и шаловливого Гаврила, пока не скрипнула дверь. В комнату, осторожно ступая, вошел Симон. Скинув туфли, он, не раздеваясь, прилег на кровать.

– Мы же с тобой обещание дали... даже больше – клятву.

– Не спишь? – удивился Симон.

– С тобой уснешь. Ты стал за юбками мотаться, как бабочка за нектаром...

– А ты что же, следишь за мной? Следишь, значит, за мной?

– Очень ты нужен мне, чтоб на тебя время тратить. Сам путаешься в ногах. С какими-то бесцветными блондинками. В нашей семье нравы были строгие...

– В какой это нашей?

– В той, купеческой, о которой ты сам подумал. Не в вашей...

– Перестань дерзить. Что ты помнишь о той семье? А что до этой барышни... Нравится она мне, понимаешь. Нравится. Ничего у нас с ней серьезного не получится, но нравится. А своей дербентской красавице раз обещал – придется сдержать свое слово. Как изрек наш любимый поэт, наступлю на горло собственной песне.

– Обещание – это не любовь. Ты уж сознайся своей невесте в неверности и попроси прощения...

– А ты, я вижу, умом перерос меня!

– Почему я должен быть глупее? Я сын купца, ты сын слуги.

– Прекрати дерзить, не то сильно поругаемся.

Керим вскочил с постели и выбежал из комнаты.

«Совсем рехнулся парень, – произнес Симон, сел на кровати, потом нехотя обулся и вышел в коридор. Керима не было. Симон спустился во двор. Двор был пуст. – Куда он мог деться, – сказал про себя Симон, пожав плечами, – как бы не натворил глупостей». И – побрел по улице.

Была ночь. Поздно темнеющее небо обильно усеяли мерцающие звезды. В окнах домов погасли огни. Весенняя Москва быстро засыпала. Симон вышел на Котельническую набережную и пошел вдоль Москвареки, недоуменно вопрошая про себя: «Куда он мог подеваться, идти ему не к кому, в кармане не густо, а вдруг возьмет и укатит домой? Не может быть, он не сделает этого, не должен. Бросить институт, учебу из-за блажи? Нет... Сколько пришлось помучиться, на какие хитрости идти, чтобы поступить... и вдруг бросить!.. Нет... »

И Симон явственно вспомнил тот полный трагизма, смеха день.

Экзамен по химии Керим не выдержал. Симон, одним из первых сдавший экзамен и теперь терпеливо сидевший на подоконнике в ожидании Керима, по выражению лица догадался: провал.

– Как же так? – сказал он коротко.

Керим пожал плечами.

– Рот хоть раскрывал?

– Раскрывал. Как рыба на суше. Ты ведь знаешь, что я в химии всегда плавал...

– Ну и дела, – протянул Симом.

– Да какие тут дела, – виновато усмехнулся Керим. – Сяду на поезд и укачу домой.

Симон так и въелся в него взглядом.

– Укатишь домой? И станешь посмешищем для всего города? Нет, я тебе не позволю этого сделать.

Он спрыгнул на пол, заходил нервно от окна к дверям аудитории и обратно, потом вдруг остановился, взял за руку Керима и коротко велел:

– Идем.

В приемной директора он властно бросил Кериму, указав пальцем на стул: – Жди. – Не обращая внимания на секретаршу, открыл массивную дверь, и шагнув в кабинет, плотно притворил ее за собой.

За большим столом сидел бритоголовый мужчина. Подняв лицо от бумаг, он пальцами протер глаза и только после этого с удивлением оглядел темноволосого смуглого юношу.

– С чем пожаловали, милейший?

– Мы с братом пожаловали к вам из Дагестана. Край наш горный, суровый и возвращаться ему домой с позором никак нельзя. Потому и зашел к вам. И вот что хочу твердо вам сказать: если только вы его не зачислите в институт, я заколю своим кинжалом сначала его, потом вас, а затем уже и себя. Я сказал все.

Директор поднялся из-за стола, упираясь в него тяжелыми кулаками, набычился, и вдруг гаркнул:

– Вы что позволяете себе, пугать меня, директора института, вон отсюда, чтоб вашей тени здесь не видел...

– Извините, – тихо, но решительно проговорил Симон, – я не пугаю. Я предупреждаю...

– Во-о-он – заорал, побагровев директор, указывая рукой на дверь, – во-о-он.

Симон вышел в приемную, опустился рядом с Керимом.

– Ну как? Почему ты так бледен и весь покрыт испариной? Не заболел?

– Сиди тихо, дай передохнуть...

В это время дверь кабинета резко распахнулась и в приемную выскочил директор:

– Мария, тут ко мне заходил один абрек, разыщи его срочно... Ага, вот он сидит с братом, торжествует свое нахальство и грубость, ну-ка зайди ко мне.

Он устремился в кабинет. Симон последовал за ним.

Директор взял со стола исписанный лист бумаги, положил в конверт, закрыл его и протянул Симону.

– Возьми. Разыщи моего заместителя по хозяйственной части и вручи ему. И вон с глаз моих...

К заместителю Симон и Керим вошли вместе, теряясь в догадках о содержании записки. Высокий худощавый мужчина лет шестидесяти в очках разорвал конверт, прочитал записку и, вдруг побледнев, опустился на стул.

– Вам плохо? – шагнул к нему Симон.

– Не подходите, стойте там, – жалобно попросил тот. – Там, где стоите.

– Да что случилось? – удивился Симон.

– Пока ничего.

– Почему же вы боитесь нас?

– А как вас не бояться. Вот что пишет сам директор: «У посылаемых мною к вам абреков под косоворотками кинжалы. Весьма срочно поставьте Керима Османова на довольствие, выделите койку в общежитии, в противном случае они заколют кинжалами вас, а затем и меня...».

Несколько месяцев спустя директор разыскал в общежитии Симона и Керима и, вспоминая тот бурный памятный день, смеясь поведал, что его ошара-

шила, а затем и покорила этакая наглая смелость Симона. Случай был довольно редкий и вряд ли подобное могло повториться. И не убийства он испугался. Ничуть нет. В этой жаркой перепалке он мгновенно понял, что горцы приехали учиться, и они добьются своей цели, чего бы это им ни стоило. Таким ребятам надо и должно было помочь.

...Симон вышел на Красную площадь, присел на ступеньки собора Василия Блаженного и им вновь овладело беспокойство за Керима.

– Где его черти носят, – сказал он вслух. – Как бы не натворил чего худого. Вымахал под потолок, а ума ни на грош. Дур-р-рак...

Последнее слово он произнес со смаком, встал и медленно пошел по брусчатке.

– Где я его найду в таком огромном городе?

До самого утра бродил Симон по улицам, переулкам, скверам Москвы, зашел даже на Казанский вокзал, надеясь там увидеть Керима. Поиски были тщетны. Заглянув в общежитие, он отправился в институт на занятия. Войдя в аудиторию, Симон увидел Керима, сидевшего с зажмуренными глазами. Он опустился рядом на скамью и устало спросил:

– Где ты был?

– Гулял, – буркнул тот в ответ, не открывая глаз.

Симон положил на скамью руки, опустил на них тяжелую голову и закрыл веки.

Он открыл глаза неожиданно. И ничего не мог понять. Рядом стоял седобородый профессор и указкой легонько поглаживал его по голове. Студенты безудержно хохотали. Он взглянул на Керима, сладко посапывавшего во сне, и сам разразился хохотом.

29

Были теплые парижские предвечерние часы. По шумным, заполненным отдыхающими и спешившими с работы парижанами улицам и бульварам Назым, прогуливаясь, возвращался из лицея. Уже вошло в привычку удлинять свой путь, выходить по тесным

улочкам на площадь Звезды и уже оттуда, где гудят, как пчелиный рой Елисейские поля и потоки машин огибают Триумфальную арку, возвращаться домой.

Назым любил этот гул, суету, просторы проспектов и бульваров, широкие чаши площадей, веселый нрав и раскованность французов и старался – искал повод и находил его – чаще бывать в толпе, на улице, нежели у себя дома, в магазине, где от родителей неминуемо к нему переходила непонятная, неясная, неосознанная тоска, где все вокруг – и мебель, и вещи хранили угрюмость, более того, таинственную настороженность. Среди сверстников он забывал и дом, и удрученных родителей, а на улице окунался в беспечную праздность. Те полчаса, которые он шел от площади Звезды до бульвара Осман, были для него самыми светлыми за день.

Назым остановился у своего дома и продолжал с любопытством разглядывать прохожих, когда над ухом прохрипел простуженный голос:

– Дай-ка, дай на тебя поглядеть, кажется, купеческий отпрыск! Ну конечно, он и есть. Как молодой хозяин ты еще не вступил в свои права? Что дико округлил глазища? Не узнаешь своего дядю Илдирима? Хорош же племянник, а впрочем, весь в отца. Вот стал бы ты молодым хозяином, вступил бы в свои права, и взял бы меня в компаньоны. И вправду взял бы, я верно думаю?

Назым глядел на дядю и все больше проникался к нему жалостью. Осунувшийся, с налетом желтизны на смуглом лице и в белках глаз, тот был одет в затасканный, помятый костюм, из-под которого выглядывала несвежая сорочка. Остроносые туфли на высоких скосившихся каблуках давно не знали цвета крема и прикосновения обувных щеток.

– Да какой из тебя сейчас хозяин, ты овца в доме отца, – дядя осклабился, показывая кривой ряд гнилых и пожелтевших от сигарет зубов. – Много у тебя при себе денег?

– Денег? – Назым растерялся. Он полез в глубокий карман брюк, приговаривая, – пять или шесть, да пять или шесть франков...

– Что ты сказал? – прохрипел со стоном дядя.

– Пять или шесть франков...

– Замолчи, закрой свой рот, чтобы я не слышал больше этого. Сказать такое родному дяде! Попрошайке и то больше подают. Стыдно мне за тебя. А может, скрываешь? Посмотри-ка мне в глаза, прямо, нет, нет, не открывай рта, не хочу больше слышать о твоем богатстве, тьфу, о твоей щедрости. Ничего не поделаешь, придется обращаться к твоему отцу, или вернее – моему милому родственнику. Зайдем, что-ли, домой.

Илдирим взял Назыма под руку и решительно ступил в магазин.

Осман сидел в глубоком кресле спиной к залу, наблюдая за посетителями в большое роскошное в позолоченной оправе зеркало, висевшее на стене. С утра у него было просто замечательное настроение, что не так часто его посещало: товар, прибывший из Ирана, имел хороший спрос, торговля шла бойко. С утра, с того самого часа, как высококачественные персидские ковры стали редеть в магазине, лицо его сияло загадочным светом. И только сейчас оно омрачилось, в ту минуту, когда в зеркале появился Илдирим с Назымом. Ни одним движением не выдал Осман своего настроения, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он продолжал спокойно взирать в зеркало, перебирая четки.

Илдирим подошел к прилавку, оглядел зал, потом обернулся к Назыму:

– Где твой отец? Куда он спрятался от меня?

Назым неопределенно пожал плечами.

– Ну и родственничек у меня, ну и скаредный мужик, скрылся, спрятался, эй, кто тут есть живой? Аскер, неужели это ты, а ведь на самом деле ты. Удивительно, что придает силы этим дряхлым рукам и ногам, что тебя держат на этой грешной земле и не отпускают к Аллаху. Не открывай рот, не надо, я не

хочу с тобой спорить, иначе весь мой гнев выльется на тебя и обойдет твоего скаредного хозяина. Скажи лучше, где он таится?

– Здесь я, – спокойно отозвался Осман.

Илдирим инстинктивно быстро вобрал голову в плечи, оглянулся, но одумавшись, тут же осмелел, и прохрипел:

– Не вижу своего богатого родственничка.

– Здесь я, – повторил Осман, – в кресле, спиной к тебе.

Илдирим, наконец, увидел его, подошел, осклабился:

– Ага, вот он где сидит, мой родственник. Посмотри на меня, вид мой жалок и вызывает у кого сочувствие, а у кого и чувство омерзения. Я это понимаю... Ты даже не повернулся ко мне, взираешь на мое отражение в зеркале... На мое отражение... Как ты оказался жесток и эгоистичен. А ведь мы одного племени люди, более того родственники, еще горше – одинокие чужестранцы, оказавшиеся на чужбине, далеко от могил своих отцов и дедов, и тебе позволяет совесть вышвырнуть меня из дому...

– Закрой свой рот и выслушай мое жесткое слово, – прервал его Осман.– Пока я жив, я буду проклинать денно и нощно тебя и твое имя за то, что ты лишил меня, мою семью и моих работников родины.

Воцарилось недолгое молчание, которое прервал Илдирим.

– Не маленький был. Надо было думать своей головой.

– Не желаю больше говорить с тобой, уходи, – жестко произнес Осман.

– С удовольствием покину твой дом. – Илдирим, болезненно улыбаясь, склонился в низком поклоне, потом резко выпрямился и зло проговорил. – Только дай мне денег. Без денег я пропаду. Я на своей шкуре испытал, что значит здесь быть не у дел. Тебе этого не понять, ты купец, ворочаешь тысячами, и на них покупаешь уважение, почет в обществе. А я – ничто.

Так что... дай мне денег. Иначе я убью тебя, подожгу и магазин твой, и дом.

Назым, удивленный и пораженный дерзостью дяди, глядел то на него, то на отца, ожидая гнева последнего. Но молчание длилось долго. Наконец Осман повелительно проговорил:

– Вышвырните его вон.

Илдирим не успел сообразить, что происходит, как двое работников железной хваткой сковали его руки, подвели к дверям и, распахнув их ногой, с силой выбросили как ненужный тюк.

– Вот так, сын, озлобляется человек, сам неспособный ни к чему и завидующий тому, кому сопутствует удача в жизни. Сядь в мое кресло, удобней. О чем я говорил?

Осман прошел до дальнего угла, перебирая четки, вернулся, затем прислонился к прилавку.

– Да, озлобленность – это страшная, коварная штука. Она грызет человека изнутри, как червь, въедаясь все глубже, жжет душу. Но есть одна штука, пострашнее озлобленности. Чувство ненужности. Оно опустошает человека, лишает его сил, способностей, уводит от деятельной жизни к безделию, безразличию, к гибели. К нашему несчастью, твой дядя заражен обоими пороками: и озлобленностью и чувством ненужности. Особенно обострились эти болезни здесь, на чужбине. Ты почему ни о чем не спрашиваешь? – вдруг обратился Осман к сыну.

– Я слушаю, отец.

– То, что слушаешь – похвально. Но если у тебя не возник ни один вопрос, значит, я не сумел разбудить, потревожить твой разум.

– Меня волнует много вопросов, отец, но я не хочу их задавать сегодня.

Довольная улыбка легла на губы Османа, но он тут же согнал ее.

– Пойдем-ка наверх, ужинать пора, Аскер, – обратился Осман к работнику, – пора закрывать магазин. Да, не забудь вынести из подвала новые товары.

Осман, а вслед за ним Назым поднялись по винтовой лестнице в гостиную. Уже в комнате, опускаясь на просторный диван, обтянутый огненного цвета велюром, Осман тихо сказал сыну:

– Не говори матери, что здесь был ее брат. Она еле выкарабкалась из болезней, а этот дармоед и бездельник своим появлением подтачивает ее силы. Червь... Нет, червь и тот на земле чем-то по полезен, а он...

И Осман отрешенно махнул рукой.

– За стол сели вдвоем. Назым долго ждал мать, но прислуга, отправившаяся за ней, вернулась одна и сообщила, что хозяйка плохо себя чувствует и не будет ужинать.

– Ты ешь, сын, ешь. За мать не волнуйся. В народе говорят, что женщины выносливее мужчин, оно и верно. Природа их одарила прекрасным здоровьем. Но чувствительность их беспредельна, а иногда, я бы сказал, совершенно нелогична. – Осман задумался, затем продолжал: – Они сочувствуют и знакомому, и совершенно чужому, жалеют пичужку и кошку, кролика и змею... Не могу до сих пор понять, что направляет их поступки: разум, сердце или еще что-то...

Звон разбитого стекла заставил их вздрогнуть. Они переглянулись, потом одновременно вскочили из-за стола и устремились вниз.

Витринное окно магазина зияло как пустая глазница, пол был усеян мелким, дробленым стеклом.

С улицы вернулись Аскер с работниками. Аскер устало опустился на стул и, не глядя на Османа, проговорил:

– Обежали весь квартал. Никого. Мне сдается, это дело рук Илдирима. Со злости. Или сам, или подкупил какого-нибудь бродягу, а то и сорванца. Что ты молчишь?

Осман продолжал молчать.

Назым долго глядел на отца, уставившегося в пустой квадрат окна, потом осторожно притронулся к его руке:

– Не надо об этом думать, потеря не велика.

Осман поднял на него глаза, полные тоски и грусти, и негромко произнес:

– Да разве об окне моя печаль или об Илдириме? О тебе моя печаль, сын. Все, что у меня есть, будет твое. Жизнь твоя будет безбедна, если умело распорядиться добром. Я живу для тебя и тобой. Ты моя единственная связь с родиной, память о ней. Был бы рядом Керим – мне было бы вдвойне легче, а тебе тем более – и помощь была бы, и опора, и поддержка. Старший брат, что отец для младшего. А чего достигнешь один, к какой пристани причалишь? Пока я жив, пропасть твоей душе не дам, а там – кто знает, как может обернуться жизнь.

– С голоду не умру и побираться не стану...

– Я не о том. Я о духовной жизни. Часто ночами не сплю, все думаю, что будет знать мой внук о моей родине, о земле дедов, на чьем языке будет говорить он, чьи песни петь...

– Я его научу, отец, нашему языку...

– Научить языку, танцам, обычаям – это уже не то. Вот когда живешь среди своих – и слова, и музыку, начиная с колыбельной, впитываешь с молоком матери, даже свои кушанья ешь по-своему, пусть, как говорится, не цивилизованно, но по-своему... А тут женишься на какой-нибудь из потаскушек, которым за окнами числа нет, воспитает она сына по образу своему – и прервется ниточка с родиной...

Осман обнял Назыма за плечи, потом слегка подтолкнул к винтовой лестнице:

– Пойдем, попытаемся заснуть. Уже поздно.

30

Мы ехали на встречу, организованную ассоциацией работников средств информации, ожидая выслушать всякие вопросы.

Конференц-зал был набит до отказа. Люди стояли в проходах. В глазах одних читались любопытство и интерес, других – насмешка и ехидство, третьих – настороженность, четвертых – опасение: возможно, за

неудачные наши ответы? Так или иначе, но все были заинтересованы в разговоре.

Первые вопросы были безобидны: сколько в России газет, почему многие из них выходят многомиллионными тиражами, как живут наши журналисты...

Отвечали журналисты, как договаривались между собой, по порядку: как сидели за столом.

Наконец, был подброшен первый острый Камешек, именно в тот момент, когда очередь дошла до меня.

– Мы часто пишем и говорим, что на западном рынке российских товаров или очень незначительно, или их вовсе нет. И имеем для этого основания. Почему вы не развиваете свою промышленность?..

Товарищи посмотрели на меня. В их взгляде застыл вопрос: выручать?

– Во-первых, потому, что мы много и часто экспериментируем, нас не оставляют в покое реформаторские идеи или, если хотите откровенно – революционный синдром.

В зале послышался смех.

– А во-вторых... – Я расстегнул ремешок своих золотых часов, снял их с руки и положил на стол. – Передо мной лежат наши часы марки «Победа». Выпуска 1950 года. Теперь будьте добры пусть человек десять снимут с рук часы и откроют заднюю крышку. Открыли? У кого написано на механизме «Made in USSR»?

– Есть такие, – послышалось из зала.

А теперь поднимите руки, кто обнаружил такую надпись? Так, шесть. У шестерых из десяти. Значит, шестеро носят наши часы. Объясняю, как это получается. Франция закупает у нас часовые механизмы, не уступающие лучшим первоклассным западным маркам, поскольку себестоимость наших ниже, и заключает наши отечественные механизмы в собственные корпуса с маркой Франции. Для большей информации: наши часы закупают ФРГ, Англия, Бельгия, Нидерланды, Канада и многие другие страны.

По залу прокатилась волна оживления, раздались смешки в адрес незадачливого вопрошателя. Я продолжал:

– Чтобы вы имели представление об авторитете нашей тяжелой промышленности на зарубежных рынках, могу сообщить вам несколько ярких фактов. Право пользования разработанным нашими специалистами методом непрерывной разливки стали купили у нас двадцать шесть фирм, производства жидких самотвердых смесей – тринадцать, испарительного охлаждения доменных печей – двадцать четыре, лицензию на установку сухого тушения кокса – семнадцать. Думаю, фактов достаточно. Мы ведем торговлю более чем со ста странами и если бы экспортировали товары низкого качества, вряд ли с нами кто-то захотел торговать. И потом... вспомните, что мы в некоторых областях впереди западного мира. Первым наш человек Юрий Гагарин покорил космос, первым наш человек Алексей Леонов вышел в открытый космос, первой наша женщина Валентина Терешкова побывала в космосе, первой советская женщина Светлана Савицкая вышла в открытый космос... Это, согласитесь со мной, о чем-то да говорит.

В зале раздались аплодисменты.

– В вашей стране идут реформы. Довольны ли вы их ходом?

– За короткий срок реформы не завершишь – это все у нас уже сознают. Если в центре что-то и делается, периферия очень медленно раскачивается, а кое-где и не желает раскачиваться. Прежний чиновничий аппарат продолжает руководить по-старому. Вы же читаете сообщения, что происходит в иных областях и республиках: от прямого недоверия к аппарату до забастовок. Даже если реформы не оправдывают всех наших надежд, они ценны уже тем, что развеяли образ врага, империи зла, как вы нас представляли.

– Не хотите ли вы сказать, что коррумпированные чиновники, мафиози саботируют ваши реформы?

– Это я и хочу сказать, Приведу вам такой пример: в прошлом году из двухсот пятидесяти видов остро-

дефицитных товаров, закупленных зарубежом, трудящимся было продано только девять. А на прилавках магазинов из тысячи наименований товаров осталось около ста. Вы ведь сами прекрасно об этом проинформированы. А насилие в Азербайджане и Армении, вооружение боевиков, – здесь без кровопролития не обошлось и без мафии, время откроет их лица народу.

– Почему вы долго воевали с Гитлером? – раздался из зала высокий голос.

– Вы знакомы с историей второй мировой войны?

– Знакомы и неплохо.

– Не могу разделить вашего мнения. Иначе вы имели бы хоть маленькое представление о том, что мы направляли свои усилия на строительство новой мирной жизни, оборонная промышленность была еще слаба. А на гитлеровскую Германию работала вся Европа. И нашему народу пришлось ускоренными темпами развивать экономику, эквивалентную экономике Западной Европы. И с успехом это сделали, и Гитлера разбили, и народы Европы спасли от фашизма.

– Ваше мнение об афганской войне. Ваше отношение к ней...

– Но ведь мы уже свое отношение высказали. Назвали и виновных, тех, кто дал команду ввести войска в эту страну. Я лично скорблю не только по десяткам тысяч погибших и изувеченных наших ребят, но и по сотням тысяч погибших ни в чем не повинных афганцев. Что они понимали в политике Тараки или Амина? Ровным счетом ничего. Они пахали землю и разводили скот, пять раз в день совершая намаз, а им некоторые горячие головы решили дать демократию. А жизнь показала, что демократию, тем более социализм, на броне танков не ввозят.

Мне очень хотелось, Осман, чтобы ты сидел в этом конференц-зале, слушал нас и постарался понять, какие усилия понадобились нашему народу и надобно прилагать ежедневно, ежечасно, чтобы как это и ни тяжко, ни сложно, защищать свои убеждения, свои принципы.

31

Зима кончилась, но весна не торопилась вступать в город. Несколько недель с моря дул холодный ветер, а с серого, низко нависшего над улицами и домами неба сыпал мелкий, невидимый глазу дождь. Густая, вязкая грязь с каждым днем поднималась, как тесто на дрожжах. Улицы опустели: не видно стало ни собак, ни кошек, ни вездесущих ребятишек, ни стариков, Много дней уже пустовала их лавочка над радиорепродуктором, и казалось, что голосам, вырывавшимся из черной тарелки, было как-то неуютно и одиноко.

Неуютно было и Джамалу. Он мог часами расчесывать мелкой расческой седую бороду, напевая, перебирать четки или аккуратно перелистывать древние книги, но дни становились длиннее, свету прибавлялось, и оставалась много времени, ничем не заполненного. Пойти к старым друзьям, товарищам юности не хотелось.

В один из таких дней к Джамалу явился следователь Кауров.

Джамал не слышал, как следователь вошел во двор, прошел по раскисшей дорожке к веранде и поднялся на ступеньку. Он увидел гостя, когда тот отбивал от ботинок комья грязи.

– Сильно не старайся, подошвы отлетят, – усмехнулся Джамал.

Кауров поднял голову, встретил взгляд хозяина дома и сделал удивленное лицо:

– Вы здесь? Я вас и не заметил. А насчет подошвы вы верно заметили: все худое – ненадежно.

– А как им быть толстыми, подошвам-то?

– Да, как быть толстыми? Время такое...

– Худое, – подсказал Джамал.

– Худое... Что вы меня путаете, – словно спохватился Кауров, – время как раз-таки веселое, бурное. Глядишь, где-то колхозный склад сгорел, кому-то в спину нож всадили, кто-то кирпичом по голове... Вы так ничего и не вспомнили по вашему случаю?

Взгляд его остановился на лице Джамала.

– Как я могу вспомнить сейчас, когда не мог вспомнить сразу после сна... Тот случай я уже почти забыл, да что я говорю, совсем забыл. Что ты стоишь, присядь рядом, на тахту, будь гостем, скоро должна подойти жена, чаем крепким угощу, ты любишь чай? Или вино предпочитаешь? У меня есть хорошее вино, сам делал, лучшее, вкуснейшее, крепко.

– Вот это хорошо. Хозяйскую, жилку я ценю. Свое всегда бывает лучше, вкуснее, крепче. И много надавили?

–Несколько бочонков. Жена подойдет, попробуем по стаканчику из каждого бочонка.

– Ждать времени нет. Дел много. Так вы не вспомнили того, кто вас сзади по голове...

Джамал поймал острый, настороженный взгляд следователя и усмехнулся

– Если б вспомнил, давно обратился бы, куда следует. Вся беда в том, что я не видел его.

– А может, его и не было? – спросил Кауров.

– Кого его? – не сразу понял Джамал.

– Ударившего. Покушавшегося на вашу жизнь.

– Может и не было, – протянул Джамал, искоса глянув на Каурова. – А не кажется ли тебе, что то могла быть и рука Аллаха?

– Чего, чего? – теперь протянул Кауров.

– Рука Аллаха, говорю, – повторил Джамал.

– Да перестаньте вы... голову морочить мне. Я не из тех, кто верит восточным сказочкам. Послушайте, – глаза Каурова оживились, – а может, был приступ. С вами случались приступы?

– Какие еще приступы?

– Ну, сердечные... Вы теряли сознание?

– Никогда, – усмехнулся Джамал.

– Но теперь возраст у вас... можно сказать, преклонный. В каком году вы родились? Да, да вспомнил, тридцать два года жили в старом веке, тридцать один – в нашем живете. Значит, седьмой десяток. Ну, на седьмом десятке можно и сознание потерять. Так вас ударили или вы все-таки потеряли сознание?

– Тебе-то зачем знать это? Я ведь в твою контору не заявлялся, разыскать и наказать моего недруга не просил.

– Ваше право просить или не просить. Наша обязанность, наш долг раскрывать преступление и карать преступника по закону. Так, как мы договоримся, или, то есть, решим – вас ударили или у вас случился приступ?

– Считай как хочешь и дай мне отдохнуть, – махнул рукой Джамал, вытягиваясь на тахте.

– Я к вам еще наведаюсь, недели через две-три, к тому времени вы что-то решите... У меня лично создается впечатление, что вы потеряли сознание в результате острого заболевания. Послушайте, а к врачу обращались вы? – оживился Кауров.

– Я тебе уже сказал, дай мне отдохнуть, – повторил Джамал и закрыл глаза

– Я ухожу, загляну недели через две-три.

Джамал некоторое время ни о чем не думал, просто отдыхал от нудного и утомившего его разговора со следователем. И вдруг шальная мысль тревожно забилась у него в голове: «А почему он заговорил со мной о болезни? Приступ острой болезни. Значит, я потерял сознание не от удара, нанесенного сзади, а от страшной боли. А я в своей долгой жизни никогда ничем не болел. Он меня все склоняет к болезни. Да еще как-то промолвил: «Как мы договоримся»... Он хочет со мной договориться. Что все это значит, не пойму. Но понять надо».

Джамал открыл глаза и, заложив руки под голову, уставился в потолок.

«Он хочет, чтобы я упал от приступа, а не от удара. Тогда выходит, что меня никто не ударил из-за спины. Кого выручает такой ход? Следователя, который закрывает дело? Но он на руку тому, кто нанес удар. Тот уходит в тень. Подожди-ка, Джамал, а не уводит ли сам следователь неизвестного в тень... Постой, постой, дай мне сосредоточиться... В ту ночь на улице не было ни единой души, кроме меня и Нахсина. Мог ли удар нанести сторож? Дьявол его знает...

Но если вспомнить тот разговор, его намеки и полунамеки... Значит, следователь укрывает сторожа? Э, что-то я хитроумно плету свои рассуждения. Что может связывать Каурова и Нахсина? Нахсина, который в восемнадцатом был на дружеской ноге с турками и белыми... Был на дружеской ноге... А Кауров... Тьфу, у меня уже голова отупела от этих сволочей, засевших в мозгу. Пропади они пропадом... »

Джамал встал с тахты, спустился во двор, вошел в сарай, налил в большой серебряный ковш вино из бочонка, выпил до последней капли, крякнул, вытер губы, усы и бороду ладонью, задумался и опять подставил ковш под тугую пахучую красную струю.

32

Не спалось. Было далеко за полночь.

Осман поднялся с постели, взял со стула шелковый халат, накинул на плечи и подошел к окну. По широкому бульвару, щедро освещаемому светом реклам, шли несколько парочек, любители ночных прогулок. Они останавливались у витрин магазинов, что-то бурно обсуждали, заливались смехом, потом крепко обнявшись шли к следующей витрине...

– Смотрю на бульвар, а перед глазами наши магалы, – проговорил Осман. – Темные, тесные магалы. Каменные холодные стены домов. Глухие заборы. Плоские крыши, залитые киром...

Жена заворочалась в постели, тяжело вздохнула и прошептала:

– Все в воле Аллаха.

– Ватан... Ватан, – повторил Осман.– Думал ли я когда-нибудь, что в этом слове может быть заключено столько нежности, тепла, любви? Ватан... Магалы, пыльная дорога, уводящая в инжировые и ореховые сады, теплое и нежное море, караванные пути и тропы в горы, проводники, погоняющие лошадей и ослов, мой сосед Джамал...

– Не верю я, что Керима нет, – подала голос жена. – Никак не могу поверить, сердце не соглашается...

Жив твой сыночек, говорит оно мне, жив и здоров, иначе я не вынесла бы его смерти...

– Джамал человек порядочный, степенный, Керима воспитает он, должно быть, хорошим человеком. Уму непостижимо: как только судьба не распоряжается человеком – семья на чужбине, потеряна навеки, безвозвратно, а сын в чужой среде, хотя и на родной земле...

– Чувствую я: жив мой сыночек...

– А я иначе и не думаю... Не даст ему погибнуть Джамал...

Послышался грохот, треск. Плотно притворив дверь, Осман вышел на лестницу и столкнулся с Назымом.

– Что случилось? – спросил он, сбегая вниз.

– Не знаю, отец.

В магазине творился хаос. Среди разбросанных тюков тканей, ковров, различного антиквариата по полу катались два человека. Наконец, один взгромоздился на другого, оседлал и принялся наносить удары кулаками, хрипло приговаривая:

– Собачий сын. Я давно слежу за тобой. Безродный пес.

Исподнее на лежавшем внизу было изорвано. Из носа текла кровь.

– Прекратите его избивать. Что здесь происходит? – спросил изумленно Осман. Такой картины он не видел за всю свою долгую жизнь.

Работник встал, ноги его дрожали.

– Он... он хотел... убить вас.

Осман удивленно переглянулся с Назымом.

– Убить? Меня? За что? Что я ему плохого сделал?

– Не знаю... – работник прислонился спиной к прилавку, не сводя с лежавшего на полу глаз. – Он поднимался к вам с ножом...

– Это правда? – тихо спросил Осман, подойдя к поверженному.

Тот не шелохнулся.

– Мне кажется, ты убил его, – сказал Осман, взглянув на работника.

–Жив... Такие выживают... Я давно приглядываю за ним.

– Почему же от меня скрывал?.

– А о чем говорить? Что ваш верный работник замышляет против вас скверное? Вы бы не поверили. Я у вас тут недавно...

– И то верно.

Осман остановился над поверженным:

– За что ты хотел убить меня, Велли? Слышишь, я с тобой говорю. За что... Неужели зло и ненависть захлестнули тебя, помутили разум, залили глава?

– Илдирим велел.

– Что ты сказал? – не понял Осман. – При чем тут Илдирим? Что-то ты путаешь...

– Илдирим велел убить вас, – повторил тот.

Осман поднял валявшееся на полу кресло, сел. И почувствовал страшную усталость в теле. «Что делать с ним, – пронеслось в голове, – оставить служить – доверять ему уже нельзя, успокоиться до следующего раза, пока не собьет его с истинного пути Илдирим. Выгнать на улицу – обозлить, озвереет, глядишь, и убьет. Выдать полиции – своего сородича, покинувшего родину и мытарствующего на чужбине? Нет, не позволю себе этого. Но как быть, как с ним быть, что-то надо решить.

– А где Аскер? – вдруг спохватившись, громко воскликнул он. – Я не видел Аскера. Где Аскер?

Осман вскочил с кресла и с Назымом забегал по магазину.

– Где Аскер? Почему он не отзывается? Где мой старый и добрый Аскер, случилось ли с ним что?

– Отец! – раздался крик Назыма.

Осман замер от этого крика, потом устремился в угол магазина, где понуро стоял сын.

Под тюками материй лежал Аскер с разбитой головой.

Осман опустился перед ним на колени, осторожно провел пальцами по морщинистому лицу старика.

– Мой старый и добрый, Аскер... Кто же тебя... Знал ли ты, что умрешь такой смертью, мой старый

добрый Аскер? Как долго ты был со мной, делил радость и горе, тоску и печаль по потерянному, ты был единственным, кому я поверял свои страдания, кому раскрывал разрывавшееся сердце, мой старый добрый Аскер. С кем я теперь буду вспоминать годы молодости, кто мне будет напоминать о далекой земле...

По щекам Османа текли скупые слезы.

– Смотри, Назым, смотри и запомни на всю жизнь старого доброго Аскера. Смотри и запоминай... Назым, где ты, я тебя не вижу. Назым, где ты?

– Я звонил в полицию, – откликнулся Назым. – Сейчас подъедут.

– В полицию? Зачем ты это сделал? Ах да, убит старый добрый Аскер. Мой старый добрый, Назым, где ты?

– Я здесь, отец. Вот я, рядом.

– Смотри и запоминай старого доброго Аскера. Его больше не будет с нами. Больше не будет... О мой несчастный сын...

И он приник лицом к коленям сына.

33

Запах жарившегося залома, казалось, парил над всей улицей. Вдыхая его и причмокивая языком, Джамал усмехаясь представлял, как ворчит жена на летней кухне, снуя от одной печи к другой. На большой чугунной сковороде в кипящем масле красноватой коркой покрывалась рыба, а в тону румянились лаваши. И это в такую-то рань, когда и солнце еще не поднялось над морем.

Затемно встал сегодня Джамал, выпил несколько глотков холодной воды, ополоснул лицо и направился на нижний рынок. Здесь шла уже бойкая торговля свежей рыбой. Домой вернулся он скоро, с тремя увесистыми заломами и охапкой свежей зелени. И как не ворчать старой женщине, которой хотелось на заре сладко поспать, а тут из-за прихотей мужа пришлось чистить рыбу, разжечь огонь в печи и куруге, замесить тесто, а потом сновать от огня к огню, как бы не

пережарился залом или лаваш. Как же не ворчать ей...

Джамал усмехнулся в усы от предвкушения вкусного завтрака и в душе попытался пожалеть свою старуху, которая мечется по кухне. Ну что поделаешь с собой, если так сильно захотелось свежего залома, что и сон стал в тягость, заставляя его поминутно переворачиваться с боку на бок, и ночь показалась бесконечной... А старуха, что старуха, ей не привыкать работать у огня. Разве мало возилась она на кухне, когда дома были дети? А теперь целыми днями сидит у ворот и сплетничает с соседками.

На веранду поднялась жена, расстелила сюфре, бросила взгляд на мужа, спросила:

– О ком твои песни?

– О тебе, старуха.

– Какие же в ней слова?

– Жалостливые.

– С каких пор ты меня стал жалеть? – Она улыбнулась и улыбка на какие-то секунды разгладила сморщенное, как печеное яблоко, лицо.– И правильно поступал, что не жалел. Жалость старит душу человека. А может, и не жалостливые слова твоей песни? – Она подняла на мужа глаза.

– Нет, конечно. Разве я позволю, чтобы ты постарела раньше меня? – Джамал тихо засмеялся.

– Эх, Джамал... – вздохнула жена, бросая на поднос вымытую зелень. – Ни годы, ни невзгоды, ни радости не изменили ни твоего характера, ни привычек.

Она спустилась с веранды и скоро вернулась, неся большое блюдо с заломом на одной ладони и лавашами на другой. Потом принесла графин белого вина и два глиняных бокала.

– Это кому, второй, – наигранно удивился Джамал.– Тебе, женщине?

– Если ты поешь обо мне песни, почему бы нам вместе не выпить за меня? – устало произнесла жена, опустившись на палас и сложив под себя ноги. – Наливай.

Они еще не успели доесть по куску вкусного залома, который так и таял во рту, когда во дворе послышались шаги и раздался мужской голос:

– Мир твоему дому, Джамал, ты не спишь?

– И твоему, – ответил Джамал. – Заходи, гостем будешь.

На веранду, тяжело и отрывисто дыша, поднялся грузный мужчина.

– Ашур? – удивленно воскликнул Джамал, но тут же погасил возглас и небрежно обратился к жене. – Неси, женушка, третий бокал. А ты садись, Ашур, садись и попробуй заломов, которых я чуть свет поймал.

– На лов ходил? – удивился Ашур, отправляя в рот хрустящую корочку.

– И таких трех красавцев принес, что жалко было бросать на раскаленную сковороду.

– Море нынче богатое, рыбы будет много. Но в твоем возрасте ходить на лов... – Ашур покачал головой.

– Не слушай его, председатель, – вставила жена, возвращаясь с бокалом. – Ты ли не знаешь, что Джамал горазд на шутки.

– А мне показалось, что он всерьез говорит, – сказал Ашур.

– Меня уже и в несерьезные записали, – усмехнулся Джамал. – Разве я тебя обманул, Ашур? Я сказал: «Садись и попробуй заломов, которых я чуть свет поймал». Так ведь сказал?

– Так, кажется.

– Но ты меня не спросил, где я их поймал. А спросил бы, я бы ответил: на нижнем рынке за деньги.

И Джамал довольный тихо засмеялся.

Ашур пригубил вино, попробовал на вкус терпкость, отпил глоток, потом выпил весь бокал, до дна и проговорил:

– Хорошее вино. Если конечно, не шутишь, что твое.

– Я никогда не шучу, Ашур. Я всегда говорю по делу. А теперь выкладывай ты свое дело.

– Это не мое дело. Общественное. Колхозное. В позапрошлую пятницу чья-то подлая рука вырубила наши виноградники на двух гектарах.

– Знаю, слышал.

– Думали всем правлением, как найти мерзавца. Созвать народ на собрание? Спугнем ведь вражину. И решили: не делать большого шума, забыть, будто бы, о случившемся, но подсторожить... Две недели ночью члены правления как кроты закапывались в землю, выжидали. И вот поймали. Кого бы ты думал?

– Откуда мне знать, если город молчит.

– Самого тихого, смирного, верующего человека, Гусейна. С серпом в руках. Поймать поймали, а заставить произнести хоть слово не можем. Молчит, насупился, как сыч. Трудно поверить, что этот тихий, смирный многодетный человек, который батрачил на беков, мог поднять руку на свой же труд. Ведь сколько пота пролили, чтобы вырастить виноградники, и вот тебе – за одну ночь нет двух гектаров... Чует мое сердце: не он, а кто-то другой поднял его руку. Кто-то его напугал и заставил. Вот я и пришел к тебе с просьбой: поговори с Гусейном. Может, он тебе откроется.

– Отпусти Гусейна домой... – произнес Джамал после недолгой паузы.

– Отпустить домой? – не дослушав, прервал Ашур.

– Ты пришел ко мне за помощью, Ашур? Если ты пришел ко мне за помощью, отпусти Гусейна домой и предупреди, что к нему придет Джамал. Никуда он не денется из города.

– Но он может убежать...

– Куда? – усмехнулся Джамал. – От милиции? – «Впрочем, его могут убить», – подумал уже про себя Джамал. – Так что отпусти его домой.

И вдруг острая мысль, словно вспышка молнии, заставила его вздрогнуть. «Неужели он? Нет, это уж слишком... Но почему нет, если он избрал себе путь вражды и ненависти... Он ли?» – Лоб его покрылся испариной.

– Джамал, тебе плохо? – донесся до него словно издалека голос Ашура.

– Нет, ничего, просто сердце сдавило, ничего...

– Тогда я пойду сделаю, как ты велел. Может, врача все-таки вызвать?

Джамал взглянул на Ашура и тихо проговорил:

– В этом деле врач не поможет. Поспеши, чтобы я через час мог навестить Гусейна.

Джамалу хотелось побыть одному, но вернулась жена, подошла, озабоченно посмотрела в глаза:

– Что с сердцем? Ашур говорит, сдавило сердце Джамалу.

– Успокойся, жена, не было у меня никакой боли. Когда-нибудь разве болела эта грудь? – и Джамал постучал костлявым кулаком по груди. – Меня пот прошиб от мысли, что Гусейна толкнул на преступление... догадываешься, кто?

Жена долго глядела мужу в глаза, потом всплеснула руками и села на палас.

– Догадалась?

– Страшно даже подумать – проговорила она, – и после этого ты еще в магал собрался? Никуда не двинешься отсюда, ни на шаг. Ты живым не вернешься оттуда...

– Одумайся, женщина, и успокойся, днем я иду, а днем кто тронет?

Джамал отряхнул шапку, заломил ее тулью, надел аккуратно на голову, опустив на глаза, и, заложив руки за спину и перебирая четки, вышел со двора. На улице он остановился поднял голову, оглядел небо, которое стало нагреваться от горячего солнца, и направился в магал.

Жил Гусейн выше бывшего дома Османа и чуть ниже мечети. На стук Джамала калитка отворилась сразу, будто его ждали.

– Проходи, уважаемый, в дом.

Гусейн, пропустив гостя вперед, сильно со стуком задвинул задвижку.

Джамал быстрым, цепким взглядом окинул небольшой двор, в котором играли дети, и последовал в дом.

– У тебя и виноград растет во дворе? – спросил он, усаживаясь на предложенную подушку.

– Как видишь, уважаемый.

– И тутовое дерево, и абрикос, и черешня, и айва, и гранат, и груша...

– Есть миндаль, инжир.

– Ну ты подумай только. Настоящий сад. Молодец, добрые у тебя руки. А как мы жили двадцать лет назад, уже забываться стала наша батрацкая жизнь.

– Да, уважаемый, как вспомню, голову хочется втянуть в плечи от стыда.

– Ты-то что видел? – усмехнулся Джамал. – Кажется, лет на тридцать моложе? Я перевидал немало человеческого горя и страдания. Жандармы полосовали нагайками. Юсуф-бек обирал и обманывал. А сейчас какая настала жизнь? Как в доброй сказке. И люди стали честнее и добрее. Правда, и прежде встречались хорошие. Ничего плохого не могу сказать о своем соседе Османе. Помнишь купца Османа?

– Как не помнить? Хорошо помню.

– Богатый был человек, властный, но и добрый, человечный. Сколько раз я сопровождал его караваны в горы. Никогда не унижал достоинства человека. Только добрым словом могу его вспомнить.

– Что-нибудь слышал, уважаемый, о нем?

– Нет, ничего не слышал.

В комнату вошла жена Гусейна, поздоровалась, поставила большой поднос с чайником, стаканами, блюдцами, сахаром и ореховой халвой и бесшумно вышла.

– Но есть и поганые, – продолжал Джамал.– Ты помнишь Илдирима, шурина его?

– Как не помнить?

– Это он напугал Османа новой властью, сорвал его с насиженного места, обманом, страхом сорвал с земли отцов, заставил уехать и где он сейчас мытарствует, да и жив ли, кто знает. Злой человек Илдирим,

злой. Да разве нет среди нас подобных Илдириму, которые и сами не любят новую власть, и в души других пытаются влить яд ненависти. Знаю я одного такого. Правоверного из себя кажет, благородного, сердобольного, а сам отговаривал людей вступать в колхоз. Встретился я как-то с ним ночью в магале, разговорился, намекнул, что знаю, мол о его связях в восемнадцатом году с турками и белыми...

– О связях с турками и белыми? – перебил его Гусейн.

– Ну да, намекнул, что если будет пугать людей колхозом, расскажу всем о его прошлом. Знаешь, какой ответ я получил? Слышал, наверное?

– Слышал. В одном городе живем.

– Камнем по голове.

– Что же вы его не выдали властям, уважаемый? – тихо опросил Гусейн.

– За руку не пойман – не вор. Вот тебя схватили за руку – ты преступник, враг, тебя следует судить, а он, направлявший тебя на преступление, вложивший в руку серп, – в стороне, в тени остался.

Джамал бросил взгляд на Гусейна: тот сидел бледный, низко опустив голову.

– Он, прикрываясь именем Аллаха, послал тебя совершать злое дело. А разве Аллах велит нам уничтожать плоды своих рук, хлеб, выращенный потом? Нахсин остался в стороне, в тени, а ты, безобидный и честный человек, вчерашний батрак, стал врагом своей власти, своего народа.

Джамал встал, искоса глянув на Гусейна: бледные щеки его подрагивали.

Спускаясь по крутой каменистой улочке, Джамал постарался вспомнить свой разговор с Гусейном. И вдруг его осенила мысль, от которой стало легко и даже радостно: Нахсин не тронет Гусейна, потому, что тайна уже известна Джамалу. И тут пришло твердое решение: идти к следователю.

– Я приглашаю вас, уважаемый Осман, посидеть в ресторане и обязательно в поднебесье, – сказал весело Серж, игриво опираясь на трость.

Они гуляли по аллеям Тюильри, наслаждаясь теплом солнца.

– Нельзя ли на земле, я люблю чувствовать под ногами твердую почву, друг мой.

– В поднебесье лучше размышлять, воздух чище.

– Тебе лучше знать...

Выйдя из парка, Серж протянул трость навстречу проезжавшему такси. Машина затормозила. Он открыл дверцу, пропустил в салон Османа, затем аккуратно опустился на сиденье и коротко бросил шоферу:

– Монпарнас.

Спустя пятнадцать минут они сидели на открытой площадке ресторана «Монпарнас» на сто четвертом этаже. Расположившись в удобном кресле, Осман испытывал ощущение, которого не знал в своей долгой жизни. Он не видел ни домов, ни деревьев, не слышал городского шума, все картины, силуэты, звуки исчезли. Вокруг и над головой было небо. Куда ни бросишь взгляд – небо. И глухая тишина. Казалось, гондола, оторвавшаяся от воздушного шара, застыла в воздухе и ждет мгновения, чтобы рухнуть.

– Вижу, вам нравится здесь, уважаемый Осман, – голос Сержа заставил его оторваться от мыслей.

– Что тебе ответить, друг мой Серж, если ты мне преподаешь урок о том, как слаб человек и деяния его перед природой.

– Преклоняюсь перед вашей мудростью, уважаемый Осман, но не надо так далеко уходить в своих суждениях. Я хотел на правах друга просто подсказать: мы как песчинки в океане и каждый день наш красив и шаток... И прошу вас, не называйте меня Сержем, для вас я – Сеттерхан. Когда слышу из ваших уст «Серж», меня словно режут тупой ножовкой.

На лице Османа засветилась улыбка, но тут же погасла.

Подошел официант, наклонился к Сержу.

– Послушай, друг мой Сеттерхан, я бы хотел заказать рыбу.

– Есть устрицы, мсье, осьминоги, кальмары, омары, – тут же откликнулся официант, обернувшись к Осману.

– Нет, не осьминоги и омары, а рыбу, сельдь, свежую сельдь, ее у нас называют залом.

– Свежую сельдь, мсье? Такой рыбы у нас нет...

– Позвони в рестораны, Шарль, может быть у «Максима», в крайнем случае в магазине раздобудь, одним словом, где хочешь, а сельдь пожарь нам обоим.

– Ты часто бываешь здесь, Сеттерхан?

– Люблю деловые встречи назначать здесь. Никто не подслушает.

– Нашу встречу тоже надо считать деловой?

– Нет, уважаемый Осман. – Серж засмеялся. – Чисто дружеской. Я хочу просто посидеть с вами и просто кое-что сообщить. Я делец, бизнесмен, вращаюсь в обществе бизнесменов, биржевых чиновников и маклеров, знаю конъюнктуру сегодняшнего и предугадываю конъюнктуру завтрашнего дня. Деловые люди вкладывают свои деньги сегодня в военную промышленность. Это принесет огромный доход.

– Неужели мир готовился к новой войне?

– В Италии фашизм. Нацисты пришли к власти в Германии. Это вам ни о чем не говорит? Германия всегда была врагом номер один для Франции.

– В мире опять неспокойно, – задумчиво проговорил Осман. – И куда же нас унесет очередная буря...

– Какая буря, уважаемый Осман? – не понял Серж.

– Поднявшаяся в восемнадцатом буря оторвала меня от родины и понесла как перекати-поле по разным землям, пока я не зацепился здесь. Куда теперь понесет безумный ветер меня?

– Не омрачайте себе день, уважаемый Осман, до бури еще, ох, как далеко, да и будет ли она? Это еще вопрос.

– Я видел алчность многих, – продолжал Осман. – И белогвардейцев, и турков, и разных партий. И все требовали денег, денег, денег. Все беды человека от денег.

– От жажды господства и властолюбия.

– Но жажда господства и властолюбия возникает, чтобы овладеть богатством, деньгами. Сознанием правят деньги.

Осман замолчал. Серж, удобно вытянувшись в кресле, смотрел в небо.

– Я хотел дать вам еще один совет, – промолвил он, – если вы примете его. А принять его следует.

– Говори, Сеттерхан, слушаю тебя.

– Будьте обходительны с комиссаром полиции, мэром города, директором банка, дельцами – вашими соседями, оказывайте им внимание. Вы меня понимаете?

– Кажется.

Серж засмеялся.

– Одаривайте их время от времени подарками. Приглашайте на обед, ужин. Одним словом, подкупайте их. Этим акулам ничего не стоит съесть мелкую рыбу, тем более приплывшую из другого моря.

– Спасибо, Сеттерхан, к этому совету я прислушаюсь.

К столику устремился официант, быстро и ловко выложил хрустящие ломтики батона, салаты нескольких видов, черную и красную икру, вино и две небольшие сковородки, которые распространяли аппетитный запах жареной сельди.

– Как долго я не ел залома! – проговорил Осман, снимая с рыбы хрустящую корочку и, обжигая пальцы, отправляя ее в рот.

– Какое объедение. Ты что так удивленно смотришь на меня, Сеттерхан, а, понимаю, я ем руками, а не вилкой! Плюнь на этикет, друг мой, рыба вкусна, когда ее едят руками, когда обсасываешь каждый палец. Послушайся меня, я в этом понимаю толк.

– Будь по-вашему, – сдался Серж.

– И наполни бокалы. Правда, это не наше вино, но все-таки из винограда.

Небо начинало остывать, когда Осман и Серж спустились на улицу. В окнах отеля «Монпарнас» ослепительно пылал багровый закат.

– Ты не возражаешь, друг мой, если я сейчас направлюсь на Монмартр? – обратился Осман к Сержу. Тот удивленно глянул на Османа, коротко засмеялся:

– Неужели, простите меня, уважаемый Осман, неужели вам захотелось посмотреть на девочек...

– В мои-то годы на них смотреть, – тоже засмеялся Осман.

– А впрочем, любоваться может и дряхлый старец. Я часто гуляю по Монмартру. Его узкие каменистые улочки, невысокие каменные дома мне напоминают магалы моего города.

– Пойдемте, уважаемый Осман, пройдусь и я с вами.

Серж подозвал такси и они сели в машину.

35

Тот день не изгладится из моей памяти никогда. Уже потом, после инцидента, ты все отшучивался, отмахивался, не принимая всерьез того, с чем мы столкнулись. Может, для тебя то было обыденным явлением но ведь имя ему было фашизм. Я отказывался понимать, как можно снисходительно относиться к фашизму, не принимать его всерьез?

«Когда засыпает разум, просыпается чудовище», – говорили древние греки. Эти мудрые слова должны быть выбиты на стенах домов, над входом в церкви, соборы и костелы, над подъездами государственных учреждений и военных министерств и ведомств, на стенах аудиторий университетов... Когда засыпает разум, просыпается чудовище. Чудовище, которое ввергло в катастрофу полмира, уничтожив в пожарах, испепелив в газовых печах, изрешетив пулями пятьдесят миллионов человеческих жизней.

Тот день не изгладится из моей памяти...

Я с друзьями сидел в тенистом сквере, что примыкал к собору Парижской богоматери. На свежескошенной траве газонов безмятежно играли маленькие дети. Мамы и бабушки, подставив лицо, плечи, руки солнцу, были поглощены вязаньем. Эта осенняя идиллия начинала умилять нас и, чтобы не расчувствоваться и не предаться слезливой сентиментальности, мы, не сговариваясь, встали, словно движимые одним чувством, и направились в собор.

Он был набит до отказа. Под тяжелыми холодными сводами стонали фуги Иоганна Себастьяна Баха. Орган то выплескивал из себя чарующие звуки, то выталкивал неистовые, бешенные удары, то выжимал из себя тихие жалобы. Мы были поражены игрой органиста. Какую же душу, какое сердце надо было иметь ему, чтобы вобрать и скорбь, и жадность, и гнев, и радость человечества, вобрать, пережить и передать нам? Какая титаническая сила заставила его выстрадаться, выразиться в музыке, чтобы разбудить в нашей памяти боль и гнев, разогнать в наших венах кровь...

Мы стояли и слушали, завороженные неистовой игрой и силой чувств музыканта. Стояли и слушали и тогда, когда умолк орган, потому что звуки долго плыли под сумрачными сводами собора, блуждая и не зная, как вырваться на волю. Или, может, не хотели нас покидать?

Мы вышли из собора Парижской богоматери и пошли по улице, все еще находясь в плену у музыки Баха. И вдруг пронзительный свист и улюлюканье заставили нас вздрогнуть и очнуться. Я увидел перед собой ехидные, злобные, оскалившиеся лица, угрожающе поднятые кулаки, цепи, прутья. Перевел взгляд на своих друзей, опять на разинутые пасти и гнилые зубы... и все понял. Мы были оцеплены фашиствующими молодчиками. Они юродствовали как только могли: улюлюкали, орали, выкрикивали непристойные слова, звенели цепями, хохотали нам в лицо и ждали, выжидали момента, когда начать действовать. Я стал искать глазами блюстителей порядка

и, наконец, увидел их метрах в пятнадцати, у бистро, спокойно взиравших на бесчинствующих молодчиков. Надо было принимать какое-то решение. Я вытащил из кармана паспорт и высоко поднял над головой...

Моску... Моску....

Мои слова вызвали, неистовый свист и гвалт у фашистов. Но вот, наконец, один из полицейских приблизился к фашистским молодчикам и стал разгонять их. Чей-то прут прошелся по его спине. Он резко крикнул и вместе с подоспевшими к нему другими полицейскими принялся обрушивать дубинками удары на головы, плечи, спины молодчиков. Оттесненные к стене, мы ждали исхода поединка, но вдруг рядом взвизгнул тормозами «Ситроен», ты выскочил из машины, втолкнул насильно нас в нее и вывез из «опасной зоны».

Как ты узнал, что мы у собора Парижской богоматери попали в беду? Под впечатлением пережитого я забыл спросить тебя в тот день, в сумятице дел забыл и на следующий. Так и не выяснив, уехал домой.

Много месяцев прошло с того памятного дня, наполненного музыкой неистового органиста и оргиями озверевших фашиствующих молодчиков. Но время от времени меня вновь мучает вопрос: как ты узнал, что мы у собора Парижской богоматери попали в беду, Осман? Не связан ли и ты ненароком с ними, считая их оргии шалостями переходного возраста? Или отправился искать нас, не застав в отеле? Но Париж огромен, а пути наши сошлись...

Так или иначе вопрос остается открытым.

Шалости переходного возраста... Именно так ты назвал их действия, увозя нас из злополучного места. Шалости ли? А впрочем, так считали, очевидно, и блюстители порядка, спокойно взиравшие на оргии фашистов, и прохожие, выстроившиеся вдоль тротуаров, и посетители бистро... Считали, ибо они позволили своему разуму уснуть.

Страшно, Осман, и опасно, когда засыпает разум.

36

Приезд на каникулы Симона и Керима доставил Джамалу не только радость, которую он скрывал, но и множество хлопот. Сыновей предстояло женить. Обоих в один день, чтобы не готовить два свадебных стола: Джамал не мог позволить себе такой роскоши – не было у него ни денег, ни продуктов. Муку, мясо, рис, горох, рыбу, кишмиш, фрукты – все принесли родственники и друзья. И если жена, бросая косые взгляды на Джамала, ворчала:

– Срам-то какой, по всему городу люди будут шушукаться, что Джамал не нажил добра даже на случай женитьбы детей, – он усмехался в усы и наставительно говорил:

– Для себя же и принесли, есть и пить будут они, а женить сыновей я мог и без застолья, повел бы в загс, а оттуда – в дом.

– От тебя и этого можно было ожидать, – отвечала жена.

– А разве в том есть что-то предосудительное, женщина?

– Будь по-твоему, старик, не будем портить себе настроение в такие счастливые дни.

Накануне свадьбы Джамал принес, домой аккуратно сложенный сверто́к и еще со двора подал голос:

– Жена, где мои сыновья ходят?

– В комнате с друзьями, где они еще могут быть, – ответила та из летней кухни.

Джамал поднялся на веранду, положил сверток на тахту:

– Симон, Керим...

– Мы здесь, отец.

Красивые, возмужавшие, крепкие, они стояли рядом так непохожие лицом друг на друга и такие родные ему. Он указал рукой на сверток.

– Разверните.

Симон бережно развернул сверток. В нем лежали аккуратно сложенные два черных костюма, белые рубашки, галстуки и полуботинки.

– Кому это, отец?

– Вам, кому же еще! Поедете со своими невестами в загс, зарегистрируетесь, сфотографируетесь на память для отца с матерью, поедете на красивой легковой машине, начальник пожарной дружины мне обещал ее. Затем сложите аккуратно костюмы. На свадьбе можно сидеть и без них. Джамал и его сыновья к костюмам не привычны. Мать купила вам по новой сорочке.

– О чем ты говоришь, старик, – возмутилась, жена, подслушивавшая их разговор, – или ты совсем рехнулся под тяжестью лет своих... Какие уважающие себя родители пошлют своих дочерей в загс прежде, чем заиграет свадебная музыка? Ты что, забыл веками сложившийся обычай? Сначала свадьба, а потом выдумывай, что хочешь.

Джамал усмехнулся, подмигнул сыновьям и наигранно тяжело вздохнул:

– Я твоим будущим родственникам уже заявил: днем пойдут в загс, как того требует наша власть, а вечером сыграем свадьбу, как того требуют наши обычаи.

– И они согласились?! – изумленно спросила жена.

– Кроме тебя все со мной соглашаются.

Утром следующего дня дом Джамала напоминал муравейник: люди сновали по двору, женщины мыли зелень и фрукты, рис и горох для плова и дани, рыбу и мясо, месили тесто для лавашей, мужчины несли от соседей столы, скамьи, стулья, доски, дети галдели, кричали, путались под ногами.

– Никогда не думал, что у меня столько родственников наберется, – твердил Джамал, прохаживаясь по двору. – Ну ты только посмотри, что делается... Воскресный базар... Да где же эта чертова машина, наконец, не подвела бы молодых. А почет-то какой, дети Джамала на автомобиле едут в загс. – Он подкрутил усы, провел ладонью по бородке довольный. – Что будет говорить город, а? Дети Джамала в загс ехали на автомобиле. А его все нет, тьфу ты, чертов шофер.

На улице захрипел простуженным голосом клаксон. Джамал встрепенулся:

– А вот и он. Не подвел. Симон, Керим, где вы там, выходите...

Симон и Керим, наряженные и сияющие, спустились во двор в сопровождении друзей.

– Садитесь в автомобиль, быстро, не то этот чертов шофер в кожаном шлеме и очках на лбу, напоминающий мне жабу, удерет от нас.

Взревел мотор, снова простужено заголосил клаксон, и красная машина рванула с места.

– Не забудьте за невестами заехать, – крикнул вдогонку Джамал. – И сфотографироваться.

Спустя час клаксон возвестил о приезде женихов.

– Где же ваши законные жены? – удивленно произнес Джамал.

– Отвезли по домам.

– Дурни, а не абреки. Не могли умыкнуть.

После обеда за воротами послышалась музыка и во двор вошли Гюршюм, Вартан и Сеттер: они играли на таре, кеманче и бубне свадебную мелодию.

– Давно жду вас, давно жду, – ласково встретил друзей Джамал. – Случаем, не запылились?

– Запылиться не запылились, мы не за арбой шли, а вот в горле пересохло, – за всех ответил Гюршюм.

– Горло – что? Горло – ерунда. Смочим его стаканом доброго вина и споем свою любимую песню юности...

Джамал вдруг хлопнул себя по лбу ладонью:

– Что же это я?! Ай-ай-ай, чуть не подвел ребят... Забыл о музыкантах. Видать, права моя старуха, говоря, что с годами теряется острота ума... Ай-ай-ай.

– А мы разве не музыканты? – обиделся Сеттер.

– Кто посмел сказать, что вы не музыканты? – удивился Джамал. – Все эти гармонисты и барабанщики ногтя вашего не стоят.

– Так в чем же дело? Что тебя удручает?

– Мне нужны еще музыканты. Симон и Керим пойдут за невестами одновременно. Понял теперь? Эй, Гаврил, где ты шляешься? – закричал Джамал.

– Здесь я, отец. И нигде не шляюсь, а помогаю накрывать столы.

– Ты знаешь Рустама? Ну, того, что живет над верхним базаром? Бригадира колхоза?

– Ну, знаю...

– Он и его сыновья – хорошие музыканты. Беги к нему и передай, что Джамал срочно ждет их.

В конце дня, когда лиловые облака, обрамлявшие края синего неба, посерели и на улицы мягко и незаметно опустились сумерки, из двора Джамала вышли две большие группы празднично разодетых людей. Впереди шествовали музыканты. За ними шли женщины с табагом[1] на голове, их замыкала молодежь с горящими факелами.

Группа, в которой шел Симон, остановилась у дома Азизова. Женщины с табагом подошли к воротам и дробно застучали кулаками.

– Откройте тяжелые засовы и выдайте нам вашу пери[2].

– Кто вы такие? – послышалось из-за ворот.

– Ваша новая родня.

– Зачем вам понадобилась наша пери?

– Мы берем ее в дочери и в знак любви одариваем подарками.

Ворота широко распахнулись и шествие с музыкой и веселыми возгласами, освещаемое факелами, ступило во двор. Поднявшись на веранду, женщины одна за другой опустили табаг. Хозяйка дома пригоршнями стала бросать сладости в толпу, потом всплакнула, вытерла слезу кончиком платка.

– Дорогие гости, садитесь за стол, угощайтесь, пока невеста соберется в путь.

Азизов первым сел за стол, налил в стакан красного вина, крякнул, тихо промолвил:

– Грустно отдавать дочь в другую семью. Нянчил, кормил, одевал, лелеял... И вот уходит навсегда из своего дома... Грустно...

---

[1] *Табаг* – большие плоские подносы со сладостями и свадебными подарками для невесты.

[2] *Пери* – красавица.

– Уходит, чтобы построить свой дом, – послышался голос из-за стола. – Природа так повелевает: каждой птице – свое гнездо нужно.

– Это ясно, – сказал Азизов, – и все-таки грустно.

Внезапно, словно спохватившись, заиграли музыканты. Во двор, в сопровождении подруг, вышла невеста, накрытая шелковым платком, встала рядом с Симоном, их окружили факельщики, и шествие под свадебный танец двинулось в обратный путь.

У ворот их поджидал Джамал. Он подошел к Гюршюму и проговорил на ухо:

– Задержи их здесь недолго, вот-вот подойдет Керим с невестой, пусть вместе войдут в дом.

Но ждать не пришлось. Из-за поворота появилось шествие.

Искрометная, волнующая кровь и зовущая в круг музыка, восторженные, радостные крики обрушились на свадебные столы. Приглашенные встали, приветствуя новобрачных.

Молодожены прошли в дом. Здесь их ждал виночерпий. Поздравив молодых с браком, он преподнес каждому стакан с красным вином. Молодожены переглянулись, улыбнулись друг другу, выпили вино и бросили с силой стаканы. Они разбились со звоном.

– Молодцы, дети мои, – воскликнул виночерпий. – Ваша жизнь будет светла и радостна и не омрачат ее никакие беды. А теперь займите свои места за столом.

Свадьба была в полном разгаре. Одни блюда сменялись другими, музыканты, а их было добрых шесть искусных музыкантов, невольно заставляли своей игрой выходить в круг каждого из сидящих за столом, станцевать с невестами, Сеттер радовал души песнями, и веселью, казалось, не будет конца.

Джамал и Петр вышли на улицу, сели на лавочку и прислонились спиной к стене.

– Веселый пир закатил ты сыновьям, Джамал, – произнес Петр.

– Не я, ты, – ответил Джамал.

– Как это я? – удивился Петр. – Свадьба-то в твоем доме?

– А с костюмами кто помог? Не будь костюмов – не смогли бы щегольнуть мои сыновья. Да еще на красной машине. – Джамал тихо засмеялся. – Спасибо родственникам, это они собрали такой вкусный обильный стол. У меня, друг, как ничего не было, так ничего и нет.

– Вот ты о чем! – протянул Петр и замолчал. – А сторож исчез, – произнес он, нарушив долгое молчание.

– Сторож исчез? – переспросил непонимающе Джамал. – Какой еще сторож?

– Нахсин.

– Нахсин исчез! – поразился Джамал. – Вот так новость.

– Не пойму, кто мог его предупредить. Долго ломаю голову и никак не могу найти ответа. Вспугнули? Предупредили? Перебрали всех: и председателя колхоза, и членов правления, не могут они предупредить. Все бывшие батраки, ничто не связывает их со сторожем...

– Нахсин исчез, – повторил Джамал, пытаясь понять, осмыслить, случившееся.– Не может быть... Ведь я к следователю ходил. А он исчез...

– К какому следователю?

– К тому самому... Который приходил ко мне.

– К тому самому... – повторил Петр и замолчал. – Признаюсь тебе, Джамал, не нравится он мне. Ничего он мне плохого не сделал, и я против ничего не имею, но не нравится – и точка. Не по душе. Надо разузнать, расспросить людей, откуда он родом, – задумчиво проговорил Петр.

– Зачем расспрашивать людей,– сказал обиженно. Джамал. – Кто лучше меня знает Дербент? Или ты мне уже не веришь? Он появился здесь... сейчас я тебе точно скажу, да, в восемнадцатом. Джамалу ты всегда верил, друг, и сейчас можешь поверить.

Петр задумался, потом тихо проговорил:

– В таком случае надо сообщить в НКВД.

Два старых друга сидели задумчивые, а над двором, над улицей, над всем городом звучала щемящая душу и бодрящая кровь свадебная музыка.

37

Осман проснулся глубокой ночью, разбуженный собственным криком. Он откинул одеяло, сел в постели, сложив под себя ноги, осторожно глянул в сторону жены, успокоился: она спала. Поеживаясь от холодного пота, Осман задумался над причиной своего крика, но, так и не определив ее, поднялся с кровати и подошел к окну. Улица была безлюдна. Неяркий свет, выливавшийся из витрин магазинов, ложился пятном на темный асфальт бульвара. Осман глянул поверх крыш: в небе еле светились редкие звезды. Внезапно в темном стекле окна появилось изображение мальчишеского лица. Оно наплывало откуда-то из глубины, из непонятной черноты и, увеличиваясь, все приближалось к Осману. И когда Осман, широко открыв глаза, узнал его и захлебнулся от неожиданности и захватившей его оторопи, лицо исчезло.

– Эзизим[1], – простонал Осман с болью в голосе. – Эзизим. Сколько же лет я не видел тебя? Почему ты сейчас привиделся мне... Да, ведь и во сне ты посетил меня, именно ты, и так неожиданно, что я забился в крике... Ты так напутал меня... Эзизим, какой ты милый мальчик, около двадцати лет прошло, а в моей памяти ты сохранился мальчишкой. Сейчас ты был бы уже мужчиной, помощником отцу, имел бы семью, ну конечно имел бы, в таком возрасте все уже женятся. Но почему был бы? Я поручил тебя моему соседу Джамалу, он должен воспитать тебя настоящим человеком. Должен, я ему верю... Но погоди-ка, что тут врал Илдирим... Что тебя нет в живых? Если это сказал Илдирим, значит, ему не стоит верить. Он ни разу в жизни не сказал правду. А может, это было единственное правдивое слово, произнесенное его ус-

---

[1] *Эзизим (азерб.)* – дорогой мой.

тами? О, Всевышний, не знаю даже, как и думать. Как думать... Но мать не верит в то, что тебя нет. Сердце матери живет тобой. Ему можно верить... Почти двадцать лет не видеть родное дитя и разговаривать с ним, лелеять его каждый день, каждый час... Какой неистребимой любовью должно жить сердце твоей матери, какой силой должно обладать ее хрупкое тело... Жив ли ты, эзизим? Или нет тебя в живых? У кого узнать, где найти мне вестника добра или зла... И почему ты приснился мне? Случилось ли что с тобой? Горе ли постигло или охвачен радостью, которой ты решил поделиться со мной... Как мне узнать, что с тобой приключилось, почему ты устремился ко мне сквозь непроглядную тьму... У кого мне узнать... Эзизим... мозг мой бессилен ответить на мои вопросы, он не слушается меня, не подчиняется... Мозг мой тупеет, я больше не могу...

Из тьмы к нему вновь рванулось в каком-то неистовстве знакомое до боли мальчишеское лицо, вспыхнуло ярким светом и померкло.

Осман сполз на толстый ворсистый ковер, опрокинулся навзничь, потерял сознание.

38

Недолго гостили Симон и Керим у родителей: в Москве ждала их преддипломная работа. Отгуляв свадьбу, починив крышу дома и глиняные полы, побелив комнаты и покрасив двери и оконные рамы, они провели две недели в садах, что раскинулись за северными городскими воротами. Получив разрешение в исполкоме не без помощи Петра, соорудили шалаш и поселились в нем с женами. С утренней зари до заката солнца молодые отдыхали на свежем воздухе, лакомясь фруктами и только на ночь приходили домой. В субботние вечера Джамала навещали старые друзья Гюршюм, Вартан и Сеттер, и, расположившись за широкой скатертью, молодые слушали игру музыкантов. В эти вечера, казалось, не было конца песням, шуткам, воспоминаниям, веселым притчам, восточным сказкам.

Наконец, подошел день отъезда. Симон и Керим уложили вещи жен в большие фанерные чемоданы, попрощались с матерью, которая отказалась идти их провожать, подхватили под руки своих жен и отправились на вокзал. Джамал с Гаврилом последовали за ними.

На вокзале молодоженов ждали друзья. У их ног громоздились четыре ящика с фруктами.

– Куда все это? – возмутился Симон.– Мы с Керимом не амбалы таскать такую тяжесть на спине.

– Посмотрите-ка на них, – удивились ребята. – Им на дорогу такое богатство даешь, а они еще ломаются. И причем тут амбалы? Мы занесем их в вагон, а в Москве, не будь жадным, заплати носильщику, он и вынесет.

По перрону сновали сотни людей. Джамал провожал их взглядом, кого-то узнавал сразу, кого-то припоминал, а некоторых пытался – и не мог. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо, Джамал напряг зрение, вгляделся и промолвил про себя: «Не может быть, не он. Но как же не он, если вот он, передо мной, с чемоданом в руке. Неужели уезжает? Куда? Уезжает или удирает?.. Что же делать, что... Петра позвать? Но до него разве мне добежать, а времени осталась совсем мало. Уедет поезд».

Мысли путались в голове Джамала. Наконец, он тихо обратился к Гаврилу:

– Сынок, беги в исполком, нет, беги в депо, к начальнику, пусть звонит в исполком Петру, пусть скажет – здесь следователь Кауров, он уезжает. Ты понял меня?

Гаврил исчез в толпе.

Джамал потерял следователя из виду, заметался взглядом по лицам, спинам, чемоданам людей, наконец, нашел и облегченно вздохнул. Но вот уже и паровоз протяжно загудел, подали поезд, но ни Гаврила, ни Петра не было. Наконец Гаврил появился.

– Сынок, где Петр? Начальник успел ему позвонить?

– Дядю Петра забрали в НКВД.

– Что ты сказал?

– Дядю Петра забрали в НКВД.

Джамал остолбенел. Он не мог выговорить ни слова. Тем временем объявили посадку, Симон и Керим обняли отца, пожали ему руку, не замечая его состояния, подхватили жен и пошли к своим вагонам. Ребята понесли за ними чемоданы и ящики.

Джамал тупо смотрел на происходящее вокруг и монотонно повторял:

– Петра – в НКВД? За что в НКВД?

Он никак не мог представить, даже предположить, что Петра могут забрать в НКВД.

И снова повторял;

– За что в НКВД?

Загудел паровоз, вагоны дрогнули. Медленно пошли мимо... В окне показались Симон и Керим.

– До свидания, отец, до свидания, Гаврил...

Джамал машинально поднял руку, махнул в их сторону, увидел в окне следующего вагона следователя Каурова, но отнесся к нему уже как-то безразлично, безучастно, потому что все его существо донимал один, монотонно повторявшийся вопрос: «Петра – в НКВД... За что?»

Придя домой и войдя в комнату, Джамал сел за стол, снял шапку, положил рядом и спокойным голосом велел Гаврилу:

– Принеси тетрадь и ручку.

– Что ты собираешься делать, отец? – спросил сын, и исполнив его просьбу.

Джамал раскрыл тетрадь, опустил перо в чернильницу и, глядя, как с него сорвалась фиолетовая капля, сказал:

– Я собираюсь писать в НКВД. Писать обо всем, что знаю. О Петре, стороже Нахсине, о следователе Каурове, о себе.

Спустя несколько дней Гаврил веселый вбежал на веранду.

– Отец, ты спишь?

– Лежу на своей тахте, жду, когда обо мне вспомнят, вызовут.

– Дядя Петр дома.

Джамал сел, потом уперся взглядом в глаза сына:

– Не шутишь?

– Нет, отец, разве такими вещами шутят?

– И то верно.

Джамал не спеша, аккуратно надел на голову шапку, засунул ноги в чувяки и пошел чуть сутулясь, заложив руки за спину и перебирая четки. В доме Петра было тихо. Джамал пересек небольшой дворик, вошел в комнату. Петр лежал на диване. Джамал сел на венский стул, откинулся на спинку, вытянул длинные ноги, устало положил руки с четками на колени.

– Как дела, Петр?

– Как видишь, жив, здоров.

– Это хорошо, что жив. А Кауров удрал.

– Как удрал? – Петр задвигался, пытаясь сесть.

– Лежи. Сел в поезд и уехал. Я ждал тебя на станции, а тебя забрали в НКВД. А Кауров спокойно уехал.

– Ничего, друг. Зато двумя врагами в нашем городе стало меньше.

– Верно ты говоришь, но где-то у кого-то на два врага стало больше. Кто тот собачий сын, который составил на тебя наговор?

– Кто похитрей. Кто сумел опередить...

– А там не сказали? Там, где ты был?..

Петр горько усмехнулся.

– Как мы с тобой постарели, Джамал. А ты помнишь наши молодые годы на рыбных промыслах?

И Джамал с Петром пустились в воспоминания не столь далекого прошлого.

39

– Ты что-нибудь помнишь о своем городе детства? – спросил Осман, уютно расположившись в неизменном кресле. Не видимый никому из посетителей магазина, он тем временем внимательным, оценивающим взглядом окидывал каждого входящего, наблюдал,

как обслуживал его Назым, и когда оставался доволен его работой – ведь от внимательного, более того, бережного обращения с посетителями росла клиентура и доход – на губы Османа ложилась довольная улыбка, и он гордо произносил:

– Машалла, Назым, машалла.

Зеркало после той страшной потасовки было заказано новое, и, к удовольствию Османа, оказалось и объемнее, и чище, и изящнее, в стиле Людовика Тринадцатого.

– Как не помнить, отец? Я был уже не маленький. Сколько же мне было? Семь, восемь?

– Около этого. Сам запамятовал.

– Помню дом наш, сад, и сейчас перед глазами беседка, увитая виноградником...

Назым успевал обслуживать покупателя и перекинуться словечком с отцом.

– Помню детей нашего соседа, ну того, что жил через площадь... Джамала, кажется....

– Джамала.

– Сколько мы дрались с ними, получали тумаков. Смешно вспоминать.

– И кто же одерживал верх? – Осман улыбнулся, ожидая хвастливого ответа.

– У них был крепче и здоровее старший, – произнес Назым. – Как же его звали, на «с» начиналось имя.

– Симон, если мне не изменяет память.

– Симон... Он был, знаешь, отец, яростный боец. Как зверек дрался, ничего и никого не страшился. И понятно, почему: вырос на узких улочках, в грязи, холоде, бедности. Потому и был бесстрашным.

«Какие они сейчас там, – подумал про себя Осман, пытаясь напрячь воображение, – видать, уже крепкие мужчины, если, не дай всевышний, ничего за эти годы не случилось, а Джамал уже одряхлел, ведь он старше меня... Какие они сейчас там?.. » Но в памяти всплыла пыльная площадь, два разутых сорванца с синяками под глазами и Джамал в истоптанных чарыках, крепкий, непокорный, хитро улыбающийся

зеленоватыми глазами, в неизменной каракулевой шапке, сдвинутой на глаза. И Керим... явился и исчез.

– Мой мальчик, – прошептал Осман. – Таким я его и помню. Таким он остался в моей памяти, и никак не хочет вырасти в зрелого мужчину.

В магазин вошли, громко и весело переговариваясь и безмятежно смеясь, несколько мужчин и женщин. Осман прислушался внимательней: они говорили по-русски.

Осман поднялся с кресла и подошел к посетителям.

– Вы русские? – спросил он, растягивая слова: ведь как давно он не произносил русских слов.

Посетители удивленно взглянули на него и снисходительно улыбнулись:

– Конечно, мы русские.

– Откуда... же... приехали... в Париж...

Назым остолбенело глядел на отца, говорившего на русском языке.

– Ясно откуда, из России.

– Из... какого... города?..

– Из разных. Есть из Москвы, из Киева, из Ленинграда. А вас какой город интересует? И, позвольте, откуда вы знаете наш язык?

– Я жил... на Кавказе... Есть... такой... город... Дербент... – «Не могу же я им сказать, – подумал про себя Осман, – что удрал от революции». – Уехал... еще... до революции...

– Знаем мы Дербент. У нас Крымов, писатель такой, даже роман свой назвал «Танкер Дербент». Так и называется. Дербент теперь известен каждому.

– А как... у вас... сейчас... там... жизнь? Есть... богатые... бедные, разутые...

– Нет ни богатых, ни бедных, все у нас живут хорошо. Вот видите, в чем мы ходим?

На них были ладно сшитые серые костюмы, кипенно белые сорочки, легкие туфли.

– Вы свой Дербент сейчас не узнаете. Приходите на выставку, там и посмотрите, как изменилась наша жизнь.

– На... какую... выставку?

– А вы разве не знаете? В Париже открывается Всемирная выставка. Россия построила свой павильон. Мы и приехали на выставку, представлять свою страну.

– Я... и не слышал... о выставке... – проговорил Осман и вдруг громко обратился к Назыму: – Сын, одари их всех подарками. – Выбирайте... себе... что хотите... подарок от... меня с сыном... Не глядите... на меня... пугливо... Без денег... Как сувенир... Пожалуйста... я вас... прошу... Не обижайте... старого... человека...

– Ну, если уважить, то можно. Только, пожалуйста, не дорогие. Ну куда столько, молодой человек, вы же в трубу вылетите.

Осман весело рассмеялся.

– У нас... трубы... нет. Нам это... не... страшно.

Наконец, каждому был вручен короб с сувенирами.

– Приходите на выставку. Мы вас будем ждать в нашем павильоне.

– Обязательно... придем, – заверил Осман, – обязательно. Для меня это... дороже... оставшихся лет...

Когда русские ушли, Осман обернулся к Назыму просветленный и счастливый:

– Ты слышал, сын? Завтра идем на выставку, Всемирную выставку, в советский павильон. Я, ты, мать, скажи работникам, кто хочет пусть пойдет с нами. Ты видел, как они одеты, веселы, жизнерадостны. И не к чему спрашивать об их благополучии, работе, когда они так искренни, и глаза их светятся счастьем. Неужели это им дала революция, от которой мы убежали? Завтра мы пойдем в советский павильон. Может, он нам расскажет, сын, о чем умалчивают наши газеты. Что только ни писали о советских людях: и рога им приделывали, и в медвежьи шкуры одели, а они вот, перед тобой, на двух ногах и с ясным взглядом. Не надо обладать мудростью, чтобы понять, как они счастливы, сын. Завтра мы многое увидим своими глазами.

40

Поездка на солнечный юг Франции в многомиллионный портовый город была богата многими встречами. И с членами Марсельского отделения франко-советского общества дружбы за хорошо сервированным столом. И с мэром города в муниципалитете. И с коллегами на студии телевидения, перед циклопическими глазами телекамер. Но самой впечатляющей, незабываемой для меня была встреча с Николаем Николаевичем. Так он назвал себя.

Не знаю, поймешь ли ты когда-нибудь, познаешь ли разумом и сердцем чувство родины, испытаешь ли щемящую до умопомрачения ностальгию... Испытаешь ли, Осман? Не знаю, не ведаю. Но Николай Николаевич познал, мне так показалось, ты бы прислушался к его последним словам, пригляделся к глазам, вникнул бы в просьбу...

Николай Николаевич, так он назвал себя.

Я разглядывал залитый жарким солнцем огромный порт, по которому скользили белоснежные теплоходы, фрегаты, бриги, акулообразные военные суда и подводные лодки, когда кто-то тихо произнес:

– Красиво, не правда ли?

На чистом русском языке.

Я медленно повернул голову. Рядом стоял коренастый, плотный мужчина пожилых лет. «Кто, откуда, какие вопросы он готовит, что ему нужно от меня», – мысли стали роиться в голове, но он опередил меня.

– Я видел вас вечером по телевизору. Хотел помчаться на студию, супруга удержала. Сам бог послал сегодня мне вас.

Он говорил, глядя вперед, в сторону моря.

– Вы знаете наш язык... Откуда?

– Я русский, – сказал он коротко.

Маленький черный буксир упорно тянул в порт огромный, как айсберг, лайнер.

– Я русский. Зовите меня Николаем Николаевичем.

Он умолк, очевидно ожидая, что я назову свое имя. Я молчал.

– Меня можете не бояться. – Он усмехнулся. – Я вам не причиню неприятностей.

– Почему вы решили, что я вас испугался?

– Ваши товарищи ведут себя за границей скованно, настороженно. Ведь там, за железным занавесом, вас пугают Западом, преподносят разные небылицы, чушь несусветную. Разве мы, вот я, к примеру, похожи на тех, кого у вас шерстят?

– А вы к кому себя относите?

– Позвольте пояснить, сударь? – мужчина поднял удивленный взгляд.

– Пожалуйста. К какой категории русских людей вы относитесь? К отпрыскам обветшалых князей, к обанкротившимся фабрикантам или продувшим в карты последнее кольцо белым офицерам?

Мужчина долго хранил молчание, словно ища свое сословие, потом вдруг громко и заразительно расхохотался.

– Ну вот видите, как я точно подметил, сударь мой, напичкали вас небылицами...

И он снова захохотал. Наконец, успокоившись, вытер платком глаза и со вздохом сказал:

– Я просто русский человек. Русский человек, которому жестоко не повезло с родиной.

– А разве бывает так, чтоб с родиной не везло? Даже уродливую мать сын не отвергает. Широта и щедрость души покрывают неказистость.

Он поднял на меня острый взгляд и раздельно, упирая на каждое слово, сказал:

– Вы молоды меня учить. Вас и в помине не было, когда с тысячами таких, как я, строил Беломор-Балтийский канал. Тысячами... Я, кадровый офицер, пришелся не ко двору большевикам и из меня сделали землекопа. Люди голодали, стыли, но строили, фанатично веря своему усатому вождю, виня в своих бедах кого угодно, но только не его... Нет, нет, боже упаси, кого угодно, только не его. Он приближал народам России светлое будущее... Страшно было. Люди

верили и гибли. Тысячами. Гибли с верой. И однажды я вдруг ошалел от мысли, что вот точно так возводил на болотах столицу, своей империи Петр. На костях тысяч мужиков. Я возненавидел его, вождя народов России, возненавидел стройку. А потом мне удалось бежать за кордон. Вот так, сударь мой, я простился с родиной. Но Россия всегда жила и живет в моем сердце, та Россия, моя Россия, а не сталинская.

– Но она давно уже не сталинская. Вы, очевидно, плохо знаете нашу страну, нашу жизнь...

– Э нет, сударь, мы здесь о ней знали больше и лучше, чем ее народ. И изуверства Сталина и его окружения. До вас письма Раскольникова дошли только несколько лет назад, а мы их читали уже в те годы.

– Николай, ты скоро перестанешь занимать молодого человека? Я с детьми иду в кафе, – послышался женский голос.

Мы обернулись одновременно. За спиной, метрах в десяти, стояла высокая женщина с двумя длинными и худыми, как жерди, ребятами.

– Моя семья, – сказал Николай Николаевич, слегка растянув рот в улыбке, но в голосе его послышалась почему-то отчужденность и печаль. А может, это мне показалось.

– Не откажите мне в просьбе посидеть в бистро, я хочу, угостить вас стаканчиком вина. Мне хочется с вами посидеть, поймите же наконец, сударь мой, ведь я русский...

– Николай Николаевич, поверьте мне, у меня нет ни минуты времени... Может, встретимся вечером, ну где хотите.

– Мы сегодня уезжаем, – он кивнул в сторону жены.

Он снова замолчал, но, словно спохватившись, продолжал:

– Я безумно люблю Россию. В войну вступил в Сопротивление, маки, мстил гитлеровцам, мстил за свою Россию. Уж мне можете поверить, как мстил – я ведь был кадровым офицером. А теперь вот полковник в отставке французской армии. Получаю приличн-

ную пенсию, у меня свой дом в Страсбурге, машина, на которой мы приехали сюда, в Марсель, к другу военных лет, я ни в чем не нуждаюсь. Ну так выпьем мы с вами стакан вина?

– Благодарю вас, Николай Николаевич, вечером... ах, да, вы уезжаете.

Опять раздался властный женский голос.

– Оставь меня в покое на несколько минут, чертова баба, – бросил из-за плеча Николай Николаевич, потом осторожно взял меня под руку, – очень прошу вас, сударь мой, расскажите о России, о Москве-матушке, золотятся ли ее златоглавые соборы, церкви, Василий Блаженный, умоляю вас...

Да, я чувствовал по голосу, видел по глазам, как его душу, казалось бы, остывшую от тепла земли родной, разбудила, растревожила тоска по родине.

Тебе не испытать этого чувства, потому что ты не терял самого дорогого и святого в жизни, твое сердце не знает утраты самой великой и бессмертной любви – любви к земле, вскормившей и вспоившей тебя, твоего отца и мать, твоих предков.

Мне запомнилась, Осман, еще одна встреча. Она глубоко запала мне в сердце.

Я тебе похвалился, что Тулузу из нашей программы не вычеркнули, но вот с рабочими завода, встретиться не дали. Объяснили, что директорат не имеет возможности отрывать рабочих от напряженного ритма. Встречу компенсировали воскресной прогулкой по городу.

Воскресная Тулуза. Она поразила меня весельем, праздничностью, богатством. Вдоль тротуаров на прилавках были выложены промышленные товары и продукты питания: говяжьи, бараньи, свиные туши, птица и рыба, экзотические овощи и фрукты. Из кафе и ресторанов распространялись ароматные запахи жаренного мяса, лукового супа, кондитерских изделий. Неистовствовали оркестры и шансонье пытались перекрыть их шум, чуть ли не всовывая в рот микрофон. Толпы людей медленно двигались по рядам, примеряясь, ощупывая, приценяясь, восхищаясь и

брюзжа, торгуясь и чуть ли не ругаясь. И ведь были причины, вызывавшие столь яркие эмоции. Рядами и штабелями лежали на прилавках синие, белые джинсы, фирмы «Левис», «Вранглер». В огромных сетчатых корзинах лежала обувь из крокодиловой кожи и майки. В картонных коробках было перемешано нежнейшее женское белье. Везде лежал товар...

На небольшой площади, у собора святого Серафино, где стоял закрепленный за нами малолитражный автобус, я почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся. На меня смотрел невысокого роста пожилой мужчина. Он был одет в полотняные пиджак и брюки, обут в стоптанные туфли. В левой руке держал газеты, в правой – сетку-авоську. Я разглядел в ней батон, несколько помидоров, салат.

– Русские? – спросил он со славянским акцентом.

– Как догадались?

– И догадываться не надо. Флажок на капоте, ваш.

– Но меня по чему признали русским?

Мужчина засмеялся:

– Любопытствуете очень. Русские очень любопытные. Вас изумляет это богатство, роскошь? Буффонада. Это не что иное, как борьба за выживание. Попробуй торговец не продать свой товар, хотя бы по сниженной цене, он будет неплатежеспособен и останется не у дел, пополнит ряды бездельников. Борьба за выживание, пся крев...

– Вы поляк?

– Поляк. – Поправил он меня поставив ударение над о, – Станислав Косовский, честь имею. В тридцать девятом, когда Гитлер захватил Польшу, ушел во Францию, думал, эти дадут по зубам Гитлеру, куда там, хлипкий народ оказался, пся крев. Вступил в Сопротивление. С вашими ребятами довелось бить фашистов... Помню, один был крепкий, смуглый, другой сероглазый, какая-то звучная фамилия у него была, оканчивалась на адзе или радзе. Мы скрывались тогда в Альби. Мужественный у вас народ. Ну и я немало побил бошей. После войны служил в армии,

ушел в отставку. Получаю пенсию, как видите, живу, ем витамины.

Он шутливо потряс авоськой.

– В Польше не бывали?

– Там у меня никого не осталось... После тридцать девятого.

Несколько минут молчали.

– Где вы научились так говорить по-русски?

– В Ковно. Я там долго жил. А это, – он кивнул головой в сторону торговых рядов, – пусть вас не изумляет. Счастливо вам доехать до дому.

И старый поляк пошел семенящим шагом, держа в одной руке газеты, в другой сетку-овоську.

Доводилось ли тебе встречаться с такими людьми, Осман, понять смысл их жизни?

41

Уже несколько месяцев Симон и Керим работали агрономами в колхозах. Чуть забрезжит рассвет, Симон отправлялся в Сабнава, а Керим в Белиджи. Одно облегчение: им дали лошадей как молодым специалистам. Симон и Керим заявили председателям: если не выделяете нам дом или ссуду на строительство, так предоставьте хоть средство передвижения. Председатели собрали правление, думали-рядили и дали им во временное пользование лошадей. У Симона оказался серый жеребец, у Керима – каурая кобылка.

Джамал посмеивался в усы и удивлялся: «Никогда не думал, что мои сыновья могут стать исправными конюхами». И верно: Симон и Керим привозили лошадям корм, чистили и мыли их, прибирали за ними двор, и лошади день ото дня становились ухоженней, даже казалось, выросли и уже шли не понуро, а гордо вскинув головы, распушив пышные хвосты. Работы по уходу за лошадьми братья возложили бы на Гаврила, но он учился в институте в Махачкале и приезжал только на воскресенье, и то, если не был загружен общественной работой.

– Что вы будете с ними делать зимой, – спросил как-то вечером Джамал у сыновей. – Они у вас замерзнут под отрытым небом. Нельзя держать их на холоде.

– Навес построим, – не задумываясь ответил Симон.

– Навес на лето. Им хотя бы сарай построить.

– Сделаем, – произнес Керим, расчесывая гриву кобылки.

– Сделаем... – передразнил Джамал. – Из стука моих четок, что ли?

– А мы доски потребуем у своих председателей. Так, Симон?

– Верно, выбьем.

И выбили. Спустя две недели у высокой каменной стены, в двух шагах от калитки, они уже стучали молотками, тесали, пилили, строгали, ставили сарай.

С какой гордостью и любовью смотрел Джамал на сыновей, когда они, крепкие, загорелые, легко взлетали в седла, изготовленные и искусно расписанные старыми мастерами, его друзьями. Лошади, высоко вскидывая головы и кося большими умными глазами, закусив удила, гарцевали, нетерпеливо взбивали копытами землю, оглашали двор радостным храпом, предвкушая быстрый бег.

– В их души вселились красота и гордость, – говорил Джамал сыновьям. – Судьба вознаградит вас за это.

– Ты стал верить в судьбу, отец? – смеялись сыновья, крепко, как влитые, сидя в седлах. – Ты, никогда не веривший в нее?

А лошади яростно били землю, и нетерпеливый храп их будил молодых женщин, они выносили мужьям свертки, опускали в расшитые яркими цветами хурджины[1], и всадники наконец выезжали за калитку и галопом мчались по улице, затем Симон

[1] *Хурджины* – сумки, сотканные из ковровой шерсти, перекидывают через плечо.

сворачивал направо, на дорогу в Сабнава, Керим – налево, в Белиджи.

Как-то поздно вечером Кериму под руку попалась записная книжка. Раскрыл ее: почерк Симона. Стал читать, зачитался. Перевернув последнюю страничку, он вдруг громко, даже неожиданно для себя закричал:

– Симон...

Тот прибежал со двора встревоженный:

– Что случилось?

– Симон... Надо их печатать.

– Где печатать?

– Где печатать... – передразнил Керим. – Мне еще тебя учить. Неси в газету «Захметкеш»[1].

– Неловко как-то...

– Год будешь чувствовать неловкость, два, потом пропадет интерес... Завтра же пойдем в редакцию.

– И ты со мной?

– Ну, конечно!

На следующий день, отпросившись с работы после обеда, они зашли к редактору газеты «Захметкеш». Тот, выслушав Симона, небрежно взял записную книжку, прочитал первую страницу, подняв удивленно брови, углубился в чтение и, наконец, положив перед собой, проговорил:

– У тебя, молодой человек, дар стихотворца. Мы опубликуем.

– Спасибо, – произнес Симон.

– Это тебе спасибо.

А к концу следующего дня Симон во весь опор мчался домой. Председатель колхоза, разыскав его в поле, сообщил, что у него родился сын.

Въехав во двор, Симон увидел отца, сидевшего, как ни в чем не бывало, на скамейке, подставив лицо заходящему солнцу; шапка лежала на колене. Рядом сидел Керим.

Симон соскочил с коня, привязал его к стволу дерева, только потом подошел к отцу.

---

[1] «Захметкеш» – «Труженик».

– Поздравляю тебя, отец, с маленьким Джамалом.

Джамал поднял на него глаза, улыбнулся благодарно:

– И тебя поздравляю, сын, с наследником, хотя вернее с продолжателем рода, наследовать-то ему нечего. А ты, Керим, что нос повесил? Не печалься, и у тебя родится. Просто кто-то должен быть старше, кто-то моложе, природа так распоряжается, ею понукать, как лошадью, нельзя.

42

В конце дня, когда уходящее солнце выплеснуло свое последнее тепло на город, в магазин вошел Илдирим. Не замечая Назыма, он последовал молодцеватой походкой к креслу, встал за спинкой и, нагло улыбаясь в зеркало, подмигнув Осману, отрекомендовался:

– А вот и я, твой дорогой шурин Илдирим. Сдается мне, соскучился по своему родственнику?

На лице Османа не дрогнул ни один мускул. «Сколько этому мерзавцу лет? – подумал он про себя, – кажется, около шестидесяти, да, должно быть, но держится петухом, и как держится хоть сейчас выставляй на петушиный бой. И выглядит неплохо, одет по моде, даже богато. Интересно бы узнать, кто его снабжает деньгами, а впрочем, этот тип не побрезгует быть и сутенером, и содержателем борделя».

– Вижу, ты не очень рад моему визиту, доброму визиту, – подчеркнул Илдирим. – В таком случае пока поднимусь к сестре, погляжу на нее, справлюсь о здоровье.

Он, насвистывая, поднялся по винтовой лестнице, высоко и гордо вскинув голову. Осман поймал в зеркале настороженный взгляд Назыма, однако ничего не ответил.

Сверху раздался голос жены:

– Осман, иди пить чай, позови и Назыма...

– У нас дела, жена, вы пейте...

«Обязательно что-нибудь выклянчит у сестры, – недовольно проговорил про себя Осман. – Нет у этого человека ни мужского достоинства, ни самолюбия. Тьфу...»

Чаепитие продолжалось долго. Спускаясь вниз, Илдирим сыто произнес:

– Живете вкусно, позавидуешь только. На столе – и долма, и пити, и плов, и ореховая халва, и сушеная дыня, и миндаль, и рахат-лукум... Не перечислишь всего. Это вам не ромштексы и антрекоты ресторанные, застревающие в зубах... Вкусно живете...

Илдирим прошелся несколько раз по магазину, наконец остановился за спинкой кресла.

– Ты догадываешься, зачем я пришел, – проговорил он тихо. Осман улыбнулся краем губ.

– Вот видишь, даже точно знаешь... Мне нужны деньги.

– У меня их нет. Я тебе уже говорил, если ты не запамятовал.

– У меня их нет, у меня их нет, – зло передразнил Илдирим. – У кого же они есть, если не у тебя? Каким образом ты приобретаешь все это? – Иддирим махнул рукой в сторону прилавков.

– Или у тебя есть лампа Алладина? А может, товары поставляют воровские шайки, следует мне это проверить с помощью полиции, не то на старости лет родную сестру мою оставишь без франка... Не на что и похоронить будет.

«Шантажист мерзкий, – сказал про себя Осман, – какую только подлость не придумает».

– Твое молчание – не знак согласия, – задумчиво проговорил Илдирим. – Твое молчание – знак презрения, я знаю. Но недолго придется меня презирать. Неужели ты оглох, ослеп, не слышишь и не видишь, что происходит в мире? Сильные берут власть, захватывают власть, сжимают в кулак неугодных. Какие фигуры появились на политической арене: Муссолини, Гитлер... это не слюнтяи, как Деникин или Колчак... Гитлер – это фигура, политическая фигура, монолит. Ты слышал, как он выступает? Огонь, порыв,

взрыв чувств и эмоций. Народ сатанеет от его слов, призывов. Вот кто сокрушит Советы и вернет нам Дербент. Да, да, он сокрушит Советы и вернет нам Дербент, положение, власть. У него железная армия, под его пятой целый ряд стран... Польша, Чехословакия, Австрия, Дания, с ним Италия, Венгрия, Румыния... Нет, Осман, не выживут кроты, подобные тебе, их и под землей достанет штык, снаряд, газы...

Глаза Илдирима блестели, он побледнел, на губах выступила слюна.

– А ты деньги жалеешь. Деньги прячешь. Найдем, все до мелкой монеты найдем, дом перевернем, кирпичи разберем, за ноги повесим над огнем, а найдем, найдем...

Он резко повернулся и вышел из магазина. Осман медленно встал, подошел к окну и чуть отодвинул портьеру.

Илдирим стоял на улице. Запрокинув голову, он дышал как-то неестественно, судорожно задыхаясь. Внезапно схватился правой рукой за грудь и сполз на землю.

Выскочив из подъезда, к Илдириму подбежал немолодой мужчина. Осман признал в нем бывшего работника Велли. Тот опустился на колени, приложил, ухо к груди, слушал долго, потом встал и резво побежал вдоль проезжей части дороги, размахивая рукой, пытаясь остановить свободную машину.

– Сердце, – проговорил Осман. – Переполнилось от зла и ненависти...

– Много их у него накопилось, – проговорил стоявший за спиной Назым.

– Пойдем, занесем в дом? – произнес Осман, не двигаясь с места.

– Он нам хуже врага.

– Матери не говори, что у Илдирима сердечный приступ. Он ведь ей родной брат, ее боль и горе.

– Не скажу, отец.

Вечером, закрыв магазин, Осман посадил рядом с собой Назыма.

– Время сложное, сын. Я подумал и решил: нам надо сделать потайной шкаф. О нем будем знать только мы, я и ты. Ночью, когда все уснут, спустимся в подвал, в задней стене разберем кирпичную кладку. Слушай дальше, размалюем стену различными надписями на азербайджанском языке, намалюем и слово Осман, а букву «О» – на кирпиче, за которым будет тайник. Надо спрятать все ценные бумаги, драгоценности, золотые динары, крупные купюры... Тебе и твоим детям жить...

Через несколько дней бульвар Осман огласился треском и гулом мотоциклетных моторов, потом раздался стук кованых сапог.

Осман и Назым подошли к окну. По бульвару шли немецкие колонны.

43

Война докатилась и до Дербента. По жарким и пыльным улицам с утра до вечера в сторону вокзала шли колонны солдат, катили арбы и подводы с продовольствием и одеждой для фронта. Шумный восточный город, оглашавшийся прежде громкими голосами женщин, переговаривавшихся через дорогу, через забор и даже двор, гомоном детворы, свадебной музыкой, притих. На его улицах звучала уже другая мелодия: скребущий душу скрип колес и четкий стук солдатских сапог.

Несколько раз над городом появлялась немецкая рама, опускалась низко, что-то высматривала, выискивала, но, завидев взлетающих истребителей, тут же удалялась.

Симон и Керим не раз заходили в военный комиссариат, требуя отправить их на фронт, но им неизменно отвечали одно и то же: ждите, настанет и ваш черед.

Как-будто от их участия зависел ход войны.

Когда Симон и Керим в очередной раз пришли в военкомат, им вручили повестки.

Накануне отъезда сыновей Джамал пригласил своих старых друзей-музыкантов. Расположились на полу за сюфре. Рядом с Симоном и Керимом сели их жены с красными от выплаканных слез глазами. Чуть поодаль на плоской подушке сидела мать, поминутно вытиравшая кончиком халата щеки.

В этот вечер Гюршюм, Вартан и Сеттер не исполняли веселых песен: музыка их была напевна, жалостлива, настраивала на раздумья.

– Я бы и сам пошел в армию, взгляните на мою руку, взгляните, дрожит она? – Джамал вытянул правую руку, крепко сжимая пальцами стакан с белым вином.

– Ничуть не дрожит.

– То-то же. Я бы не задумываясь пошел. Да годы не те, кто меня отправит...

– Со стаканом твоя рука не задрожит, а вот с винтовкой... удержит ли ее, – улыбнулся Гюршюм.

– Ты эти насмешки оставь в своем хурджине для кого-нибудь другого, – сказал Джамал. – Хочешь проверить – неси винтовку.

– Довольно вам, старым дурням, препираться, – вмешалась жена Джамала. – Дети на войну уходят, а вы шутите.

– Шутим, чтобы им в дороге, а потом в окопах было над чем смеяться, – сказал Гюршум. – Верно я говорю, Джамал?

– Верно ты говоришь, когда выпиваешь бочонок вина, а пока и двух стаканов не осилил, – хмыкнул Джамал.

– Какая сорока тебе донесла, что я бочонок выпиваю? – поразился Гюршюм.

– Наклонись ко мне, шепну на ухо.

Как только Гюршюм наклонился, Джамал гаркнул во все горло, да так, что все вздрогнули:

– Твой раздувшийся бурдюк.

Все молча переглянулись между собой и вдруг громко расхохотались.

Потом музыканты снова заиграли, а устав и отложив инструменты, ели вкусные кушанья, приготов-

ленные женами Симона и Керима, а потом Керим попросил сыграть медленный танец и поднял на ноги Симона и Гаврила, а затем братья танцевали с женами, даже подняли долго упиравшуюся мать, а Джамал смотрел на них и думал про себя: «Может, в последний раз танцуют сыновья мои, не должны в последний, они только начали жить, это было бы против всех законов природы...»

На следующий день Симон и Керим уезжали. Они не позволили матери и женам идти на вокзал. Братья нежно обняли и поцеловали обмякшую и обессилевшую мать, Симон поднял на руки сына, расцеловал его, передал жене. Керим, приласкав жену, которая была в положении, проговорил: родится сын, назовешь Асланом, потом обратился к Джамалу:

– Отец, если у меня родится сын, назовите Асланом.

– Назовем, как желаешь. Аслан красивое имя.

Наконец Симон и Керим закинули за плечи вещевые мешки и пошли со двора. За ними последовали Джамал и Гаврил.

Над вокзалом стоял хаос звуков. Паровозы с шипеньем и свистом выпускали пары, тут и там раздавались команды, и солдаты, сбившись в колонны, торопливо шли к своим эшелонам, провожающие метались по путям в поисках своих родных и близких, громко и истошно звали женщины и жалобно плакали уставшие дети, издерганные люди, на чем свет стоит, проклинали Гитлера, не стесняясь в выражениях.

У водонапорной башни Джамал остановился:

– Дальше я не могу идти, простите меня, старика, выбился из сил. Затолкали меня здесь, оглушили криками, – а про себя подумал: «Умно поступили мои сыновья, не позволив женщинам идти на вокзал».

Джамал опустился на большой, пригретый солнцем камень, прислонился к стене башни и вытянул устало ноги.

– Вы там, дети мои, не бегите от пули, она трусов не любит... И верьте, что обязательно вернетесь жи-

выми и здоровыми. Твердите это про себя месяц, год, сколько потребуется. Ни на минуту не теряйте веру. А теперь идите к своим, идите, я тут передохну.

Симон и Керим поочередно наклонились к Джамалу, крепко обняли, прижавшись к его плечу, которое пахло теплом и солнцем, и направились к эшелону.

44

Веселый, шумный, задорный Париж вдруг умолк, насторожился. Улицы обезлюдели, опустели.

Вольготно чувствовали себя лишь немецкие солдаты, да по ночам ярко расцвечивались казино, порномагазины, и публичные дома гостеприимно распахивали двери перед офицерами.

Парижане затаились в своих квартирах. Резко сократилась торговля.

Осман, сидя в кресле и перебирая четки, уже подумывал запереть магазин – в течение дня к нему заглянули всего несколько клиентов сделать мелкие покупки, да и на бульвар уже опускался вечер, – когда дверь открылась и сразу захлопнулась. Осман поднял взгляд: стояли мужчина и юная девушка, плотно прижимаясь к стене. Они озирались. Не увидя никого, мужчина негромко окликнул:

– Есть здесь кто-нибудь?

– Я вижу вас, – ответил, Осман. – Что-нибудь случилось?

– Нас преследуют. Спасите хотя бы Жаклин.

– Пройдите в заднюю комнату, она за винтовой лестницей, поднимите люк, спуститесь в подвал, заройтесь в мануфактуру. Заройтесь так, чтобы и запаха вашего не было. Назым, – окликнул он, – проводи их, быстро.

Назым помог незнакомцам спуститься вниз и захлопнул люк.

– Иди к прилавку и займись чем-нибудь, – посоветовал Осман. – Перебирай товар. А лучше – считай выручку, жалкую выручку...

Осман не успел закончить фразу, как дверь резко распахнулась от удара, задребезжало стекло, в магазин ввалились немецкие солдаты и, широко расставив ноги, замерли, держа руки на автоматах. Вслед за ними вбежал молодой, высокого роста светловолосый красивый офицер.

– Где хозяин? – громко и резко выкрикнул он по-французски.

Осман встал с кресла и подошел, перебирая четки:

– Я хозяин, господин обер-лейтенант. Что желаете приобрести? К вашим услугам.

– Что вы мелете?.. Где наши французишки?..

– Господин обер-лейтенант, я торгую мануфактурой, персидскими коврами, восточными сладостями и пряностями, о каких французишках вы говорите?

– Обыскать дом, – резко бросил офицер солдатам. Добрая половина их бросилась выполнять приказ. Кованые сапоги загремели по винтовой лестнице.

– Вам всем не сдобровать, если мы вытащим из вашего дома за длинные уши наших зайцев. – Офицер рассмеялся, задрав голову.

– Аллах свидетель, – Осман уперся взглядом в потолок, воздев руки вверх. – Я человек верующий и никого и никогда, не обманывал. Священная книга Коран нам запрещает обманывать под страхом смерти.

–Хм... Одна из десяти заповедей... – Офицер уставился острыми глазами в Османа, задумался: – Куда же в таком случае они могли деться?

– Кто эти люди, которых вы ищите, господин обер-лейтенант?

– Бандиты. Мужчина и девушка с ним.

– Дом большой, господин обер-лейтенант, и бульвар велик, мудрено ли скрыться...

– Что вы там копошитесь? – гаркнул офицер, глядя в сторону лестницы.

– Их нет, господин обер-лейтенант.

– Тогда вперед, в другой дом, живо, живо.

Солдаты устремились на улицу.

– Если вам потребуются восточные товары, запомните мой магазин, господин обер-лейтенант. Я к вашим услугам.

– Не премину воспользоваться, – ответил офицер и выскочил на улицу.

Осман только сейчас почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Он дошел до кресла и упал в него.

– Запри дверь, – бросил он устало сыну.

Назым, стоявший за прилавком, безмолвный, скованный предчувствием беды, вдруг пришел в себя, тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, и пошел к двери. Заперев ее на замок, он подошел к отцу и уставился на него:

– Ты... их совсем не боялся?

– Я боялся, что не ко времени придет мать, увидит немцев с автоматами в своем доме... У нее и без того сердце никуда не годится.

– Но они могли найти французов и тогда... расстреляли бы всех нас!..

– Но ведь не нашли... И знай, сын, если эти вооруженные собаки ловят безоружных мужчину и юную девушку, значит мы сделали богоугодное дело. До утра не выпускай их. Да, не забудь дать поесть. Завтра решим, как их вывезти из города.

45

Я согласился посетить твой дом, Осман. Уступил твоим просьбам перед вылетом в Альби.

Думал ли я, ты, твой отец, чем обернется мое посещение?

Нарядный, людный и шумный бульвар Осман купался в золоте полуденного солнца. В походке людей, в облике бульвара читалась какая-то праздничность. Мой взгляд остановился на многоцветной, яркой, красочной рекламе. Над дверью крупно вязью было выведено «Осман». Ты поймал мой вопрошающий взгляд и с улыбкой пояснил:

– Наш магазин. Его так назвал мой дед, назвал своим именем, а не в честь бульвара. Надеюсь, вы знаете, почему бульвар назван именем Османа?

– Надейся, – коротко ответил я тебе.

Не хотелось эту искрящуюся солнечным светом праздничность портить пустой болтовней.

Мы вошли в магазин. Он мне показался роскошным. Пол и две круглые колонны были отделаны мрамором. Стены расписаны сюжетами из восточных сказок. Окна задернуты тяжелыми богатыми гардинами. Я бросил взгляд на прилавки: они ломились от товаров.

– Отец, я пригласил к нам гостя, – радостно произнес ты.– Знаешь, откуда он?

– Откуда бы ни был, гость всегда подарок для нашего дома, – интонации, степенность в голосе подсказывали мне, что он принадлежит человеку, уверенному в себе.

Из кресла, стоявшего спинкой к посетителям, поднялся мужчина и кивнул головой в знак приветствия. Это был твой отец. Виски его были кипенно-белыми, но вьющиеся густые волосы еще не поседели. Большие карие глава смотрели пристально, умно.

– Поднимитесь наверх, – произнес он. – Я скоро подойду. Мы опустились в мягкие кресла. Вошла юная девушка, поздоровалась, поставила на столик кофейный фарфоровый кувшин с чашками и вышла. На мой немой вопрос ты тут же ответил:

– Наша экономка. Чуть помолчав, добавил:

– Единственная женщина в доме.

И после долгой паузы:

– Мама умерла десять лет назад. Мама была красивая.

Ты показал взглядом на портрет, висевший на стене. С него глядела на самом деле красивая молодая женщина.

– Француженка? – спросил я.

– Ее звали Жаклин.

Потом ты включил магнитофон, негромко, по комнате разлилась музыка Поля Мориа.

Поднялся, наконец, твой отец. Садясь в кресло, он произнес с улыбкой:

– Назым, сын Османа, а этот молодой человек мой сын Осман.

– Аслан Османов, – я чуть привстал и снова сел. – Если представляться как наши деды, сказал бы: Аслан сын Керима.

Взгляд твоего отца остановился на мне, насторожился. Он, казалось, изучал меня или хотел прочитать мои мысли... Мне стало не по себе.

– Вы так долго смотрите на меня...

– Я так, задумался, – он налил в чашечку кофе, отпил, поставил ее на блюдечко. – Что же вы скучаете? Осман, не позволяй гостю скучать, какое впечатление он вынесет из нашего дома. Я хотел спросить вас, откуда вы приехали

Ты зарделся от смущения, усмехнулся:

– Я же тебе уши прожужжал, отец, что Аслан приехал из России, он журналист...

– Извини, – прервал тебя отец. – Я хотел спросить, из какого города? Россия большая...

– Если вам это интересно, то из Махачкалы, а родом из Дербента.

Твой взгляд замер на моем лице, а твой отец, отпивавший очередной глоток кофе, вдруг поперхнулся, закашлялся, из глаз выкатились слезы.

– Откуда, вы сказали? – откашливаясь, протяжно спросил он.

– Из Махачкалы, а родом из Дербента. Что вас удивляет? Или вам знакомо название города?

Твой отец вытаращил на меня глаза и откинулся на спинку кресла:

– Вы, случайно, не знаете в Дербенте некоего Керима?

– Керимов в Дербенте много, – теперь насторожился я.

– Ну конечно, вы молоды, где вам его знать. Но вы должны знать Джамала, нет, нет, что я говорю, откуда вам знать его, он, наверное, давно умер. А может... вы все-таки слышали в Дербенте имя Джамала. Его должны там знать.

– Джамала, – повторил я вслед за твоим отцом, – Джамала... Джамал был моим дедом. Но откуда вы его знаете?

– Ваши вопросы потом, потом, не сбивайте меня, – лицо твоего отца побледнело, на нем читались растерянность, ожидание, надежда. – А не жил ли у него... Не воспитывался ли у него мальчик, которого звали Керимом?

Внезапно перед моим взором мысленно промелькнули вывеска над магазином «Осман», имя моего собеседника Назым и его отца Осман, – мгновенно память выплеснула мне рассказы деда Джамала о своем соседе Османе, его бегстве и больном сыне, оставленном на попечение – о Кериме, моем отце, который стал ему сыном, вырос с Симоном и Гаврилом, окончил институт в Москве, женился, ушел на фронт и пропал без вести. Я не видел своего отца, я знал его только по фотографии, молодым. И таким молодым он останется навсегда со мной и с моими детьми... А дед Джамал, усадив меня на колени, часто вечерами рассказывал об отце, и от него, моего деда Джамала, я получал ласки, заменявшие мне отцовские...

– Мой дед Джамал воспитал и вырастил Керима, – сказал я, жестоко глядя в лицо твоему отцу. – Сына Керима, которого родной отец Осман полуживого оставил у нищего сельчанина. Да, дед Джамал вырастил со своими сыновьями и сына Керима.

Твой отец долго смотрел на меня не отрываясь, словно онемев. Потом слабо, словно его избили, спросил:

– Где он, мой брат Керим?..

– Пропал на войне, без вести.

Твой отец закрыл глаза и умолк. Ты продолжал немо глядеть на меня.

Из глаз твоего отца выползла слеза и, покатившись по щеке, растеклась у подбородка.

– Бедный Керим, – прошептал он. – Бедный Керим, так и прожил свою жизнь без семьи.

Он взглянул на меня.

– Так и прожил без семьи, – повторил он.

Я улыбнулся. Какое-то чувство раскованности овладело мной, может быть, оттого, что волею судеб, по стечению обстоятельств, случайно была разгадана моя

родословная. Нет, не разгадана, я ее знал по рассказам деда Джамала; волею случая я воочию увидел потерянную ветвь своего генеалогического дерева... И успокоился. Окончательно. Но вот что удивительно: я к вам не чувствовал ни родственного тепла, ни родственной близости. Ничто меня к вам не тянуло, абсолютно ничто... Мы задавали друг другу вопросы, отвечали, думали, перебирали в памяти. Но мы были как чужие люди, хотя в венах наших текла одна кровь...

Вдруг твой отец поднялся, подошел ко мне, склонился и обнял меня. Так неожиданно, что я не успел приподняться. Лоб его был холоден.

Потом твой отец прошел к своему креслу, опустился в него и проговорил:

– Что я могу сделать для тебя, дорогой? Этот магазин принадлежит и тебе. Он и твой. Мой отец завещал его мне и Кериму...

– А для чего он мне? – улыбнулся я. – Неужели вы думаете, что я останусь? У вас?

– Но ты наш, плоть от плоти, кровь от крови?

– Да, Аслан, ты наш, – изрек наконец и ты после столь долгого молчания.

Я засмеялся.

– Не смешите меня, пожалуйста. Вы взрослые люди и понимаете, что у нас все разное: и воспитание, и отношение к жизни...

– Ты говоришь глупости, – жестко прервал меня твой отец. – Воспитание, отношение... В этом мире бог – деньги. Живет тот, кто владеет. Чем ты владеешь?

– Могилами моих предков, давших начало сыновьям и внукам Османа.

Твой отец резко поднял голову и уперся в меня взглядом.

– А еще родным языком, женой-азербайджанкой, сыном, который знает свой язык... А что у вас осталось от своего народа и языка? Одни имена. И вы еще хвалитесь, что чем-то владеете!.. Может, вы имеете в

виду магазин? Я считаю, что это вам судьба дала садага за все потери.

– Ты рассуждаешь так, словно стал гяуром. Не хочешь ли добавить, что не веруешь в Аллаха?

– Ваш брат, а мой отец Керим Османов тоже не веровал в Аллаха, он был, не пугайтесь, коммунистом, как и его братья Симон и Гаврил. Коммунистами стали и дети Симона и Гаврила, и сын Керима, то есть я. Конечно, им станет и мой сын Керим. А ваш сын Осман верующий, значит, мечеть посещает. А ночью злачные места Парижа? На его лице за все дни нашего знакомства я не смог не то что прочитать, но найти тени покорности, отрешенности от всего земного, что так облагораживает истинно верующих детей Аллаха.

Твой отец прищурил глаза:

– А ты дерзок, племянник. Неужели такими дерзкими воспитывает ваша школа, ваша власть? А может, это уроки нищего Джамала, заставившего моего кровного брата забыть родной язык, женившего на обездоленной татке и отправившего на войну, на верную гибель?..

Почему твой отец выплеснул, излил вдруг столько желчи? Ему не пришлись по духу мои взгляды?

– Мне жаль вас, – сказал я твоему отцу спокойным, ровным голосом. – Вы не пошли в своего деда Османа. По рассказам деда Джамала я его знаю лучше, чем вы, да нет, вы хорошо его знаете, только вы лучше приспособились к вашему миру, офранцузились... Мне стыдно бывает слушать, когда взрослые люди, простите, говорят глупости собеседнику, чтобы досадить ему. Вы же не знаете о Кериме и обо мне ничего. И говорите всякую чушь. А теперь послушайте, что я вам скажу. Керим Османов, сын вашего отца Османа, писался в документах азербайджанцем, но знал три языка: родной, татский и русский. Женился на красивой азербайджанке Наргис из Дербента, которая и сейчас живет и здравствует со мной, и свадьбу ему справили вместе с сыном Джамала Симоном, но вы уже давно забыли или просто не знаете, что танцы у нас и песни одни, и я, представьте себе, в до-

кументах азербайджанец, хотя, как и отец, владею тремя языками, нет, четырьмя, к вашему сведению – и французским, а на русском пишу и мыслю. И чтобы окончательно успокоить вас, заверю, что мой сын Керим знает три языка... А вы-то, свой помните, или ваш сын Осман хоть слово может произнести? Вы – оторванная ветвь от нашего дерева, привитая к чужому. А привитая всегда остается привитой. Простите, брат отца, я надерзил вам.

Твой отец слушал меня, замерев, на его лице появились багровые пятна.

– Ты что, поучаешь меня, меня, своего дядю, шестидесятипятилетнего мужчину, Назыма Османова уважаемого бизнесмена...

– Я вас не поучаю, я вам рассказал о вашем брате и его сыне, который живет на земле своих предков. Прощайте.

– Я встал и вышел из гостиной, не оглядываясь.

Я покинул ваш дом без сожаления, и, глубоко вдыхая свежий воздух, медленно пошел во вечернему бульвару.

46

– Без команды не стрелять!.. – вспорол тревожную тишину высокий, мальчишеский голос лейтенанта.

Впереди до самого горизонта скатертью лежала выжженная солнцем степь. По ней словно жуки ползли танки.

– Сержант Османов, сколько раз повторять – надеть каску... – опять подал голос лейтенант.

Симон усмехнулся: так его, так, чтоб не подставлял голову под шальную пулю. Раз его она уже зацепила, пошел в атаку, оставив каску на бруствере, зацепила у виска, оставив да нем горячий след и вспоров ухо. Это было под Киевом... А за бой получил орден Славы.

– Без команды не стрелять...

Несколько снарядов один за другим взорвались перед траншеей, подняли столбы земли.

– Засекли, сволочи, – выругался Симон, отряхнувшись, снова низко склонился над противотанковым ружьем, взял на прицел облюбованного жука. Танки приближались, снаряды падали все чаще и гуще, один угодил прямо в траншею, раздались стоны раненых.

Симон слился со своим ружьем. Он ясно различал бегущих немецких автоматчиков. «Пора, – произнес он про себя, – пора начинать, что же ты медлишь лейтенант...»

– Взвод, огонь, – вскрикнул мальчишеский голос. Симон уловил в этом голосе боль, но грохот боя тут же отвлек его. Застучал пулемет, короткими очередями забили автоматы... Симон, наконец, нажал пальцем на курок: танк замер. Справа дымился еще один. «Керим подбил, – сказал про себя Симон, – молодец...» Немецкие автоматчики упорно шли на траншею. «Почему нет команды», – подумал Симон, нажимая очередной раз на курок. Железное чудовище замерло совсем недалеко от траншеи, закрыв обзор. Симон перебежал на новую позицию.

– Где лейтенант? Почему нет команды? – спросил он автоматчика, расположившегося рядом.

– Тяжело ранен лейтенант...

На правом фланге танк полз к траншее, оставалось тридцать метров, двадцать... Расстояние сокращалось... «И что же медлит Керим, нельзя так близко подпускать, нельзя...». В доли секунды Симон развернул свое ружье, навел прицел, затаил дыхание, выстрелил. Танк повис над траншеей.

Немецкие танки отходили, оставив в степи автоматчиков.

– Взвод, слушай мою команду... – поднялся Симон. – Беру команду на себя. Бугаев, что с Османовым?

– Ранен, товарищ сержант.

– Бери его петеэр. Бей по линии среза между башней и туловищем... Пинчук...

– Я, товарищ сержант...

– Беги к ротному, пусть просит огня у артиллерии. Сейчас они снова пойдут. Петеэры вступают в бой по

обстановке, остальные – после моей команды. Бугаев, ты понял, по обстановке...

Первый же выстрел Бугаева оказался удачным.

«Вот тебе и автоматчик, – подумал Осман и тут же усмехнулся над собой, – автоматчик... он же охотник, профессиональный охотник, не дрогнув, идет на медведя...»

Столб земли обрушился на Симона. Он уперся локтями, скинул со спины тяжесть, отряхнулся, приподнял голову: немцы были на расстоянии ста метров.

– Взво-о-од огонь... – заорал он, но не услышал своего голоса.

– Ого-о-нь!

Над бруствером появился ствол, затем гусеницы. Симон присел, острая мысль пронзила мозг: «Он не ревет, не лязгает, неужели я оглох, я оглох, я... Какая страшная тишина...» И вдруг все грохоты войны обрушились на него, он зажал уши; над головой зависло туловище танка. И в тот момент, когда танк, переехав траншею, вполз на твердую землю, Симон метнул противотанковую гранату вдогонку и упал на дно траншеи. Ухнул взрыв.

Симон снова бросился к своему ружью, навел прицел на надвигавшийся танк, выстрелил...

И тут земля взорвалась черным столбом. Снаряды кучно ложились впереди траншеи. «Успел Пинчук, – подумал Симон, – молодец, Пинчук».

– Немцы откатываются, товарищ сержант...

Симон уже строчил из автомата по отступающим немцам, вложив в долгие горячие выстрелы всю свою боль и гнев.

– Товарищ сержант... товарищ сержант...

– Пинчук? Молодец, успел сообщить...

– Товарищ сержант, ротный приказал отходить во вторые траншеи.

– Как во вторые? – Симон уставился на бойца, потом махнул рукой. – Приказ не обсуждается. Ребята... отходим во вторые траншеи. Берите раненых, убитых...

И тут он вспомнил о Кериме...

Перекинув через плечо автомат, подхватив противотанковое ружье, Симон бросился бежать по траншее к правому флангу.

Керим лежал на земле, рядом сидел Бугаев с перевязанной головой.

– Как он, жив? – спросил Симон, опускаясь на колени.

– Жив, контужен сильно...

– А ты чего сидишь? Бери ружье и во вторую траншею.

– Его надо тащить, вот сейчас сил поднакоплю...

– Иди, я сам его потащу. Только прихвати вот и мое ружье, если тебе не трудно.

– Отчего ж трудно, на войне ничего не трудно...

Симон взвалил Керима на спину, вылез из траншеи и, пригнувшись, побежал по иссохшейся степи, то и дело поглядывая на семенившего рядом Бугаева.

47

Пришла повестка и Гаврилу. Проводив его на фронт, Джамал остался в доме со старухой, невестками и внуком. Несколько раз в неделю над городом появлялись немецкие самолеты, но завидев наших истребителей, улетали, не вступая в бой. Правда, они пытались сбросить бомбы на железнодорожную станцию, но смертоносный груз упал на берег моря. Взрывы напугали дербентцев.

Джамал решил вырыть во дворе бомбоубежище. «Мало ли что может случиться, – говорил он себе, – прилетит этот фашист, сбросит наскоро свою дурную бомбу. Ему безразлично, куда сбросить. А ей безразлично, куда упасть. А мне надо семьи сохранить для моих сыновей». Бомбоубежище Джамал рыл сам: его руки еще хорошо владели киркой, ломом, лопатой, старшая невестка – жена Симона помогала, второй невестке не позволял – она была беременна.

Бомбоубежище Джамал построил: сверху перекрыл досками, разобрав конюшню, высоко засыпал землей, пол настелил тоже досками, сколотил столик, вдоль

стен поставил широкие скамейки-лежанки. И на сердце стало спокойней. Теперь как только к городу подкатывался гул самолетов, Джамал отправлял женщин и внука в бомбоубежище, а сам оставался на веранде, садился на тахту и ждал, что произойдет. Но... ничего не происходило.

Как-то Джамал сообщил женщинам, что решил пойти в Табасаран: отнесет что-нибудь из лишней одежды, выменяет на муку, сыр... С ним вызвалась идти старшая невестка: не отправлять же семидесятилетнего старика одного. Ранним теплым утром она закинула на спину полный мешок одежды, Джамал взял в руки суковатую палку, и не спеша направились по пыльной дороге в сторону Табасарана.

Возвращались на арбе. Старый кунак Джамала ехал в Дербент на воскресный базар и подвёз их к самому дому. Невестка занесла на веранду мешок муки, две головки сыра, мешок кураги. Джамал тащил на привязи упирающегося беленького козленка.

– Где ты раздобыл этого дьяволенка? – обрадовано воскликнула старуха, сидевшая на веранде с внуком на коленях. – У кого выкрал, а ну признайся?

Джамал довольный улыбнулся.

– Старые друзья еще живы... Этот козленок кстати моим внукам. Молочка попьют, силушки наберутся. А где моя невестка, почему она не встречает нас?

– Две радости у тебя, старик!

– Какие, говори, быстрей, не томи душу...

–А я и говорю. Невеста тебе внука подарила.

– Аслана... – произнес Джамал. – Ай да молодец, исполнила завет мужа... А другая какая радость?

– Письма пришли от твоих сыновей. В комнате, на столе лежат.

Джамал стряхнул с себя пыль, разулся, вошел в комнату, развернул письма, прочитал одно, потом другое, и довольная мягкая улыбка осветила его лицо:

– Молодцы, молодцы сыновья, не срамят отца... Герои уже, у Керима два ордена Славы, у Симона ор-

ден Славы и орден Красной Звезды... Не боятся, значит, пули. Видать, верно говорят в народе: героев не матери рожают, героями дела делают.

48

В Альби со мной вылетел и ты. Я долго размышлял над тем, что тебя побудило отправиться в поездку. Чувство привязанности? Или вдруг вспыхнувшие родственные чувства? Что бы там ни было, ты летел со мной.

На встречу с рабочими стекольного завода имени Жана Жореса я тебя не пригласил, она была организована только для журналистов. Но на следующий день мы взяли тебя с собой в музей Тулуза Лотрека, а потом пошли в собор, примыкавший к музею. Вид его снаружи был внушителен, но он буквально потряс нас, когда мы вошли в него. Колоссальный и громоздкий, он оказался изящным и почти хрупким изнутри. Невозможно передать словами крепость, мощь и красоту этого монолита.

Потом мы долго бродили по улицам Альби под впечатлением произведений Тулуза Лотрека и собора, прошли мимо вытянувшегося красивого здания лицея имени Лаперуза, остановились на перекрестке улиц, ожидая зеленого света светофора. Машины медленно объезжали темный гранитный памятник, стоявший на высоком постаменте, обрамленном цветочным газоном. Дождавшись зеленого света, мы подошли к памятнику.

Я принялся читать выбитые на граните слова: «Здесь похоронены участники французского Сопротивления»... Затем шел длинный перечень фамилий. Заканчивался он словами: «Благодарная Франция вечно будет помнить о вас». Фамилии... Фамилии. Десятки французских, две польские, грузинская... Я перечитал ее — Жорж Татарадзе, значит Георгий Татарадзе, адзе, радзе... И я вдруг вспомнил поляка Станислава Красовского из Тулузы, его рассказ о бойцах Сопротивления. Неужели об этом Татарадзе и говорил он? А где другой, темный, упомянутый им?

Иван Петровичев, это русский... И тут я замер. Остолбенел. Потом почувствовал гулкие удары сердца. Я протянул руку и ухватился за тебя. Ты тревожно глянул мне в лицо:

– Что с тобой? Тебе плохо?

– Читай! – сказал я, указав взглядом.

– Керим Османов. Ну и что? – Потом ты еще раз повторил, – Керим Османов. Керим Османов?

Мои коллеги окружили нас и, спросив, в чем дело, тут же предложили навести справки в муниципалитете. Но там никто ничего не знал о захороненных. Сообщили только, что останки бойцов перевезли в город и погребли в Альби в сорок пятом году, чуть позже жители города на свои пожертвования поставили памятник.

Нам предложили разыскать в провинции и в городе участников Сопротивления, встретиться с ними. Но... наше пребывание в Альби заканчивалось на следующий день, продлить его было не в наших силах.

Мысли путались в голове.

Ты глядел мне в глаза, мучительно долго читая что-то в моем взгляде, потом спокойно проговорил:

– Будь спокоен, я начну поиски.

49

– Занять оборону! – раздался голос лейтенанта.

Взвод вышел на новые позиции. Предстояли жестокие бои. Фронт, истекая кровью, теряя и людей, и технику, медленно, нехотя откатывался к Волге.

Новый командир взвода был в годах, угловатый, скуп на похвалу.

– Товарищи бойцы! – Голос у него был сильный, но суховатый. – Нам предстоит отбить танковую атаку. Опыт в уничтожении фашистских танков у вас есть. За нами – Дон. Отступать не велено. А теперь – окапываться.

– Долго будем здесь прохлаждаться? – подал голос Пинчук.

– Пока не получим приказ.

Земля была жирная, лопата входила в нее как в масло.

Симон снял шинель, аккуратно сложил в сторону. Горка земли у его окопа заметно поднималась.

– Зря разделся, сержант, солнце холодное. – Над головой стоял лейтенант. – Ноябрь на дворе. – Он принялся подбивать горку сапогами, утрамбовывая ее. – Держись, сержант, бой будет жаркий.

– Не привыкать, товарищ лейтенант.

Симон подравнял стенки окопа, подтянулся на руках, сел на край окопа, потом поднялся.

– Ну, сержант, твой окоп всем окопам окоп. Вижу, чувствуешь землю.

– Я ведь агроном, товарищ лейтенант.

– Чувствуешь землю. – Лейтенант поднял голову. По синему, холодному небу красивым клином вытянулись журавли. – На юг пошли. А я работал на конном заводе, под Орлом, – неожиданно переменил он тему разговора. – Коней, как говорится, выводил в свет, а тут заставили людьми командовать.

Он засмеялся, махнул рукой.

– Что только жизнь не преподносит. Ну, ты заканчивай свой окоп, надо траншеи рыть.

– Все сделаем, будьте спокойны. Только побегу, гляну, как там брат...

Керим сидел на краю окопа, накинув шинель на плечи.

– Как тут у тебя? – спросил Симон.

– Уставать стал быстро... – сказал Керим виновато.

– Надо было в госпитале полечиться, на худой конец в медсанбате, а ты дальше санчасти не был. Не слушаешься брата.

– Доживем до боя, а там видно будет, в медсанбат или госпиталь.

– Типун тебе на язык, – Симон помолчал. – Нам бы рядом воевать, бок о бок, да не получается, брат.

– Слаще такой жизни, где еще может быть? – Керим улыбнулся. – В одной роте, в одном взводе, а ему и этого мало.

– Ты отдохни, я траншейку порою.

– Да ты что, ты за кого меня принимаешь... что скажут ребята...

– Ничего не скажут, сиди.

Симон вырыл траншею до соседнего окопа, вернулся, бросил лопату, хлопнул Керима по плечу:

– Не тушуйся, брат, и пули не бойся, помнишь, что отец наказывал. Но и себя не подставляй. Побегу рыть свою траншею.

На закате дня бойцы расселись у своих окопов: кто красиво насвистывал, кто зашивал гимнастерку, а кто начищал медали.

– Эй, вы, чудики, что ж вы делаете, вы ж наведете фашиста на себя, ну, мать честная, чудики да и только. Вы и нас так погубите, – подал голос Пинчук.

– Не боись, не дрейфь, он, фашист-то твой, как глянет на блеск-то и ослепнет. Вот и одного танка нет.

– Почему это фашист мой? Бери его себе на память.

– К слову пришлось. А вот как на память взять – ума не приложу.

– Сразу видать, в школе не учился. Гербарий сделай.

– Чего, чего?

– Гер-ба-рий, чудик.

Громкий смех раскатился над степью.

– Довольно балагурить, – раздался голос Бугаева. – Не уразумею, чего они тянут...

– Кто чего тянет? – опять вклинился Пинчук.

– Да перестань ты, чертов тетерев. – Бугаев замолчал, но снова заговорил: – Чего не начинают атаку...

– Ждут, пока нам кашу принесут, – пояснил Пинчук. – А вот и она, теперь, братцы, ждите атаки...

Спустя несколько минут бойцы молча скребли ложкой по котелку.

– Чайку бы еще и на боковую – сказал Симон.

–Да, чаю бы, – поддержал Бугаев, – эй, кашевар, что это ты сплоховал сегодня?

– Чай в бидоне, пейте, сколько влезет...

Ночь была безлунная. Со стороны Дона веяло холодом. Слышно было, как изредка переговаривались дозорные.

Симон, уютно расположившись в своем окопе, урывками засыпал и снился ему дом, отец Джамал, улыбающийся, в заломленной шапке, надвинутой на глаза, с внуком на коленях, жена с распущенными волосами, сморщенное задумчивое лицо матери, и еще какой-то малюсенький мальчик снился на коленях жены Керима: «Кто он, – спрашивал себя Симон, просыпаясь, – я его никогда не видел... А может, уже родился... Завтра надо рассказать Кериму».

Утром его разбудила тишина. Небо начинало румяниться. Симон выглянул из окопа:

– Керим! – крикнул он громко.

– Что-о-о, Симо-он?

– Ты меня слышишь?

– Если откликнулся, – слышу...

Внезапно в тишину стали вплетаться посторонние звуки, потом отчетливо послышался рокот. Симон вытянул голову, вгляделся. По степи ползли танки: один, два, четыре, шесть, семь, – стал считать он и вдруг словно спохватившись, закричал:

– Керим!

– Слушаю.

– Я видел со-о-он.

– Не понял...

– Сон видел.

Снаряд упал недалеко от окопа Симона, засыпав его землей.

– Понял, ну и что?

– Будто родился мальчик...

– Будто что?

Рокот нарастал.

– Будто что? – прорвался сквозь гул голос Керима.

– Мальчик родился... мальчик...

– Тут из окопа в окоп бойцы стали громко передавать друг другу:

– Мальчик родился.

«Услышит ли Керим», – подумал Симон, но тут все его внимание сосредоточилось на голосе лейтенанта:

– Слушай мою команду, по фашистам пока не стрелять, подпустить поближе, петеэры, огонь.

Симон привычно и спокойно нажал на курок.

– Один есть, – сказал он вслух, наводя прицел на другой танк, но в тот момент, когда уже собирался спустить курок, танк стал разворачиваться и все-таки Симон опередил его на долю секунды. Вокруг стоял гул, грохот, лязг, свист, земля дыбилась, но Симон не слышал ничего. Он слился со своим оружием и работал как четко налаженный механизм. Он даже не обратил внимания, что танки стали пятиться. Он продолжал стрелять, и очнулся как от наваждения лишь тогда, когда увидел перепрыгивавших через окоп автоматчиков, догонявших фашистов.

Отбив атаку, бойцы принялись искать и раскапывать раненых и убитых. Симон перебегал от окопа к окопу, разыскивая Керима, заглядывал в воронки, но того нигде не было. Ни среди раненых, ни среди убитых. «Но куда, куда он мог подеваться? – утомленный боем мозг не давал ему ответа. – А может... фашистский танк успел его уничтожить? Бедный мой брат...»

Симон сел на холмик земли и безмолвно уставился на поле боя. Сердце его ныло, но слез не было. Солдаты давно разучились плакать.

Если бы он прошел еще метров пятьдесят в сторону от окопа Керима... Если бы еще метров пятьдесят в сторону...

Но он продолжал сидеть и смотреть на поле боя.

После полудня был получен приказ ночью уходить за Дон.

50

Назым все чаще стал вспоминать брата, перед взором вставал образ скандального племянника. «Конечно, – признавался себе Назым, – этого молодого человека ничто не роднит с ними, да и я, откровенно го-

воря, не испытываю к нему родственных чувств, но ведь он – сын моего брата, кровь наша, и должен быть с нами, а, не там, где у него нет никого и ничего. Ну и скандалист же, да и дерзок, ему не нужны, видите ли, ни магазин, ни деньги. А что тебе нужно? Остро подвешенный язык? Прокормит он тебя, если карманы пусты, хотел бы я знать. Какой бесшабашный, бестолковый сын у моего брата...»

Он пытался вспомнить брата, но годы давно и прочно смыли его образ из памяти. «Керим должен быть смуглым, – убеждал себя Назым, – у него должны быть темные глаза, темные волосы, красивое крупное лицо...» Но все, что он ни пытался создать в своем воображении, получалось бледным, безликим, расплывчатым...

Назым вконец отчаялся. «Если судить по племяннику, – говорил он себе, – Керим совершенно не похож на нас... Нет, быть не может того, племянник пошел, очевидно, в мать... Керим должен быть темноволосым темноглазым, с красивым крупным лицом... Да, да, таким...»

И однажды Назым вспомнил далекий сорок третий год, буйную весну, частые выстрелы на улицах Парижа. И того темноволосого, темноглазого мужчину, которого быстро ввела, втолкнула в магазин, заперев за собой дверь, Жаклин.

– Спрячьте его до утра – сказала она, задыхаясь от быстрого бега.

– Заштрь окна, – проговорил Осман. Он встал, медленно перебирая чеки подошел к мужчине и, не отрывая взгляда от него, спросил Жаклин:

– Кто он, откуда?

– Из плена бежал, русский...

– Ты... русский? – спросил протяжно Осман мужчину.

Тот встрепенулся, как-то боязливо, бросил короткий, очень короткий взгляд на Османа и низко опустил голову.

Назым подошел к ним близко и стал разглядывать мужчину. Лицо его, крепкое, красивое, было исполо-

совано шрамами. Густую шевелюру прорезали седые пряди. Ладони изрезаны, почти разбиты. Из-под разорванной рубахи виднелась крепкая грудь. Он стоял у стены в прохудившихся ботинках, в изношенных штанах, опустив голову, и Назым невольно поежился. Но поежился не от вида человека, а от силы духа которая, казалось, исходила от него. Тот стоял как изваяние, как памятник непокорности и Назым вдруг представил почему-то Стену коммунаров на Пер-Лашез. «Вот так, именно так стояли они, непокорные необоримые коммунары, – подумал он про себя. – Но этот русский ведь не был на Пер-Лашез; почему он стоит в их позе? Что он из себя мнит, по какому праву?»

– Ты почему не хочешь говорить? – прервал мысли Назыма Осман. – Ты ведь русский? Я спрашиваю тебя по-русски: откуда ты, из какого города?

Назым отвернулся и отправился за прилавок. Он чувствовал, что отца что-то беспокоит, мучает, иначе он не покинул бы свое кресло и не глядел бы на незнакомца так внимательно, но тот продолжал молчать, опустив взгляд.

– Жаклин, отведи его, пусть умоется, оденется, поест, потом проводи в подвал... – сказал Осман и вздохнул, да так, что у Назыма защемило сердце.

Думы о брате не давали Назыму покоя. «Ветвь моего дерева, – говорил он молча, про себя, – куда ты делась, где тебя носят ветры или ты уже высохла? А скандальный племянник в чем-то и прав: что останется со временем у нас, у сына моего, у его детей от Османовского дерева? Ничего не останется. Ничего не останется?»

От этих мыслей он все чаще поеживался и жмурился.

51

В Сорбонне проходил антивоенный митинг. Наша группа журналистов сидела в первом ряду огромного переполненного зала. На сцену, взятую на прицел те-

лекамерами, выходили молодые люди и говорили о чем им вздумается. В головах многих перепутались имена и деяния Гитлера и Муссолини, Петэна и де Голля, Черчилля и Трумэна, из выступлений было очевидно, что они не знали да и не хотели знать, кто и почему начал Вторую мировую войну, кто внес исторический вклад в разгром фашизма, какие жертвы понес советский народ в этой страшной схватке. У большинства из них лица светились улыбками, глупыми улыбками, и говорили они о войне с какой-то легкостью, беспечностью, бравадой.

Мне стало не по себе. Слово война, понятие война у нас – олицетворение самого страшного зла на земле, а здесь – клоунада. Я представил деревянного клоуна, висящего на ниточках, натянутых между палочками-стойками. Детская игрушка. Как пожелаешь, так и встанет клоун. Все зависит от манипуляций рук.

Ты смотрел на меня, понял мое состояние и попытался успокоить:

– Здесь молодежь более раскованна, свободна и откровенна в своих суждениях и оценках.

Нет, Осман, тут дело не в раскованности и откровенности. Тут речь идет о политической зрелости, о гражданской позиции каждого здравомыслящего человека, о ясном и четком понимании сути вопроса. Этим молодым людям кто-то что-то вразумительное объяснит, но объяснит потом, позже. А почему сейчас не повернуть разговор в русло, нужное нам вместе... Я должен выступить... Я решился...

Дождавшись, когда очередной оратор закончил свою речь, я взбежал на сцену. Тысячи пар глаз уставились на меня. С чего начать, как их наэлектризовать?

Начну со слов:

– Я журналист из Советского Союза.

По залу прошел рокот, где-то раздались аплодисменты.

– Нашу группу любезно пригласили на антивоенный митинг, а до него мы успели посмотреть на Мон-Валерьени у Нотр-Дам де Пари величественные па-

мятники, воздвигнутые в память о павших и замученных во Второй мировой войне... Франция чтит и помнит своих сыновей и дочерей. Пожилые французы, участники Сопротивления, бойцы маки, узники концлагерей помнят и никогда не забудут, что такое фашизм. Может быть, уважаемые профессора, помнят, что говорил Гитлер о нас: я напомню: «Народ, который считает Льва Толстого великим писателем, не может претендовать на самостоятельное существование». А вот изречение Гаусгофера они должны знать: «Зараженная негритянской кровью Франция является чумным очагом в Европе».

Зал замер. Он ждал. В мертвой тишине слышался слабый рокот кинокамеры.

– Еще за два года до Второй мировой войны Гитлер заявил: «Немецкий народ имеет право завоевать Европу и превратить ее в Германскую империю немецкого народа». Но чтобы выполнить программу биологического истребления народов, нужен был размах. И Европа покрылась сетью тюрем, гетто, лагерей принудительного труда и концентрационных «фабрик уничтожения». Их общее число в Европе, включая саму Германию, составляло свыше четырнадцати тысяч.

Я вгляделся в зал. Он с нетерпением ждал моего слова.

– Освенцим и Треблинка в Польше. Здесь было заключено более четырех миллионов ни в чем не повинных людей. Погибло более четырех миллионов. Майданек в Польше. Из миллиона пятисот тысяч погибло около миллиона пятисот тысяч. Дахау в Германии. В нем было двести пятьдесят тысяч заключенных, погибло семьдесят тысяч. Флоссенбюрг в Германии. Из ста одиннадцати тысяч четырехсот заключенных погибло семьдесят четыре тысячи. Натцвейлер во Франции. Из пятидесяти тысяч погибло двадцать пять тысяч. Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен, Берген-Бельзен, Плашув... Это война. Общее число людей, погибших в местах заключения, не на фронтах, не на поле боя, а в газовых камерах, от по-

боев, болезней, голода, под опытами гитлеровских врачей, составляет около одиннадцати миллионов человек. Это война, развязанная фашизмом. Ему нужно было подавить сознание человека, сломить волю. В Освенциме в стоячие камеры размером девяносто на девяносто сантиметров узники вползали, как в собачью конуру, через единственное маленькое отверстие над полом. Четыре человека могли стоять, только прижавшись друг к другу. Без воздуха, часто без еды, кто-то умирал, и живые стояли ночью вплотную с мертвыми. Это – тоже война.

Первый опыт массового убийства был проведен на советских военнопленных. Ядовитым газом «Циклон В» отравили сразу шестьсот человек, фамилии их остались неизвестны. Это тоже война.

Смерть, поставленная на поток, приносила фашистам доходы. Для уничтожения тысячи пятисот человек требовалось шесть-семь килограммов «Циклон В». За 1941–1944 годы в Освенциме было израсходовано двадцать тысяч килограммов «Циклона». За продажу газа фирма «Дегеш» выручила тридцать тысяч марок. Одежда, обувь, белье убитых продавались гражданскому населению или в магазинах по низким ценам. Драгоценности – кольца, серьги, меха – продавались за границу, на вырученные деньги приобреталось сырье для экономики. Пеплом засыпали болота или удобряли поля лагерных хозяйств, на которых росла самая сочная капуста. Волосы убитых, которые сушились на чердаках, продавались десятками тонн текстильным фирмам по полмарки за килограмм. Это – тоже война.

Сегодня можно слышать о несоизмеримости военных потерь Германии – 7 000 000 человек и СССР – 20 000 000 человек. При этом забывают главное – мы воевали против фашистской армии, фашисты истребляли народы. Никто не убивал немецких женщин, стариков и детей. Между тем из 20 000 000 погибших советских людей почти половина – мирные жители, военнопленные. Другая половина – те, кто пал на по-

ле боя, из них миллион сто тысяч сложили голову, освобождая Европу от фашизма. Это – тоже война.

Вспомните слова сына Франции президента Шарля де Голля: «Освенцим. Какая это печаль... Какой ужас... А несмотря на это – какая надежда для человечества».

Узников Освенцима освободил 460-й стрелковый полк сотой Львовской дивизии, которой командовал молодой командир Магомед Танкаев, горец из Дагестана.

Зал смотрел на меня.

Я не собирался рассказывать о тысячах наших городов, разрушенных до основания, о деревнях, сожженных вместе с населением, о памятниках старины, произведениях искусств, уничтоженных, осквернённых фашизмом, но останки узников концлагерей, лежащих под памятниками на Пер-Лашез, молча взывают: «Мы – немые свидетели ужасов войны, поведайте о нас». Я выполняю их просьбу.

Поэтому я подошел к микрофону и обратился к залу.

Митинг продолжался.

52

– Задача всем ясна? Расходитесь.

Командир роты поднял красные от недосыпания глаза:

– Лейтенант Джамалов, задержись.

Сидевший на лавке у стены незаметный капитан поднял на Симона глаза и отодвинулся от света.

– Лейтенант, в твой взвод направлен капитан Кауров по особо важному делу. Кто он, откуда – ни один боец не должен знать. Ясно?

– Ясно, товарищ старший лейтенант.

– Если ясно, иди. Он тебя догонит.

Симон вышел из блиндажа и медленно пошел по траншее.

– Пинчук, – окликнул он.

Ответа не последовало.

Было темно, как в печной трубе.

«По особо важному делу, – вернулся к теме разговора Симон. – А что особенного происходит во взводе? Не слыхал. Секретная персона. Кто он, откуда – никто не должен знать. Капитан Кауров... Кауров, дайка вспомнить... Кауров... Кажется, и в Дербенте был такой Кауров, следователь, к отцу приходил... Он ли? Откуда ему взяться здесь, именно здесь, и мало ли Кауровых по стране...»

– А вот и я, – раздался за спиной глухой голос. – Пойдем, что ли?

– Бойца надо бы подождать, за санпакетами отправился.

– Дойдет сам.

– И то верно.

Пошли, но перебирая в памяти события, связанные с тем, дербентским Кауровым, Симон шел задумчиво, забыв ускорить шаг.

– Из каких мест, лейтенант? – раздался за спиной голос.

– Из Дербента. Есть такой город. Не слышали?

– Из истории помню. А так – не доведось бывать. Сам я с Севера. Семья большая?

– Как сказать... Старики, жена, сынишка.

– Это хорошо, что старики есть, я своих давно похоронил. Твой взвод на самом острие, что ли? – резко переменил капитан тему разговора.

– На самом острие.

– До фрицев далеко?

– Рукой подать. Метров сто пятьдесят.

– Близко. Не боишься, что могут получить подкрепление и хлопнуть вас, как клопов?

–В такую ночь? Не решатся. А на рассвете мы их раздавим.

Симон почувствовал на шее горячее, прерывистое дыхание, но тут раздался голос Пинчука:

– Товарищ лейтенант, а вот и я, маленько задержался, пока сосчитал, собрал...

Дыхание отдалилось. Кауров чертыхнулся, зло прохрипел:

– Чертов сын, какого хрена, на пятки наступаешь...

– Товарищ лейтенант... Это не лейтенант... Кто вы?

– Здесь я, здесь, Пинчук, – быстро отозвался Симон, желая успокоить солдата. – То товарищ капитан, со мной идет, вернее, за мной следует.

– Так я не знал... Извините, товарищ капитан, ночь вон какая, носа своего не видать не то что...

– Придержи язык и топай, – прервал его капитан, – немцы в двух шагах, а ты как в своей деревне голосишь.

Несколько минут шли молча.

– Пришли. – Симон остановился. – Проходите, капитан, в землянку.

– Я тут постою, покурю.

– Курить здесь нельзя. В землянке и покурите.

– Вам сказано, здесь постою. Просто постою.

– Слушаюсь.

Симон вошел в землянку, вслед за ним скатился Пинчук.

– Что за тип? – спросил он шепотом у самого уха.

– Не наше дело. Раздай санпакеты и поставь чайник. Может, чаю захочет капитан, да и раненых надо напоить.

Минут десять спустя Симон вышел из землянки, капитана в траншее не было. Симон осторожно пошел в темноте, тихо окликнул капитана. Ответа не было.

– Пинчук!

– Я здесь.

– Быстро к дозору, но смотри у меня, чтобы ящерица не услышала тебя, спроси, не случилось ли что, да и проверишь, не спит ли он...

Пинчук вернулся скоро, запыхавшийся от быстрого бега.

– Все гут[1]. Тихо, спокойно, без происшествий.

Уставившись в непроглядную тьму, Симон с минуту задумался, потом спустился в землянку, подошел к связисту.

---

[1] *Гут* (нем. язык) – хорошо.

– Набери командира роты... Товарищ старший лейтенант, Джамалов у телефона. Гость исчез.

В трубке затрещало, заскрипело, потом старший лейтенант тихим ровным голосом спросил:

– Какой гость?

– Капитан Кауров.

– Как исчез? – донеслось тихо, и вдруг крик оглушил Симона:

– Что ты мелешь, лейтенант, рассекречиваешь доверенное тебе лицо...

– Какие тут секреты, если он исчез...

– Пропал? Растяпа...

– Не пропал, а исчез, на нашем участке не было ни единого выстрела. Ни с нашей, ни с немецкой стороны.

– Лазутчики не могли увести?

– Нет, ребята бдительны, и дозор не спит...

– Не хватало еще, чтобы дозор уснул. Найти, отыскать, лейтенант, слышишь, о-тыс-кать!..

– Где искать, если темно, как в печной трубе?

Трубка заглохла. После минутного треска и пощелкивания донеслось:

– Что мне отвечать штабу полка?

– Я сам отвечу и комбату и штабу полка, валите на меня...

– Что это ты так осмелел?

– Не в смелости дело, товарищ старший лейтенант, просто, мне кажется, я его знаю. С нелучшей стороны...

– Кажется... знаю! Что ты мелешь...

– Не кричите, товарищ старший лейтенант. Я думаю, что он перебежал к немцам.

Молчание в трубке длилось долго.

– Сам пойдешь в штаб полка. Или погоди. Вместе пойдем.

– Завтра после боя и пойдем.

Симон бросил трубку. Но не успел сделать и шагу, как покрылся испариной:

– Соедини с ротным, быстро. Товарищ старший лейтенант, Джамалов говорит. Кауров слышал у вас в блиндаже о начале боя?

– Опять Кауров... Ну и что?

– И у меня выспрашивал. И все уточнял, в какой стороне немцы. Нельзя начинать операцию, провалим, и людей погубим зря.

– Ну, это ты хватил через край, – произнес, растягивая слова, старший лейтенант, но чувствовалось, что он задумался. – А если Кауров не перебежал, кому краснеть?

– А если перебежал?

– Свяжусь с комбатом. Жди взбучки.

Время тянулось мучительно долго. Симон нервно ходил по землянке и чертыхался в адрес Каурова. Надо же было явиться именно перед операцией.

Зазвонил телефон. Симон схватил трубку.

– Начинаем часом раньше намеченного.

– Все ясно. Ругали?

– Как ты думаешь? Будут разбираться. После боя вызывают нас вдвоем.

Трубка умолкла. Симон вышел из землянки. «Часом раньше намеченного, – повторил он про себя. – Только успеет забрезжить рассвет».

И он быстро пошел по траншее отдавать новые распоряжения.

53

Керим лежал среди рулонов мануфактуры и ковров, вдыхал запах ситца, шелка, шерсти с пылью, и все думал, думал, не находя ответов на нахлынувшие вопросы.

«Неужели этот человек мой отец, – размышлял он, – не может быть, откуда ему здесь взяться, здесь, в Париже? Мой отец... и здесь, в Париже... Невероятно. Но ведь рассказывал отец Джамал, не раз рассказывал, как Илдирим сорвал их с родной земли, страхом, угрозами сорвал, и уехали они в Иран. Но как они оказались здесь, в Париже!? И отец ли... уж

очень он не похож на того, которого я знал. А как ему быть тем, которого я знал, когда прошло двадцать пять лет. Двадцать пять лет... Эта шапка, неизменная каракулевая шапка, и это удлиненное лицо, и взгляд. Но у отца не было ни усов, ни бородки. Ну и что ж, он мог их отрастить здесь. Как он смотрел на меня! Все пытался, чтоб я заговорил с ним... Но зачем, зачем обнадеживать старика, мне так или иначе уходить... Что я говорю, я рассуждаю, словно он, мой отец, будто я уже установил наше родство. А ведь я установлю, если взгляну на мать, на его жену. Если она у него, жива ли... Нет, нет, не надо, если она окажется матерью моей, не перенесет моего ухода... Мне надо уйти, необходимо уйти. Они рискуют жизнью, скрывая меня здесь, кто бы ни были: родные мне, чужие...»

Мысли путались в голове, мучили, терзали его.

Как хотелось ему уйти отсюда, исчезнуть, только бы не быть здесь, не видеть еще раз лица старика.

И вдруг страшное наваждение, рожденное хаосом вопросов, сползло с него, как тяжелая, пропитанная ледяною речною водою шинель, и стало удивительно спокойно, как бывало после артобстрела, когда осядет земля и впереди покажутся цели.

Он успокоился от внезапно пришедшей мысли: «Завтра спрошу у Жаклин... Она должна знать...»

Он вытянул ноги, закрыл глаза.

Как долог был его путь сюда, на бульвар Осман, в подвал, набитый мануфактурой, коврами, антиквариатом. А начался он с того броска, когда заклинило противотанковое ружье.

Керим не слышал рева танка, который стремительно мчался в его сторону, потому что вокруг стоял один сплошной рев, гул, свист. Он видел только танк, неумолимо, беспрепятственно приближавшийся к нему, наведя на него ствол. Он отбросил ружье, схватил две связки гранат и пополз в сторону, вправо, уходя из-под лобового удара. Его засыпало землей, над ним свистели пули ему преграждали путь тела товарищей, глаза застилали песок, пороховой дым, пот, а он полз

фанатично и упорно вперед. Инстинктивно подняв голову, он увидел танк в десяти метрах. «Не упустить бы, не упустить», – мелькнуло в голове и, приподнявшись, вобрав голову в плечи, он швырнул одну связку, потом, перехватив правой рукой из левой – другую, увидел вспышки огня, потом что-то тяжелое со свистом ухнуло в землю, ослепив его, и он рухнул.

Он пришел в себя от треска автоматных очередей, тряхнул головой, протер глаза, тяжело поднял тело и сел. Немецкие солдаты пристреливали раненых. «Как же так, – ужаснулся он, – мы же их били, вон, сколько танков искорежено, уперлись стволами в землю, как же так...» – Потом отрешенно, безучастно, как на что-то пустое, взглянул на подошедшего немецкого автоматчика и опустил голову.

Потом в колонне военнопленных он шел по пыльной дороге, упивался чистым, свежим воздухом и тишиной, которая то и дело прерывалась короткими автоматными очередями. Он знал, убивали обессилевших.

Вечером остановились на покинутом хуторе. Он опустился на копну соломы, запахнул шинель, закрыл глаза. Проснулся внезапно, от острого ощущения голода, глянул в небо – оно было высвечено яркими звездами, потом перевернулся и лег на живот, вдыхая запах соломы. Запустив руки в копну, он принялся машинально перебирать сухие шершавые стебли, нащупал колосок, осторожно вытащил его, очистил зерна, выложил на ладонь, подул на них и высыпал в рот.

Кто-то рядом застонал. Во сне? Или от боли? Керим придвинулся к соседу, вгляделся в лицо. Лейтенант? Да, это был командир взвода. Керим окликнул его шепотом:

– Товарищ лейтенант.

Тот приподнялся, сел, озираясь.

– Это я вас разбудил, товарищ лейтенант... Османов.

– Я тебя давно приметил, – сказал лейтенант хрипло. – Будем держаться вместе. Своих отыскивай в колонне.

Керим снова запустил руки в копну, собрал пригоршню ржи и протянул лейтенанту:

– Ешьте.

– Что это?

Он подставил ладонь, через минуту живо спросил:

– Еще есть?

– Сейчас добудем.

– А знаешь... – лейтенант задумался, – если сумеешь, собери побольше, только осторожно, чтобы фрицы не заметили.

Утром колонна двинулась в путь. Опять была длинная степная дорога и короткие выстрелы... В полдень к ним присоединилась другая колонна. Вечером они вышли изможденные к железнодорожной станции, забитой военнопленными.

Ночь Керим и лейтенант провели, сидя в полудреме, под звездным небом, прислонившись спиной к деревянной стене здания железнодорожного вокзала. Было около полуночи, когда Керим тронул лейтенанта осторожно за руку и протянул пригоршню ржи.

– Приберег бы, – сказал тот, пересыпая себе в ладонь. – Кто знает, куда нас погонят...

– На завтра силы нужны, – заметил Керим.

И оба принялись медленно жевать.

Утром всех выстроили. Крепко державшихся на ногах согнали в один конец станции, слабых – в другой. Керим и лейтенант не отрывались друг от друга, если кто-то из солдат и пытался ненароком, случайно пройти, между ними, они плотно прижимались плечами.

Наконец, их загнали в вагон, закрыли двери, задвинули засовы, и поезд тронулся.

В вагоне, в котором оказались Керим и лейтенант, было грязно, странный, тяжелый запах вызывал тошноту. То был трупный запах. Лейтенант велел солдатам отойти от окошка, чтоб проветрился вагон, и прошел в угол, к Кериму. Они сделали себе подстилку из соломы – и здесь судьба смилостивилась над ними, – и сели каждый думать свою думу.

– Что будем делать, лейтенант? – раздался вдруг довольно сильный голос.

Лейтенант молчал.

– Я к тебе обращаюсь, лейтенант, что будем делать? Да, да, к тебе...

– Не знаю. Я здесь не командир, – отрезал лейтенант.

– Как же так? Ты здесь старший по званию, ты и командуй.

Так что будем делать?

– А что ты хочешь делать? Стены грызть? Приедем – подумаем.

– Приедем!.. – зло съехидничал тот же голос. – Куда приедем? В концлагерь? Или фрицам заводы строить?

– Вот там и подумаем, – повторил лейтенант и тихо, очень тихо, чтобы расслышал только Керим, проговорил: – Осторожность нужна: чтобы спасти свою шкуру, могут выдать.

Керим удивленно взглянул на него.

– Я не говорю, что именно он. Может, он и на самом деле парень смелый, рисковый, а в вагоне во-о-он сколько, кто-то слабый духом не выдержит, продаст и всем в награду за смелость – короткая автоматная очередь...

Некоторое время солдаты молчали, но естественное желание человеческого общения заставило их заговорить, они стали называть свою часть, свой город или деревню, откуда были призваны в армию, и пошли разговоры, шутки, прибаутки, а кто-то вполголоса запел и многие, слушая его, притихли. А поезд громыхал по рельсам без остановок, и в окошко, оплетенное колючей проволокой, врывался ранний ноябрьский ветер, напоенный степными запахами. Поздно вечером поезд остановился на какой-то станции и простоял около двух часов и многим уже казалось, что эта станция для них – последняя, но завыл паровоз, вагоны дрогнули, и снова монотонный перестук колес на стыках рельсов отвлекал их от тяжелых мыслей и

дум. Ночью Керим и лейтенант пожевали по пригоршне ржи и уснули.

На следующий день, когда поезд остановился на крупном, железнодорожном узле, далеко от вокзала, загремели засовы, с грохотом открылась дверь и двое дюжих немецких солдат подняли на руках в вагон большой бидон, бросили дюжину ложек, и изображая на лице довольную улыбку, крикнули:

– Быстро.

Солдаты набросились было на бидон, но лейтенант властным окриком остановил их:

– Стыдно, вы же не животные... Дайте ложки слабым, остальные подождут... И не наедайтесь, не то изойдете поносом. Кто-то должен следить за порядком... Кто?

– Я, лейтенант... – отозвался голос, призывавший к действиям.

К бидону вышел среднего роста крепко сбитый парень. Ему можно было бы дать лет двадцать-двадцать два, если бы не седые пряди волос и не обгорелые подбородок и левая щека.

– Ну-ка, ребята, становитесь в круг, берите ложки и ешьте, пока я не остановлю. Быстрее, вон нас сколько еще, не нравится, а вы думали вам куриный бульон притащили фрицы или борщ московский?.. Ешьте, желудок погрейте...

Керим, лейтенант и обгорелый ели последними,

– Пойло, – коротко сказал обгорелый, – а есть надо.

В теплой воде, пропахшей гнилью, плавала квашенная капуста и брюква,

– Чтобы с голоду не подохли, – словно поясняя себе, проворчал обгорелый.

Немцы стащили бидон, забрали ложки, закрыли дверь, и вскоре состав тронулся.

На следующий день на железнодорожном узле, оказавшемся Оршей, один из военнопленных, глядевший в окошко, услышал из уст пробегавшего немецкого офицера слова: «Равенсбрюк», «Дахау», Значит, туда, решили все, в Равенсбрюк или Дахау. Да-

лековато. И опять покатил состав, и в окошко врывались чужие ветры, чужие запахи.

Под утро Керим проснулся от тишины. Неестественной тишины. Он подошел к окошку. Брезжил рассвет. Снаружи переговаривались немцы, часто произнося «Маутхаузен». Тихо подошел лейтенант, прислушался, чуть слышно пробурчал:

– Теперь Маутхаузен. Так пол-Европы проедем, пока не сдохнем с голоду.

Керим протянул ему горстку ржи. – Я не ради этого говорил, – произнес лейтенант, но зерна отправил в рот.

Принялся жевать и Керим.

– Так и будем сидеть, пока нас где-нибудь не ухлопают? – спросил он.

– Я вот и думаю, что делать, как выбраться отсюда.

Наконец, состав вздрогнул, опять монотонно застучали колеса.

Подошел и присел обгорелый:

– Лейтенант, пора, иначе подохнем.

– Танкист? – спросил лейтенант.

– Сам видишь.

– Вижу. И думаю. Что ты предлагаешь?

– И сам не знаю, ни ножа, ни финки...

– Будем думать, – сказал лейтенант.

– Пока не подохнем?

– Время есть, будем думать.

В конце дня на большой стоянке снова принесли бидон похлебки. Обгорелый, наблюдая за порядком, бросил хитроватый взгляд на охранников, кивнул в сторону путей:

– Маутхаузен?

Один из них растянул в улыбке рот до ушей.

– Я, я, Натцвейлер.

Когда немцы закрыли дверь, обгорелый подсел к лейтенанту.

– Слышал, куда нас гонят. В какой-то Натцвейлер.

– Мне это ни о чем не говорит. Только чувствую я, далековато едем.

Они не знали, да и откуда им было знать, что этот концлагерь находился во Франции.

– Ну, ты надумал что-нибудь? – спросил лейтенант.

– Ни черта не идет в голову... Может... в следующий обед выскочим из вагона и кто куда, – оживился обгорелый.

– И перебьют, как цыплят, – подытожил лейтенант. – Вот что сделаем... Ночью, если поезд остановится, устроим драку, драку среди своих, шумную возню. Наши фрицы подойдут обязательно. Как только откроется дверь... кто у нас здоровые, ты, подбери еще одного – ударами, кулаков оглушаете фрицев, другие быстро затаскивают их в вагон и закрывают дверь. Нам должны помочь две случайности, чтобы остановился поезд и чтобы к вагону кроме наших двоих фрицев никто другой не подходил.

– Голова, – протянул обгорелый. – А дальше?

– А что дальше – потом скажу.

С вечера ни один не сомкнул глаз. Все настороженно ждали. В полночь, когда остановился поезд, ребята начали потасовку. Звякнули засовы, отодвинулась дверь и в проеме показалась голова фрица, обгорелый обрушил на нее свой тяжелый кулак, две пары крепких рук втащили его в вагон, а несколько пар быстро: закрыли дверь. Некоторое время было тихо, потом второй фриц стал окликать напарника, но тут загудел паровоз и состав тронулся с места. Обгорелый протянул лейтенанту автомат немца:

– Держи, командир.

– Что еще?

– Несколько плиток шоколада, консервы, сало, галетное печенье... А самого ребята нечаянно придушили. Сейчас и не выяснишь, кто.

– Теперь слушайте меня, – повысил голос лейтенант. – Шоколад, теченье, консервы и сало самым слабым. Как только поезд замедлит ход, на подъеме или крутом повороте, только не у станции, выпрыгиваем, по одному, без крика и шума, уходим тоже по одному, места незнакомые, чужие. Чем нас встретит

завтрашний день, не знаю, а уходить надо. Может, посчастливится пристать к вооруженным отрядам. Тоже неплохо. Последним уйду я. – Лейтенант взглянул на Керима. – Вместе уйдем.

Все притихли, ждали момента. Спустя час паровоз тяжело запыхтел: состав поднимался в гору.

Лейтенант подошел к дверям:

– Откройте, тихо, довольно. Пошли, ребята. По одному. Сразу с земли не подниматься, дайте составу уйти.

Было ли кому больно, удачно ли приземлялись – ни вскрика, ни вздоха.

Вагон опустел, когда Керим подошел к двери.

– Пошел, я за тобой, – сказал лейтенант.

Керим сильно и далеко отпрыгнул, сложился в падении и упал, шлепнувшись в какую-то жижу. Чуть не захлебнувшись водой и не задохнувшись от вони, он привстал, но ноги стали уходить вниз, утопать, их словно что-то засасывало. Вода была уже по пояс, а он все продолжал проваливаться. «Тону, – отрешенно, совершенно без страха подумал он. – Надо же такому случиться, убежать из плена и утонуть в болоте. А ночь какая темная».

Он стал шарить глазами, вгляделся, приметил справа над головой разлапистые тени. Наконец, изловчившись, сделал попытку подпрыгнуть, резко выбросил руку. И ухватился за сук. Потом он попытался ухватиться и левой рукой. Это ему удалось. Наконец, вытащив ноги из трясины, он глубоко задышал и пошел, пригнувшись, к железнодорожному полотну.

Когда Керим опустился, обессилевший, на сухую землю, состав уже ушел. Вокруг была ночь, тишину нарушали неясные звуки, напоминавшие чавканье. «Газы, – подумал Керим, – болотные газы... Еще бы немного и я задохнулся...»

И тут он вспомнил о лейтенанте. «Где он, куда подевался? Мы должны были встретиться, он прыгнул, должен был прыгнуть вслед за мной... А что, если он искал меня, когда я торчал в трясине. Может слу-

читься и так... И так? А иначе как? Упал в болото, захлебнулся или засосало?»

По спине Керима впервые за долгие дни плена пробежали мурашки. Он чутко прислушался – ни шороха, ни движения, потом встал и пошел вдоль железнодорожного полотна вперед, вслед ушедшему поезду; по левую сторону было болото, о правой он почему-то и не вспомнил.

Уже на рассвете Керим машинально перешел железнодорожное полотно и пошел от него прочь, взбираясь в гору, покрытую густым лесом. Его лихорадило и тошнило. Болотный газ забился в горле, сдерживал дыхание. Он шел, покачиваясь, как во сне, ноги еле держали его. Наконец, его вырвало, и так сильно, что он дико закричал от боли, потом еще и еще и, наконец, упал. И потерял сознание.

Придя в себя, Керим не мог понять, где находится: взгляд его уперся в бревенчатую стену. Чуть приподнявшись и, оглядевшись, он сообразил, что лежит в небольшой хижине на подстилке из соломы. Тошнота не проходила. Его опять вырвало, но в голодном желудке было пусто, и только судорожная боль прошивала живот. Изможденный тошнотой и болью, он забылся сном.

Керим проснулся от неясного голоса. Перед ним сидела пожилая женщина с кринкой молока. Она что-то сказала ему, протянув кринку, но он не понял языка, потом заставил себя прислушаться и догадался, что он уже говорит на другом языке. «А на каком мне с ней говорить, подумал Керим» – принимая кринку. Он отпил молоко, сделал еще глоток, почувствовал облегчение, спросил коротко:

– Дойче?

– Найн, – быстро ответила она, – Аустрия.

«Куда меня занесло», – подумал Керим, – отпивая из кринки.

Женщина снова принялась что-то выспрашивать у него, указывая в грудь пальцем.

– Русский, – как-то машинально сказал Керим.

– Руссиши?!– она приложила руки к щекам и покачала головой.

«Наверное, сокрушается, как далеко меня занесло», – подумал Керим и впервые за все эти дни улыбнулся.

Женщина опять что-то ему говорила, а он ее не понимал, наконец, она открыла дверь, показав на лес, на волю, пригрозила пальцем:

– Найн.

И он понял, что выходить нельзя,

Женщина несколько дней поила его молоком и кормила сырыми яйцами. На пятый день она принесла ему вареную баранину, овечьего сыра и бутылку вина, села в угол и долго глядела, как он ел. Потом стала говорить, показывая на живот и горло. «Спрашивает, не болит ли», – сообразил Керим, и благодарно проговорил:

– Найн.

– Гут. – Женщина опять затараторила по-австрийски, затем отчаявшись, что он не понимает, махнула рукой и пошла из хижины.

Через два дня рано утром она привела двух молодых крепких парней, которые увели Керима с собой. Прощаясь с женщиной, Керим низко поклонился и поцеловал ей руки. До самого вечера карабкались они по зеленым кручам, пока не оказались в пещере, где была база небольшого отряда антифашистов. Отсюда советских и других военнопленных переправляли на юг Франции, в маки. Здесь Керим познакомился с летчиком Петровичевым и танкистом Татарадзе, которые бежали из концлагеря. Через неделю Петровичева и Татарадзе отправляли в маки, а чуть позже и его...

...Люк открылся, в подвал спустилась Жаклин, вслед за ней двое парней.

– Как спалось? – спросила Жаклин, помогая себе жестикуляцией, чтобы Керим понял.

– Гут... – воскликнул Керим, подняв большой палец. – Хорошо.

– Ка-ра-шо, – повторила Жаклин и все засмеялись.

Потом парни завернули его в мануфактуру, скатали в рулон, вынесли из магазина и положили в закрытый кузов машины.

Было раннее утро. Осман глядел из-за портьеры, как парни грузят в машину товары, потом, не оборачиваясь к Назыму, сказал:

– Рискуете...

– Нам бы из Парижа выехать, а там уже не страшно.

– Ну что ж, сын, отправляйся, да смотри, чтоб компаньоны наши не обманули тебя, бери, то, что имеет спрос в Париже. Ну ты в этом разбираешься, не хуже меня. – Он замолчал, потом тихо произнес: – Берегите молчуна. Довезите, куда надо.

Он снова, замолчал. И вдруг протяжный долгий вздох вырвался из его груди.

54

Тот день я не забуду никогда. Не должен его забыть и ты.

Было пасмурно и серо, когда наша группа журналистов подошла, к небольшому старому дому, который стоял на узкой улочке Мари-Роз. На фасаде была установлена мемориальная доска с барельефом В. И. Ленина. По узкой лестнице мы поднялись в квартиру-музей. Небольшие, словно игрушечные, комнатки сверкали чистотой. На стеллажах и столах лежали подарки и сувениры от советских туристов.

Ты был с нами, Осман. Мне было, как-то легко, радостно от чувства, что ты был с нами.

Мы с огромным вниманием слушали хранителя дома-музея. с сердечной теплотой рассказывавшего о годах, проведенных Владимиром Ильичом в Париже, об организованной им в Лонжюмо школе Российской социал-демократической рабочей партии, о газетах «Пролетарий», «Социал-демократ», брошюрах и листовках, которые печатались в доме № 110 на авеню д'Орлеан (сейчас авеню генерала Леклерка) и неле-

гально ввозились в Россию, о вкладе Ленина в развитие рабочего движения во Франции.

Потом мы осматривали подарки музею и сувениры, перелистывали книгу отзывов...

55

Проваливаясь в глубокий снег, Симон бежал со своим взводом вперед. С левого фланга, с правого и дальше, дальше бежали солдаты.

Оглушительное, раскатистое «ура», в котором слышались и пронзительная боль, и безмерная радость, и неистребимая воля к победе, гремело над морозной степью. Крик, вырывавшийся из тысяч глоток, скатывался в валы и устремлялся вперед, обрушиваясь на стылую землю, уносясь со страшной силой все дальше и дальше к горизонту. И не было в этой массе людей человека, который замедлил бы шаг, застегнул шинель, почувствовал боль под ложечкой... Встречный вихрь был бы бессилен остановить их.

– Ура-а... а-а-а.. а-а-а...

Степь дрожала от неистовой силы крика, плотные тяжелые тучи в испуге отрывались от неба, оставляя ему серо-белые лохмотья и в зияющие прорехи устремились золотые снопы солнечного света, холодного и ослепительного.

– А-а-а... а-а-а...

Валы, рождаемые в охрипших глотках, наглотавшихся за долгие месяцы войны и порохового дыма, и речной воды на переправах, и упреков женщин, оставшихся с малыми детьми и стариками там, на оккупированной родной земле, грозно, яростно и неумолчно катили вперед... вперед...

– А-а-а... а-а-а...

Симон бежал, проваливаясь в глубокий снег. Иногда сапоги увязали по колено и приходилось чуть ли не ложиться, чтобы вытащить одну и другую ногу, сердце гулко стучало в груди, тело разогрелось и пот выступал на лбу, казалось, нет, не должно быть

больше сил, чтобы продолжить этот неистовый бег, ноги отваливаются от тела и в грудь больно врезаются десятки ножей, а Симон бежал, как тысячи ему подобных, и не было силы, которая остановила бы их.

Впереди, на горизонте, наконец показались маленькие темные точки, они увеличивались с каждой минутой, становились все более различимы, четки и оттуда, уже от них, покатился неукротимый шквал победного крика:

– А-а-а... а-а-а...

И вот он схлестнулся и взметнулся к небу, окатив рвущихся, устремленных друг к другу людей, тысячи людей, которые добежали друг до друга и бросились в объятья.

Кольцо вокруг армии Паулюса замкнулось.

Симон обнял солдата, от которого пахло крепким потом и махоркой, прижался губами к его соленым губам, выпустил, не успел сделать несколько шагов, как увидел бежавшего навстречу с распростертыми руками бойца: так безгранична и беспредельна была радость уставших от войны людей. Они крепко обнялись: не было уже сил разнять руки и бежать дальше. Наконец, они оторвались друг от друга, подняли глаза и обомлели:

– Гаврил, брат?!.

– Симон?!.

– И не спрашивая ни о чем, не веря себе и боясь потерять друг друга, снова крепко обнялись.

А вокруг ликовали солдаты и разряжали, автоматы в искрившееся небо, будто не было разрывов снарядов, не умирали товарищи на кровавом снегу.

56

Завтракали молча. Осман был задумчив.

На рассвете его дом покинули несколько мужчин, увела их Жаклин.

Осман хорошо запомнил их лица, потому что теперь он внимательно разглядывал каждого, искал только ему знакомые выражения и черты. Один из

его последних постояльцев оказался русским, он не назвал ни имени своего, ни фамилии, ни города, просто угрюмо произнес: русский, как будто это слово объясняло все за себя. Но другой, черноглазый, с волнистыми волосами, оказался разговорчивым.

– Из Тушетии я, – удовлетворил он любопытство Османа. – Вы не знаете Тушетии, откуда вам ее знать... Если на земле кроме ада существует еще рай, это моя Тушетия...

И он принялся тихо петь протяжную грузинскую песню.

Слушая его, Осман вспоминал горы, исхоженные дороги и тропы, молчаливые леса, ютившие хаспушев, родники Кайтага и водопады Табасарана и мягкое нежное тепло тихо, незаметно обволокло его. Османа вернула к действительности знакомая мелодия, до боли знакомая. Он закрыл глаза, чтобы не выдать своего состояния, и тихо спросил;

– Что ты поешь и о чем поешь?

Мелодия повисла в воздухе, исчезла.

– Это азербайджанская песня, – сказал грузин. – Ее поют все на Кавказе. Потому что она красивая и умная песня. И слова у нее душевные такие. – Улицы я полил водой, чтобы не было пыли, когда дорогая придет ко мне. Самовар наполнил водой и в блюдечко наколол сахар. Душа моя устала от ожидания, глаза мои утомились глядеть на дорогу, где же ты, сердце мое...

Глаза Османа увлажнились, он отвернулся...

...Завтрак подходил к концу, когда Осман бросил взгляд на Назыма:

– Тебе нравится Жаклин?

Назым опустил голову и уставился глазами в тарелку.

– Что ты зарделся, как девица? Это она должна, краснеть, ты – мужчина... Жаклин хорошая девушка, и красивая, и смелая. Дай бог, останемся живы, справим свадьбу.

– Что ты говоришь, Осман, – безропотно и тихо произнесла жена. – Твои ли уста произносят такое?

– Мои уста, жена, мои... Где нам найти в этом бешеном городе свою, и есть ли она. А годы идут, еще свяжется с какой-нибудь потаскухой. Жаклин – девушка серьезная и честная. Ну чем не невестка нам, чем не пара Назыму? Будь я молодым – не упустил бы. Так и поступим, жена, останемся живы, справим свадьбу, не даст нам твой всевышний здоровья – сами поженятся.

– Сеттерхан нам сможет помочь, – робко подсказала жена. – Он не откажет подыскать невестку.

Осман задумался, потом проговорил:

– Помочь-то поможет, да кто знает, что это за девица будет. Не дай бог, достанется такая, что и меня и Назыма по миру пустит. Нет, жена. Вспомни, что наши отцы и матери говорили: бери в невестки дочку своего соседа. Мы такую нашли...

После завтрака Назым спустился открывать магазин, Осман прошел в свою комнату. Здесь, между плюшевым диваном терракотового цвета и темным секретером ручной работы, на высоком столике с изогнутыми ножками стоял приемник. Осман сел в высокое деревянное резное кресло с полумягким сиденьем, включил приемник. Эфир был засорен шумами. Убавив звук, Осман принялся острожно, даже с какой-то опаской крутить регулятор. Тоненькая палочка на волновой шкале ползла очень медленно. Наконец, Осман уловил, то, что, искал. Он откинулся на спинку кресла и долго и терпеливо просидел в ожидании.

Послышались неясные музыкальные ноты, позывные радиостанций, голоса, перекрывающие друг друга и вдруг спокойный, уверенный голос, заглушая все остальные, четко выделяя каждое слово, произнес:

– От Советского информбюро... Сегодня войска...

Свист и шум несколькими накатами заглушили голос, утопили в пучине эфира, но он снова выплыл из глубины.

– Под Сталинградом окружили трехсоттридцатитысячную армию фельдмаршала фон Паулюса...

И снова эфир ответил треском и свистом, но голос упорно выплывал из мрака, хаоса звуков, небытия:

– Враг капитулировал.

Внезапно все другие звуки, голоса, шорохи, наводняющие эфир, замерли. Замерли перед потрясающей новостью, которую ждал мир: Сталинград выстоял. Сталинград победил.

Волна неуемной радости, беспредельного счастья, ликованья зародилась в груди Османа, подкатила к горлу, вызвала слезы на глазах и неподдельную, ничем не объяснимую улыбку на старческом лице.

– Слава вам, люди, и низкий поклон, – прошептал он еле слышно. – Мой город спасен.

Осман свесил голову на грудь, закрыл глаза. И умер. Вечером ему исполнилось бы семьдесят три года.

Твердый и уверенный голос продолжал вещать миру о победе Красной Армии под Сталинградом.

57

– Я вспоминаю Версальский дворец.

Был изумительный солнечный день. Мы ехали в Версаль, городок под Парижем. Ты неотступно следовал за нами на своей машине. Мы долго знакомились с мемориалом на Мон-Валерьен, воздвигнутым в память о четырех с половиной тысячах бойцов французского Сопротивления, расстрелянных гитлеровцами. Он был поистине грандиозен, впечатляющ и прекрасен. Огромное поле с высеченными именами на гранитных плитах, пантеон с опущенными национальными флагами над гробами участников Сопротивления производили неизгладимое впечатление. Осматривая мемориал, я вспомнил другой памятник, поставленный благодарной Францией своим сынам и дочерям, погибшим во Второй мировой войне. Это была забетонированная, выложенная плитами яма, воссоздававшая земляную яму, в которой расстреливали людей: от нее в глубь земли уходил тоннель, обе стенки тоннеля были расцвечены огоньками. Их было ровно столько, сколько французов уничтожили гитле-

ровские фашисты в концлагерях. Двести тысяч огоньков!

Потом был Версаль, уютный городок с аккуратными длинным тенистыми улицами, небольшими живописными домами, дорогами мощенными гранитом, и привольно раскинувшийся дворец, охваченный литой чугунной оградой, и огромная площадь перед ним, запруженная многотысячной толпой, сотнями, торговцев, автобусами и легковыми машинами различных марок. Люди из десятков и десятков стран приезжали сюда, чтобы насладиться искусством, культурой, архитектурой Франции, отдать дань уважения ее сынам, обогатившим мировую культуру творениями своих рук. Версальский дворец не оставлял никого равнодушным, да и как может оставаться равнодушным человек к прекрасному, возвышенному, если у него есть душа, если его глаза видят и способны отличать красоту от уродства.

И как я был потрясен, когда спустя два месяца, дома, развернув газету, прочитал сообщение о том, что неизвестными людьми совершено гнусное злодеяние: в Версале прогремел взрыв, разрушивший, несколько залов, великолепных залов с бесценными для народа и истории экспонатами.

Люди без души и сердца, Осман, параноики и тритоны, решились поднять руку на историю своей страны. А если завтра они подложат бомбу в пантеон на Мон-Валерьен и взорвут память о движении Сопротивления? А если послезавтра поднимут в воздух памятник и вместе с ним память о сынах и дочерях Франции, погибших во Второй мировой войне? Как это понимать? Страна свободной демократии... Я помню твои слова. Но что общего с демократией имеют действия фашиствующих молодчиков, уничтожающих культурные ценности своего народа, его память?

Я долго не мог прийти в себя, прочитав об этом кощунственном акте. Перед моими глазами стоял Версаль, великолепный, искрящийся удивительной архитектурой Версаль, его парк, узоры оград, и я не мог, нет, не хотел представить над его крышей клубы

дыма и огня, зияющие пустотой глазницы окон, разрушенные стены...

Вандализм исходит от фашизма, запомни, Осман. Вандализм – политика фашизма. Он набирает силу и приходит к власти, когда засыпает разум.

Уснувший разум рождает чудовище.

Я хочу, чтоб ты был с теми, кто будит разум.

58

Вот и государственная граница. До нее оставались считанные метры. Десять, шесть, четыре... – считал Симон.

Что-то тяжелое ухнуло рядом. Он упал.

Когда Симон открыл глаза, мимо него вперед бежали солдаты, но не было их яростного «ура-а-а», не было выстрелов автоматов, воя снарядов, оглушительных взрывов. Была удручающая тишина.

«Что со мной, – подумал Симон, – и почему бой идет без стрельбы?» Он попытался подняться, но свинцовая тяжесть в теле не дала ему оторваться от земли. Он заставил себя повернуться на бок, подтянулся на локте, поднял голову. Слева, справа, впереди лежали солдаты, кто-то пытался встать, кто-то тяжело поднимался и шел вперед вслед за бежавшими.

К нему подошла молоденькая медсестра, что-то спрашивая, но он ничего не слышал и ничего не мог ей ответить. «Наверное, меня контузило, – подумал он, провел ладонью по ушам, потом поднес ее к глазам: крови не было. – Уши целы, – обрадовано подумал он, – точно, контузило».

По губам медсестры Симон видел, что она много и быстро говорит, только он не мог, не умел читать по движению губ. Наконец, медсестра нагнулась, обхватила его обеими руками подмышки и попыталась поднять, он отстранил ее, решив сам встать, оперся на одно колено, но острая боль пронзила тело и повалила его на землю. Медсестра нагнулась снова, и тогда Симон оперся на другое колено, оно оказалось

здоровым. Он стоял на колене и никак не мог подыскать опору, чтобы подтянуть раненую ногу, но тут медсестра подставила плечо. Симон оперся на него, поднялся, тяжело вздохнул и тут только почувствовал, как по хребту стекает ручейками пот, и волосы под шапкой намокли, и лоб покрылся испариной. Он виновато улыбнулся медсестре, а та, осторожно обняв, его, повела, что-то безумолку говоря, и изредка заглядывая в глаза, и взгляд у нее был ласковый, успокаивающий.

Они шли медленно, очень медленно, обходя лежавших солдат.

Где-то недалеко шлепнулась мина. За ней вторая, уже ближе. Симон почувствовал, как что-то ускользает из-под его руки он теряет опору. Он не мог поначалу сообразить, куда девалась медсестра и, балансируя руками, чтобы не грохнуться на землю, присел на здоровое колено, успев упереть в землю кулаки. Потом огляделся и оторопел.

Медсестра лежала навзничь.

«Такая молоденькая, ей бы жить и жить, – сказал Симон про себя, – убило ее или ранило, прислушаться бы к сердечку, да упаду, если нагнусь, причиню ей боль... Как же тебе помочь, родненькая, и раны не видать... Да разве можно таких убивать...»

И вдруг заорал во все горло:

– Санитар, санитар, сюда, помоги...

Он услышал голос, сильный, чистый, но не придал значения тому, что слышит свой голос, перед ним лежала молоденькая девушка, выносившая на хрупких плечах с поля боя солдат, успокаивавшая их боль ласковыми словами и взглядом, и снова, но уже требовательно, властно закричал:

– Санитар, сюда, помоги...

А в нескольких шагах была государственная граница.

В большом каменном доме, казавшемся, холодным и неуютным, Керим остался один. В хлеве еще не выветрился дух скотины, двор тут и там чернел катышками высохшего бараньего помета, но хозяева ушли.

Уж очень на неудобном месте оказался дом: между двух огней. На этом участке схлестывались интересы отрядов карателей и маки. Высокие каменные стены забора, да и самого дома были исцарапаны, пробиты, обожжены пулями и гранатами. Потому и оставили его старые Пьер и Мирей, опасаясь за жизнь трех маленьких внуков и невестки. Правда, каратели, охотившиеся за бойцами маки, не причиняли им зла, зная, что сын стариков погиб не в стычке с ними а во время охоты, сорвавшись с кручи, но и не жалели: после каждого визита они опустошали и без того скудные запасы хозяев, гадили во дворе, а в комнаты после их ухода нельзя было войти: такой тошнотворный дух стоял в них...

Вот и решились хозяева оставить дом и уйти в деревню, пока каратели вконец не обнаглели и не причинили им зла. Уже в сумерках парни из отряда маки пошли провожать их: один, ухватившись за оглобли, тащил тележку, набитую скарбом, другие взвалили на спины мешки, не уместившиеся в тележку, а трое посадили на шеи малышей. Были с ними и Косовский, Петровичев, Татарадзе. Последний посадил маленькую голубоглазую девочку чуть ли не на голову и пел ей грузинскую песню.

– Пойдем, Керим, что ты вздумал оставаться один, – просили его, – ну, болит голова – и перестанет... Нельзя здесь оставаться одному...

– Не беспокойтесь за меня, ребята, завтра буду на месте, переночую и приду...

После двух контузий Керима часто беспокоили головные боли в темени и затылке, звон в ушах.

– Не проспи, – крикнул на прощание Татарадзе, – завтра вечером операция... Будем ждать тебя у замка

Монтан. – И он, не оборачиваясь, поднял правую руку, зажатую в кулак.

Керим вышел проводить парней за ворота. Они гуськом уходили по тропе вниз и вскоре скрылись за густой стеной деревьев. Вокруг, куда ни кинешь взгляд, горбились горы.

Керим вошел в дом, постоял в темноте у стола, задумался, потом поднялся на чердак, опустился на сено, проверил автомат и, положив рядом, лег навзничь.

Внезапно сильно закружилась голова, казалось, сам Керим кружится в какой-то неестественной пустоте, уши заложило бешеным звоном... Керим схватился за голову, протяжно застонал от боли и впал в забытье.

Керим открыл глаза неожиданно. Перед ним, точнее над ним стоял немецкий офицер. Он ухмылялся, Керим бросил быстрый взгляд на автомат. Офицер сапогом наступил на него и покачал головой:

– Не балуйся, дом окружен. Я долго гнался за тобой.

Керим не понимал по-немецки, и, не сводя глаз с ухмыляющегося лица, совершенно без страха думал о том, как неосторожно и глупо влип. Как слюнтяй, а не солдат, не сделав ни единого выстрела.

Рот офицера открывался и закрывался, губы его шевелились, он что-то говорил, даже, чувствовалось, говорил грозно, а Керим продолжал лежать: он принялся строить план, как выбраться из дома, отчетливо сознавая, что дом оцеплен, и внизу, в комнате, его поджидает не один десяток фашистов, потом вдруг почувствовал, что ему чего-то нехватает, недостает, что он лишен чего-то тяжелого... И внезапно понял, что голова перестала болеть, и она легка и ясна, как может быть у младенца.

– О ля-ля, – произнес он тихо фразу, выученную от приятелей из маки.

Офицер удивленно взглянув на него, потом произнес:

– Говоришь по-французски?

– Парле, парле, – сказал Керим, поднимаясь и отряхиваясь от сена, и добавил уже по-русски, – пойдем, свинья, вниз...

Он не видел, как вытянулось лицо у офицера, как поднялись удивленно его брови. Керим спустился в комнату, окинув взглядом карателей, сел за стол. Они стояли вдоль стен, с автоматами на груди.

Подойдя к столу, офицер сел напротив, вперив в него взгляд. Наконец, растягивая слова, со страшным акцентом произнес:

– Ты... русский?

– А что, не видно? – теперь уже ухмыльнулся Керим.

– Не... видно, – признался офицер. – Ты темный... смуглый, русские... не такие.

– Ты тоже темный, а одет в немецкую форму.

Офицер изобразил на лице довольную улыбку.

– Я! Я – это я!

Столько высокомерия было в его словах. Керим посмотрел ему в лицо, посмотрел пристально, и по каким-то чертам, неуловимым черточкам оно показалось ему знакомым. «Не может быть, – сказал он себе, – где я мог видеть этого или такого человека? На передовой?.. Но там я их бил на расстоянии, не видя лиц... В газетах?.. Не припоминаю... А сколько в нем высокомерия, чванства. Сейчас рассмеюсь, честное слово, рассмеюсь...»

– Если бы судьба... как говорят у вас, русских, была бы не индейка, я бы стал купцом, точнее – бизнесменом. Но... нет у меня такого счастья. Ничего, я его ухвачу... этими руками... – Он выбросил на стол руки с тонкими нервными пальцами. – Мое имя с тюркского... переводится знаешь как? Молния. Молни-я... Я, как молния, уничтожу своих врагов...

– Жаль, ты мне не попался ни на восточном фронте, ни здесь, в бою, я бы тебе показал, как уничтожают врагов, – произнес Керим, глядя офицеру в глаза.

Тот ухмыльнулся.

– Я тебя не уничтожу. Тебя уничтожит гестапо.

Офицер поднялся.

– Вставай...

Керим не заставил его повторять, но он знал, был уверен, что в город не придет, и уверенность вселяла в него спокойствие. Он вышел во двор, окинул взглядом пустой дом, последнее свое пристанище, и пошел, засунув руки в карманы куртки. За ним шел офицер, дальше цепочкой вытянулись каратели.

– Ты из каких мест? – донесся до него голос офицера.

– Чего спрашиваешь, ахмах[1], из России, ведь знаешь.

– Ахмах твои родители и ты сам. Откуда знаешь слово?

– Я забыл, что ты турок, – усмехнулся Керим.

– Откуда знаешь, спрашиваю?

– Здесь научился, в маки, – засмеялся Керим.

– Смейся, в городе не до смеха будет, – зло проговорил офицер.

Тропа поднималась вверх, справа от нее зияла пропасть. Внизу извивалась голубая лента Гаронны[2]. «Дальше идти не к чему», – решил Керим и замедлил шаг.

– Мне надо по нужде, – сказал он громко.

– Пошел, пошел, в городе успеешь...

– Не дойду, лопнет...

Офицер чуть поразмыслил:

– Иди... только быстро.

Керим прошел вперед, расстегнул брюки, нагнулся, незаметно вытащил из-за голенища сапога маленькую гранату. В их отряде многие носили за голенищами на всякий случай такие гранаты, похожие на сосновые шишки. Переложив ее в карман куртки, Керим застегнулся и пошел к офицеру, усмехаясь про себя: «Дурак ты и есть, не обыскал даже пленного. От большой радости, что поймал бойца маки? Или, может, не кадровый офицер, ума не достает?»

---

[1] *Ахмах (азерб.)* – дурак.

[2] *Гаронна* – река на юге Франции.

– Ну что, молнии подобный, кончился наш путь, – сказал он, подойдя вплотную к офицеру и глядя ему в глаза.

– Как кончился? Что ты болтаешь? – возмутился было тот.

– Кончился наш путь на земле, – прервал его жестко Керим, потом в одно мгновение вытащил из кармана гранату, выдернув чеку, подкинул под ноги офицеру и намертво схватил его за руки.

– Оставь, оставь меня. – Лицо его объял ужас. – Помогите! – завопил он.

К нему устремились каратели.

– Аллах... Илдиримин джаны гедир[1], – истошный крик вырвался из горла офицера.

Взрыв потряс воздух, эхо от него раскатилось над горами и полноводной, и молчаливой Гаронной.

59

Джамал поднялся на веранду, опустил на пол мешочек с кукурузной мукой, устало сел на тахту и только сейчас обратил внимание на тонкий жалобный плач, доносившийся из комнаты. «Что могло стрястись, – спросил он себя, – во дворе ни души, и этот надрывающий душу голос?..»

– Жена, куда ты подевалась? – окликнул он громко.

Из комнаты вышла старуха с опухшими от слез глазами, горестно причитая:

– Где тебя черти носят, старший внук твой заболел, простудил легкие. Врач сказал, чтобы достали пенициллин, иначе умрет.

Из глаз ее полились слезы.

– Как умрет? – удивленно произнес Джамал.– Мой внук умрет от какой-то простуды легких? А для чего тогда врач?

– Нету пенициллина, нету лекарств, война ведь идет...

---

[1] *Илдиримин джаны гедир* (азерб. яз.) – душа покидает Илдирима

Из комнаты вышла старшая невестка, вся заревanная. Она посмотрела в настороженные глаза Джамала, проговорила:

– Уснул, наконец, весь горит, не дышит – задыхается, – не справившись с собой, заскулила, закрыв лицо руками, потом, наплакавшись, произнесла, – отнеси мои ковры на базар, папа, воскресный день сегодня, ты их продашь, отнеси, папа, очень нужны деньги на лекарство, иначе мальчик умрет...

– Где ты купишь этот проклятый пенициллин? – проговорил Джамал, поднимаясь с тахты.

– Врач обещала помочь... Она знает, кто может достать...

– Ну что ж, выноси, дочка... Вот время-то злое какое: одни горе пьют с водой и кукурузной лепешкой, другим и горе нипочем, и боль людская заработок дает... Тьфу.

Невестка вынесла ковры, которые принесла из дома отца, бросила их на пол. Джамал сложил два, взвалил на плечи.

– А этот оставь, доченька. Красивый да и тонкой работы, персидский. Пока продам два, а там видно будет.

И он пошел спешно, пока воскресный базар был в разгаре.

Ковры у него купили: уж очень они были искусно сотканы. Азизов понимал толк в коврах, приобретая их для дома и на приданое дочери.

Невестка тепло закутала сына в одеяло и помчалась к врачу вместе со свекровью, та еле поспевала, семеня шажками, широко размахивая руками. Вернулись они успокоенные.

– Ну что там, – спросил Джамал. – Как мой внук?

– Сделали укол, легче стало, – сказала невестка, на лице ее появилось подобие улыбки.

– Укол? Один укол? Всего один укол? – удивился Джамал.

– Второй сделаем вечером, сама придет к нам.

Джамал задумался, потом поправил шапку на голове и, нахмурив брови, бросил взгляд на жену:

– Ну вот что, старуха, я принес муку кукурузную, приготовь что-нибудь вкусное на вечер...

– Вкусное, – передразнила жена, прервав мужа, – себя, что ли, добавить вместо мяса... вкусное...

– Не ворчи, жена, как тебе не стыдно, праздник ведь, октябрьский праздник.

– Нет, старик, ты совсем рехнулся, – вплеснула она руками, – не сегодня ведь он, праздник.

–Ну и что, а мы будем отмечать несколько дней и за Симона, и за Керима, и за Гаврила, у нас не праздник, а праздники... И ты не прекословь мне, устал я слушать твои ворчанья... Себя, что ли, добавить вместо мяса... Ишь как затараторила языком, красиво как. Кому нужно твое мясо? Вон я сколько принес: и легкие, и печень, и всякие там внутренности, на кухне оставил, это не мясо? Разленилась совсем. Еще раз услышу грубое слово – разведусь, женюсь на другой.

– Ты что так разошелся? – изумилась жена.

Джамал пригладил ладонью усы, бородку, заложил руки за спину и медленно, и степенно пошел к воротам, бросив из-за плеча, не оборачиваясь:

– Чтобы вечером сюфре было накрыто.

Джамал шел по улице задумчивый, глядел на редких прохожих с ласковой улыбкой, кивком головы отвечал на их приветствия, тихо без слов напевал песню. Он был одет во все темное – телогрейка, брюки, заправленные в шерстяные носки, истоптанные ботинки, неизменная шапка – все это было одного цвета или почти одного. И на этом фоне выделялись белоснежная квадратная бородка и усы. Несмотря на преклонный возраст, а Джамал переступил порог седьмого десятка, он продолжал работать. Молодые мужчины города ушли на фронт, подростки и женщины заняли их места в колхозах и на заводах. Джамалу было совестно сидеть дома сложа руки и он устроился в «Утильсырье». Оно работало для фронта, и это успокаивало Джамала.

Поравнявшись с кинотеатром «Родина», который сейчас был переоборудован под госпиталь, Джамал остановился, сдул пыль со ступеньки, устало опустил-

ся, положил шапку на колени, вытащил из кармана фуфайки четки и стал медленно перебирать их. Здесь к концу дня на час-другой собирались его сверстники поделиться новостями, но пока никого не было. По тротуару лениво прохаживались раненые.

«Жернова этой войны все еще крутятся, – сказал про себя Джамал. – И время тает, и солнце стынет, и душа устает – всему бывает предел... Должны же остановиться жернова этой войны».

Откуда-то издалека донесся чеканный стук. Наконец, из-за угла на центральную улицу вышла колонна военных. Она шла без песни, но бодро, и в четком шаге солдат чувствовалась сила, уверенность.

Колонна прошла и снова на улице стало тихо, лишь изредка слышалось, как женщины бранили детей, да пугливо лаяли собаки.

К кинотеатру подошел высокий, сухопарый Азизов. Присев на ступеньку рядом с Джамалом, он произнес:

– Добрый вечер.

– Вечер добрый. – Джамал бросил на него ленивый взгляд. – Не нравится мне твой цвет лица.

– Смерть увидел? Пора и мне на покой...

– Глупые слова говоришь. Тебе еще радовать наших детей...

– Нет, не глупые. Когда слышишь, что умирают молодые, хочется самому умереть. Уходят из жизни, не вкусив ее сладость и горечь, разве это справедливо?..

– Кто умер? – спросил Джамал.

– Сына Гюршюма убили.

– Сына Гюршюма убили,– повторил Джамал, аккуратно надел шапку, тяжело встал и, заложив руки за спину, поплелся по улице.

Двор Гюршюма был полон людей. Джамал присел на деревянную лавку, прищурившись, стал искать Гюршюма, но тот сам подошел, опустился рядом.

– Осиротел, некому будет меня и в могилу опустить.

Из глаз старика выкатились слезы и поползли по глубоким морщинам.

– Что сказать тебе, – произнес Джамал, – и успокоить нечем, слов нет никаких. Велико твое горе, оно будет с тобой до последнего вздоха твоего. Терпи и живи. Такова участь человека.

– Тяжело, сердце разрывается, – Гюршюм беззвучно заплакал. – Ничего не значит человек, ничего – беспомощен и слаб перед дикостью и злобой.

– Но в его руках мужество. Разве ты забыл, как мужество помогало нам вынести беды?

– Твои слова верны, Джамал, но горе мое так велико, что не хватит океана мужества, чтобы его затопить.

– Не падай духом, брат, надо жить, надо вырастить внуков, ради них надо стараться заглушить свою боль.

– Разве ее заглушишь? Она надрывает сердце.

– Спрячь боль в себе, не показывай внукам. Она не должна омрачать жизнь малых.

Утомленный, удрученный возвращался Джамал домой. Не желая омрачать настроения домочадцам, у ворот дома он остановился, присел на лавку и сидел некоторое время в одиночестве, пока другие думы и заботы не вытеснили из его сердца горе Гюршюма.

На дворе было уже темно, когда все сели за сюфре: три женщины и Джамал. Внуки спали.

На самой середине сюфре горела керосиновая лампа. Вкусно пахло мучери[1]. В большой тарелке лежали куски овечьего сыра, в плоской миске асидо[2].

– И это сюфре ты считаешь вкусным? – снисходительно проговорил Джамал, усмехнулся и иронически промолвил, – эх, женщина, женщина...

Потом отломил кусок мучери, взял сыр и принялся за еду. Женщины молча последовали его примеру.

Джамал налил себе в стакан белого вина, потом глянул на жену:

---

[1] *Мучери* – лепешка из кукурузной муки.

[2] *Асидо* – халва из муки.

– Где еще стаканы?

– Какие стаканы? Пей и молчи.

Но младшая невестка уже вскочила, сбегала за стаканами. Джамал налил всем.

– В этот праздничный день в дом Гюршюма пришла беда. Сына убили. – Он замолчал. – Пусть в доме Гюршюма с этого дня будут одни радости.

Джамал выпил, женщины пригубили стаканы, вино показалось вкусным, и они выпили до донышка. Вдруг жена Джамала спохватилась, встала из-за сюфре и быстро засеменила во двор.

– Куда она? – удивился Джамал.

Невестки переглянулись, загадочно улыбнулись, опустив головы, но тут на веранду поднялась старуха, неся большую сковороду, которая продолжала шипеть, распространяла ароматный запах жареного.

Лицо Джамала расплылось в улыбке и он довольный проговорил:

– Ну вот и вкусное. А то собирался разводиться с тобой. Да где я еще найду такую искусную хозяйку? Дай-ка попробую, что ты там нажарила...

60

Жена Османа почувствовала себя плохо. Острой болью схватило сердце, потом оно долго щемило и ныло. Подступила тошнота.

«Что-то случилось, наверное, с моим мальчиком», – подумала она про себя.

В ней теплилась надежда, что Керим жив.

Она семенящим шагом вошла в ванную комнату, умылась, причесалась слабыми, дрожащими руками, потом прошла в спальню, надела чистое белье, легла в кровать. Накрывшись одеялом, она свернулась калачиком, представила Керима, маленького Керима, каким он остался в ее памяти, мягко болезненно и виновато улыбнулась и уснула.

Это был ее последний сон. И вечный.

61

День был ясный. Над Парижем было синее небо.

Мы выехали в аэропорт Орли с запасом времени, зная о заторах и пробках на дорогах, когда автомобили движутся медленнее пони в зеленых парках. Но как ни парадоксально, приехали мы на приличной скорости и, чтобы убить время, отправились бродить по зданию аэропорта.

Когда мы вернулись к главному входу, я увидел вас: тебя, Осман, и твоего отца. Безупречно одетые, вы выделялись манерой держаться: непринужденно, с достоинством.

– Пришли тебя проводить, племянник, – сказал твой отец, делая упор в интонации на последнее слово. – Если молодые не считаются со стариками, приходится старикам идти на поклон...

– И преподать урок нравственности, – закончил я его фразу. – Простите, никак не мог выкроить время.

– Это все мелочи, – произнес твой отец. – Ты доволен своей поездкой?

– Доволен, – ответил я. – Даже если бы ничего интересного из нее не вынес, остался бы доволен тем, что встретил Османа.

– Неужели? – лицо твоего отца выразило неподдельное удивление.

– Вполне серьезно. По крайней мере оторванная от Османового дерева ветвь не высохла. И я знаю, что у меня есть двоюродный брат, и мне кажется, он честный парень...

Твой отец долго глядел на меня. Я видел, я понимал: что-то его мучило. Наконец, он решился:

– Наш дом стоит еще? Его не сломали?

– С утра до вечера верещит детскими голосами.

– Что так? – не понял он.

– Детский сад в нем.

– Детский сад... А дом Джамала стоит?

– Куда ему деться, стоит, конечно.

– И живут в нем?

– Гаврил живет, младший сын Джамала.

– Это, я думаю, тот, с которым я дрался. Мы дрались попарно, Керим со старшим, я с младшим. – Твой отец улыбнулся. – И всегда они нас лупили. Мы старались изорвать на них одежду, и без того худую, а они нас кулаками лупили. Помню я эти кулачные бои, помню... – Он задумался, ушел в воспоминания, потом спросил. – Их отец давно умер?

– Лет двадцать назад.

– Долго жил...

– Девяносто с лишним... Живучий был.

–Наш семьдесят три протянул, но не болел ни разу. Ты приезжай, Аслан, нам надо часто видеться, не терять из вида друг друга.

– Вы бы сами приехали, поглядели, какой стала земля отцов и дедов...

– Какой стала?

– Вся утопает в садах и виноградниках.

– Рад был бы... – Твой отец неопределенно пожал плечами.

– Вон сколько туристов едут в нашу страну, а в Дербент... кого только вы там ни увидите... Решитесь – и приезжайте. Родню повидаете.

– Приезжай, Аслан, я буду тебя ждать, – подал и ты голос.

– В следующем году я, очевидно, полечу в Копенгаген, а оттуда в Осло.

– Я примчусь на машине. Только сообщи заранее о дне поездки.

– Куда он тебе напишет? На имя президента? Ты ему адрес свой дал? – Засуетился твой отец.

– Адресами мы давно обменялись, – засмеялся ты.

Объявили посадку на наш рейс.

– Ну, до свидания, Османовы, приезжайте на свою родину, поглядите на улицы и магалы, по которым ходили деды, на кладбище, где покоится их прах. Приезжай, Осман, тебе это обязательно нужно, человек должен знать свои истоки.

Мы с тобой крепко пожали друг другу руки. Потом я повернулся к твоему отцу. Глаза его были влажны.

Он крепко обнял меня за плечами, прижался лицом к моему лицу, отстранился, и прошептал:

– Иди. Аллах тебе поможет.

Пройдя таможню, я оглянулся.

Твой отец и ты смотрели в мою сторону.

Спустя некоторое время самолет Ил-62М оторвался от взлетной полосы и взмыл в густое синее небо.

Я был уверен, что твой отец и ты стояли на площади у аэропорта, рядом со своей машиной, и провожали взглядом наш Ил.

62

Выйдя из Юхары Гапы[1], мальчишки побрели по пыльной дороге. Они были разных возрастов: от пяти до тринадцати-четырнадцати лет. Старшие шагали впереди, младшие замыкали шествие. День был весенний, теплый. Пыль, поднятая первыми, длинным широким шлейфом тянулась назад.

– Сколько же можно идти, – раздался звонкий голосок.– Идем, идем, а куда идем? Он все знает. А что он знает? Он воровать нас ведет – вот что он знает.

– Как воровать, – замедлили шаг последние.

– А вот так – воровать...

– Что ты слюни распустил, сопляк? – Один из тринадцатилетних подошел к мальчишке со звонким голосом. – О чем пищишь?

– Сам пискун. Я говорю.

– Ха-ха, глядите на него. Не задирай нос, а не то придавлю, как таракана.

– Уйди, а то стукну...

– Сам уйди...

Мальчишки принялись толкать друг друга, потом вцепились и покатились по дороге. Началась потасовка, больше походившая на кучу малу. Старшие, не сумев совладать с младшими, а последних было вдвое больше, поднялись, отбежали подальше и, отряхнувшись от пыли, пошли, бросив на прощанье:

---

[1] *Юхары Гапы* – Верхние ворота.

– Ну и сидите, и сосите палец.

Малыши так и поступили: сели на обочину и стали глядеть на проезжавших.

– А как они будут воровать? – поинтересовался один из них.

– Как всегда, – отвечал мальчик со звонким голосом. – Сядут у мельницы и будут жалко глядеть на дядек. Там много подвод заезжает и выезжает, и дядьки сидят на подводах. Они часто кнутами щелкают, да страшно так, со свистом. И никто не подаст макухи. Тогда мальчики подходят к воротам и начинают хныкать, чтобы сторож сжалился. Сжалится, бросит несколько кусков...

– Бросает?..

– Бывает, и бросит.

– А ты-то откуда знаешь?

– Ходил я с ними как-то, да стыдно потом стало.

– Это не воровство, – протянул один из малышей.

– И не лучше воровства, – подытожил мальчик со звонким голосом. – Стыдно бывает очень.

Издавая протяжный скрип, на дороге остановилась ветхая подвода. На облучке сидел дед в папахе, на его лице выделялись маленькие глазки и большие пышные усы, которые тянулись к ушам.

– Что, дети, устали? Садитесь, подвезу до города.

– А ругать нас, дедушка, не будете? – спросил мальчик со звонким голосом.

– За что ругать? – удивился дед.

– Ваша кляча нас не сдвинет с места.

– Кляча?! Хе-хе-хе... – дед забился смехом, постукивая себя ладонями по коленям. Наконец, успокоившись, он спросил:

– Ты чей такой заковыристый? Как звать-то?

– Джамал я, сын Симона.

– А ну, сын Симона, и вы все – садитесь быстро, я на базар спешу.

Ребята, как воробьи, сорвались с места и расселись на мешках. Дед помахал в воздухе кнутом, несколько раз небольно ударил лошадь, и телега заскрипела.

– А какого Симона ты сын? – спросил дед у мальчика.

– Симона сына Джамала, – ответил тот.

– Так ты внук Джамала? Джамала из Дербента? Пути Господни ведут нас по кругу. Знаю я Джамала, хорошо знаю Симона, а теперь вот с постреленком его познакомился. А что вы тут делали, как здесь оказались?

Джамал опустил голову.

– Ну-ну, рассказывай, не стесняйся.

–На мельницу шли. Макуху хотели выпросить.

– Что это еще такое – макуха?

– Макуху не знаете? Ее еще называют жмых.

– Тьфу, – дед сокрушенно пакачал головой. – Из-за нее вы на мельницу шли?.. И устали... Эх, война проклятая, чем ты детей наших кормишь...

– Она вкусная, – сказал Джамал. – Ее Аслан любит.

– А это кто еще?

– Мой брат. Дяди Керима сын.

Керима, сына Османа, догадался дед.

– Как он там, Керим, воюет, письма пишет?

– Воюет, дедушка, но писем давно нет.

– Это нехорошо, что давно нет.

– Да, дедушка, все тревожатся... А от папы пришло. Ранен был, долго лежал в госпитале.

– Война, будь она проклята, – произнес дед. – От нее горе и страдание людям.

Подвода въехала в Юхары Гапы и покатилась по булыжной мостовой.

– Дедушка, мы приехали, – загомонили мальчики.

Дед остановил лошадь, слез с облучка:

– Подождите, дети, я вам что-то дам.

Он развязал один мешок, засунул в него обе ладони и вытащил пригоршню кукурузных зерен.

– Ну-ка, расстегивайте ворот рубахи, насыплю вам за пазуху. Принесете домой, пожарите на сковорде,– вкуснее и красивее не придумаешь. Как бутоны цветов раскрываются от тепла солнца, так и они лопают-

ся и пушатся от огня на сковороде, а вкус... Вы что, не ели жаренной кукурузы?

– Ели, дедушка. Спасибо, – и мальчики разбежались, поддерживая животы снизу двумя руками: дабы из рубах не высыпались зерна.

– А ты сиди, – обратился дед к Джамалу. – Мне все равно мимо твоего дома ехать.

У площади дед остановил лошадь.

– Скажи-ка, постреленок, поясок твой хорошо держит брюки?

– Хорошо, – удивился Джамал. – А что, падают разве?

– Расстегивай рубашку, насыплю тебе и брату кукурузы.

За пазуху посыпались золотистые зерна.

– Хватит, дедушка, у меня уже не живот, а коровье вымя...

– Хе-хе-хе, вымя, говоришь? Тогда хватит. Возьмика еще эти вкусные лепешки. – Он хитро улыбнулся и, вытащив из-под мешков, протянул мальчику несколько кусков макухи. – Раз уж любите, ешьте на здоровье. Да передай деду привет. Так и скажи: просил передать привет Хидир из Магарамкента, у которого купец Осман больного сына Керима оставлял. Не забудешь, постреленок?

– Не забуду, дедушка. Спасибо.

– Ну, я тебя подвез, а теперь поеду на базар.

– Зашли бы к деду Джамалу, дедушка, – раздался вслед звонкий голос мальчика.

Дед обернулся, теплая улыбка осветила его лицо:

– Привет передай, внучек, смотри, не забудь, обязательно...

И щелкнул в воздухе кнутом...

63

Зазвонил телефон.

Назым поднял трубку.

Мсье Назым Османов? – Голос был уверенный бодрый.

– Слушаю, мсье.

– Говорит Жирардо, комиссар полиции.

– Очень приятно, мсье Жирардо, давно не видел вас в своем магазине.

– Не премину воспользоваться приглашением,– в трубке послышался довольный смех. – А сегодня я прошу вас зайти ко мне, да чем раньше, тем лучше.

– Что-нибудь серьезное? – Назым за какие-то доли секунды перебрал с десяток причин, по которым комиссар мог его пригласить.

– Как сказать... – Голос некоторое время молчал. – Ваш сын находится у нас. Забирайте его, драчуна своего...

«Что мог натворить Осман, – мучительно думал Назым, выжимая из «Симки» газ, – не думаю, чтоб он связался с дурной компанией, приятели его из состоятельных семей, да и привычек у него таких, ну как сейчас называют – экстримистских – не наблюдал. Надо женить его, перезрел он у меня. Промашку дал я тогда, не обвенчал его с внучкой Сеттерхана. Красивая девушка, из состоятельной семьи. Подумаешь, отец ее помогал какой-то террористической организации, ну и черт с ее отцом, не на нем же ты женишься, дурень эдакий. Какой принципиальный вырос...

Машина летела на бешеной скорости. Только подъезжая к городской полиции, Назым сбавил скорость.

Жирардо встретил его приветливо, даже дружелюбно. Теплые отношения, сложившиеся между Османом и прежним комиссаром по совету дальновидного Сеттерхана, продолжались и между Жирардо и Назымом. Конечно, каждый имел от этих отношений свою выгоду.

Пока они прикуривали сигары, предложенные любезно Назымом, в кабинет комиссара привели Османа. Назым поднялся из кресла:

– Жду у себя, мсье, и безотлагательно.

Жирардо, легко подняв свое тучное тело, проводил их до дверей.

– Не премину, мон шер, не премину...

Выйдя на улицу, Назым зло взглянул на Османа.

– Ты что меня позоришь, щенок? До тебя нога Османовых не ступала в полицейский участок. Садись...

Он нервно завел машину, вырулил на дорогу.

– Что ты натворил?

– Ничего особенного. С правыми пришлось драться.

– С ке-е-ем? – лицо Назыма исказилось. – Ты куда суешься, ты понимаешь, в какое дело суешься?

– Никуда я не суюсь... и не совался. Шла колонна рабочих, на них бросились молодые фашисты.

– А тебе-то какое до них дело?

– Я не мальчишка и перестань меня поучать. Я должен защищать родину. И ее народ.

– Родину? – Назым усмехнулся. – Твоя родина не здесь, сопляк, она там, далеко на востоке...

– Перестань оскорблять, отец, – вскипел Осман, но сумел взять себя в руки. – Почему дед и ты защищали эту родину?

– Родины этой и той не бывает, она у человека одна. Эта земля дала нам пристанище, а помогали мы честным людям потому, что они боролись с фашизмом.

– Вот, вот, с фашизмом, – перебил Осман, – а эти, по-твоему, не фашисты?

– Они воевали с фашизмом, – продолжал Назым, словно не слушая его, – который угрожал всей Европе, и в первую очередь земле, на которой родились наши предки и мы. Твоя родина там, запомни навсегда, там. Как бы я хотел, чтобы ты съездил туда... – проговорил он вдруг задумчиво.

– Поедем вместе, отец. Что нам мешает поехать?

– Может, вместе, а может сам поедешь, один. Я почти забыл ее, она выветрилась из моей памяти. Бывает, временами хочется плюнуть на все дела и поехать, взглянуть. Но тут же сковывает страх: что осталось от старого, что принесло новое...

– Ты не знал ни старого, ни тем более нового, – засмеялся Осман. – Тебе это не угрожает спазмами и сердечными болями.

– Не шути зло. Поедешь сам, у тебя там родственники живут. Но прежде я тебя женю.

– На прелестной дочке мерзавца? – улыбнулся ехидно Осман.

– Если согласишься, женю на мерзавке прелестного отца.

Они взглянули друг на друга и расхохотались, но сквозь смех Осман прокричал:

– И на такой не согласен.

64

Я вспоминаю плас де ля Конкорд, куда мы вышли, прогуливаясь, накануне моего отъезда. Огромную, просторную чашу площади Согласия. Искрящийся великолепный фонтан, каменные статуи, олицетворяющие города Франции. И тебя. Тебя, внука моего деда Османа.

Красивый, черноволосый мужчина, ты сидел у подножия статуи. И смотрел на меня. В твоем взгляде не было ни тоски, ни вопроса. Но я знал: для тебя все узнанное, выслушанное от меня было серьезно, слишком серьезно...

Вспоминаю тебя, а перед глазами лицо Симона, Гаврила, их детей... Я твой брат, двоюродный брат, в наших венах течёт одна кровь, а я не мыслю себя без этих людей, без их голосов, без их забот обо мне, без их мыслей и дум. Судьбе было заманчиво – заманчиво или потребно? – оторвать семя от Османова дерева и бросить его – почему бросить – оставить на почве родной земли, и оно, семя, не пропало, и дало жизнь молодому дереву, от которого пошли побеги, ветви... А Османово дерево стало чахнуть.

Что тебя ожидает? Дед Осман все лучшее – любовь к своему отечеству, тоску по родному дому, языку, чистую совесть – унес с собой. Все лучшее, доброе, честное, что он заронил в сердце сына Назыма, тот унесет тоже с собой. Твой отец пытается воспитать тебя в духе Османов, но сумеешь ли ты сохранить их нравственные ценности и передать детям своим?

Что бы тебя ни ожидало впереди, я хочу, чтобы ты был искренен в чувствах, человечен в поступках, ре-

шителен в действиях. Чтобы ты оставался честным и совестливым человеком. Я говорю с тобой, Осман, надеюсь, ты слышишь меня.

Я рад, что встретил и узнал тебя. Но еще больше рад тому случаю, когда больного маленького Керима вынуждены были оставить в семье бедняка. Я рад тому, что моего отца воспитал дед Джамал, как и своих сыновей, и вырастил честным и мужественным человеком. У тебя есть возможность узнать о его последних месяцах жизни, последнем дне, и ты найдешь в себе силы склонить голову перед его мужеством. Моя вера в отца беспредельна.

Ты слышишь меня, Осман? Я заклинаю тебя именем деда Османа: узнай о судьбе своего дяди Керима на земле Франции, о его последнем дне. Это нужно мне, тебе, нашим детям.

Посети землю своего деда, посмотри на бывший его дом, походи по старым магалам, поднимись на крепостные стены Нарын-Калы, откуда открывается величественная панорама, от которых откатывались полчища иноземных завоевателей, и, может быть, в твоей душе, в сердце проснется хотя бы маленькое чувство любви к родине... Если не твоей, то хотя бы родине деда... Если проснется – я буду безмерно счастлив.

Махачкала–Балатон–Сеплак–Дубулты.
1984 –1986 гг.

СНЫ СКОРПИОНА. ИЛИ НЕ УМИРАЙ, ПОКА ЖИВЕШЬ

Роман

1

Глубоко вдыхаю острый морской воздух. Он освежает меня своим запахом. Он пахнет водорослями – в это время года в глубинах моря происходят природные подвижки, в народе говорят, что море цветет, и холодная вода выносит на поверхность и выбрасывает на берег длинные, малахитового цвета водоросли. Так вот, воздух насыщен запахом этих водорослей.

Антон Павлович Чехов писал, что море пахнет свежеразрезанным арбузом, а иные романтики склонны думать, что оно пахнет свежескошенной травой.

Кто бы как ни считал, но этот запах, чистый, свежий, острый, освежает душу, доставляет божественное наслаждение.

Всю свою жизнь я вдыхаю свежий благотворный воздух моря, если не считать те несколько лет, выдавленные, но не вычеркнутые из жизни... Те несколько лет в горах. Суровых, неприступных. Холодных и зимой, и летом. Расположенные не к любому человеку, они относились благосклонно к тем, кто знал и уважал их законы. Они жили как люди: стыли в мороз и наслаждались теплом солнца, горевали и улыбались, зацветали диковинными цветами. Я дышал их воздухом, чистейшим воздухом, от которого постоянно кружилась голова...

Но мне больше по сердцу морской воздух, беспредельная ширь, перед которой ты чувствуешь себя человеком, а не слабой тварью, бессильным существом в объятиях мрачных каменных гор.

Я стою у моря и не могу насытиться запахом водорослей. Справа от меня городской сад. Слева – короткая, уютная улица, одна из первых городских улиц, которая всегда была заполнена толпами людей.

Раздается взрыв. Его хлопок прерывает мои мысли. Прохожие замирают. Но тут же наперебой спрашивают друг друга:

– Где это?

– Ах, опять...

– На проспекте...

Голосят клаксоны полицейских и пожарных машин, стонет «скорая помощь».

Воздух омрачается тревогой.

Неуемное желание одних оказать помощь потерпевшим, а иных – просто любопытство, притупляет чувство опасности. Все уже знают, что за первым взрывом последует второй – это страшный метод борьбы террористов, – так было не раз. И все-таки бегут к месту происшествия.

Снова грохочет взрыв.

Направляюсь тоже к месту события, но на половине пути спрашиваю себя: «Что тебе там делать, будешь лишним зевакой? Без тебя там хватит людей. Да и мало ли ты такого навидался?».

Стою на улице, с которой знаком почти четыре десятка лет. Она пуста. Не потому, что прохожие устремились к месту взрыва. Нет. Она стала безлюдной. В мои молодые годы сюда стекались люди со всех концов города, на исходе дня по ней праздно прохаживались сотни и сотни людей: по двум сторонам улицы они медленно и степенно прогуливались от Русского драмтеатра имени Максима Горького (сейчас на месте, где он располагался, возведен Кумыкский музыкально-драматический театр) до городского сада, молодежь шла дальше, к памятнику поэту Сулейману Стальскому, под боком которого располагалась танцевальная площадка. Из окна кинотеатра «Темп», точнее из будки киномеханика, вырывалась музыка, которая заливала всю улицу. У небольшого магазина «Родничок» выстраивалась длинная очередь, только

здесь можно было насладиться вкусной газированной водой с вишневым, абрикосовым, клубничным сиропом или томатным соком с солью.

У кассы кинотеатра маялись люди, желавшие попасть на киносеанс: билеты в ту пору раскупались заранее за несколько дней. В дни, когда в город заходили пароходы, на улице появлялись моряки в расклешенных брюках. Пройдя по улице, на людей посмотрев и себя показав, они знакомились с девчатами, работавшими на фабрике имени III Интернационала, подхватывали под руки и весело уходили в клуб моряков, который был совсем рядом, за железной дорогой. Здесь до поздней ночи оркестр играл танцевальную музыку: вальс, бостон, фокстрот. Дежурный патруль пропускал только моряков с подружками, неудачники, то есть не попавшие в клуб, фланировали по Портовскому шоссе, слушая музыку и провожая завистливыми взглядами счастливые парочки.

Да и зимой, в снег, здесь бывало очень много народу: назначали деловые встречи, свидания, играли в снежки, на крутой соседней улице катались на санях или просто на подошвах ботинок. В воздухе стоял гвалт и безудержный смех.

Эта улица притягивала людей теплотой. У нее была добрая аура.

Сегодня она холодная. Почему-то не любит людей. Потому и люди ее не любят. Что с ней случилось, что произошло за минувшие годы? Остыла душой? Ведь она у нее была, я-то хорошо знаю... Неужели она охладела, остыла, как и сами люди?

Безлюдно на улице.

Подхожу к газетному киоску. На витрине выставлены центральные и местные газеты. Обвожу взглядом, но ничего не хочу покупать. Просто нет никого желания.

– Так на чем остановился ваш взгляд, юноша? – голос у киоскера звонкий, раскованный, такие люди живут просто, чисто и честно, не отягощенные думами о том, чего они могут достичь.

– На вас, девушка, – говорю ей с улыбкой. И на самом деле, рыжеволосая, голубоглазая, белолицая, она выглядит очень даже мило.

Киоскер останавливает на мне свой взгляд и вдруг закатывается смехом:

– Девушка. На прошлой неделе пятый десяток проводила. Уморил прямо...

– Поздравляю вас сердечно.

– А чего поздравлять? – удивляется она. – Плакать надо.

– То-то вы плачете.

Она опять смеется. Хохотушка. Легко таким в жизни: ничто им не в тягость, ничто не помеха.

– Ну так что? – вопросительно смотрит она на меня.

– Сказать вам честно?

– Ну...

– Обрыдло...

– Как вы сказали? – удивляется она.

– Есть такое слово – обрыдло. На-до-е-ло до чертиков. Журналистика деградирована. Сегодняшних писак называют журналюгами. Ими правит не чувство долга, не честь, а запах денег. Нужно недостойного восхвалить – пожалуйста, закажут честного оклеветать, опорочить имя его – согласен. Только плати.

– Почему вы такой злой, – вдруг серьезным голосом спрашивает киоскер. – Вас обидели?

– Я сам журналист. Профессиональный журналист. Воспитан прошлой системой, которую оплевали и сегодня продолжают оплевывать. А ведь при той системе была журналистика, настоящие журналисты. И проворовавшихся руководителей сажали за решетку, и хамоватых партработников исключали из партии, и казнокрадов выносили на суд общественности... Вот видите, на углу двухэтажный дом с надстроенным третьим?

Киоскер высовывает голову из окошечка киоска.

– Обратите внимание на крайние слева окна с балконом на втором этаже. Там была редакция молодежной газеты. Сорок с лишним лет назад я перестu-

пил порог этой редакции. А потом была другая газета, республиканская. А потом... Ну да ладно... В ту пору работали ради идеи, для людей, сегодня – для себя. Подхалимничают, угождают, злословят, восхваляют больших людей, публикуют их портреты на всех полосах, о жизни народа рассказывают с их слов. Даже государственные газеты становятся карманными... Ну, хватит, загрузил вас болтовней.

– Да за что прощать-то? С вами интересно поговорить. А то приходят быки, им и слово лишнее сказать боишься.

– А вы не говорите с ними. Вы улыбайтесь им. У вас очень красивые глаза. До свидания.

Она звонко смеется.

Люблю доставлять человеку радость.

2

Я иду домой пешком. До моей хижины пять километров.

Я люблю отмеривать улицу шагами, изучать лица встречных, одежду, походку, каждый из них для меня – новый мир, новая загадка, новая натура. Левым локтем прижимаю к боку завернутую в плотную бумагу картину в подрамнике.

С правой руки от меня совсем рядом – море, синяя гладь Каспия, с левой, в семи километрах – горы. Но моря не видно, улица, протянувшаяся вдоль берега, застроена домами, ресторанами, развлекательными центрами, барами... Они словно неровной расхлябанной солдатской шеренгой закрыли море. Чтобы увидеть его, надо ступить на песок, минуя хаос строений.

Гляжу на это безобразие и мысленно вопрошаю: «Куда смотрит архитектор города, чем серьезным занят градоначальник, если не видит этого бедлама, – а внутренний голос смеется надо мной, – неужели ты не разумеешь, что кусочек земли сегодня на вес золота? Да, оно и верно. Расшатались болты и гайки в государственной машине и затянуть их некому. Фило-

софских бесед много и довольно интересных и нужных. А дельцы делают свое дело».

Я и не замечаю, как опускаются сумерки. Вскоре темная шаль накрывает улицу. Фонари не светят. Из окон домов изливается свет, как желток из разбитой яичной скорлупы. Ночь беззвездная. Вокруг далекой болезненно бледной луны стынет истертый ореол.

Тишина объяла дорогу, по которой иду неспешно. Люблю это время суток. Ни ты никому не нужен, никто в тебе не нуждается. Каждый в своем мирке, в своей скорлупе. Ну а если я кому и нужен? Что с меня взять? Те поганые рубли, которые я выручил от продажи двух картин? Ну сколько дней они меня прокормят? Пару недель? Может быть и больше. А покупатель кто?

В памяти прочно запечатлелась недавняя картина. Они вышли из «Мерседеса». Вразвалочку прошли мимо картин, упитанные, самодовольные, в длинных тонких, как шелк, кожаных плащах, с поломанными ушами. Разгоняя дым от сигарет взмахом руки, они бросали небрежные взгляды на живописные полотна художников и смеялись, переговариваясь между собой. А ведь работы были превосходные. Проходя мимо моих картин, один из них застыл, потом подозвал другого и небрежно выбросил вперед руку с дымящейся сигаретой:

– Брат, как тебе эта штука?

У меня в основном полотна пейзажные, пишу суровые горы, в которых провел много лет, а недавно черт попутал, сменил жанр. Решил показать капитализм и социализм в виде двух стоящих друг против друга боксеров в ожидании начала боя. Я внутренне чувствовал, что картина удалась. Мускулистые тела, напряженная стойка, вздутые бицепсы, мощные шеи, выставленные вперед перчатки, взгляды...

Это полотно и обратило внимание «поклонника» искусства.

– Что молчишь, брат? Не нравится? Фуфло?

– Мощно, – медленно произнес другой, словно проглатывая впечатление от картины. – Мощные бок-

серы... братан. Как точно он сумел, а? Как живые, вот-вот начнут колотить друг друга...

– Берем твоих боксеров, мастер. Сколько ты за них хочешь? – спросил первый, опуская руку в карман.

– Да не боксеры они, – засмеялся я. – Я показываю противостояние двух систем – капиталистической и социалистической...

– Что?.. – протянул он удивленно. – Две системы? Социалистическая уже лопнула. Тьфу... Нет ее. А боксеры есть, вот они. Говори, сколько?

Я назвал сумму. Он усмехнулся – видать, я продешевил, протянул мне несколько новеньких тысячерублевых купюр, снял бережно картину с гвоздя и оба вразвалочку пошли к «Мерседесу».

Я иду по ночной улице, залитой желточным светом, и только сейчас, вспоминая наш торг, вернее оценивая свою работу, начинаю критиковать себя: «Ну какой же я дурень, ах, какой дурень, даже покупатель, этот мнимый любитель искусства, надо мной в душе посмеялся. Точно, посмеялся. Я видел его ухмылку. Назвал бы втрое выше той цены, что сорвалась с губ – непременно дал бы. Он давно уже рыночник, рыночник, а я в экономике профан...»

Улица, застроенная многоэтажными каменными домами, тянется ровной длинной линией. На ней нет ни бутиков, ни лавочек, ни автотюнингов. Это тихий, чистый спальный район, как принято сегодня называть такие кварталы. Наконец замечаю два больших здания, отчужденных друг от друга, словно поссорившихся. В проеме между ними, в глубине, или точнее за ними, стоит и моя хижина. Маленькая. Картинная.

Вдруг на меня осторожно, мягко ложится тень: кладет на плечи лапы и, тыкаясь мордой в мое лицо, облизывает теплым языком. Я с трудом протискиваю между тенью и своим лицом руки и с силой отталкиваю ее от себя.

– Довольно, довольно, обслюнявил, тьфу...

Это мой пес по прозвищу Черный. Кавказская овчарка. Он мягко спрыгивает на передние лапы и идет рядом, притираясь то к моей правой ноге, то к левой. Большой тяжелый зверь, а годков-то всего около двух.

Он появился у меня, когда я начал строительство своей хижины. В строительном хламе заприметил как-то пухленького крепкого щенка цвета ночи с белым кольцом шерсти вокруг шеи, искупал холодной водой из шланга, обтер полотенцем, покормил и положил спать рядом с собой, под одеялом. Он поскулил недолго, уткнулся мордочкой мне в бок и уснул. Было лето и спал я в ту пору во временном сарае.

А хижину принялся строить по необходимости. Жизнь заставляла иметь свою крышу над головой. Свой угол.

Вообще-то квартира у меня была. И считался я не последним человеком среди известных да уважаемых людей. Но годы, проведенные на чужбине, среди неуютных гор, оставили меня за бортом произошедших перемен. Высокопарное получается объяснение, не правда ли? Ну не было меня здесь много лет, а тут кипели страсти: поломали систему, разогнали деловых людей, практиков, более шустрые прохиндеи купили заводы, фабрики, разорили их, продали землю, на которой они располагались, обогатились, стали называться олигархами...

Приезжаю, спустя долгое отсутствие, в свой город – а из бывших знакомых, с кем имел удовольствие трудиться, с кем общался – почти никого. Квартиру заняли незнакомые люди. Обращаюсь к чиновникам – они меня не знают, я – их. И кто докажет, что я – это я, тот журналист, который работал в главной, ведущей газете? Везде и всюду другие люди... А в архивах творилось невообразимое...

Пришлось обратиться к мэру города. В свое время я часто встречался с ним по работе. Вот он и выделил мне кусочек земли от участка, на котором планировали строить детский спортивный городок, да помог получить паспорт.

А на строительство хижины у меня деньги были: спасибо моему благодетелю Мирзо-бобо. Да к тому времени написал и издал книгу, которая называлась «Брат мой пуштун, или Афганский излом». Распродал тираж быстро. Золотого песка и вырученных денег едва хватило на стройматериалы. Спасибо ребятам-соседям, которых я обрел здесь. Их помощь дала возможность построить хижину и довольно быстро.

Получив документы на землю, я пришел на свой участок, сел на бревно, валявшееся рядом с кучей хлама, и загляделся. Загляделся на синее море, которое смотрело на меня как в окно между двумя большими домами. «Будет красиво встречать рассвет с балкона на мансарде», – подумал я, будто решил строить дом с мансардой.

– Бомжуешь, что ли? – прервал мои мысли низкий грудной голос.

Передо мной стоял крепко сбитый русоволосый голубоглазый мужчина.

– И что же? – коротко бросил я.

– Хочу помочь.

– Чем?

– Накормлю. Место дам на ночлег.

– Ночлегом я обеспечен.

– Где же?

– Да вот здесь. – Я похлопал по дереву, на котором сидел – это моя земля.

Мужчина сделал круглые глаза:

– Твоя земля? Ты кто, олигарх, небось? Она, эта земля, больших денег стоит.

– А я долг получил. Вот и бумаги.

Мужчина пробежался глазами по бумагам и вернул:

– Чудеса. Можно ли сегодня верить в чудеса?

– Наверное, можно, – сказал я. – Не перевелись еще добрые маги.

Мужчина присел рядом. Достал из кармана мобильный телефон, по клавишам побежали грубые пальцы. Вскоре из подъезда большого дома вышли

двое мужчин: один шел размашисто, вразвалку, у другого осанка была стройная, на вид крепок.

– Знакомьтесь, – сказал сидевший рядом со мной. – Вот этот развалистый – строитель, мастеровой отменный, звать его Рамазан, для нас он Рома, а строевик-спецназовец, тоже мастер на все руки и ноги, зовут Тима, для нас Чон, я – шофер, у меня свой КамАЗ, зовут меня Савелий, а для всех Сава. Это наша братва.

– Ну а я Аслан.

– А для нас Ася, – сказал Сава.

Все громко рассмеялись.

Так я обрел новых друзей.

На следующий день с моего участка исчезла мусорная свалка. Ее увезли в мое отсутствие. А спустя три дня здесь были свалены бетонные блоки для фундамента, гора кирпича, бревна и доски, песок и мешки с цементом... все, что нужно было для строительства и в пределах той суммы, которая у меня была.

Я рассчитывал только на нее, больше у меня не было ни рубля. А потому блоки были уже использованные и бревна, и доски использованные, но в хорошем состоянии.

И проект был мой.

Дом должен был быть одноэтажный, на высоком цоколе и с крыльцом, нижняя половина стен – кирпичная, верхняя – с мансардой и балконом – деревянная. Дом состоял из маленькой прихожей, гостиной вместе с кухней и ванной комнаты с санузлом. В мансарде спальня с балконом в сторону моря и мастерская с окном на дворы.

Спустя два месяца жители соседних домов дивились сказочной хижине: это они ее так называли. Казалось, ничем и не выделялась среди десятиэтажных строений: стояла как шкатулка – цоколь и кирпич были желтого цвета, дерево – терракотового, черепица – цвета аквамарин. И на оставшемся клочке земли ребята соорудили беседку и окружили ее несколькими фруктовыми деревьями – абрикосовым, яблоневым,

сливовым, вишневым, а вдоль дощатого забора высадили виноградные чубуки.

Спустя полгода Сава привез машину битого кирпича, мы понанесли ракушечника, благо, он был рядом, на берегу, и обновили забор, придав ему сказочный декор.

Вот и наша хижина. Черный стремглав бросается к ней. Я отпираю калитку, затем запираю и направляюсь к крыльцу. До него десять шагов. Включаю свет. Желтый, точнее сказать желтушный, он лениво, нехотя рассеивает тьму: у нас вечный дефицит электроэнергии. Пройдя из прихожей в гостиную по лестнице, что слева от двери, поднимаюсь в мансарду, опускаю картину в подрамнике на пол (она сегодня не нашла покупателя), сбрасываю одежду, облачаюсь в шорты и футболку и спускаюсь готовить ужин себе и Черному.

Работа в кухне для меня не обуза. Ем немного, но люблю, чтобы это «немного» было вкусным. А любимая еда Черного – кости, кости и еще раз кости. Да супы, он их обожает.

Наконец, я освобождаюсь от всех дневных забот, выпускаю Черного во двор – там у него свой дом – конура, поднимаюсь в свою спаленку, открываю дверь на балкон и приятно растягиваюсь на тахте.

И пускаюсь в воспоминания.

Не раз слышу, что одним воспоминания доставляют радость, другим – тоску, то есть, как сами признаются, ностальгируют. Для меня воспоминания – перелистывание страниц книги жизни.

Мой взгляд устремлен на потолок. На карнизе чувствую какое-то смутное движение. Неясное пятнышко шевелится, движется, замирает... Чем-то напоминает скорпиона. Но откуда ему здесь взяться? Вокруг чисто, ни свалок, ни мусора, никакого строительства. Ни сырости. А он дразнится.

Я опускаю руку, беру с пола тапочек и резко, сильно бросаю в сторону карниза. Пятно исчезает, но не проходит и минуты, как оно снова появляется и принимается шалить конечностями и дразниться.

Я бросаю другой тапочек. И... снова скорпион исчезает, но вновь появляется.

Много лет эти твари бегали по потолку сакли там, где я жил, подползали ко мне, влезали в постель, я уже подружился даже с ними и они ни разу не укусили, не ужалили меня. Эти существа, наводящие страх и ужас... Но разве скорпион скорпиона жалит? Никогда над этим не задумывался, да и не слышал о таком случае. Герой Киплинга, помнится, говорил в повести «Маугли»: «Мы с тобой одной крови... Братья, значит?». Но в его сказке был зверь, а тут... тварь...

3

Сон

– Букина-Фасо... Что это за хрень такая?

Не крик, а визг останавливает меня у дверей. Рука замирает на бронзовой дверной ручке, изображающую пасть льва.

– Не Букина, а Буркина-Фасо. Государство в Африке такое.

– А на кой черт туда его посылать, и что там для нас интересного? Опыт какой перенимать?

– Война там между племенами. Гибнут женщины, дети, старики. Горячая точка...

Это голоса главного редактора и ответственного секретаря газеты.

Наступает пауза.

Отойти от дверей? Или еще подслушать? О ком и о чем речь? Ответственный секретарь, первый приближенный и опора главного редактора, большой любитель всяких выдумок и интриг. Я не успеваю снять руку с дверной ручки, как опять слышу голос главного редактора:

– А почему именно в Буркина-Фасо?

– Да черт его знает, не я выбираю... Может, в Анголу, может в Эфиопию. И там, и там убивают друг друга.

– Но почему его выбрали? Он что, лучше всех? – вопрос задает хитро, вкрадчиво. Человек он сам по натуре хитрый, да и завистью не обделен.

– Да у него опыт-то – о-го-го. И в партаппарате работал. В политике – как рыба в воде. Пишет... добротно. Ничего плохого не могу сказать. Язык ясный, чистый, если критикует – бьет хлестко.

– Тоже мне, русский нашелся... Ты это брось.

– И Чингиз Айтматов прекрасно на русском пишет.

Тишина. И опять визг:

– Ты что мне этим киргизом тыкаешь?..

– Да вы не нервничайте так... Ну его к бесам.

– Опыт у него большой, пишет хорошо, – передразнивает главный, – будто кроме него никто не писал и не пишет...

– Да что вы нервничаете, вон у вас сколько книжек очерков вышло в свет, вас в любом районе знают. И читают.

И снова пауза.

– А вам хочется, чтобы вас послали?

– Куда это «послали»?

Голос вкрадчивый, хитрый.

– Ну не послали, а включили в состав делегации? А вдруг шальная пуля? Взрывная волна? Вам это надо?

И снова наступает тишина. О ком же они говорят?.. Хорошо, что никто не проходит по коридору – сраму не оберешься: тут же разнесут по всей редакции, что заместитель главного редактора подслушивает... И все-таки, о ком же говорят?.. Подожди-ка, не обо мне ли?

– Я еще не забыл, как он меня в своей повестушке белым аистом обозвал. Так я тебе не говорил разве, что в обком ходил жаловаться на него? К своему другу Андриану.

– Ну... – удивленно произносит ответсекретарь.

– Он оставил книгу у себя. Ознакомиться. Почитать. А при встрече посмеялся надо мной. Ты решил, говорит, в суд подать на автора, но в повести ни име-

ни, ни фамилии твоей нет, ни названия газеты, ни города. На чем строятся твои обвинения? В суде скажут тебе: «На воре и шапка горит?». А еще русак, эх, брат, ума не набрался.

В голосе – обида.

– Андриан же прав. У автора герой-то в очках, смуглый, с густой шевелюрой и зовут его Каптар...

– Слова-то мои, все слова и речь моя. И казацкие поговорки...

– Просто вы послужили для него прототипом. Получился яркий, запоминающийся образ.

Я вспоминаю, как Андриан Николаевич при встрече рассказывал мне о визите моего редактора к нему и хохотал до слез. А книгу ему вовсе не вернул: читал и перечитывал и на работе с сослуживцами, и дома, в семье.

– Откуда у него эти способности, ну никак не могу понять: сказать от Бога – нет, он не верует в него, материалист чертовый, где-то, что-то, у кого-то копирует – тоже нет, у него свой, как ты выражаешься, стиль, свое перо, своя манера изложения...

Слышен сильный хлопок ладонью по столу:

– Это генетическое.

– Без тебя знаю. Теперь по существу – откуда информация? От кого?

– Обижаете. От верного человека. Вот в какую страну – точно не знает.

– Да-а-а, – многозначительно тянет редактор короткое слово словно резину.

– А вам это надо? Гляди, еще самолет угонят или шальная пуля там того... Или похитят.

– А кто тебе говорит, что я хочу?

– Да видно по вам. Да и кого, как не вас включать в состав делегации – и авторитет, и войну прошли, и видный собой...

– Да прекрати трезвонить... Передохнем немного без него. Если позвонят – передам указания руководства.

– Могут вам и не перезвонить. Непосредственно ему самому.

Пауза.

– Мешать-то он нам не мешает. Чего это мы с тобой так обозлились? Пусть едет: если что и случится – мы за него не в ответе. А мне это Буркина-Фасо или что там еще по фигу.

– И то верно.

Я быстро направляюсь к себе в кабинет: ничего не слышал, ничего не знаю.

4

Мягкий толчок в спину, но ощутимый. Я приподнимаюсь в постели, открываю глаза.

В открытую дверь смотрит солнце. Оно уже поднялось над крышей многоэтажного дома.

Выхожу на балкон. Голубая гладь моря искрится и переливается цветами радуги.

Черный «Лэнд Крузер» останавливается у забора моей хижины. Двери открываются с двух сторон. Первым выходит бритоголовый молодой мужчина, успевший обзавестись брюшком, затем двое крутых. То, что крутые, по всему видать: их резко отличает походка, взгляд. А особенно лицо: довольно туповатое оно у них. Бритоголовый удивленно охватывает взглядом забор, хижину, потом поднимает голову и резко произносит:

– Чей дом?

– Мой, – отвечаю.

– Кто разрешил?

– Что разрешил?

– Строить.

–Я показываю указательным пальцем правой руки вверх.

– Это что значит?

Я поднимаю палец выше.

– Ты хочешь сказать Аллах? Дурной, что ли? Аллах таких, как ты, не признает.

– Послушай, уважаемый, перестань тыкать. Ты на двадцать лет моложе меня, а не научился себя вести как богопослушный мусульманин. Ты где воспитывался, в подворотнях, очевидно?

Бритоголовый словно немеет. Он медленно приходит в себя.

– Тебе кто разрешил строить здесь?

– Видать, ты неисправимый невежда, – и я опять поднимаю вверх палец.

– Но что это значит, твой палец, – чуть не кричит бритоголовый.

– Сейчас спущусь и объясню.

Я выхожу из калитки, рядом со мной медленно, словно нехотя, вразвалочку идет Черный.

– Так кто разрешил строить на моей земле? – с ехидцей на лице спрашивает бритоголовый, одновременно поглядывая на собаку.

Краем глаза замечаю, как подходит Сава.

Я снова поднимаю палец вверх:

– Неужели ты такой несообразительный?

Хочу сказать – тупой, но вовремя ориентируюсь: как бы не взорвался.

Но он в самом деле взрывается и орет:

– Кто такой, черт бы его побрал, он?

– Мэр города.

Бритоголовый замолкает, осмысливает услышанное. Что у него в эти минуты происходит в черепной коробке и в грудной клетке – не мне знать, но догадываюсь.

Бритоголовый поворачивается к одному из братков – те уже давно стоят у него за спиной:

– Принеси быстро бумаги. Все документы. Все.

Тот устремляется к машине и возвращается с красивой кожаной папкой в руке. Бритоголовый достает бумаги:

– Смотри. Внимательно смотри и запомни – вот подпись мэра. И здесь подпись мэра...

Он перелистывает одну деловую бумагу за другой, пока я спокойно не произношу:

– Это не подпись мэра.

Бритоголовый замирает. Отдышавшись, хрипло произносит:

– Как не подпись мэра?

– Я тебе сейчас покажу его подпись.

Ухожу в хижину, выношу стопку официальных бумаг на разрешение строительства. Лист за листом показываю ему, держа на расстоянии (в бешенстве, в состоянии аффекта, он может схватить и разорвать).

– Вот подпись мэра. Гляди внимательно и запомни – вот и вот, и вот...

Кажется, бритоголовый лишается дара речи.

– Большие деньги дал? – спрашиваю, складывая бумаги.

– Не твое дело, – огрызается он.

– Опять на ты? – я гляжу на него в упор. – Паршивого сына воспитал твой отец.

– Что-о-о-о? – скалится бритоголовый.

И в этот момент слышится сдержанный рык Черного.

Бритоголовый бросает взгляд на собаку. Потом произносит:

– Я заплачу за дом. Сколько попросишь... Просите – дам любую сумму, любые деньги. Мне этот участок очень нужен. Очень.

– А мне деньги не нужны.

– Как это деньги не нужны... Без денег сегодня человек никто. И ничто. Его ни в какое общество не принимают. Его просто не уважают. Не признают.

– Такие, как ты, – прерываю его.

– Любую сумму назови... назовите – через час привезу.

– Мне кроме этой хижины ничего не надо.

Бритоголовый надолго замолкает.

Потом медленно произносит:

– Денег ему не нужно. Кому нужен безденежный человек? Какáя от него польза? Хижина ему нужна. Бульдозер за пять минут его снесет и сравняет с землей. Или огонь сожрет и оставит пепел, тем более деревянный сопливый дом. Мэром хвалится, подпись мэра на бумагах, да куда тебе до мэра? Где мэр, а где ты...

– Подожди-ка минутку...

Я ухожу в хижину, оставляю деловые бумаги и выхожу с мобильным телефоном. Набираю номер мэ-

ра и после приветствия, а я чувствую, что он в хорошем настроении, передаю в коротком изложении весь наш разговор с бритоголовым, даже называю фамилию, которую успел прочитать в его деловых бумагах. Выслушав меня, после недолгой паузы мэр спокойно произносит:

– Передай ему трубку.

– Держи, не урони, у меня денег на новый нет, – говорю бритоголовому, протягивая телефон.

Он прижимает его к уху. И услышав голос, моментально замирает. Разговор длится недолго, лицо его меняется несколько раз и с губ срываются короткие хриплые слова:

– Понял... уяснил... никогда... ясно... ясно...

Затем, не глядя на меня, протягивает телефон, и как человек, только что вышедший из бурного горного потока, шаткой походкой идет к «Ленд Крузеру». Братки, удивленно поглядывая друг на друга, садятся в машину и она бесшумно удаляется.

– Что это было? – спрашивает Сава, все это время не произнесший ни слова.

– Что именно?

– Да все!

– Ну, наверное, своего рода, попытка рейдерского захвата.

– Да ты что? – глаза его округляются.

– Метили, видать, на весь участок.

– И на детский городок?

– Так я же говорю. И бумаги все готовы. Но вот подписи не те. Подпись мэра я знаю.

– Так ты на самом деле с ним говорил? – удивлению Савы нет предела. – С самим мэром? И это он держал навытяжку несчастного? Ну, брат, я не знал, я и подумать не мог, что у тебя такая сила... Слов нет, брат. На моих глазах происходит такое... Расскажи кому – не поверит. Не знаю даже, что сказать. Слов нет.

– А ты не говори, – улыбаюсь я.

– Но как ты мог вот так запросто позвонить мэру, и он тебя выслушал, поверил и остудил подлеца?

– Сава, братишка, долги принято возвращать. Есть такой неписаный закон. Многие сегодня наплевали на этот закон. Но остались еще те, кто соблюдают. Единицы их, но есть. Тебе, Сава, сделали добро, ты должен тем же ответить.

– И ты был уверен, что он вернет?

– Он не мог не вернуть. Да и потом... Сава, ты здравый мужик, а несмышленый. Бумаги бритоголового исходили из администрации. Но они обошли мэра. Усекаешь, что значит обойти мэра?

Сава долго думает и вдруг заливается смехом.

5

Вылезаю, согнувшись в три погибели, из маршрутного такси, распрямляю спину, вдыхаю глубоко воздух, чего не мог сделать в набитом до отказа тесном салоне, перехожу улицу – и я на бирже труда. Так называют в городе этот раздувающийся, или, иначе говоря, расширяющийся бывший пятачок у стен большого торгового центра. Здесь каждый день с раннего утра собираются мужчины в поисках работы, точнее в ожидании работодателя. Это и каменщики, и плотники, плиточники, слесари, сварщики, штукатуры, маляры и предлагающие иные услуги: экономки, няньки, кухарки... И профессионалы, и просто умельцы. Новое время выбросило их на улицу.

Лет тридцать назад в городе работали десяток заводов и фабрик. Рано утром они шли на работу как на праздник, и с работы домой как с праздника. По заводским гудкам определяли время дня. Только на одном машиностроительном заводе работали около десяти тысяч человек. Продукция другого завода – Сепараторов, была лучшей не только в Союзе, но и соперничала со шведской. Славились приборостроительный завод, ткацкая фабрика, но пришли другие люди, которые утомились от социализма, а это была смышленая и ушлая братва, она приватизировала предприятия, распродала все имущество, затем и саму территорию. Нажилась, разжилась, а народ пошел в челночный бизнес, который недолго просуществовал.

Вот этот народ и толпился на так называемой «бирже труда», провожая взглядом каждого прохожего: а вдруг предложит работу. Ну хоть какую...

Я присаживаюсь на облюбованный кирпич, лежащий у стены торгового дома (его никто не трогает, зная, что он «мой»), достаю из полотняной сумки карандаши, альбом, располагаюсь удобно и принимаюсь за работу.

Пишу портрет мужчины. Он сидит на бордюре, не обращая внимания ни на проносящиеся мимо машины, ни на людей, его, мне кажется, ничто уже не радует, в душе пустота, отчаяние... Нет, я тут не прав, разве в пустоте может быть отчаяние? Пустота на то и пустота, что в ней ничего нет.

– Брат, повернись ко мне лицом, – громко прошу я его, перекрывая шум машин.

Он не возражает.

Он видит и знает, что я несколько дней рисую его портрет.

Типаж он колоритный. Мне именно такие нужны для задуманного полотна «Биржа труда».

Время бежит незаметно.

Солнце уже в зените.

Наконец, он встает, разминает ноги, подходит и осторожно, несмело рассматривает рисунок. Долго молчит. Наконец, удивленно произносит:

– Это я?

– А как ты думаешь? Я полдня не свожу глаз с тебя. Это твоя голова, твои волосы, нос, губы, морщины на лбу, на лице.

– Это просто... – он не может подобрать слов, чтобы выразить состояние души. – Ты, брат, мастер, большой мастер. А глаза, разве у меня такие глаза?

Наконец, он начинает что-то понимать в искусстве, что меня радует.

– Такие, брат, такие. В них много тоски, ну как тебе объяснить, от неустроенности жизни. Боль души, тоска в твоих глазах...

Тонкий, сладкий запах духов отвлекает меня от разговора. Поднимаю голову. За спиной мужчины

стоит женщина и внимательно, с интересом, разглядывает рисунок.

– Удивительный портрет.

Голос у нее грудной. Медовый, теплый.

– Вы ищете здесь, как я поняла, типажи...

– Угадали. Случайно, не занимаетесь живописью?

– Нет, что вы. Бог обделил меня. Но... люблю искусство. Впрочем, я много что люблю.

«Хорошее начало знакомства», – думаю я и заставляю себя оглядеть ее. В какие-то доли секунды понимаю, что она красива. Даже более, чем красива. Обворожительна? Не знаю. Но более, чем красива. И удивительная аура у нее – она настойчиво притягивает к себе.

– Во сколько оцениваете такую работу? – спрашивает она.

– С вас не возьму ни рубля.

Она смеется. Мне кажется, что кто-то смеется в ее теплой груди.

– А с него?

– Тоже нисколько. Портрет подарю ему. Вы, очевидно, желаете иметь свой портрет?

– Пока нет. Боюсь...

Она не договаривает.

– Что-то увидеть в своих глазах? – спрашиваю я и бросаю мимолетный взгляд на нее. В ее глазах... Нет, не хочу даже думать о том, что я вижу в ее глазах.

– А я пришла нанимать вас на работу, – тон ее становится серьезным.

– В качестве кого, хотел бы я знать.

– Мне нужен крепкий мужчина, который может перетаскать мебель.

– Что-что, а вот мебель я еще не перетаскивал, – смеюсь я. – Такого удовольствия не испытывал.

– Но что-то таскали? Таскали же?

– Простите, вы по-моему с кем-то меня путаете.

– Я хорошо заплачу.

– Деньги меня не интересуют.

– Ка-а-а-к? – протяжно произносит она. – Не интересуют деньги? Вы что, альтруист? Достигли такого

красивого возраста и не поняли, что деньги – это всё, всё, всё?.. Всему голова?

– Не знаю, что вы вкладываете в понятие «всё», а мне они нужны для трех целей: есть, то есть кушать, одеваться и отдыхать.

– Отдыхать в каком понимании? – тихо смеется она.

– В вашем тоже. А передвигать мебель берите моего брата, то есть героя моего портрета, он мужик крепкий и честный. День, как видите, к вечеру клонится.

Они уходят вдвоем. Пересекают дорогу, подходят к белому «Лексусу». А я-то и не заметил, на чем она подъехала. Впрочем, как я мог заметить занятый работой над портретом?

6

Вечер проводим в беседке. Я выношу из кухни горячий, только что сваренный кофе, керамические кофейные чашечки с блюдцами, сахарницу, ложки, Сава появляется с большим блюдом горячих пирожков, – «с картошкой», – кричит он на ходу. Рома охает и ерзает на плетенном стуле (он огромен, а стул для него мал и скрипит, и стонет), достает из внутреннего кармана рабочей робы бутылку белого вина «Совиньон».

– Рома, брат, где ты видел, чтобы пирожки ели с черным кофе? – меня разбирает смех.

– Ты как провел день? Рисовал, потом отдыхал, а когда отдыхал, ел. А я кирпич клал в высотке, не знаю сколько килограмм подняли мои руки, но сколько штук – в уме считал. У нас перерыва на обед не бывает – хозяин хочет побыстрее продать дом. Устал. И кушать хочу, как собака.

Он разливает «Совиньон» в кофейные чашки, произносит – «будем», и выливает вино в рот. Потом выхватывает из блюда пирожок, отрывает половинку крепкими зубами, не успев прожевать наполняет свою чашку «Совиньоном» и уже медленно потягивает, покачивая от удовольствия головой.

Мы с Савой не отрываем от него глаз.

– Чего уставились, – ухмыляется Рома, – ну голодный я, сказал же вам – голодный, как собака.

– А кофе? Остынет...

– Холодный кофе тоже вкусный, – отвечает он с довольной улыбкой.

– Скажи честно, горячий пирожок запивать вином вкусно? – не унимаюсь я.

– Отстань, друг, – беззлобно отмахивается он, – хотел бы я видеть тебя голодным...

– Как собака, – прерываю я его со смехом.

– А вот и Тима идет. Запах твоего кофе его позвал. Смотри, что-то несет нам.

В руках у Тимы большая чугунная сковорода: он держит ее за длинную ручку.

– Моя любимая теща Шахсенем бакинка. Узнав, что вы жили в Баку, она лично для вас приготовила гутабы.

Слово «узнав» вызывает у меня улыбку. Как же долго он, работник органов, не интересовался соседом, поселившимся у его дома, получившим в такое лихое время лакомое место под небом.

– Промашку дал, Тима, – говорю ему, с удовольствием поедая гутаб: только азербайджанцы могут так вкусно его готовить.

– Не спорю. Впервые озадачился, когда узнал, что мэр отрезал вам кусок земли от будущего спортивного городка. Второй раз – когда мне рассказали, что вы звонили ему. Чтобы он дал кому-либо личный номер – это нонсенс. Если и дает, то только большим людям.

Сава и Рома внимательно слушают, поедая гутабы.

– А вчера мой сын-семиклассник нашел вас в Яндексе. Сначала увидел фотографию, узнал соседа, ну а потом нашел и все остальное.

– Что такое Яндекс? – спрашивает Рома, наливая в чашку «Совиньон», чтобы запить застрявший в горле кусок гутаба.

– Интернет, невежда. Так что наш сосед, живущий в хижине, известный журналист и писатель...

– Цыц, довольно, – обрываю Тиму. – И без того много выложил.

Сава и Рома сидят с открытыми ртами. Первым приходит в себя Сава.

– А какого хрена ты рисуешь, а не пишешь? Картин полная мастерская. И где твоя семья, скажи пожалуйста?

Он, прищурившись, смотрит на меня, ожидая ответа.

– Я путешествовал несколько лет.

– Дадите почитать книгу? – просит Тима.

– Дам.

– О чем он пишет? – Сава чрезмерно удивлен и с вопросом обращается почему-то к Тиме, а не ко мне.

– Он был в Афгане, – говорит Тима.

...Ночью маюсь. Не могу уснуть.

Час ночи. Сна нет.

Два часа. Пытаюсь закрыть глаза. Сна нет.

Не дают уснуть воспоминания об Афгане. Я живу с ними, они стали моим тавро и тем не менее каждый вечер в двенадцать я ложусь в постель, закрываю глаза и через минуту засыпаю.

Я маюсь. Гляжу на белый потолок. Где этот чертов скорпион? Куда он запропастился? Вокруг все бело и тихо. Хотя бы с ним поговорить. «Да что происходит со мной? Как можно говорить со скорпионом», – усмехаюсь я. Какие только глупости ни забивают голову, когда пропадает сон, когда организм должен спать, дать отдых нервам, почкам, сердцу, нет, нет, только не сердцу. Это единственное созданное природой творение, которое должно работать и день, и ночь, не зная отдыха. Ни минуты отдыха. Отдых сердца означает... конец.

Ясность мысли рассеивается. Я вздыхаю и... чувствую, что засыпаю.

7

Сон

– Почему выбор пал на вас? Именно на вас. Вы можете мне объяснить, почему? – В его глазах так и бегают хитрые смешинки.

– Потому что я хороший.

Секретарь обкома партии вдруг удивленно вытягивает губы, хмурится и... внезапно разражается хохотом. Успокоившись, ухмыляется:

– Впрочем, и в те годы ты был ершистым. Слыхивал я. И все-таки, скажи, почему.

(В те годы – когда я работал в обкоме и курировал средства массовой информации, а попросту, газеты, журналы, радио и телевидение).

– Потому что я азиат. То есть, человек восточный.

– Перестань ребячиться.

– Ну, наверное, потому что я умный. Профессионал.

– В огромной стране кроме тебя никого не нашли, на кого можно положиться...

– А почему мною вдруг заинтересовался обком партии, скажите, пожалуйста?

Его кошачьи глаза впиваются в меня, но через мгновение в них снова играют смешинки:

– Партия интересуется всем и всеми, тебе ли не знать этого. Сколько лет ты проработал в обкоме? Десять? Нет, восемь. Неполное среднее партийное образование получил, а задаешь младенческий вопрос. Или хитришь? Хорошего бойца мы вырастили, как считаешь?

– Впрочем, да.

– И не впрочем... Береги себя. Там береги.

– Какая-то загадочная командировка?

– В два часа тебе все расскажут. В терракотовом доме (так мы называли здание КГБ). Ну ершистый, с богом.

– Вы же знаете, я не верующий.

– В таком случае пусть ангел-хранитель тебя бережет. С богом, ах, тьфу, присосалось слово-то.

Он встает, большой, сильный, крепко и долго пожимает мне руку.

Словно не хочет отпускать ее.

В терракотовый дом меня пропускают без лишних слов (моя фамилия записана у дежурного капитана). В просторном кабинете в четыре окна довольно уютно: абсолютно не чувствуется казенщины и строгости, которые присущи подобного рода учреждениям. Хозяин его мне знаком по городу: я довольно часто, если не ежедневно, вижу его. Спокойно идущего на работу, вернее на службу, по аллее центрального проспекта города. Лицо простое, ничем не выдающееся, такое лицо присуще учителям, много десятков лет проработавшим в школе и полюбившим детей.

– Вы уже в курсе дела?

Он как-то мягко, по-отечески смотрит на меня.

– Но почему я? Правда, все это интересно, неожиданно интересно, заманчиво, даже сказал бы, почетно, но никак не уразумею – почему... Из тысяч журналистов почему я?

Он улыбается. Улыбка у него мягкая, отеческая.

– Потому, что мы вас знаем. Хорошо. Даже очень хорошо.

– Мы?

Я произношу это слово с особой, подчеркнутой интонацией.

– Да, мы (он понимает меня и тоже подчеркивает, в голосе появляется твердость, а в глазах – лукавые смешинки). – Вы владеет нужными в нашем случае языками – фарси, тюркским и английским. Посещали не раз зарубежные страны, притом самые, как бы сказать, цивилизованные, точнее – цивильные. Выступали в газетах, журналах – делились впечатлениями о поездках, отношением к миру капитала... Написали книгу, которая быстро исчезла с прилавков... Мы ведь все это знаем, вы понимаете нас, нашу работу... Между прочим, как бы вы ни обличали тот мир, между строк можно понять ваше пристрастие...

– Я вас понял, простите, что перебиваю, но их культуру, поклонение любовным утехам, удовольствиям жизни грешно опорочить. Грешно и бесчестно. Это их образ жизни.

– Потому и не вырезали из текстов. Рецензенты наши тоже кое-что соображают.

– Великое им спасибо. И особенно Чехову. Мне кажется, это все-таки псевдоним, а не подлинная фамилия рецензента.

Он широко улыбается.

– Вы человек умный. Так вот, я думаю, наш выбор удачен. Я надеюсь...

Мне нравится его лицо. И его взгляд. Эта работа не ужесточила его, а наоборот помогла лучше, глубже понять человека.

– И давно я у вас на учете?

– Помилуйте, о каком учете вы говорите. Мы вас давненько знаем и, – он держит паузу, – уважаем.

– Однако же. И что же послужило поводом?

– Вспомните свой круиз по Балтике на теплоходе «Надежда Крупская». Пассажиры со всех концов страны... Ну как? Вспоминаете?

– Да у меня все в голове, то есть в памяти, как на кинопленке.

– На палубе к вам подходит молодой человек и просит «поработать» со своими ребятами, то бишь группой из Дагестана...

– Это был красивый, статный такой парень, секретарь московского горкома комсомола, если не ошибаюсь, Мишин.

– И что вы ему ответили?

– Тактично и вежливо. Я купил турпутевку за полную стоимость, еду отдохнуть и познать кусочек мира, а тебя командировали – вот и отрабатывай свою командировку. И это он изложил в своем отчете вам? А он не сообщил, как провалился ваш соглядатай? Денно и нощно он ходил с фотоаппаратом на шее у дверей наших кают, пока я однажды не шепнул ему на ухо: «Голубчик, тебя уже все раскусили. Не позорь свою контору и себя». Думаете, что-то ответил? Ни слова. Но исчез. Слинял.

Он тихо смеется.

– Вот так партийный работник отчитал нашего человека.

– Да он же был совсем зеленый. А я, кстати, журналист, профессиональный журналист, а партийную работу изучал для себя, чтобы не быть дураком в этой жизни.

Он смотрит мне прямо в глаза не отрываясь и ни разу не моргнув.

– Ну и...

– Совершенно не жалею. По крайней мере меня околпачить, одурачить вряд ли возможно.

Он придвигает ко мне конверт.

– В нем номера телефонов, адреса, фамилии нужных вам людей в Москве. В Союзе журналистов на Суворовском бульваре вас познакомят с коллегами, членами вашей группы, то есть, журналистской делегации, с которыми придется некоторое время жить и работать: это итальянец, француз и англичанин, известные репортеры, аккредитованные в Москве. Живут у нас довольно долго. Говорят, что им нравится в Союзе. Говорят... Работают умело, тонко. Но... мы думаем, вы человек тертый и ершистый, – он тихо смеется, очевидно, произнося слово «ершистый», и откуда оно у него, не от них ли услышано, от товарищей из партийного дома? – Ведите себя с ними по свойски и будьте аккуратны в выражениях и высказываниях.

– А вам не забыли сообщить, что я страшный матерщинник?

Он удивленно смотрит на меня и внезапно оба, словно сговорившись, заливаемся безудержным смехом.

8

И все же скорпион наносит удар. Не смертельно, конечно. Но своим жалом причиняет мне боль. Эта боль – воспоминания.

Но разве воспоминания болезненны? Не целительны ли они? Не отрезвляют ли нас, напыщенных, самодовольных? Не помогают ли увидеть в зеркале на своем лице пороки? Иначе как мы узнаем, что грехи бывают и сладостны, и отвратительно безобразны?

Скорпион – мой барометр?

Или мой гуру?

Почему мне не является мой ангел-хранитель, женщина с суровым лицом и холодным взглядом? Ведь являлась она там, в суровых горах, когда мне было одиноко, когда я был забыт всеми на свете, даже самим светом, заточенный в холодную саклю. Являлась молча, глядела на меня, прочитав мои мысли, взгляд у нее становился теплей, на губы ложилась улыбка, а потом... а потом разговаривала со мной, увещевала, давала советы. Я не видел, чтобы ее губы шевелились, но я слышал слова в своем сердце. Слышал. И слушался ее.

А потом и сакля открылась. И свет хлынул в нее. И люди открыли мне душу свою.

Почему-то молчит мой ангел-хранитель. Закрываю глаза, отправляюсь к ней в ночь, в бездонную пустоту, мысленно, разговариваю с ней – тоже мысленно, прошу совета, участия, а она молчит, правда, смотрит на меня теплыми глазами, губы еле заметно улыбаются, а слов нет, не слышит их мое сердце. Может быть, она считает, что все у меня обстоит хорошо, относительно хорошо. Но относительно чего?

А скорпион?.. Скорпион мне является как напоминание о прошедшем, дабы не истерлось оно в памяти, как целительный отрезвляющий укол? Вернее, целительная, отрезвляющая инъекция?

Мысли... Мысли... Мысли... Поток мыслей, будоражащих душу, не позволяющих уснуть, успокоиться...

Я достаю из сумки портрет, написанный карандашом.

– Брат, забирай свой портрет.

Мужчина поворачивается ко мне, желая удостовериться, к нему ли я обращаюсь, потом встает с бордюра и медленно подходит.

–Забирай. На память от меня.

Он бережно берет из моих рук портрет и долго вглядывается в него. Точнее – в себя.

Потом медленно произносит:

– Я не могу его взять бесплатно. Это же твой труд.

– За подарок не платят, брат. К тому же ты позировал. Ну все. Эту тему мы закрываем. Теперь расскажи-ка, что ты передвигал в доме госпожи?..

– Какой госпожи? – удивленно смотрит он на меня, – А-а-а, той женщины? Мебель передвигал. У нее свой дом, трехэтажный. На первом – магазин мужской и женской одежды. Второй и третий – жилые. Вот и переносил мебель с одного на другой.

– С ней, что ли?

– Красавица и рукой не притронулась ни к чему. С рабочим из магазина.

– Заплатила?

– Ничего плохого не скажу: и заплатила щедро, и накормила вкусным обедом. Целый день ведь работали.

У фонарного столба трое крепко сложенных мужчин что-то резко, грубо говорят, буквально втолковывают четвертому – ему на вид года двадцать два. Наконец, эти трое, недовольные разговором, быстро уходят, молодой оседает и растягивается на асфальте. Я подбегаю к нему. Нас окружает толпа мужчин. Беру его руку за запястье: пульс пробивается очень слабо. Опускаю голову ему на грудь, прислушиваюсь к сердцу...

– Скорую, вызывайте «скорую помощь», – кричу в толпу, открываю парню рот – приходится приложить немалое усилие – делаю ему искусственное дыхание рот в рот. Вдыхаю и двумя ладонями нажимаю на грудную клетку. Вдавливаю – вдыхаю, вдавливаю – вдыхаю. Словно компрессор. Компрессору-то легко, качать – его непосредственная работа. Но я-то не компрессор. Я весь взмок. И от напряжения, и от усталости. К тому же ответственность за человека какова – я ведь не доктор.

– Открывает глаза, – шепчут мужчины, – эх, закрыл, открыл, открыл...

– Мужики, отойдите подальше, дайте ему дышать, ему воздух нужен.

Слышен тревожный клаксон «скорой помощи». Толпа нехотя расступается, к парню пробираются мужчина и девушка в белых халатах. Я уступаю им свое место и устало сажусь на бордюр.

– Что с ним? – спрашивает врач, не глядя ни на кого.

– Не знаем, – раздаются голоса из толпы. – Он знает, – указывают рукой на меня.

– Что с ним, – повторяет вопрос врач, уже обращаясь ко мне и роясь в своем чемоданчике.

– Не знаю. Может, сердечная недостаточность, – говорю, не глядя ни на кого.

– Вы врач?

– Нет.

– А почему так думаете?

– Вы врач. Вот и узнайте.

– Что вы ему сделали?

– Искусственное дыхание.

Врач слушает парня, потом что-то говорит медсестре, она набирает в шприц раствор (какой – не знаю), я поднимаюсь и отправляюсь на свое место.

Наконец, толпа рассеивается, врач подходит ко мне:

– Благодарю вас. Вы вовремя помогли ему. Откуда у вас познания в области медицины? Тем более – в кардиологии?

– Друзей много в этой области.

– Хорошее содружество – живопись и медицина.

Узнал от мужиков, догадываюсь, мой род занятий.

– Ехать в больницу отказался. Вы уж приглядите за ним.

Заливаясь жалостливым стоном, машина «скорой помощи» уезжает.

Подходит парень. Вид у него бледный. Болезненный.

– Спасибо вам большое, – произносит он и присаживается рядом.

– Что ж ты отказался ехать в больницу?

– Я знаю свою болезнь, – он замолчал, потом продолжил, – сердечная недостаточность.

– Это я сразу понял. Да еще те трое потрепали нервы... Так?

– Вы разве видели их? – спрашивает он осторожно.

– А чего ж не видеть. Глаз у меня острый.

Наступает пауза. Томительная. Нарушает ее парень:

– Если вас попрошу довезти меня до дому... Я могу обратиться к любому, но вы ведь спасли меня... – он нервничает.

Парень располагает к себе: безусловно, у него положительная аура. И внешность заметная: чистое, честное лицо, белокожий, черноволосый, глаза крупные, чуть раскосые, синие, словно два озера... Может же наградить природа, когда захочет. Вокруг все небритые, некоторые и бородатые, такая сегодня мода пошла, на мужественность намекает, словно обилие волос на лице добавляет мужества, какая глупость... А этот... Ну прямо эталон чистоты и красоты...

– Пойдем, возьмем такси, – прерываю я сам себя.

– Моя машина недалеко стоит.

«Моя машина, – повторяю мысленно его слова. Студент имеет свою машину – это уже о чем-то говорит».

Мы подходим к белому «Лексусу». «Белый «Лексус», белый «Лексус», повторяю я, перефразируя слова некогда принятой на ура песни о «Черном «Бумере». – Да мало ли у кого есть белый «Лексус».

– Садитесь за руль. Я не смогу вести машину. Боюсь... Я подскажу дорогу...

Медленно двигаемся в потоке машин. Не чувствуешь, что сидишь в машине, если не брать во внимание, что ты находишься в салоне автомобиля: уютно, прохладно, не ощущаешь ни тряски, ни урчания двигателя. Ну, класс, да и только. «Лексус» есть «Лексус».

Останавливаюсь у трехэтажного дома.

– Прибыли? – спрашиваю, поворачиваясь к парню. Вид у него неважный. – Тебе бы к морю, подышать часок свежим, чистым воздухом.

– У нас тут за домами озеро. Позже схожу. Поднимемся, пожалуйста, я познакомлю вас с мамой. Иначе она меня изведет...

После долгих уговоров я сдаюсь.

Нижний этаж дома занимает магазин. Входим в небольшой уютный двор, поднимаемся на второй этаж. Парень достает из кармана ключ, открывает тяжелую бронированную дверь:

– Проходите, пожалуйста.

Вхожу в большую, богато обставленную прихожую. Воздух сдобрен то ли ароматом карамели, то ли вкусными духами.

– Мама, я пришел, – громко извещает парень.

В прихожую выходит женщина. Она в тонком длинном халате цвета аквамарин, в домашних туфлях розового цвета, волосы сброшены на плечи...

Легкая улыбка не сходит с моего лица. И белый «Лексус», и трехэтажный дом с магазином на первом этаже словно готовили к этой встрече. Она вглядывается в мое лицо, в мою улыбку, переводит взгляд на мою полотняную сумку и удивленно и протяжно произносит:

– Вы-ы-ы-ы!..

– Ну да, я. Вы же нанимали меня в грузчики.

– В какие грузчики, мама? – спрашивает парень.

Вид у него совершенно растерянный.

– Ты же знаешь, что я ходила на биржу труда. Ну вот, просила этого господина перенести нам мебель. Он отказался. А сегодня пришел...

– Ты не видела, что он не грузчик? Не смогла отличить грузчика от художника? Ужас какой-то. А сегодня он спас меня...

Она обхватывает лицо ладонями:

– Опять они?

– Да, опять.

– Вы присядьте на диван, прошу вас, – она подходит, кладет руки на мои плечи и заставляет опуститься. – Не уходите, очень прошу, мы сейчас вернемся, – она с сыном уходит, дверь плотно не закрывается и я слышу весь их разговор. Значит, те трое мужчин были рэкетиры? Давили на мальчика?

Не хотел бы я быть на месте хозяев этого дома. Не потому, что приходится жить в вечном страхе. Совсем нет. Для чего иметь в наше время такое большое хозяйство, которому многие завидуют, которое многим глаза колет?

Наконец, она выходит расстроенная. Вижу, что плакала.

– Пройдите в комнату. Что вы сидите в прихожей?

– Вы посадили, – улыбаюсь я.

– Боже мой, я совсем растерялась... Вам огромное спасибо за сына... С ним такое происходит не часто, но когда нервы... – из ее груди вырывается плач, она умолкает и снова благодарит, уже сквозь слезы.

– Вы поплачьте, это успокоит вас, – говорю я, поднимаясь с дивана.

– Вы бы хоть кофе выпили, – говорит она, а по щеке скатываются слезы.

– Мама варит очень вкусно кофе, – говорит парень, выходя в прихожую.

– Кофе я не пью. Спасибо.

– Ну, чаю заварю, – подхватывает она. – Вы спаситель моего сына. Даже не знаю, чем вас отблагодарить. Ведь не примете ничего.

– Это верно. Я пойду. Мне идти далеко.

– А вы больше не зайдете? Проведать сына, – взгляд у нее умоляющий. – У нас никого не бывает, мы одни с моим мальчиком. Заходите к нам.

– Заходите. Мы будем вас ждать, – слышу голос ее сына.

Я выхожу со двора, оглядываю добротно и со вкусом построенный дом, облицованный белым камнем, освещаемый броской рекламой и направляюсь домой. В свою хижину.

Дойдя до многоэтажных зданий, глядящих в ночной мир желтыми, как яичный желток, очами, спускаюсь к морю и сажусь на песок, у самой кромки берега, с которым шепчется и целуется вода.

За спиной желтки окон. Передо мной – темный шелк, на котором светятся далекие красные огоньки – это плывут нефтеналивные танкеры и сухогрузы. Надо мной усеянный бесчисленным количеством мигающих бриллиантов воздушный шатер.

Прекрасен мир.

И днем. И ночью.

«Мы одни с моим мальчиком... Кто это сказал? Ах, да, она. Она, понимаешь ли, одна со своим мальчиком. А каково мне, который один с самим собой?! Тоскую? Грущу? Чувствую себя никому не нужным? Лишним в обществе людей? Униженным и оскорбленным? Выпавшим из хурджина зерном? Но оно имеет удивительную способность – прорастать. И дарить радость.

Один с самим собой. Так уж сложилась жизнь. Но и пребывая в одиночестве, я мысленно живу с людьми, общаюсь с ними, творю для людей, дарю им плод своих мыслей и души. Каждая моя картина – это мой ребенок. Каждая хризантема или ломтик красного арбуза на полотне – мой страстный голос, каждый яркий мазок кисти – ритм моего сердца...

Один с самим собой... Да разве же это так и плохо – любить одиночество, жить с одиночеством как с братом, как с сыном? Иначе... Иначе когда ты увидишь такую ночь и такое небо? Миллиарды мигающих хрусталиков-бриллиантов над головой и далеко-далеко в непроглядной тьме невидимого горизонта красные, как капельки крови, огоньки».

Мысли, мысли заливают меня будто переливаются через плотину. Я встаю и медленно иду к себе.

Заперев за собой калитку, я мягко отталкиваю от себя заждавшегося Черного, выношу ему полную тарелку остывшего супа с мясом, принимаю душ и ложусь на любимую тахту.

Дверь на балкон открыта. Пахнет морем. Ох, как остро пахнет морем. Глаза закрываются. Только бы не

появился скорпион и не прыгнул на меня. Быстро открываю глаза. «Старый дурень. Как я его могу увидеть, если не включал в спальне свет? Дурень... Дурень... Дурень...», – шепчу неслышно. Сладкий сон нежно, мягко обнимает меня.

9

Сон

Жесткая, долгая дорога.

Трудно дышать.

В машине жарко, как в печи: ревущий мотор и полуденное июльское солнце раскалили ее броню.

Альдо, Жан-Поль и Джозеф обнажились до шорт: плечи, руки, грудь блестят от пота. На мне – полотняные брюки. Я, в который уже раз, отливаю из канистры воду на платок и прикладываю эту теплую жижу к лицу. Минутное облегчение. Только минутное...

Когда же кончится эта мука: тряска, рев, горячий воздух? Утомленные дорогой, мы еле удерживаемся на жестких сиденьях. Голова гудит, уши забиты воздушными пробками и приходится поминутно делать глотательные движения, чтобы пробить их.

Альдо, Жан-Поль и Джозеф сидят, вытянув ноги, руки бессильно свисают, глаза закрыты. Кто-то неясно – глухо и неразборчиво – напевает. В этой адской печи мелодия походит на вой, тоскливый, жалобный вой страдающего от боли зверя.

– Мама мия...

– Что случилось?.. Вот ис ду ю?.. – голос Джозефа.

Все одновременно подтягивают ноги и открывают глаза.

– Мама мия... – повторяет Альдо успокаивающе. – И вы хотите, чтобы моджахеды примирились с Наджибуллой?

– Кто это мы? – подает голос Жан-Поль.

– Ну какая разница, кто.

– Разница большая, – не соглашается Жан-Поль. – Ну, скажем, Аслан, вот кто.

– Так и скажи. А то привыкли вы, итальянцы, с легкой беспечностью дезинформировать читателей. А в политике вы вообще позволяете себе черт знает что. Приписываете нехарактерные им мысли, других наделяете несвойственными им взглядами... – это опять Джозеф.

– Мама мия, какая глубокая философская мысль, – смеется тихо Альдо.

Устанавливается тишина. Впрочем, какая это тишина, если истошно ревет мотор и под колесами гудит дорога. Просто умолкают голоса. Но не надолго.

– И Аслан хочет, чтобы моджахеды примирились с Наджибуллой? – возвращается к начатому разговору Альдо. – Моджахеды не примирятся с Наджибуллой. Это противоестественно. Это, позвольте сказать вам, отрицание законов общественных процессов.

– А это выливается в непредвиденные ситуации, что не раз доказывала история развития человеческого общества, – бесстрастно завершает Джозеф.

– Не паясничай, умник, – Альдо умолкает. Потом словно нехотя продолжает. – Аслан, я хочу сказать, что ты славный бамбино, но в данной исторической ситуации неправ. Не могут примириться моджахеды с Наджибуллой, понимаешь, не могут. Давай-ка спустимся с пирамиды наших взглядов и позиций на землю, теплую сухую землю, по которой мы соскучились в этой железной коробке. На этой земле произошла острая борьба за власть. Шах уехал, отлучился по государственным делам, этим моментом воспользовался Тараки и его люди. А последним помогли ваши люди. Кагебешники, одним словом. И семь миллионов – а среди них и крупные умы, и состоятельные, и обеспеченные, и успешные, и бедные, не понявшие того, что произошло под афганским небом, – ушли за кордон. А здесь началась драчка за власть. Убили Тараки, пришел Амин. Убрали его, посадили в кресло Бабрака Кармаля. Убрали его, посадили в кресло Наджибуллу. Он оказался, к чести его, политиком. Но моджахеды

не разделят с ним власть, они попытаются вернуть ее себе полностью...

– И тогда другая масса людей вынуждена будет покинуть страну?

– И в этом ваша вина, Аслан. Кто вас просил ломать их общественную формацию? Вы как Бурбоны въехали в эту страну, которая веками не знала бушевавших в Европе революционных страстей и бурь.

– Угомонись, Альдо, – произносит жалобно Джозеф. – Я изнемогаю от твоего красноречия.

– Политического красноречия, – добавляет Жан-Поль.

– Мама мия, и они – мои коллеги! – вздыхает Альдо, подняв лицо к люку.

– Но почему нельзя создать коалиционное правительство? – спрашивает Джозеф.

– Это Восток, май френд, а не Европа. Да и в Европе партии грызутся между собой.

– Ты хочешь сказать, что покушения на Кеннеди, Рейгана, Лафонтена имели политическую подоплеку? – не унимается Джозеф.

– И еще то, что коалиционное правительство зародилось в Древнем Риме. Напрягите серое вещество и вспомните триумвират. Славный триумвират, когда один из великих трех мог всадить в своего противника короткий меч. Во все времена, во всех странах общество приходило к единовластию, вскормив диктатора или тирана.

– А французская революция? – вставляет Джозеф, надеясь, что Альдо споткнется об этот вопрос.

– Так ведь и она породила тиранию, – включается в разговор Жан-Поль. – Необузданная революционная толпа, массы вольнодумцев напугали даже самых стойких, самых решительных революционеров. Начался террор, а на верхушке пирамиды власти оказался Робеспьер, ставший тираном революции.

– И совсем недавний исторический пример – Россия, – вставляет, словно новую обойму, Жан-Поль.

– Ты верно сказал, бамбино. Тирания Сталина ничем не уступала тирании Гитлера, Франко, Трухи-

льо, Стресснера... А ведь их почитали, им поклонялись миллионы...

– У русского поэта Сергея Есенина есть такие стихи, – выдыхаю я, утомленный от разговора коллег и от жары: «Лицом к лицу – лица не увидать. Большое видится на расстоянии».

– И что же ты увидел, бамбино? – вкрадчиво спрашивает Альдо.

– А то, что надо было прийти новым силам, новому мышлению, чтобы вдохнуть в общество здоровье, спасти страну от позора нищеты, бюрократии, старой устоявшейся структуры власти.

– Горбачев – великий реформатор, – произносит Джозеф.

– Не возражаю. Но не забывайте, что на него большое влияние оказал Сахаров. Его идеи. Помните три главные, первозначимые идеи Сахарова? – Альдо умолкает, но снова продолжает, – первая – вывести советские войска из Афганистана. Вторая – распакетировать пакет предложений. Третья – выпустить из тюрем всех политзаключенных. К чести Горбачева, он прислушался к голосу разума.

– Сильный человек, – произносит Жан-Поль.

– Великий реформатор, – повторяет Джозеф. – Но... судьба реформатора незавидна.

– Это почему же? – удивляется Альдо.

– И тебе мне приходится объяснять?! Пойми, май френд, реформатор расшатывает, разрушает утвердившиеся десятилетиями и столетиями общественные устои. Все понимают, что они уже мешают, тормозят ход развития, но к ним привыкли. Их потеря вызывает в одних слоях общества страх, в других – неверие в будущее, в третьих – нежелание и даже противодействие новому. Даже сторонники реформации чувствуют дискомфорт: теряя давно знакомое и привычное, они долго не находят новое. Так что реформатор вызывает на себя и гнев, и немилость не только противников, но и соратников.

– Незавидная у него судьба, – резюмирует Жан-Поль. Если вы интеллигентные люди, а я думаю, что

вы таковые и есть, вы должны помнить судьбу великого реформатора Кромвеля.

– О ля-ля! – восклицает Жан-Поль. – Открой люк своей бронированной машины, высунь нос наружу. Там пахнет двадцать первым веком.

– Ты думаешь? – Джозеф разгибается, толкает вверх, выглядывает, затем захлопывает его и опускается на свое место. – Там пахнет пылью. И зноем.

Едем несколько минут молча.

Снаружи раздаются автоматные очереди. Открывается люк, раздается громкий голос солдата:

– Выходите. В степь. Быстро.

Мы вылезаем из бронетранспортера, спрыгиваем на землю, бежим на обочину дороги и ложимся на землю. В автоматный треск вплетаются глухие разрывы мин. Они густо ложатся на дорогу.

– Мама мия, сейчас влетит в люк нашей машины, – подает голос Альдо, не поднимая головы.

– И пойдем босые по горячей дороге как воины Александра Македонского. Так ты хотел сказать, Альдо? – пытается перекрыть шум боя Джозеф.

– Мне противно лежать, как кусок дерьма. Почему нам не выдали автоматы?

– Май френд, пойдем живой стеной на свинцовые струи? Глядишь, пули моджахедов испугаются наших жирных животов и отвислых грудей, ха-ха-ха, – это смеется Жан-Поль.

Слышен далекий гул вертолетов. Поднимаю голову. Один, два, три... Шесть машин проносятся над горной грядой. Доносятся глухие разрывы ракет. Бой стихает.

Обсыпанные с головы до ног землей, не успевая отряхнуться, мы влезаем в машину и она, взревев мотором, срывается с места.

10

После семи безумных дней, терзавших город ураганным ветром – он свистел, выл, грохотал, врываясь на улицу и обрушиваясь на дома с севера, затем, захлебнувшись, усмирял свой гнев, замирал, и вдруг

обрушивался уже с юга, гоняя по мостовым, тротуарам, дворам песок и мусор, загоняя их в тупики и переулки, закручивая в воронки и осыпая ими людей, ломая с хрустом сухие ветви деревьев, бросая наземь – на тротуары, газоны, фонарные столбы – корявые акации и плотные платаны, с виду здоровые, а слабые и немощные в корнях, – после таких безумных дней внезапно наступил штиль. Ну, не так уж и внезапно, если признаться честно. Ночью был дождь, сопровождавшийся громом и молниями, серебристые ослепительные стрелы бились в окна домов, на крыши падали потоки воды, словно намеревались раскроить или пробить их, водосточные трубы гудели и захлебывались от потоков воды.

То было ночью. Я уснул очень поздно, утомленный нескончаемым грохотом.

Просыпаюсь. И не могу понять, где нахожусь.

Невероятная тишина. Буквально глухая тишина. Полнейший штиль. И свежий, острый, покалывающий ноздри воздух.

Выхожу на балкон. Недоумеваю: куда делись потоки воды? Двор чисто вымыт. Шелковая гладь моря искрится от золотых лучей солнца и переливается цветами радуги. Далеко-далеко оно сливается с голубым горизонтом и уходит в небо...

Наскоро приняв освежающий душ, позавтракав двумя бутербродами с маслом, сыром и стаканом крепкого черного чая, покормив Черного, я запираю калитку и спускаюсь к трассе, ведущей в центр города. В руке у меня большая полотняная сумка с картинами размером сто на шестьдесят. Ну, конечно, сантиметров. Их в руке или подмышкой не понесешь. Нужно взять такси. А такси сегодня – на каждом шагу. Это раньше их днем с огнем нельзя было найти, а ныне сколько людей – столько и машин. Может, и не столько, но я так думаю: почти все таксуют, почти все выходят на заработки. Деньги сегодня – мерило благосостояния и почета человека или, как сегодня говорят, рейтинга.

Водитель аккуратно укладывает мою сумку на заднее сиденье своего «Мерседеса». Неслышно трогается с места. Едем на Арбат.

Сегодня, как я заметил, нет ни одного большого, уважающего себя города, который не выделил бы творческим людям уютную улочку или участок большого квартала: творите, реализуйте продукцию своих рук и ума... Вот и у нас есть свой Арбат, с широким и просторным тротуаром, выложенным цветными плитами, с красиво разбитыми газонами, фонтаном, уютными скамейками для отдыха. Здесь собираются и музыканты, и поэты, и художники. И сотни любителей и поклонников джаза и шансона, стихов, живописных работ.

Я выставляю свои полотна у стены между кофейней и небольшим рестораном, когда за спиной раздается знакомый голос:

– Ну-ка, ну-ка, гигант... Гляди-ка, что-то новое.

– Толя, как начинается день?

– После ночного потопа вяло...

Мой старейший приятель Анатолий – книжный художник: долгие годы он работал в книжном издательстве, оформлял серьезные издания, украшал и обогащал своими работами и художественными, и графическими. В новое время издательство дышит на ладан, вот и стал он завсегдатаем Арбата ради, как выражаются остряки, куска черного хлеба и стакана порошкового молока.

Толик осматривает мои полотна и с одной, и с другой стороны, отходит, долго глядит с большого расстояния.

– В музей искусств не относил? – спрашивает тихо.

– А зачем? Думаешь, купят? К тому же я не художник, не состою в вашей гильдии.

– Да прекрати. Чепуху несешь. Работы у тебя что надо. Талантливые.

Толик невысокий худенький мужчина моих лет. Каким он был в юности, таким и остается и по комплекции, и по характеру: открытый, честный, ис-

кренний. И всегда улыбчивый. Да, и всегда у него крепкое, очень крепкое рукопожатие.

– Знаешь, Толик, пошел бы, но соберут авторитетный консилиум, станут отмечать то да се, а если даже одобрят и музей примет, то заплатят мизерную сумму, да и ее ждать придется долгие месяцы, если не годы...

Толик смеется заливисто, весело.

Подходят другие собратья по кисти, рассматривают, похлопывают по плечу в знак одобрения, отходят к своим работам и там между собой обсуждают.

Толик ухмыляется:

– Видишь, какие мы деятели кисти. Нет, чтобы слово доброе сказать автору, выдавить из себя, они там шушукаются.

– Я не деятель кисти, дружище.

Толик опять смеется.

– Брось дурить. Дано тебе свыше или природой – оно видно.

– Как бы ты меня сейчас не лобызал, мое любимое орудие – ручка и... мозги...

– Читал я твою книгу. Заходил в библиотеку. Ты не был еще там? На стенде писателей выставлен твой пуштун. Выпросил, прочитал в читальном зале. Впечатляет. Я ведь сразу догадался, что эти полотна – крик твоей души. Шедевр создает страдающая, мятущаяся душа. Не то. Шедевр создает переполненная, разрывающаяся от боли, страданий душа, ищущая выхода... Да, ищущая выхода... Вот почему рождены твои работы. И полотно, и книга «Мой брат пуштун».

Моя книга называется «Мой друг пуштун, или Афганский излом». Но почему-то произносят только первую половину. Может потому, что первая окрашена романтикой – пуштун звучит для читателя как гурон, могикан, ирокез, ацтек, а вторая – уже политикой.

– Ну, гигант, – так он меня называет с давних лет, – я пойду к своей мазне, а ты, гляди, не продешеви. Им цена не пять, не десять тысяч деревянных, а много больше. Слышишь, не продешеви. Сюда бед-

нота не приходит. Не торгуйся, не уступай. Назови цену и стой на ней. Здесь не базар.

Толик уходит. Без его голоса, без его разглагольствований становится как-то сиротливо и скучно.

А день превосходный. Тихий. Солнечный. После дождя, прошедшего ночью, воздух свеж и небо светло-голубое, очищенное и отмытое потоками воды.

Мимо моих картин проходят мужчина и женщина. По всему видать – супруги. Одеты богато, но както безвкусно. Ему за пятьдесят, ей – около сорока лет, а впрочем, годы женщины никак не угадаешь: у нее на службе кремы, краски, щипцы, массажеры, одним словом, все косметические достижения нового века. Однако, красоты ей не занимать: красива настоящей восточной красотой. Она останавливается перед моим горным пейзажем, долго не сводит с меня глаз, потом тихо подзывает мужчину:

– Эзизим, бура гел.

«Дорогой, подойди сюда», – говорит она по-азербайджански, растягивая слова: они и на русском разговаривают протяжно. Я не могу сдержать улыбку, но на меня она не смотрит. Мужчина подходит. «Это хорошая вещь, – говорит она ему. – Не прогадаешь, если возьмешь. Подойди, поторгуйся».

«Вот и начинается базар», – думаю я в ожидании ценителя искусств.

Он подходит к полотну, пристально, долго всматривается в него, осторожно проводит пальцем (не пойму, почему надо трогать картину), потом отходит, оценивая на расстоянии.

– Брат, ты где видел такие горы, у нас другие. Не наши! А, понимаю, это твоя фантазия, – снисходительно произносит он.

– Это реальные горы.

– Где ты видел такие реальные горы? – усмехается он.

– Между Афганистаном и Таджикистаном.

– А что ты там делал?

– Путешествовал.

– Путешествовал? – протяжно произносит он, недоверчиво глядя на меня, – в таких горах путешествовал?

– Я там жил.

На картине изображено небольшое плато, залитое солнечным светом, жилой дом, хозяйственные постройки, два ишака, стоящие у стойла, женщина и маленький мальчик, греющиеся под лучами солнца, старик, бредущий домой и погоняющий овец и коз. Эту теплую идиллию окружают плотным кольцом гладкие скалистые горы, источающие холод. Над ними, окружив кольцом, поднимаются другие горы, поросшие зеленой шубой сосновых и пихтовых лесов. А уж эти заключают в свои объятия высоченные громады, покрытые вечными снегами и ледниками. Один вид леденит душу, но весь парадокс в том, что они не отталкивают от себя, не остужают душу, а наоборот, греют ослепительными бликами на вечном снегу, на спинах ледников.

Я там жил. Несколько лет. В этих диких для человека, но безумно красивых местах.

– Сколько же ты за эту картину просишь? – спрашивает мужчина. – Наверное, бешенные деньги?

– Бешенные в твоем понимании это сколько?

– Ну тысяч восемь-десять, наверное.

Я заливаюсь смехом.

– Десять тысяч стоит только багет. Рамка. Погляди, пощупай, потрогай, как искусно ее смастерили. Она стоит десять тысяч. А моя картина, выходит, ничего не стоит?

– Ну так назови цену.

– Я не барана продаю, брат. Вон там стоит, видишь, невысокий, худой мужчина. Анатолием Шариповичем его зовут. Он хороший художник. Он знает цену всему. Он тебе и подскажет.

Мужчина уходит к Толику, о чем-то они говорят, спорят, размахивая руками, Толик смотрит в мою сторону, потом отворачивается от мужчины и отходит. Догадываюсь, что устал вразумлять.

Мужчина нехотя подходит.

– Он говорит, от пятидесяти до шестидесяти тысяч...

– Это с багетом. Хочешь, вытащу из багета – цена будет от сорока пяти.

– Он сказал, что такие редко продают здесь, их покупают музеи... – мужчина в сомнениях и думах. Бедняга, я понимаю его: и картину хочет взять, и денег жаль.

Раздается певучий голос женщины.

– Эзизим, гел бура...

Мужчина подходит к ней, они рассматривают другую мою картину и вдруг оба зовут меня.

Подхожу.

– Это Баку?

– Ну, конечно. Вы же видите: сад Парапет, музей Низами, Генжлиг мейданы (Площадь молодежи), Ичери Шеер, дом Монолит...

– А вы откуда взяли это все? Может, придумали? – и без того большие глаза ее становятся еще больше.

– Я жил в Баку.

– Бизим дилини баша дюшюрсен? (Наш язык понимаете?)

– Бели. (Конечно.)

– Здесь что показано?

– Вы же видите. Свадьба. Персидская свадьба.

– Где проходит эта свадьба?

– В Пешаваре.

– И там вы были?

– Я вашему мужу уже объяснял, что я путешественник. Всю Азию прошел. Вон на той картине Афганистан.

– А в Европе были?

– Был и в Европе.

– И картины можете нарисовать?

– Если будут заказчики – почему нет.

Они отходят в сторону, шепчутся на родном языке, потом разговор становится громче, постоянно повторяются слова – ужуз, баха, ужуз, баха – дорого, дешево.

Я предполагаю, да что там предполагаю – уверен, что они задумали сделать бизнес.

Женщина подходит с ласковой улыбкой на лице:

– За сорок не дадите?

– Без багета пожалуйста.

– Нет, нет, без багета зачем они нам... Ох, простите, не то сказала.

Подходит мужчина.

– А что если мы возьмем все четыре?

– Берите. И за сколько?

Он смотрит ей в глаза внимательно и долго:

– По сорок пять. По пятьдесят-шестьдесят, как говорит ваш друг, не можем.

Я делаю вид, что долго думаю над его предложением, потом со вздохом произношу:

– Согласен. Берите.

«У тебя такая сумма есть», – спрашивает женщина на родном языке, на что муж отвечает: «Банкомат в конце квартала». Вскоре он возвращается, расплачивается и мы вдвоем аккуратно укладываем полотна в черный «Ленд Крузер».

Уже садясь в машину, женщина оборачивается ко мне:

– Не забудьте про Европу.

– Если будет заказчик, пожалуйста.

Подходит Толик, широко улыбаясь:

– Удачно сторговался?

– Сбил твою ставку.

– Намного?

– По сорок пять...

– Дурашка... Когда еще ты такие создашь... Думаешь, они все четыре себе оставят? Пацан ты. Одну или две картины оставят, остальные продадут. И окупят свои расходы. Дурашка, не познал еще природу души. Она не всегда тоскует и болит. Да ладно уж. Продал и хорошо.

Он жмет мне руку. Сам худой, а сила в руке железная. Я сую ему в руку сорок тысяч. Он отдергивает ее, впивается в меня злыми глазами и шипит:

– Ты что, ошалел? Скурвился, как и эти? – указывает головой в сторону собратьев. – Я тебя знаю сорок лет как порядочного пацана, сорок лет, и вдруг ты решил оскорбить меня? За что?

– Прости Толик, глупо поступил. Забудь.

– Прощаю.

Мы обнимаемся, похлопываем друг друга по плечу и расходимся. Он отходит к своим работам, а я поднимаюсь по центральному проспекту, сворачиваю на узкую, забитую машинами улицу и направляюсь к фирменному магазину «Багратион». Хочу купить бутылочку хорошего, вернее качественного напитка. Здесь пока еще он есть. Да впрочем, и магазин привлекает дизайном, интерьером, обхождением продавцов. Дальний угол его отведен под водочную продукцию, бутылки с коньяком выставлены сразу же у входа, и тут же рядом вход в подсобку. Я сюда изредка захаживаю, когда хочется посидеть, побалагурить с приятелями-соседями.

Передо мной в магазин заходят двое ребят, у одного из них на плече висит студенческая сумочка. Они проходят в дальний угол, я останавливаюсь у коньячного отдела, прошу девушек, а их двое, предложить мне качественный напиток. Пока одна из них поворачивается к полкам и ищет, чем мне угодить, я краем глаза слежу за парнями: почему-то не понравилась мне их целеустремленность. Ну не ходят так за водкой. И тут парень с сумкой кладет свою ношу на прилавок, оба скорым шагом направляются к выходу и, уже открывая дверь, один из них кричит нам:

– Уходите, бомба!

Кажется, я этого и ждал: быстро перепрыгивая через прилавок, хватаю обеих девушек за руки, и ошалевших, ничего не понимающих, тащу, буквально выволакиваю в подсобку, подальше от прилавков, вглубь, к выходу во двор... И тут грохочет взрыв. Несколько секунд я ничего не помню. Потом чувствую, как что-то сыпется на меня, и недалеко что-то гудит и обдает жаром. Где девушки? Вот они распластались, в строительном мусоре. Я тормошу их, сильно, резко

кричу, не слыша себя: вставайте, сгорим. Они приходят в себя, но ничего не понимают – лица безумные. Я хватаю каждую за руку и тащу волоком. Тяжело, руки мои натянуты до боли. Наконец они начинают понимать, что надо делать и подталкивают себя ногами. Вот и дверь. Я открываю ее, выволакиваю девушек во двор, на середину двора, подальше от магазина, отпускаю их руки, которые падают на землю как плети, и сажусь на землю.

Из дверей подсобки вырывается с гулом огненное пламя.

Жильцы окружающих домов мечутся по двору. Каждого обуял инстинкт самосохранения.

– Да вы девчатам помогите, что вы мечетесь? – кричу им почему-то зло. Может, потому, что надо сбросить злую энергетику? Успокоиться? – До ваших квартир огонь не дойдет. Девочкам помогите...

Чувствую, как с меня, словно тяжелая мохнатая шкура, сползает тяжесть. И словно пустой мешок вытягиваюсь на асфальте.

Гудят сирены «скорой помощи», милицейских машин, во двор врываются тугие струи из брандспойтов. На улице – людской гул.

Женщины стряхивают пыль с продавщиц, обмывают им лица, руки – сами они еще в шоке. Кто-то мне подает полотенце, я вытираю лицо, голову, и медленно выхожу со двора.

Улица забита людьми. И машинами.

Магазин черный, как ночь. Да магазина, впрочем, и нет. От него остались стены, как остов корабля и полкрыши. В воздухе запах гари и пожара.

Я выхожу на другую улицу, останавливаю такси и еду домой.

Я сегодня, как выражались прежде великовозрастные пацаны, беременный и торговлей, и пожаром.

11

Захожу в свою хижину с бутылкой французского коньяка, которую покупаю в соседнем супермаркете. Менеджер заверил меня, что жалоб на качество на-

питка еще не было. Приняв контрастный душ, натянув на мокрое тело футболку, бриджи, поднимаюсь в мансарду и бросаюсь на тахту.

Хочу отвлечься от всех событий дня. Но куда там... Наплывают то лица покупателей, то Толика, то магазин «Багратион», то пламя, вырывающееся из подсобки...

Во дворе ворчит Черный. Выхожу на балкон: так мирно, дружески он ворчит, общаясь с друзьями. Ну конечно, Сава принес ему говяжью лапу.

«Что-то я забыл сделать, – не дает покоя мысль в голове. Что? Ну что я должен... Ах, черт тебя побери... – Сбегаю вниз, в ванную, достаю из кармана брюк деньги, это целое мое состояние, поднимаюсь в спальню, открываю дверцу тумбочки и засовываю их под чистое белье. – Теперь я спокоен: обеспечен едой, питьем и бездействием. Пока что-то серьезное, значимое не напишу». В мастерской натянут холст для картины «Биржа труда». Типажи у меня есть, есть и фрагменты... Лица неповторимые, колоритные. Да вот найдется ли покупатель. Кому захочется каждый день смотреть на лица, омраченные бездельем, безработицей, в глаза, застывшие в ожидании неясного, на морщины, изъедающие лица, на понуро опущенные головы...

Если меня спросят – ты купишь такую картину, отвечу честно: нет. Мне тяжело смотреть на горе человека: я его чувствую, это горе, как свое личное. Но писать... писать берусь, чтобы поведать о таком состоянии человека другим, которые о нем не ведают.

Слышу шаги на лестнице, затем вкрадчивый голос:

– Хозяин? Где ты?

Показывается голова Савы.

– Поднимайся на балкон.

Мы садимся на плетеные камышовые стулья.

День догорает.

Море смотрит с укоризной и тоской.

Оно какое-то блеклое.

Нет в нем радости.

Затаилось и ждет. Чего?

Горизонт опутывают тучи.

– Будет дождь, – говорит Сава.

– А завтра – солнце и ясный день.

– Как сегодня. Слыхал о взрыве?

– Да, рассказывали, – говорю.

– И что скажешь?

– Я уже ко всему привык, – говорю. – Се ля ви...

– Чего, чего?

– Такова жизнь.

– Ну, тебе легче, у тебя ни жены, ни детей, ни внуков... Не дай бог такому случиться. Прошел не там, зашел не туда, оказался в неположенном месте – бах, и нет тебя. Ужас.

– Да, ужас, – повторяю за Савой. – Ужас – не то слово.

Во двор входят два милиционера, с ними Тима.

– Поднимайтесь, – обращается к ним Сава, словно он тут хозяин.

Поднимаются, здороваются за руку, снимают фуражки и рассаживаются вокруг плетеного стола. Милиционеры молодые. Глаза Тимы хитрят.

Я уже догадываюсь о причине их визита.

– Слушай-ка, путешественник, что ты еще натворил? – на лице у Савы неподдельное удивление.

– А что он до этого натворил? – спрашивает один из милиционеров и выжидающе смотрит. Просто не отрывает глаз.

– Да некий крутой пытался захватить его участок и снести дом.

– Это кто такой? Какой крутой?

– Да хрен его знает.

– Ну? Дальше?

– Да что дальше. Наш друг позвонил мэру и крутой удрал как заяц, прижав уши.

– Какому мэру?

– Как какому? Нашему мэру города.

Милиционеры снова переглядываются. Один из них достает из портфеля несколько фотографий и кладет на стол.

– Вы? – обращается он ко мне.

– Ну ты видишь, что я. Кто успел?.. – не договариваю.

– Видеокамера.

– Если не затруднит вас, показали бы нам свои документы.

– Да какие тут трудности.

Я приношу удостоверения Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР.

– А Союза художников? – спрашивает все тот же милиционер.

– Я не член Союза.

– Как так? А рисуете. Я часто прохожу мимо вернисажа. Ваши полотна впечатляют... И не член...

– Перебор будет, – говорю я.

Все смеются. Я уношу документы, достаю из холодильника французский коньяк, сервелат, фрукты, батон хлеба и обращаюсь к Саве:

– Разложи, я заварю кофе.

Когда я поднимаюсь с подносом, на котором осторожно несу горячий кофе, кофейные чашки с тарелочками, сахарницу с ложечками, все на меня смотрят загадочно и торжественно. Только Сава занят работой.

– Итак, приступим к делу, – наконец раздается голос и Тимы. – Вы завтра в четырнадцать часов приглашены к министру внутренних дел республики.

Сава замирает.

– Да что же это такое? То крутой откуда ни возьмись, то милиция...

– Не кипятись, Сава, тут дело другое, – улыбается Тима. – Он вчера двух красавиц спас от гибели.

– Двух красавиц... от гибели? – изумляется Сава.

– Двух продавщиц вытащил из горевшего «Багратиона».

Сава поворачивается ко мне и с укоризной в прищуренных глазах произносит так проникновенно, так больно, словно потерял самого близкого человека:

– И ты все это время молчал? Скрывал от меня?

Он разливает в рюмки французский коньяк и внезапно оживляется:

– Правильно поступил, что молчал. Не то я твой подвиг присвоил бы себе – иди докажи, кто спаситель. Да премию получил бы...

Со смехом поднимаем рюмки. Милиционеры не засиживаются, вскоре уходят. Мы остаемся втроем.

Молчим. Любуемся темнеющим морем.

Тима загадочно смотрит на меня. Смотрит долго с улыбкой. «Ну давай, говори, – думаю про себя, – ведь что-то хочешь сказать, ведь хочешь же...».

– А вы не знаете, кто купил ваши картины? – наконец произносит он.

– Откуда мне знать? Но то, что были азербайджанцами, сразу узнал.

– Женщина – сестра моей жены, ее имя Наргиз.

– Сестра жены? – удивляюсь я.

– Дочь моей любимой тещи.

– Тесен мир, – произношу я.

– Наргиз звонила моей жене Соне, хвалилась приобретениями. Она понимает толк в живописи. Две уже повесили: «Баку» в ее комнате, а «Горный пейзаж» в его. Другие успела продать. Как видите, я в курсе всех ваших дел.

– На то и спецназ. Если не секрет, а за какую цену продали? – боюсь что не скажет правду.

– За шестьдесят, – говорит Тима, глядя на меня пристально и покачивая головой.

– Дурашка я, дурашка, – повторяю слова Толика, который все предвидел. – Ах, дурашка.

Бросаю взгляд на Тиму. Он смеется. Оказывается, он слышит меня: я упрекаю себя вслух, сам того не замечая.

Ложусь спать за полночь. Сна нет. События прошедшего дня утомляют и память, и душу. С улицы в открытую дверь внезапно врывается ветер, его упругие космы уже гудят во дворе, на улице, бьются в двери подъездов, пытаются оторвать деревья от земли. Ослепительные сабли схлестываются высоко в небе. Схлестываются, пытаются распороть темное брюхо неба. Их гнев сверкающими стрелами рушится вниз. Куда? Не видать, куда. Где-то далеко, неведомо в ка-

ких высотах, громыхает, словно катятся пустые бочки. И вот сверху на землю шлепаются крупные капли.

Под шум дождя я закрываю веки. Но сна нет. Какая мука. Хочу спать, просто надо спать, надо. Но сна нет. Падение капель учащается. Начинается дождь. Вскоре он переходит в ливень.

В комнату врывается запах дождя.

Я уношусь в сон.

12

Сон

Бэтээр резко останавливается. Голова еще гудит от рева двигателя, уши заложены, а вокруг тишина. Не верится, что кончилась – надолго ли – изнурительная жесткая дорога...

Измотанные до одури, мы глотаем воздух, пробивающийся в открытый люк. И тут только до нашего сознания доходит, что мы можем вылезать на свет божий.

День клонится к концу. Хотя солнцу еще далеко до горизонта, жара спала. Меня поражает живописная картина, которую нелегко воспроизвести на полотне из-за обилия красок природы.

Бескрайняя степь, золотистого цвета на западе, она переходит в терракотовый на востоке. Горная гряда залита холодной синевой. Над грядой небо в темно-фиолетовой дымке, дальше, к западу цвета сменяются лиловым, затем пурпурным.

– Аллаху еще рано молиться, опусти голову.

Это голос Джозефа.

На дорогу высыпают журналисты. Семь бэтээров стоят друг за другом, держа интервал, остывают от изнурительного бега, но воины, сидящие на броне, не сводят глаз с далекой гряды.

– Ребята, как бы умыться...

– Мама мия, – обрывает меня Альдо. – Что ты мне заранее не сказал? Я заказал бы тебе холодную

ванну... Эй, бамбино, – он кому-то машет рукой, подзывая, – бамбино, сюда, кам хиа...

Подбегает мальчик с перекинутыми через плечо двумя бурдюками.

– Давай, поливай. – Альдо наклоняется.

Мальчик непонимающе глядит на него черными глазенками. На нем латаные-перелатаные длинная рубашонка и штаны, босые ноги покрыты пылью.

Альдо снимает с него бурдюки и перекидывает на свое плечо.

– Быстро, мыться...

Мы – я, Жан-Поль и Джозеф, толкаясь лезем под тонкую струю. С наслаждением ощущаю живительную влагу, чувствую, как оживают лицо, плечи, руки, тело, пью из пригоршни.

Детский крик заставляет меня поднять голову. Мальчик что-то громко говорит Альдо, но тот, не обращая на него внимания, смеется, повторяя:

– Заплатим, за все заплатим, бамбино.

Наконец Альдо передает бурдюки Жан-Полю и лезет под струю. Его восторгу нет границ.

Мальчик не перестает кричать, размахивая руками.

– Аслан, чего он хочет? – обращается ко мне Альдо. – Ты же азиат, должен знать его язык...

– Сен ансы милет?[1] – спрашиваю мальчика по-тюркски.

Он перестает кричать и смотрит на меня расширенными глазами.

– Тю чюн милет? – повторяю вопрос на фарси.

Рот мальчика растягивается в улыбке.

– Тожик, – произносит он.

– Виват, мост наведен, – восклицает Жан-Поль. – Теперь можно получить море воды...

Я успокаиваю мальчика и подаю несколько афганей[2].

Мальчик смущается:

---

[1] Ты какой национальности? (Перевод с тюркского.)

[2] *Афган* – денежная единица.

– Омбори![1]

Но мои коллеги тоже суют ему в руки деньги. Мальчик хватает пустые бурдюки и вприпрыжку удаляется от нас.

В той стороне, куда он уходит, в низине за дорогой виднеются три десятка домов за высокими дувалами. Они сгрудились вокруг небольшой площади – майдана, на которой расположились лавки, чайная, мечеть. Над дувалами, которые скрывают жилище афганца от постороннего взгляда, упрямо поднимаются кроны айвовых, гранатовых и инжировых деревьев. За домами, в сторону горной гряды, раскинулись участки фруктовых садов.

– Умные головы подумали бы и о наших желудках, – ропщет Джозеф.

– Пардон, мон ами, они еще не слышат позывных, – смеется Жан-Поль.

В голове колонны сгрудились журналисты. Руководитель группы о чем-то говорит с полковником, сопровождающим нас, беседа затягивается. Наконец над дорогой разносится голос из мегафона:

– Внимание, внимание, господа журналисты, подойдите к голове колонны. Нам разрешено посетить кишлак. Следуем группой. Отлучаться строго запрещено.

Голос звучит на английском языке, но он всем или почти всем понятен.

Мы направляемся в кишлак в сопровождении группы воинов.

Тихо. С гор тянет прохладой. Замерли все звуки, неслышно даже детских голосов. Такое впечатление, будто в этом крохотном поселении вымерли и люди, и птицы, и животные...

Мы идем по тесной улочке, зажатой высокими дувалами и, наконец, выходим на площадь, вымощенную большими плоскими каменными плитами. Залитая золотом солнца, она слепит глаза и источает тепло.

---

[1] *Омбори* – много. Здесь и далее перевод с фарси.

Привал у чайханы. Мои коллеги и друзья по бронемашине устало, осторожно опускаются, но почувствовав тепло плит, блаженно растягиваются во весь рост, охая и ахая от неописуемого удовольствия. Другие журналисты, более охочие до экзотики, а кто и до сенсации, щелкают затворами фотоаппаратов, увековечивая в кадре сюжеты дадекого азиатского кишлака.

Открываются лавки. На площади появляются смуглые бородатые мужчины, молодые увешаны оружием. Несколько минут они стоят в отдалении, изучая публику, но завидев полковника подходят к нему, здороваются за руку. Выражение лиц смягчается, теплеет.

– Ночью, встретив их, ты наделал бы в штаны, Альдо, – тихо произносит Жан-Поль. – А сейчас и пальцем ноги не пошевельнул.

– Я под защитой Аслана, – отвечает Альдо.

– А он что, хорошо стирает? – подает голос Джозеф.

Жан-Поль заливается смехом.

– Какие вы к черту репортеры! Мама мия!.. Он знает их язык. Здесь это ценится дороже золота и миномета. Ре-пор-те-ры. – Альдо расчленяет слово с сарказмом. – В Москве вы намного смышленее, не так ли, бамбино? Сколько лет ты живешь в Москве, Джозеф?

– Девять, макароник...

– Так, еще одно оскорбление. А ты, Жан-Поль? Мне кажется, тоже около.

– Около, около.

– Ну и я около десяти... Жить столько лет в бывшей «империи зла» и не знать самой острой, самой точной, самой яркой...

– Пластинку смени, – произносит Жан-Поль.

– Самой прекрасной пословицы, которая гласит «Язык до Киева доведет»... Мама мия... Лучше провалиться сквозь землю. Вам бы не репортерами быть, а торговать мандаринами на жарких улицах Палермо.

– Мафиози проклятый, как он нас поносит, – беззлобно говорит Джозеф, жмурясь под лучами теплого солнца.

Я сижу на плитах, прислонившись спиной к стволу айвы. Площадь забита мужчинами: старыми и молодыми. Такое чувство, словно они давно ожидали нашего приезда. На самом же деле они пришли просто полюбопытствовать да порасспросить о том, как живет наш многоликий мир. Между взрослыми тут и там пробегают мальчишки. Один из них часто смотрит в мою сторону. Где я его видел? Да это же он подносил нам воду в бурдюках. Я подзываю его рукой. Подходит.

– Нюш[1].

Мальчик садится.

– Нум ту чу[2]?

– Шабат.

Шабат? – удивляюсь я. «Шабат» на фарси – суббота. Чего ради родители назвали мальчика субботой? Объяснение оказалось довольно простым: малыш родился в шестой день недели, и в честь этого дня назвали мальчика.

Когда я эту незатейливую историю передаю коллегам, они заливаются смехом.

– Грациа, – восклицает Альдо сквозь смех. – Как это прекрасно, жизненно и прекрасно. Как мало нужно человеку и как крепко он связан с природой... Грациа...

После заразительного смеха наступает долгая пауза.

Мальчик сообщает, что живет с восьмидесятилетним дедом. Когда шли бои за Джелалабад между армией Наджибуллы и формированиями моджахедов, орудийные снаряды и мины разрушили более ста домов. Под обломками остались родители мальчика и пятеро братьев и сестер: снаряды посыпались на рассвете, когда люди спали. С чьей стороны они были

---

[1] *Нюш* – садись.

[2] *Нум ту чу?* – Как тебя звать? Как твое имя?

посланы и почему сюда, когда от фронта до Джелалабада более сорока километров – никто не знает. Оставшиеся в живых разобрали разрушенные дома. На том месте, где они стояли, никто не решился строиться.

Шабат поднимается и вприпрыжку направляется к бородачам: в его детском сердце горе уже давно перегорело, осталась только память о родных и неизвестных убийцах.

Журналисты располагаются в чайхане и у чайханы, и мы неохотно поднимаемся с теплых плит, чтобы не упустить свою чашку чая с восточными сладостями.

После чая мы прогуливаемся по площади, ступаем на тесную узкую улочку, которая выводит нас к фруктовому саду.

Воздух удивительно чист, свеж и ароматен.

– Простите меня за высказываемую осторожность, но мы, кажется, нарушаем инструкцию полковника, – произносит Джозеф, любуясь бездонным синим небом.

– Мама мия... Кому ты здесь нужен в твои-то годы? Когда ты в последний раз глядел в зеркало?

В воздухе пахнет чем-то горьковатым. Переглядываемся.

– Горит, но пожара не видно нигде, – произносит Жан-Поль. – Ни дыма, ни огня...

– Весь кайф нам испортили, тьфу, – произносит Альдо, опускаясь на землю. – Кто же после чая с рахат-лукумом и шербетом подает такую горечь? Только в дикой Азии такое возможно.

Я присаживаюсь рядом. Усталость опутывает, одолевает меня. Вязко, настойчиво притягивает в нежные тени сна. Но спать нельзя.

13

Смотрю на лица, ставшие мне родными. Они – плод моего труда. Моей творческой фантазии. Фантазии? Да нет, они реальные люди, живущие рядом с нами. Простые люди, которые ждут применения сво-

им рукам, жаждут работать. Она для них – смысл жизни.

Глядящие с холста – пленники биржи. Бывают дни, когда они вырываются из плена, вернее, кто-то вырывает, предлагая работу. Выполнив ее, они снова возвращаются на биржу. В ожидании сердобольного освободителя, который предложит работу на день, неделю, месяц...

Смотрю на них с состраданием. Но полотно вызывает и гордость. Честно говоря, я не верил, что создал что-то значимое, настоящее. Создал. Потому что они не выдуманы. Они существуют и живут рядом с нами.

Эти лица словно гипнотизируют моих приятелей Саву, Тиму, Рому, когда вечерами они поднимаются в мастерскую, не произносят ни слова, затаив дыхание смотрят и долго пребывают в задумчивости.

Кто знает, о чем они думают?

Думать я им не мешаю.

В процессе работы над картиной, еще месяца два назад, меня вдруг кольнула непрошеная мысль: а найдется ли на нее покупатель? Зачем ему, ежедневно видя эти лица, сопереживать им, для чего омрачать свое настроение? Сегодня торжествуют другие направления в живописи, другая манера кисти, другие цвета – яркие, веселые.

Польстится ли какой-нибудь музей на мое полотно? Захочет ли его приобрести коллекционер?

Не напрасно ли я теряю дни, энергию, душевные силы?

Ведь мне тоже надо зарабатывать на жизнь. Я такой же раб труда, как и они. Разница между нами в том, что они озабочены ожиданием работодателя. А я ожиданием покупателя.

Картина почти готова. Не хватает только фона. Они, эти люди, должны быть написаны на фоне чего-то. Не пустоты же. На бирже они сидят у стены семиэтажного магазина хозяйственных товаров, который сверкает пластиком и большими окнами. Может быть, на заднем плане изобразить призрачную толпу, размытые фигуры в светлом, рассеянном тумане?

Над этой формой, или точнее идеей, я размышляю уже несколько дней. Кажется, на ней и надо остановиться.

Выхожу на балкон. Ясный, искристый день. Небо синее. Спорит цветом с морем.

И вдруг неслышимый голос спрашивает меня:

– Ты почему не навестил мальчика?

«Какого мальчика», – недоумеваю я, – то были девушки, я не...»

– Мальчика, мальчика, – не дает договорить мне голос.

Голос. Он часто говорит со мной – беседует, подсказывает, ругает, советует. Он родился во мне еще в ранней молодости. Это мое Эго. Мое второе я. Внутренний Бог – душевный, чистый, совестливый, милосердный. Мой Учитель. Мой Гуру. Мой поводырь. Если бы не он, как бы прожил бы много лет в чужих краях и вернулся не озлобленным на людей, не потерявшим веру в доброту, не осквернённым пороками. Если бы не он, никакие карандаши, никакие кисти не подчинились бы мне, ведь я не имел ни художественного образования, ни представления о труде живописца: живопись обожал, но кисть ни минуты не держал в руке.

Сейчас она, живопись, меня заставляет жить.

Я принимаю душ, выношу собаке корм, запираю калитку, заказываю по мобильному телефону такси и спускаюсь на улицу.

Адрес мне знаком. Поднимаюсь на второй этаж. Нажимаю на кнопку звонка. Двери широко открываются. Передо мной – улыбающееся лицо молодой женщины. В белом шелковом халате на фоне полутемной прихожей она предстает словно видение из восточной сказки.

– Вы всегда улыбаетесь звонящим?

– Я увидела вас в глазок, – говорит она, отступая в глубь прихожей. – Проходите в гостиную. Долго же вы собирались.

– Как себя чувствует наш больной мальчик?

– Наш больной влюблен в компьютер.

Она уходит из гостиной в одну дверь, из другой выходит ее сын. Я любуюсь им: красивый юноша, отлично сложен, умный, изучающий взгляд. Здороваемся. Он берет мою руку двумя руками: из-за возраста моего или почитает за что-то? Пытаюсь разобраться, понять, но в это время входит его мать и мои мысли тут же рассеиваются. В легкой кофте, юбке, домашних туфлях на среднем каблучке она восхитительна.

– Мы уже и не надеялись, что вы посетите нас, то есть навестите, – говорит она.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваю юношу, стараясь не смотреть на хозяйку дома.

– О'кей. Сносно.

– О'кей и сносно не одно и то же.

– Хорошо. Если не нервничать, – говорит он.

– А ты не нервничай. Оставь это действо на будущее.

– Бахтияр все очень близко принимает к сердцу: и приятное, и неприятное. Очень восприимчив.

Слово за слово и вскоре я уже узнаю, что он учится на четвертом курсе технического университета, занимается дзюдо и самбо, плаванием, неоднократный победитель студенческих олимпиад. И что удивительно для нашего времени – много читает. Часто до поздней ночи.

И только сейчас, как-то естественно завязав разговор о пользе чтения, замечаю на тумбочке у окна что-то знакомое. Вглядевшись внимательно, узнаю свою книгу.

– Откуда она у вас?

– В республиканской библиотеке взял почитать, а мама упросила оставить, не сдавать. Заплатил в десятикратном размере, – говорит Бахтияр.

– Ты лучше ее сдал бы обратно, я свою тебе подарю. Библиотека все-таки достояние общественности, а не одного Бахтияра. Наверное, я правильно мыслю?

– Да, конечно, я не прав, но ради мамы...

– А как ты узнал, что автор книги я?

– Честно?

– Ну конечно. Мы же не видим в твоем поступке ничего грешного, порочного.

– В тот день, когда вы меня привезли, то есть ночью, я долго не спал. Какое-то чувство меня донимало. Беспокоило. И внезапно мне показалось, что ваше лицо мне знакомо. Где я его видел? Когда? Я задремал поздно ночью... И вдруг вскочил, словно кто-то вытолкнул из постели, сел за компьютер, вошел в поиск писателей... И вот оно, ваше лицо. А днем пошел в библиотеку и взял книгу «Мой брат пуштун, или Афганский излом».

– Вот видишь мальчик, в интернете, в эфире, в космосе я есть, существую, а в обществе меня нет. Потеряли. Нет, не потеряли, ведь потерянное ищут, долго ищут. Меня забыли. Просто забыли. Те, которые меня знали, – в мире ином, некоторые, конечно, живы, но и им не до меня. Времена другие. А те, кто не потеряли еще честь и совесть, белые вороны. Единицы.

Наступает пауза.

– Все случившееся с вами правда? – тихо спрашивает мать Бахтияра.

– Сущая правда.

– Я все о вас вычитала в интернете. И вы сегодня не нужны? Живете зарисовками на бирже? Это ужасно.

– Такова се ля ви...

Бахтияр удивленно смотрит на меня и вдруг мы, не сговариваясь, смеемся. Без какого-либо повода. Может быть, для разрядки?

А потом крепкий черный чай с ореховым и айвовым вареньем – от обеда я отказываюсь наотрез.

Потом выхожу в прихожую – пора и честь знать. – Бахтияр включает свет, вспыхивает хрустальная люстра, и я замираю.

На большой стене просторной прихожей висят картины «Персидская свадьба» и «Афган».

– Откуда они у вас? – спрашиваю, понимая, что задаю глупый вопрос: конечно же, скажет, что купила.

– Как откуда? Купила у Наргиз, – говорит хозяйка, пораженная моим вопросом.

– Наргиз азербайджанка?

– Да, а что вас удивляет? Она купила четыре картины в тот день, когда взорвали магазин. Позвонила сообщить о покупке двоюродной сестре Симе, а та поделилась со мной. Я тут же поехала к Наргиз и выкупила эти две.

– А Тима сообщил о продаже уже мне, – говорю я.

– Какой Тима? Симын муж? Вы где с ним познакомились? – ее удивлению нет предела.

– Он мой сосед по дому.

– Послушайте, – взгляд ее переходит к Бахтияру, который ничего не может понять из нашего разговора, – сынок, так это его картины? – опять поворачивается ко мне. – Так вы и художник... Я совсем запуталась, ничего не понимаю.

– Почитайте внимательно книгу. В картине «Гималаи» я изобразил тот уголок, в котором прожил несколько лет и который сделал из меня художника. А впрочем, забудьте обо всем, что мы тут наговорили. У меня лично голова кругом идет. А за варенье большое спасибо. Они мне напомнили вкусные кушанья Шахсенем.

– Боже мой, вы и тетушку Шахсенем знаете? Она же родственница моей матери, – радостно, тихо смеется хозяйка.

– Она готовит такие вкусные гутабы...

– Приходите... Принесите книгу – я вам приготовлю такие же гутабы. Моя мама научила меня их готовить. Она азербайджанка.

Она тоже... Бог ты мой, все сплелось-переплелось.

Мир тесен.

14

– В спокойную жизнь наших женщин вы внесли заметное оживление.

Мы с Тимой сидим на балконе мансарды, пьем чай с ореховым вареньем, которое он принес мне по настоятельной просьбе Шахсенем.

– Не понял, – говорю я.

На самом деле, не понимаю, какое я имею отношение к «их» женщинам и какой еще спектакль разыгрывается за моей спиной.

– Уж вы-то не понимаете... – загадочно улыбается Тима. – Гуля звонила Симе и расспрашивала о вас.

– Симу я знаю от тебя, она твоя жена, но другое имя слышу впервые.

– Вы недавно были у нее в гостях, навещали сына, которому, кстати, оказали помощь. Было такое или она придумала красивую историю?

Я обжигаюсь горячим чаем.

– Бог ты мой, я становлюсь эпицентром женских интересов. Это забавно.

– Она очень любвеобильная женщина. Даже чересчур, – осторожно произносит Тима. – Южанка, горячая, хотел сказать, эмоциональная.

– В моем-то возрасте? Забавно, если не смешно.

– Больше ни слова о ней. Молчу, – говорит Тима, поглядывая на меня.

– Забавно даже то, что меня замкнули в кольцо одни бакинки – Наргиз, Сима, Гуля, Шахсенем. Вот с Шахсенем я бы с удовольствием беседовал по вечерам – старые бакинки много интересного могут рассказать.

– Организовать встречу? – смеется Тима.

– Нет уж, милый сосед, позволь мне мои вечера посвятить холстам – они меня кормят и одевают.

– Она бизнесвумен.

– Кто? Шахсенем? – Я, конечно понимаю, о ком говорит Тима. Просто, придуриваюсь.

– Да перестаньте... Гульнара. То есть Гуля.

– Я бизнесмен. Но вот специфика нашего бизнеса разная, дружище.

Веселую болтовню прерывает живая, напористая песня «Чингисхан» – это подает голос мой мобильный телефон. Подношу к уху. Приветствуем друг друга. Говорит он коротко, открыто, бесхитростно. Разговор завершаю словами:

– Договорились. Приду часов в семь вечера. Машину? К чему мне она, хожу пешком. До завтра.

Тима вопросительно смотрит на меня. Молчу. Хочу продлить его любопытство. Наконец, спрашивает:

– Кто?

И тут же добавляет:

– Конечно, если не секрет.

– Мэр.

– Что вы сказали? Мэр?

– То, что слышал, мэр города. Тебя это удивляет?

– А... а как он узнал номер вашего мобильника?

– Я звонил ему, когда бритоголовый грозился снести мою хижину трактором. Вот номер у него и остался в телефоне.

– И чего он хочет от вас, этот мэр? – спрашивает как бы сам себя Тима.

– Много лет он меня не видел. Соскучился по мне. Придется пойти.

– И вы пойдете?

– Придется. Я обещал. А что в этом постыдного? Или опасного?

– Я слышал, да что там слышал – знаю, что он к себе никого не подпускает, а если и согласится встретиться – сто раз выяснит по своим каналам, кто ты, твои родители, окружение, друзья, ну все, все, все...

– Такую проверку я прошел давным-давно.

Мы пьем чай с ореховым вареньем. Сколько его ни пьешь – жажда не утоляется.

Пахнет вечерним морем. На нас выжидающе смотрят сотни желтых глаз остывающих от дневного зноя домов.

Дом мэра расположен на взгорке, не так далеко от моей хижины. Метрах в шестистах-семистах. У ворот дежурят полицейские. Я подхожу к ним, сообщаю о приглашении на семь часов вечера, называю свою фамилию. Один из них звонит по мобильному телефону, потом открывает калитку. На меня глядят острые глаза огромной овчарки.

– Чак, на место, свой, слышишь, свой, – обращается к нему полицейский, потом ко мне, – не тронет, не бойтесь.

Чак недовольный отходит.

Мэр встречает меня у дверей с улыбкой. Крепко пожимает руку, подводит к креслу. Садится напротив.

– Сколько лет не виделись, а вы все такой же, каким были, – улыбка не сходит с лица. – Не сказал бы, что многое испытали. Мой помощник, он ваш приятель, принес вашу книгу. Прочитал, не отрываясь, как сегодня говорят – на одном дыхании. Отправили – и забыли... – он задумывается.

– Так ведь переворот был, пришли другие люди, которые ничего не знали...

– Да перестаньте, ничего не знали, – зло произносит он. – Знали, и хорошо знали, свои вопросы решали, шкурные... – он встает, прохаживается по мягкому ковру. – Грех, большой совершили грех. И я с ними.

– Было. И прошло. Впрочем, такова се ля ви. Кого волнует чужая судьба?

– Се ля ви-то се ля ви... Мы часто забываем, что должны стоять спиной к спине.

Он долго молчит. Видимо, думает, как, с чего начать нужный разговор. В прошедшие времена, при рухнувшей системе, печатное слово имело большую толчковую силу, было способно и возвысить, и сбросить вниз. После моей публикации, а она была подготовлена за полгода до выборов мэра города и совсем не по заказу (я в ту пору писал выборочно о тех, кто мне был близок по душе, кто располагал к себе делами своими), подавляющее большинство жителей города свои голоса отдали ему. Ну а сейчас почему я понадобился?

– Грязь льют на меня. Много грязи. Мои же вчерашние друзья, товарищи, кунаки.

Он снова садится в кресло и внимательно смотрит мне в глаза. Словно пытается прочитать мои мысли.

– Вы мне тогда оказали большую помощь. Да, да, не услугу, а помощь, – тихо, словно про себя, произносит он.

– А вы мне недавно подарили кусок земли, и земля ныне больших денег стоит, – улыбаюсь я.

– Ну, что вы... добро за добро. Вспомните Конфуция: «Что делаешь себе, делай и другому».

Хитер и умен мэр. Казалось, расквитались. А получается, на его добро я должен ответить? Так и хочет мой смех, нарастающий в груди, выскочить наружу, но я его утопляю в улыбке.

– А знаете, давайте договоримся так: беседовать с вами не буду, сам знаю все проблемы города, что сделано благодаря вашим усилиям, энергии и что еще предстоит сделать, знаю, где сидит жулье-ворье, а где затерты и кем способные работники. Я напишу статью, потом сами что посчитаете нужным прибавите, убавите, в какой газете ее опубликовать решите сами. Сегодняшние журналюги мне не по душе.

– Эту тяжелую задачу оставьте мне, – на его лице вспыхивает хитрая и вместе с тем довольная улыбка. – Присаживайтесь к столу. Кунаки порадовали меня красным сухим вином. Домашним. Знаю, что вы не любитель спиртного, но по бокалу за встречу... сам Аллах велит.

Стол давно накрыт и ждет нас.

Мэр разливает вино в бокалы. Чокаемся. Желаем друг другу здоровья и успехов.

– Вино отменное, – говорю я. На самом деле подобного напитка днем с огнем не сыщешь.

– Что я вам говорил?

Выбираю из большого блюда гроздь черного винограда с крупными ягодами – «Молдову». Люблю закусывать солнечными ягодами. Вкусовое ощущение неповторимое.

– Мне нужно время. Неделя. Две. Должен настроиться, озаботиться, зарядиться. Не торопите.

– Время не торопит. Главное – вы знаете, как писать и о чем писать.

Мэр сопровождает меня до калитки.

Пожимаем друг другу руки.

Полицейские провожают меня удивленными взглядами.

15

Сон

И опять жесткая дорога. Но уже нет изнурительной жары, если не считать тепла, источаемого мотором, и в открытый люк вливается предвечерняя прохлада.

– Это все вы натворили-нагородили, – слова Джозефа обращены ко мне.

– Не больше, чем вы.

– Йес, йес, у вас есть интересная пословица: в своем глазу щепку не видят, а в чужом бревно видят, – продолжает Джозеф.

Я смеюсь, Альдо и Жан-Поль удивленно глядят на меня и вдруг заразительно хохочут.

– Было бы хорошо, если бы так... – отвечаю с улыбкой.

– Да, бамбино, Аслан был бы в выигрыше, – произносит Альдо.

– Позволь тебя поправить, коллега, – обращаюсь к Джозефу. – Поговорка гласит так: в чужом глазу щепку видят, а в своем бревна не замечают.

Джозеф задумывается, хлопает себя по лбу:

– Йес, как же я мог перепутать...

– Поставил с ног на голову, – произносит Жан-Поль. – Благодари Аслана, что он внес ясность в твои познания в области русской народной мудрости.

– Йес, да такое возможно стало только при Горби... Он сумел-таки стереть грязный эпитет, который приклеили вашей стране – «Империя зла». Горби смелый человек.

– Нерешительный, – подает голос Альдо.

– Почему ты так думаешь? – удивляется Джозеф.

– Мама мия, как будто ты не знаешь... Даже его сторонники высказывались, что он опаздывает... опаздывает принимать решения. Что ему мешало дать суверенитет Литве? Хотя бы экономический, как тогда выражались красиво – региональный хозрасчет. Надо было обязательно рисоваться что ли? Позже ведь Россия приняла закон о суверенитете. А почему

он испугался Литвы? Потом митинги оппозиции на Украине, в Молдове, Грузии...

– Нет, мон ами, мне кажется, на него оказывал давление Лигачев, он не давал Горби развернуться, ты же помнишь этого мужика, Альдо...

– Еще как помню. Проводили конгресс аграрников, или как его еще называл – совещание, в Астрахани. Мама мия, он учил крестьян, как надо хранить и перерабатывать овощи и фрукты... – Альдо звонко хлопает ладонями по коленям: – Мама мия, крестьян, которые всю свою жизнь что и знали, так это как выращивать, хранить и перерабатывать овощи и фрукты. Ну и что, в стране стало больше их? Даже резко уменьшилось. Крестьяне выращивали, а убирать некому и нечем... Лигачев – это одиозная личность, оставшаяся в наследство от Брежнева. Гнойный аппендикс...

– И этот гнойный аппендикс консерваторов в семьдесят лет рвался к власти, – задумчиво произносит Жан-Поль. – И опять был бы тоталитаризм, опять великое противостояние...

– Я думаю, все-таки вначале Горбачев ему уступал, не хотел сталкиваться лбами, чтобы не расколоть партию. Политбюро-то состояло из стариков. Кого они поддержат, реформатора, который неизвестно куда ведет, или крутого партаппаратчика, который не свернет с проторенного, хотя и разбитого и ухабистого пути? Из-за Лигачева, его козней Горбачев потерял Ельцина...

– Верно говоришь, Аслан, очень верно...

– Но все же Горбачев оказался мудрее и хитрее. На съезде российских коммунистов он усыпил консерваторов, позволил их лидеру Полозкову стать секретарем, правда, проявив и некоторую робость перед ними, но зато на съезде коммунистов Союза дал им хороший отпор, и прокатили Лигачева, как тот ни пыжился и не завоевывал аплодисменты громкими, но пустыми демагогическими речами. Мне кажется, этот съезд должен стать историческим.

– Значит, ты согласен с пословицей? – обращается ко мне Джозеф.

– Коллега, как я могу пренебрегать народной мудростью?

– Жан-Поль, бамбино, как мне показалось, ты крупный знаток революций и их итогов. – Альдо замолкает. – Пардон, мы ведем речь не о революции, а о реформации. А специалист по реформаторскому движению у нас Джозеф. Итак, твое мнение о будущем Союза?

– Будущее Союза – многопартийная парламентская республика.

– Ты согласен с таким прогнозом, Аслан? – обращается ко мне Альдо.

– Отчего же нет?

– Если на пути не встанут приспешники Лигачева, – добавляет Жан-Поль.

– Ничего страшного. Просто процесс несколько затянется.

– Итак, будущее наше начертано. Давайте отдыхать, – говорю я устало. – Дорога меня разморила.

– Не будь Сахарова, не было бы и Горби, – говорит Джозеф.

– Ты так думаешь? – иронизирует Жан-Поль.

– Убежден. Сахарова гноил Лигачев, а идеи Сахарова вскормили Горби.

– Послушайте, коллеги, мы, кажется, в городе, – Альдо высовывается из люка. – Неужели Джелалабад?

И верно: вскоре колонна останавливается.

Нас размещают в восстановленной половине разрушенного отеля. Вестибюль отделан белым мрамором и искрится от электрического света. Поднимаемся на третий этаж. Со мной располагается Альдо.

– Ты что предпочитаешь, ванну или душ? – обращается он ко мне, обследовав жилище.

– Душ.

– В таком случае беги первым. Я люблю понежиться.

Приняв контрастный душ, я подхожу к окну. Полуосвещенные улицы патрулируют вооруженные

группы воинов и царандои[1]. Город засыпает, дома и кварталы сковала тишина, но тишина эта кажется мне тревожной, настораживающей. «Кто нас гнал сюда, – спрашиваю себя в который раз, – кто нам дал право разрушать многовековой уклад этого незнакомого нам народа? По какому праву мы посылаем в эту неведомую нам страну наших парней разрушать города, кишлаки, семьи и самим погибать? Кто нам дал такое право? Дряхлеющие руководители? А кто попустительствовал этим трем-четырем руководителям? Оскудевший ум и убаюканный обещаниями о светлом дне, оглушенный парадными речами, одураченный маршами и сводками народ?»

Из ванной, фыркая и вздыхая от удовольствия, выходит Альдо. Его большое тучное тело обмотано банным полотенцем, волосы растрепаны, крупное влажное лицо разрумянилось: он напоминает древнеримского консула, если не цезаря.

– Бережешь себя для будущего...

– Мама мия, нам всем скоро полвека, – говорит Альдо, уловив в моей реплике насмешку. – Не могу же я в пятьдесят лет быть как спагетти. Ты что думаешь, Жан-Поль стройнее меня? Он же... Он же настоящий шифоньер. Это ты только сумел сохраниться. Скажи мне, ты и сейчас занимаешься своими упражнениями?

– Я не иронизирую, Альдо...

– А я просто так... Поговорить-то надо о чем-то, кроме политики. Сколько лет мы знакомы? С тобой не так долго, а вот с Жан-Полем и Джозефом много. Я ведь долго живу в Москве, и в те молодые годы они уже были в теле. На гимнастику времени не хватало, приходилось постоянно летать, плыть, ездить. Журналиста, бамбино, ноги кормят. И у вас так говорят.

– Вас кормят несравнимо лучше, чем нас.

– Мама мия, зато тебя никто не выгонит, твою газету не купят, ты как у бога за пазухой: хочешь – выступаешь с разоблачением, хочешь – с похвалой,

---

[1] *Царандои* – милиция.

хочешь – едешь за сенсацией на край земли, хочешь – в соседний район... У нас надо гореть. Вон Жан-Полю платят пятнадцать тысяч франков в месяц, потому и гоняют по миру.

– За такие деньги и мы были бы не прочь...

– Ты думаешь, мы что-то имеем за душой? – Альдо не слушает меня. – Ни гроша, как говорят у вас. Но мы стараемся иметь свой дом, свою машину. Вас, извини меня, если я буду резок и категоричен, деградировал казарменный социализм, установив минимум и уравняв во всем: если зарплату – небольшую, если квартиру – небольшую, если садовый участок – с утиный нос. Ну, а если ты чувствуешь в себе силу, талант, хочешь взяться за дело... Э, нет, бамбино, все должны быть уравнены. И в способностях, и в таланте, и в оплате труда. Вот я живу в капиталистической стране. За свою статью, если она получает общественный резонанс, могу купить «Фиат».

– А я – итальянские ботинки.

Альдо тупо смотрит на меня и вдруг заливается хохотом. Успокоившись, продолжает:

– Молодец, Аслан, ты понял меня и согласен. У вас всех заставляют работать одинаково. Мама мия, ты получаешь такую же зарплату, что и шофер автобуса. Это нонсенс, бамбино, понимаешь, нонсенс. Твой аналитический ум приравнивается к уму ресторанного извозчика, который управляет уже собранной кем-то умным машиной. Так не должно быть.

– Ты сгущаешь краски, Альдо.

– Может быть. Конечно, пробиваются умы, живут, скажем достойно, но их сотня, ну тысяча, а многомилионная масса молчит, не ропщет, не предъявляет свои права. Ей не привыкать. А ваши газеты... Было время, они представляли мою страну чуть ли не чудовищем: Италия – страна мафиози. Мафия пролезла, внедрилась в парламент, в полицию, чуть ли не под тещину юбку. У вас нет мафии? Ха-ха. С вашей мафией сложней справиться, чем с сицилийской. А коррупция? Она у вас берет начало в ЖЭКе, в богом забытой конторе и ползет в министерства и комитеты.

Ты не глупее меня, бамбино, все ты понимаешь, но бессилен, что-то сделать в своем мире. Впрочем, как и я сам. Живем не так, как хотели бы. Предел желаний – квартира или домик, отпуск, проведенный подальше от семьи... Тьфу.

Альдо бросает полотенце в кресло, ложится на кровать, которая принимает его тело с тяжким стоном и заметно проваливается, накрывается простыней:

– В другое время ты на меня с кулаками бросился бы на защиту своего социализма. Дай-то бог, чтобы вам удался новый, как вы его называете, вернее, ваш Горби – демократический гуманный строй.

Спустя минуту Альдо сопит.

16

Не понимаю, почему на Арбате сегодня многолюдно? Такого скопления людей я здесь не видел, по крайней мере, при мне не было.

– Толик, что происходит?

Толик покидает свою территорию, не сводит глаз со своих картин.

– Ты что же, афиши не читаешь, газеты не листаешь? Экономический форум, – со значительным смыслом произносит он последние два слова. – Форум проходит у нас.

– Теперь понял, кому или чему мы обязаны за столь шумное многоголосье и разноголосье.

Толик не отрывает глаз от моего полотна.

– Великоват размер. Сто двадцать на восемьдесят, – говорю ему.

– Что ты сказал? – он продолжает смотреть, глубоко задумавшись.

– Боюсь, что не найду покупателя. Ему нужно такое, отчего комната или галерея светилась бы, что радовало, восхищало. Моя картина их желания не оправдывает.

Я сегодня выставил «Биржу». Кто решится в своей гостиной повесить это полотно и постоянно ловить взгляды богом забытых людей?

Толик выдавливает наконец из себя скупо:

– Да-а-а...

– Вот и ты меня понял.

– Да-а-а, – снова растягивает коротенькое слово Толик. – Ты, дурашка, гигант. Гляди, не продешеви, как и в прошлый раз.

– Шутишь? Мне бы сбыть за сколько угодно.

– Послушай, самоучка, богом разбуженный... Твою картину поймут и признают через десяток лет, а может, когда нас уже не будет. Коллеги по цеху как оценили?

– Долго глядели, пошептались, некоторые пожали руки и отошли.

– А ты хотел, чтобы признали в тебе гиганта? Они все знают, что ты самоучка, эти дипломированные деятели. – Он ухмыльнулся. – Ты слышал, что я сказал? Не продешеви.

Мимо проходят молодые и пожилые, ценители и просто любители, любопытные и зеваки. У тротуара останавливается комфортабельный туристический автобус, пассажиры, разминаясь и весело переговариваясь, сходят на твердую землю, оглядываются, с интересом и удивлением смотрят в нашу сторону и, что-то спросив у гида, направляются в нашу сторону. Разглядывая картины, шумно обсуждая их, проходят до конца уличной галереи, возвращаются и вновь начинают обход. Чего ищут? Не понимаю. Не нравится, не по вкусу – пройди к автобусу и жди спутников.

У моего полотна останавливается пожилая пара: ему лет около семидесяти, ей должно быть около шестидесяти, но благодаря хорошей косметике выглядит намного моложе. Он ей что-то объясняет, указывая на полотно (говорят по-французски), потом подзывает гида. Гид, молодая женщина, выслушивает его и обращается ко мне:

– Мсье Жерар интересуется, вы автор картины?

– Спросите мсье Жерара, он говорит по-английски? – прошу ее.

– Ну конечно же, они все говорят на нескольких языках, – с удивлением произносит гид.

– В таком случае освобождаю вас от утомительной работы. Я говорю по-английски.

Мой английский супружескую чету приятно удивляет, завязывается беседа. Мы знакомимся. Они живут в Париже, в самом центре.

– Чем же вас прельстил Дагестан? – спрашиваю Жерара.

– Как вы считаете, Александру Дюма можно было ходить по земле Кавказа, а мне нет? – Жерар смеется. Этот большой синеглазый француз какой-то уютный, семейный. – Правда, ему было нелегко путешествовать, сегодня гораздо легче: к услугам – самолет, автобус.

– Скажите честно, вам понравилось у нас?

– Честно? – синие глаза его с улыбкой смотрят на меня. – Ваши люди очень похожи на наших южан – такие же общительные, веселые, открытые, гостеприимные. Теплые у вас люди, душой теплые. Если говорить об истории, памятниках старины – мы с супругой побывали во многих странах, каждая богата своим прошлым. А что нам понравилось у вас, так это жить у местного населения. У горцев. Мы спали в их кунацкой. Они кормили нас своими блюдами, тем, что ели сами. Мы сидели со старейшинами на годекане. Мы гуляли по альпийским лугам. Все это было восхитительно. Это непередаваемо. А вы, случаем, не бывали у нас?

– Бывал. И в Тулузе, и в Альби, и в Каоре, и в Каркасоне... – Я с улыбкой смотрю, как брови его поднимаются все выше и выше – и в Монтебане, и в Монпелье. Знаете, на юге меня все звали «Эспаньол»...

– Да, да, – перебивает Жерар меня, – вы очень похожи на испанца. Я сразу заметил и хотел даже спросить...

– А в Париже жил на Рю де Моску.

– О ля, ля, – восклицает Жерар, – вы украсили сегодня мой день, вы обогатили его.

– Да будет... Я часто гулял по улице Риволи, по бульвару Осман, Мадлен, Елисейским полям, тамже,

в кинотеатре смотрел нашумевший фильм «Эммануэль»...

– О-о-о, это в какие годы... – в голосе его пробуждаются ностальгические нотки.

– Да, мон ами, то были наши лучшие годы, – говорю я.

Жерар расчувствовался. Он обнимает меня и... целует в лоб.

– Мон ами, я живу в центре Парижа, на бульваре Осман. – Он протягивает мне красивую визитную карточку. – Мой адрес, телефоны. Будете в Париже, – обязательно посетите меня. Познакомитесь с моей коллекцией живописи, скульптуры малой формы.

Я слушаю его, а в голове бьется, мечется вопрос, который я всеми силами пытаюсь заглушить. Но он прорывается в слове:

– Вы знаете, Жерар, я как-то зашел в ковровый магазин на бульваре Осман, и был приятно удивлен, – спазм в горле не дает мне говорить. Я откашливаюсь несколько раз и продолжаю. – Там увидел своих земляков.

Ну не скажу же я случайному человеку, с которым познакомился десять минут назад, что владельцы магазина мои дядя и двоюродный брат.

– Тот магазин еще... – мне трудно говорить, – существует?

– Да, мон шер, тот магазин процветает, я и старого хозяина, и молодого хорошо знаю. Даже очень хорошо. Только у него покупаю ковры.

«Дядя и брат. А ведь могли бы выкупить меня из плена. Что им мешало? Уверен, что моджахеды дошли и до них, сообщили о моем пленении. Назвали сумму выкупа. Не было требуемой суммы? А может, просто отмахнулись от меня, вычеркнули из своей родословной? И отказались признать? А могли ведь. Разные страны. Разные сословия. Выпавший фрукт из катившегося по разбитой дороге фаэтона...»

– Мон ами, вы, оказывается, романтик, парите где-то в облаках. – Жерар с улыбкой смотрит мне в глаза. – Размечтались? Что-то вспомнили?

– Да.

– Что-то хорошее?

– Можно сказать, что да.

– Наши уже собираются, некоторые и покупки сделали, а мы с вами – ля-ля-ля-ля, – он заливается веселым смехом. – А знаете, мне ваша работа нравится.

– Мне говорят, что она тоску навевает.

– Так пусть покупают натюрморты, живописную мазню. А тоска... Она заставляет человека думать о тяготах жизни, о бренности мира. Ее сегодня не поймут. Не хотят понять. Философия человеческого бытия осмысливается не сразу. Нужно время. Эту картину поймут позже. Мон ами, дал бы я вам за нее десять тысяч, но нам ничего не останется, а на земле Кавказа еще три дня жить. За пять тысяч согласны?

– Пять тысяч! – меня словно обухом стукнуло по голове.

– Ну, так и быть, шесть тысяч евро. По рукам?

Казалось, секунду назад я готов был рухнуть, и вдруг обрел крылья: шесть тысяч евро... Так я что-то значу в этом мире? Иначе Жерар такие деньги не выбросил бы в каком-то кавказском городе какому-то кавказскому художнику.

Жерар открывает барсетку, достает тугую пачку ассигнаций, отсчитывает названную сумму, мы вместе аккуратно укладываем картину в небольшую полотняную сумку (их у меня много, самых разных размеров), и осторожно заносим в автобус.

– Мон ами, решитесь, наконец, приехать в Париж. Я вполне серьезно приглашаю вас. Там вас ждет много хороших сюжетов.

– А знаете, я подумаю.

«Почему бы не поехать. Наведаюсь к дяде и брату. Больше у меня никого и нет. Предали? Забыли? Отреклись? Но почему? За что? Может, кто-то что-то наговорил? Надо выяснить. Надо поехать».

– Я подумаю, Жерар. Наверное, приеду.

– И свою работу увидите в моей коллекции.

«Где он служит, каким образом сумел собрать свою частную коллекцию, почему увлекается именно живописью», – вопросы остаются открытыми. Времени нет продолжить разговор, а в том, что он удовлетворил бы мое любопытство, я не сомневаюсь.

Мы пожимаем друг другу руки. Дверь закрывается, автобус неслышно отходит.

– Добрый день, мастер.

Знакомый голос. Оборачиваюсь. Ну, конечно, Наргиз. Только она может быть обладательницей такого красивого певучего голоса. Рядом улыбающийся муж.

– Добрый, – отвечаю и поневоле сам улыбаюсь. И ведь на самом деле день выдался удачным.

– Им понравилась ваша картина? – удивляется она.

– Это им знать. Надо было спросить у них.

– Любимая моя, если бы не понравилась, такие деньги не заплатили бы, – говорит ей муж по-азербайджански и вдруг начинает краснеть (он, очевидно, вспомнил, что я знаю язык).

– Так чем я могу вам помочь?

– Много дней мы сюда приходим, а вас нет. Мы с дорогим мужем решили сделать вам заказ. Вы заказы принимаете?

– Почему бы и нет?

– Вот меня нарисуйте одну на фоне какого-нибудь красивого уголка Парижа, на ваше усмотрение и вкус, а вместе с мужем на фоне Нотр-Дам де Пари. Вы, как я поняла из разговора, в Париже были.

«Вот чертовка, – улыбаюсь я про себя. – Подслушала наш с Жераром разговор».

– И вы, поскольку я понял, побывали. И английским владеете?

– Да, – кокетливо водит она глазами. – Когда-то преподавала. И когда же вы с нас сделаете рисунки, или, как говорят художники, наброски, фрагменты? Приходите к нам домой, у нас тихо, уютно, никто не будет мешать.

– Я не любитель ходить по домам. Вы передайте ваши с мужем фотографии Симе, а она через Тиму уже передаст мне.

– Симе? – протяжно произносит она.

– Ну да, Симе, двоюродной сестре.

– А-а-а, Симзар, хорошо, сегодня же отвезем.

Они уезжают на своем черном «Ленд Крузере». А я направляюсь домой пешком.

Есть время одному поразмышлять о бренности мира.

17

Сон

Просыпаюсь от щемящего чувства беспокойства: всю ночь, во сне, ощущал присутствие рядом невидимого, осторожного существа. Открываю глаза: у окна стоит человек. Интуитивно зарываюсь головой в подушку, что-то во мне безголосо вопит: «Не-е-е-т». Несколько секунд пытаюсь побороть сковывающий меня страх, наконец, резко сажусь на кровати:

– Кто там? Что ты здесь делаешь?

– Бамбино, что с тобой? – от окна поворачивается изумленный Альдо. – Мама мия, ты весь в поту. – Он подходит ко мне, заглядывает в глаза. – Не заболел ли малярией?

– Снилось что-то дурное, – я устало опрокидываюсь на подушку.

– А я час хожу по комнате. Дурная голова ногам покоя не дает, так, кажется, у вас говорят.

За окном светает. На скорости проносится машина.

– Патруль проехал, – констатирует Альдо, он смотрит на улицу, скрестив на груди полные руки и широко раздвинув ноги.

– Патриций, да и только, – шепчу я с усмешкой.

К моему удивлению, он расслышал.

– Тебе, бамбино, я благодарен, с легкой руки этого негодника, холодного Джо, все за спиной меня ма-

каронником называют. Ну разве я похож на макарону? Я больше смахиваю на хозяина пиццерии или на патриция, как ты вымолвил боязлив...

Альдо тихо смеется.

– Послушай, пойдем-ка пройдемся по просыпающемуся городу, что может быть чище и свежее утра? Познакомимся с людьми... Мы же с тобой журналисты, бамбино, наше место там, – приняв гордую осанку, он тычет пальцем в сторону улицы, – а не здесь, – палец упирается в кровать.

– Ты меня убедил своей позой и красноречием, Альдо, – я вскакиваю с постели.

Портье удивленно смотрит на нас заспанными глазами, тихо обращается к царандою, расположившемуся в кресле рядом с ним, тот бросает ощупывающий взгляд в нашу сторону и отмахивается.

Улица окутывает нас холодом, воздух чист, колюч, покалывает в ноздрях. Мы быстро идем по узким тротуарам, выложенным горным камнем, вдоль высоких заборов и мрачных домов. Город еще спит. Лавки и чайные наглухо закрыты. На небольшой улочке по обилию дверей догадываемся, что это торговый ряд. Нас останавливает наряд царандоев. Один из них, плечистый, с густыми усами, обращается к нам. Слова мне не понятны. Мы достаем из нагрудных карманов удостоверения. Он просматривает их – вижу по глазам, что ничего не понимает, переводит взгляд с наших лиц на фотокарточки, возвращает удостоверения и указывает рукой на дорогу: вперед можете идти, мол.

– Пиноккио, – бросает через плечо Альдо, стуча каблуками по тротуару.

– Что? – не понимаю я.

– Бревно. При таком страже, выражаясь вашим термином, не один душман проникнет в город.

– Так он и пропустит их. Он узнал, что ты репортер. Известный репортер Альдо Карлуччи.

Альдо останавливается, внимательно изучающе смотрит мне в лицо:

– Мама мия, откуда он знает меня? Ну, допустим, кое-как, с помощью Аллаха, разобрал фамилию, и о чем она ему говорит? Он же никогда не держал в руках итальянскую газету. Как он мог узнать меня? По носу?

– По шортам, бамбино.

– По че-му?

– По шортам. Такие просторные шорты носит только Альдо Карлуччи, уроженец Палермо, родины мафии...

Над улицей долго не умолкает хохот Альдо.

Густое синее небо на востоке становится пурпурным, когда мы оказываемся на окраине города. На небольшой площади внимание Альдо приковывает открытая дверь в каменном доме. Мы переглядываемся и не сговариваясь входим. Чернобородый мужчина средних лет моет самовар. Увидев нас, он вздрагивает, потом жестко что-то спрашивает: ни одного знакомого слова. Альдо показывает рукой на самовар, потом на губы:

– Пить, чай, чай, теа, теа, бревно поганое.

Мужчина мотает головой, отворачивается, продолжая работу.

– Никуда отсюда не пойду, – говорит Альдо, опускаясь на тротуар. – Чаю хочу. Пока не выпью чаю, никуда...

Из комнаты выглядывает мужчина средних лет, смотрит на нас с любопытством, исчезает. Вслед за ним высовывается другой, неопределенного возраста: взгляд у него цепкий, оценивающий, как у купца.

– Пойдем-ка отсюда, Альдо, подобру-поздорову.

– Пока не выпью чаю, никуда, – упрямится Альдо. – Знаешь, почему я не спал всю ночь? Не догадываешься, бамбино? Так вот знай: чаю хотел.

На улицу выходит мужчина, чистивший самовар. Он бросает взгляд в одну сторону улицы, в другую, потом кивает нам головой и рукой приглашает в дом. Альдо резво встает с тротуара, мы следуем за бородатым. Он проводит нас через темную комнату во двор. Под фруктовыми деревьями у небольшого бассейна

разложены паласы и небольшие подушки. Бородатый рукой приглашает нас садиться на подушки, расстилает белоснежную скатерть, выносит в красивых блюдах и вазах сладости и наконец фарфоровый чайник с чаем. Запах чая заставляет нас забыть все треволнения холодного утра.

– Хотя эти физиономии мне не очень и нравятся, но чай чудесный, – говорит Альдо, поднося к губам уже второй хрустальный стаканчик. – Азия есть Азия: мрачная, замкнутая, нелюдимая.

– Я тоже азиат.

– Ты цивилизованная Азия, бамбино, а они – феодальная, темная...

– Какого же черта ты шел сюда, если чувствовал к ним нерасположение, – взрываюсь вдруг я. – Приключений захотелось на старости лет? Какой ты к черту патриций, макаронник ты несчастный, оболтус.

– Что ты говоришь, бамбино? – Альдо вытягивает ноги и подсовывает под локоть подушки. – Разморило, чудесный чай...

– Ты вспомни взгляд третьего, вспомни, пиноккио...

Альдо хохочет.

– Взгляд купца... Оценивающий взгляд... – Верно прозвал тебя Джозеф макаронником. А теперь и я скажу кто ты: лапша ты, Альдо, хоть и родился на Сицилии.

Не хочется говорить. Слова выговариваются медленно, словно в растяжку. По телу ползет вязкое тепло покоя. Мрачные мысли, пытавшиеся было разбудить мозг, рассеиваются, исчезают. Я подтягиваю под себя подушки и укладываюсь, как Альдо.

Надо мной, на ветвях дерева, свисают огромные плоды айвы. Неведомо откуда ползущий белый туман заслоняет их и подступает к глазам...

18

Надо мной, по белой полосе, мечется скорпион, угрожая хвостом.

Меня покачивает, уносит стремительно в бесконечную темноту и возвращает обратно, а белая полоса

на прежнем месте и по ней мечется все тот же скорпион с поднятым хвостом.

Сплю беспокойно. Просыпаюсь внезапно за полночь. Открываю глаза. Кажется, что вовсе не открывал. Кромешная тьма. Медленно привыкаю к ней, начинаю что-то различать. Вот проем двери на балкон. Там, за дверью, далеко-далеко светятся красные огоньки. Со спичечную головку. Догадываюсь, это сухогруз и танкеры в море.

После сумбурной ночи, вернее полуночи, голова, отяжелевшая и оглупевшая от потоков расплывчатых сновидений, теряет способность трезво соображать.

Протягиваю руку, осторожно ищу настольную лампу. Нащупываю. Включаю.

Вспыхивает свет. И тут же с молниеносной быстротой закрываются глаза. «Чего они испугались, – недоумеваю я. – Им ничто не угрожают: свет мягкий, лампочка не раскололась вдребезги, отчего они меня предохранили?»

Медленно открываю глаза. На потолке сидит скорпион, задрав, словно готовясь к нападению, хвост.

«Да какого черта ты опять появился», – кричу я, голос мечется где-то далеко в глубине души, выхватываю из-под головы подушку и резко бросаю в него. Он тут же исчезает. Но как только подушка падает на пол, он вновь появляется и грозит острым хвостом.

– Ах, зверюга, ах, тварь, ты отстанешь, наконец, от меня? – и вдруг осознаю, что я разговариваю с ним вслух.

Что-то со мной происходит. То ли сумбурные сны, то ли напряженная работа с красками, кистями, холстами начинают покушаться на мою психику. Я-то прекрасно знаю, что скорпион не слышит. И не видит. У него совершенно отсутствуют органы слуха и зрения. Но он остро чувствует любое колебание, малейший шорох...

Он зачастую вонзает жало и в себя.

Презрев жизнь, убивает себя, но переборов смерть, возвращается в жизнь.

Выключаю настольную лампу. Ночь черной ртутью заливает комнату.

Сна уже нет. В комнате два существа, две сущности – человек и тьма.

Спать. Спать. Чтобы утром проснуться с ясной головой, с желанием мыслить, творить, жить.

«Спать, – повторяю это короткое, неуклюжее слово, закрываю глаза. – Спать... Там, за закрытыми глазами, ночь, но какая-то не плотная, трепещущая, с мятущимися тенями и бликами.

Спать, спать...

Нет сна.

Кто-то или что-то, впрочем кто-то не может быть, потому что в хижине никого нет, осторожно поднимает меня и усаживает в постели. Из золоченого багета на меня пристально глядят улыбающиеся глаза. Я облегченно вздыхаю. Это мой ангел-хранитель. Мой ангел – женщина.

– Долго же ты меня не навещала. Забываешь, милый друг?

– Я тебя не навещала? – она смеется, смех у нее теплый такой, материнский. – Я постоянно с тобой, рядом днем и ночью. Это ты меня не призываешь к себе, видишь ли, весь в работе и заботах.

– Если и так, то только с твоим именем, постоянно слышу твой голос, твою волю.

– Я бы не сказала, – взгляд ее остывает. – Зазноба у тебя появилась, говоришь?

– Какая еще зазноба? – недоумеваю я.

Смех ангела остужает меня.

– Не дурачься, ты же умный мужчина. Назвать ее имя? – улыбается мой ангел.

– Будь добра, назови. Да нет у меня никакой женщины и не ищу я ее.

– Гульнара.

– Какая еще Гульнара? – недоумеваю я.

– Ее ты знаешь под именем Гуля.

«Гульнара, Гуля, – перебираю я в памяти, – Гуля, кто же это может быть».

– Бизнесвумен, – слышу голос ангела.

– Бизнесвумен, Гуля, а-а-а, бог ты мой. Ну какая же она мне зазноба, мне ли в моем возрасте играть в любовь и любовники? Ты меня огорчила.

– Ну так слушай меня серьезно. Это ты стал ее зазнобой. – Голос ангела становится строгим, чуть ли не суровым. – Как бы ты не схлестнулся с ее мужем.

– Да на черта он мне нужен? И она. Откуда мне его знать?

– Не горячись. Ты знаешь его. Ею он не любим и давно. Может, у вас все сложится. Не быть же тебе в вечном одиночестве. Нужно бывает перед кем-то и похвалиться, и исповедаться.

– Ну ты же знаешь, мой друг, что мне есть с кем советоваться, от кого выслушать наставления, перед кем исповедаться. Если его нет рядом, если не вижу, я мыслями всегда с ним. Это ты.

– Но ты не исповедуешься перед Богом.

– Нет. Только перед тобой.

– Но я ангел-хранитель, а ангелы – дети божьи и посланы оберегать вас, людей.

– Сегодня озвучено новое толкование по поводу ангелов. Многие ученые заявляют, что это инопланетяне, посланные к нам из других миров.

Ангел-хранитель заливается хохотом.

– Мне тоже хочется смеяться, – продолжаю я, когда она отирает ладонями слезы со щеки. – Но не смеюсь. Пока еще изучаю новую теорию...

– Углубленно изучай, – перебивает ангел-хранитель с насмешкой.

– Придется углубленно изучать. А что касается относительно Бога... Пойми меня правильно, милый друг, у каждого человека свой Бог. Не перебивай меня, пожалуйста. Сколько людей на земле – столько и Богов. Вслух об этом никто не говорит. Посчитают кощунством. Почему люди ходят в храмы – церкви, мечети, пагоды? Чтобы уйти от одиночества. Ведь человек – существо коллективное, он хорошо чувствует себя в обществе. В одиночестве ему тяжело существовать, ему пакостно, тоскливо, он чувствует себя потерянным, ненужным.

Я не кощунствую, не богохульствую. Я в поиске, как и многие, подобные мне. Ты ведь слышишь постоянно слова «Бог един». Стараются, пытаются убедить себя, что Бог един. И в то же время у каждого в душе свой Бог. Для кого-то это мать, для иного – отец, для другого – богатство. А кто-то сам создает себя. И живет по заветам, подаренным им древними мудрецами, по законам любви ко всему живому на земле, творению добра. Исповедует морали, пережившие века и сосуществующие с нами: одна – «не желай никому того, чего не желаешь себе», и другая – «не умирай, пока живешь».

Багет искрится золотым светом. Ангел-хранитель долго смотрит на меня. Взгляд ее спокоен.

– Сон еще не подступил к тебе? – спрашивает она.

О, бог мой... Такой резкий переход от разговора о высших материях к самому низменному – сну. От всемогущего к самому элементарному... Я повергнут. Повергнут ли? А может, ангел позволяет мне жить в своем мире, может, он видит в нем желание человека идти своей дорогой, параллельной с утвержденным постулатом... Бог в душе у каждого человека. Бог добра, бог любви...

– Я знаю, почему тебе не спалось... Тебя захлестнуло вдруг желание игры, и ты не знаешь, как быть. Играй.

Слышу тихий спокойный смех.

– Погоди, откуда тебе знать? – удивляюсь я и тут же осознаю, что говорю глупость.

Опять смех.

– Дурашка ты и есть дурашка, как называет тебя Толик. Я ведь твой ангел-хранитель. Играешь, так играй. А теперь спи.

Багет мгновенно исчезает.

Меня накрывает тьма.

19

– Ас, спускайся.

Голос Савы громкий, требовательный.

– Выходи, серый волк, – это уже требует Рома.

Какого дьявола я согласился писать портрет Наргиз на фоне парижского уголка? Позарился на деньги? Вот старый дурак. Никогда не гнался за рублем, не брался за халтуру. Как я мог согласиться? Искушение дьявола? А почему бы и нет?

Я спускаюсь в ванную, оттираю краски с рук, принимаю душ и уже умиротворенный выхожу во двор. Мои соседи сидят в беседке. На столе стоит двухлитровый балон вина и большущий сухой кутум. Сава успел вынести из кухни бокалы для пива.

– Как пишется? – спрашивает Тима.

– Баста. Завершил.

– Что же не покажешь? – удивляется он. – Или наше мнение уже не в счет?

– Да какое мнение? Разорвал холсты и выбросил. К черту ее заказ. Халтура.

Три пары глаз впиваются в меня.

– Халтура? – произносит Сава. – Ты же еще не нарисовал. А то поглядели бы, порешили бы...

– Чего глядеть? Душа не велит, понимаешь, душа мертва. Поэтому и халтура.

– Ему деньги не нужны, – усмехается Рома. – Вот потаскал бы кирпичи... На стройке душу не слышишь – ноги отнимаются, рука уже не держит, а надо таскать, надо поднимать, иначе не заработаешь. Не о душе думы, о заработке.

– Нет, пацаны, я думаю по-другому, по-своему: если душа спит, – не твори. Халтура губит творчество.

– Он прав, пацаны. Кирпичи таскать и он пойдет, если нужда заставит, а творить против воли души невозможно, – поддерживает меня Тима, но тут же спрашивает: – А как вы объясните свой отказ заказчику?

– А что тут объяснять? Неужели так сложно? Скажу, что не сумел. Не справился.

Сава разливает в бокалы вино, тем временем Рома нарезает кутума.

Поднимаем бокалы. Вино сухое, отменное. Кутум еще отменнее. Давно не ел такую вкусную рыбу.

– А теперь признайтесь, только честно, – говорит Тима, пристально глядя мне в лицо, – ее портрет написать сумели бы?

– Портрет – да. Портрет сумел бы. Да и удовольствие получил бы. Она броская, красивая женщина. Есть в ней что-то такое загадочное, непознанное мужем. Портрет можно. Но на фоне Парижа... Это просто ширпотреб.

Сава наполняет бокалы, ни на кого не глядя произносит:

– Такого пацана я слишком уважаю. Да, слишком. У него своя позиция. Твердая. Вот сегодня прочитал твое интервью с мэром города. Как ты из него выуживаешь ответы на такие вопросы, которые никто другой не сумел бы вытянуть?

– Мужики, у нас в главке с утра была беготня: носились с газетами, удивленно шептались – мэр вскрывает недостатки в работе, признает ошибки, ставит новые задачи, обещает вышвырнуть из кабинетов взяточников, лгунов и лизоблюдов... И что удивительно, фамилии приводит. – Тима с хитринкой смотрит мне в глаза. – Все так и было? В разговоре?

– Неужели ты думаешь, что я придумал все? И проблемы? И недостатки в руководстве? И фамилии? Ведь это фамилии существующих людей, – улыбаюсь я в ответ на его взгляд. Хитер парень. И умен. Он-то хорошо должен знать мэра. – Представь, если все сказанное было бы вымыслом или подрывало его авторитет, – выбросил бы в мусорную корзину. В газету для публикации отправил он, а не я.

– Почему он? – вопрос задают одновременно все трое.

– Потому что с сегодняшними журналюгами я не дружу.

– И сколько ты заработал? Денег. – Больная тема Ромы.

Тима и Сава бросают на него осуждающие взгляды.

– За копеечным гонораром я и не собираюсь идти в редакцию. А мэр уже заплатил.

Три пары глаз впиваются в меня.

– Участок земли, на котором мы сидим.

День угасает. Над нами шелестит листвой мой маленький фруктовый сад. Вдоль забора виноградные гроздья наливаются соком.

Мои соседи покидают меня, когда в окнах домов зажигаются огни. Гостей важно и степенно провожает Черный.

До позднего вечера сижу на балконе. Во дворе веселится детвора. С берега моря после вечернего мациона возвращаются в свои квартиры жители близлежащих домов. Я захожу в комнату, когда тишину оглашает музыка мобильного телефона. Прикладываю к уху. Говорит мэр. Благодарит за интервью. Сообщает, что с утра беспрерывно звонили и поздравляли, восхищались смелостью, откровенным разговором, принципиальностью. И друзья, и недруги. Кто друг, а кто недруг – он прекрасно знает. И завершая короткий разговор, произносит: – В любое время дня и ночи, если нужна будет моя помощь, звоните. Любая помощь. Я в долгу.

А мне не нужна никакая помощь.

Как назло.

Может быть, пока не нужна?

20

Сон

Я тяжело открываю веки. Они медленно закрываются. Я снова делаю над собой усилие, и снова они не подчиняются ни желанию моему, ни воле. И только промозглый холод, пробегающий по спине леденящей ящерицей, заставляет наконец открыть глаза.

«Где я? Что произошло? Где айвовое дерево, под которым я сидел? Затмение? Неужели затмение солнца? Постепенно глаза привыкают к темноте. Рядом со мной лежит чье-то большое тело. Меня сковывает страх, но не надолго. Тело шевелится. Вдруг кто-то шепчет на странном языке. На странном? Нет. Это итальянский язык».

– Кто здесь? – вскрикиваю я.

– Мама мия, это ты? Ты тоже проснулся, бамбино?

Странная радость охватывает все мое существо:

– Ты, Альдо? Это ты?

– Я, бамбино, я...

Оглядываю место, в котором находимся. Сырые каменные стены, земляной пол. Окон нет. Альдо встает, осторожно двигается, вытянув вперед руку:

– Должна же быть здесь дверь, – произносит он. – Даже в пещере бывает выход.

– Здесь хуже, чем в пещере. Ты не догадываешься, что произошло? Я все понял.

– Должен же просочиться сюда луч света, – не слушает меня Альдо. Вдруг он разбегается и бросает свое большое тело в темноту. Раздается глухой удар: крепкая дверь не поддается. Альдо зло и яростно выкрикивает итальянские слова, барабанит кулаками по двери. Снаружи – ни звука.

– Ну хотя бы луч света, – устало произносит он.

– А если там ночь?

Альдо присаживается ко мне, прислоняется к моему плечу:

– Ты понял, что с нами произошло? От отчаяния я готов землю грызть, волком выть... Ну ответь мне, знаешь, что с нами произошло? И ни выползти из своего склепа, ни вылететь. О, Святой Серафимо, что я натворил, какой злой дух завел меня в проклятый двор попить чашку проклятого чая? Кто мог знать, что в этой стране на каждом шагу подстерегает зло?

– Не причитай. То, что случилось, должно было случиться.

– Почему так думаешь? Ты знал о том?

– Думаю, начертано в нашей книге судьбы.

– Ты веришь в судьбу, бамбино?

Не услышав ответа, Альдо долго молчит, потом тихо, с болью в голосе, произносит:

– Думаешь, я за себя боюсь? Я за тебя боюсь, бамбино. Я итальянец, они с нами не враждуют, а ты из Союза, кровный их враг.

– Не расстреляют же они меня. Война уже кончилась, да я и не был солдатом.

– Война, бамбино, кончилась ваша, а между ними продолжается. И войну между ними затеяли вы, они это понимают, не глупые... Вот и боюсь за тебя.

– Не бойся. Я ведь не боюсь.

– Может, и не боишься, а мозги твои напряжены.

– Тут ты прав, Альдо.

Неожиданно открывается дверь. Луч от фонарика нервно мечется в темноте, находит меня, потом Альдо. По шагам догадываюсь: входят несколько человек.

– На каком языке вы говорите? – спрашивает хриплый голос по-английски.

– Можем на английском, – отвечает Альдо.

– Ты сам откуда?

– Итальянец я.

– А ты? – хриплый голос обращается ко мне.

– Из Союза.

– Шурави[1]?

Вошедшие о чем-то тихо переговариваются. Ловлю себя на том, что прислушиваюсь к их разговору: их речь пересыпана словами из знакомых мне языков – тюркского и фарси.

– За русского можно получить хорошие деньги, если переправить за кордон, – произносит хриплый голос.

– За кордон опасно, – говорит другой, – отдадим моджахедам.

– Нет, только не им, они платят мало.

– Пусть помучается, – говорит хриплый голос.

– Не будь зверем, посмотри на него, он не молодой, не воевал на твоей земле.

– Мог сын воевать, пусть помучается, испытает то, что испытывают мои братья. Иди завяжи им руки и глаза.

Нас выводят из склепа. Глубоко вдыхаю холодный чистый воздух. Он придает мне силы.

– Не надо завязывать, – говорю я на фарси. – Куда мы убежим в такую ночь?

---

[1] *Шурави* – так в Афганистане называют русских.

Наступает пауза.

– Откуда ты знаешь язык? – спрашивает хриплый голос.

– Это мой язык.

– Какой дьявол привел тебя к нам?

– Как тебе объяснить... Не поймешь...

– Ну конечно, мы дикие люди...

– Мы приехали в Кабул, на конференцию журналистов. Одну группу, в которой я, отправили на юг...

– Чтобы вы своими глазами увидели, как мы живем?

– Так.

– Вот и увидишь, как мы живем. Уважим твою просьбу: не будем завязывать глаза. Садись в машину со своим итальяно. Но смотрите, без крика...

В непроглядной тьме вижу очертания крытой грузовой машины. Нас подводят к ней, подталкивают в кузов, трое садятся напротив нас с Альдо, опустив между колен карабины.

Страха нет.

Что меня удивительно поражает – в душе не испытываю никакого страха. Чем объяснить такое состояние – не могу понять. Даже не испытываю тревогу за свою судьбу. Почему? Как могло случиться, что я безразличен к своей жизни, не ищу спасительных путей, выходов, вариантов, не пытаюсь, да даже не думаю вступать в переговоры с сидящими напротив бородачами, просить их о пощаде или обещать хороший выкуп, или напугать отмщением... Я ни-че-го не предпринимаю. Может, устал от жизни? Все лучшее видано, все хорошее уже сделано, молодые силы уже отданы. Я пытаюсь стряхнуть с себя это страшное безразличие, напугать себя: убьют, пристрелят как собаку. Но другой голос, во мне, возражает: «А зачем им тебя убивать, ты по их земле с автоматом не ходил. Но ведь юные ходили, двадцатилетние ходили? – возражаю я. Вот их и убивали, – отвечает голос, – а ты стар для войны, тебя не пристрелят, они природой наделены недюжинным умом: видят в тебе товар, и продадут как товар...

Я не могу ни разгневать себя, ни вызвать страх. Оттого, что немало навидался, наслышался, насмотрелся всякого за свою жизнь. И то, что меня ожидает, будет не страшнее и не грязнее того, с чем я сталкивался и соприкасался долгие дни и ночи, долгие годы. Продадут меня моджахедам, и в их газетах появятся грязные статьи, подписанные моей фамилией, по радио прочтут грязные репортажи, выдав их за мои, мое изображение появится на страницах газет и журналов, это все сделают за меня, зная, что я не напишу для них ни одной строки, ибо для меня совесть и честь превыше всех благ и всех святынь на свете.

Я всю жизнь ношу в своем сердце древнее изречение, принадлежащее древним галлам, предкам французов. Как оно глубоко и емко: «Не умирай, пока живешь».

Машина быстро мчится по жесткой дороге, унося меня во тьму. Напротив сидят три бородача, опустив между колен карабины. Глаза их закрыты.

Я решаю смежить веки: приятная истома растекается по телу. И вдруг я вздрагиваю. Что такое? Что меня напугало? Страх? Не может быть, ведь не было его, и нет в душе. Тогда что же? Я снова решаю смежить веки. И память возвращает меня домой. Сквозь кромешную тьму.

21

Дверь мне открывает Бахтияр. Лицо его сияет.

– Как будто вы знали, что я вас жду. Книгу вашу вернул в библиотеку. А совсем недавно вернулся из читального зала... – он волнуется. Неужели радуется моему приходу?

– Он стал вашим поклонником, – перебивает его Гуля. Она стоит на пороге гостиной на фоне озаренной солнечным золотом комнаты и кажется картиной в искусном багете. «Готовый портрет», – мелькает мысль в голове. – Проходите. Не стойте на пороге.

– Держи обещанное, – я протягиваю Бахтияру свою книгу, прохожу по мягким коврам в гостиную,

опускаюсь в кресло. Чувствую неудобство, ерзаю, поворачиваюсь и так, и этак.

– Не привыкли? – смеется Гуля.

Ну как же, среднее сословие живет уже роскошно, позволяет себе нежиться.

– На твердом я чувствую себя, ну, скажем, как офицер в шинели. Неясно объяснил? Она не позволяет телу терять форму. Сохраняет конструкцию фигуры. А в кресле или на диване – лапша лапшой.

Мать и сын смотрят на меня несколько секунд непонимающим взглядом, потом заливаются смехом. Успокоившись, Бахтияр замечает:

– То же и я говорю.

– Мой сын становится книголюбом, – Гуля указывает рукой в сторону журнального столика, – вон сколько накупил. Изменяет компьютеру. Пойду приготовлю кофе.

– Заранее благодарю. Я не пью кофе.

Слышен щелчок дверного замка. Хлопок двери. В комнату входит мужчина. Бритоголовый. «Где я его выдел? Это довольное лицо, самоуверенную походку? – Внезапно в памяти всплывает сцена у стен моей хижины: внедорожник, мужчины, выходящие из него, угроза сноса дома... – Как он здесь оказался? Почему он здесь? – Дурашка, – говорю сам себе, – если он открывает дверь квартиры своим ключом, значит он ее хозяин. Как меня угораздило с ним вновь встретиться, и именно здесь, в его доме? Проделки дьявола».

Он проходит на середину гостиной, только сейчас обращает внимание на меня, долго всматривается, полное лицо его вытягивается от удивления и я слышу не голос – шипенье:

– Это еще что за видение? Кто его сюда впустил?

Гуля поражена его видом:

– Что с тобой? Чему ты возмущаешься? Мы впустили.

– Да ты знаешь, кто он? – чуть не визжит бритоголовый.

– Знаю. Он спас нашего сына.

– Спас нашего сына, – в его голосе звучит явная ирония. – Нашего сына, – снова повторяет он. – Этот твой спаситель присвоил мою землю. Вор он. Захватчик. Рэкетир.

Напряженное лицо Гули на глазах оттаивает улыбкой и внезапно она заливается смехом.

– Наконец-то тебя хлопнули по бритой голове. Ты сам вор, грязных дел мастер. Рэкетом все нажил и других считаешь таким же бандитом... Если этот мужчина дал тебе по больному месту, значит он исполнил волю Аллаха...

– Ах ты, дрянь, забыла, из какой бордели я тебя вытащил?

– Не покрывай себя позором, пойдем в мою комнату, – она проходит вперед, он плотно закрывает за собой дверь.

Удручающая семейная сцена. Мне становится не по себе и я собираюсь покинуть этот оказавшийся недружелюбным дом, но Бахтияр просительно смотрит на меня и тихо произносит:

– Не уходите, пожалуйста. Он скоро уберется.

– И часто происходят такие сцены?

– Сцены? Нет. Он приходит, получает свою дань и уходит. Раздражение вызвали вы. Очень ревнивый. Хоть и не живет с нами.

Дверь резко открывается, бритоголовый выскакивает в гостиную, взглянув в мою сторону, кричит:

– Чтоб ноги твоей больше здесь не было, увижу – убью, – и быстро уходит, с силой захлопнув железную дверь.

Мы привыкли слышать, и довольно часто, народную мудрость: «Чужая семья – потемки». Но тут уж не потемки, а ярко освещенная сцена. Настоящее действо. А может даже и неореализм.

В мою голову запали брошенные супругами колкости: «нашего сына», сказанное с иронией, «бордель», «рэкет»...

Гуля устало опускается в кресло, удрученная произошедшим.

– Простите нас... Стыдно перед вами за этого дурака.

– Не принимайте близко к сердцу, – успокаиваю ее, – в семье чего только не бывает между супругами.

– В семье, – с иронией произносит она. – Мы много лет уже не семья.

– Как так?

– У него еще две семьи, – сухо поясняет Бахтияр.

– У него еще две семьи, – повторяет Гуля. – И два дома, и в каждом магазин. К нам приходит за данью.

– Своего рода рэкет?

– Это не рэкет. Квартиру переписал на меня, а с торговли нам оставляет проценты. На питание и одежду.

– И за то спасибо, – добавляет Бахтияр. – Вы не знаете, отчего у меня случился приступ на улице. Рэкетиры насели, его противники. Недруги. Платите или взорвем магазин, говорят. А с чего нам с мамой платить? Пусть сам разбирается с ними.

– Не безоблачная у вас тут погода, – говорю я тихо.

Гуля с усмешкой смотрит на меня:

– А где вы видели безоблачную?

– В моих краях.

– Ну, вы расскажите Бахтияру о своих краях, а я пойду варить кофе.

22

День тускнеет.

Возвращаюсь с городского пляжа. Сегодняшний день я посвятил ему.

Здесь можно найти много сюжетов для этюдов, увидеть сотни ярких, колоритных типажей, насытиться позитивными впечатлениями.

Писал я не только карандашом, но и кистью. Ушел подальше от отдыхающих, на камни, на которых расположились рыболовы, и трепетно выжидали клева. Они мне не мешали, а я им – тем более.

Наконец, показалась и она, женщина в желтом платочке. Ее можно было заметить в плотной массе отдыхающих за сотню метров. Точнее, не ее, она была не такая уж крупная и броская, а желтый платочек.

Он плыл словно лотос над загорелыми телами, усеявшими золотистый песок.

Некоторое время назад мы здоровались и перекидывались либо свежими новостями, либо шутками, поскольку в нашем пляжном товариществе состоял и ее близкий друг. Это был большой, рыжеватый, добродушный мужчина, любивший анекдоты и смех, и никто не мог бы предположить, что он возглавляет крупную корпорацию. Они часто сидели чуть поодаль от нас, на его тонком одеяле, раскинутом на горячем песке, и о чем-то говорили, шептались. Никто из нас не вмешивался в их разговор, поскольку предполагали об их близких отношениях. Взрослые люди нашли друг друга. И мы в душе были тому рады.

В воду они входили вместе. Он делал гребков пятьдесят, разбрызгивая воду как тюлень, возвращался на берег и ложился во весь огромный рост на одеяло. Она уплывала в море неестественно тихо, то есть бесшумно и медленно. Не видны были ни руки ее, ни фонтаны, взбиваемые ногами, только желтый платок плыл над водой. Наконец, метров за двести она застывала. Надолго. Никто из нас не мог понять, как это ей удается: рук и ног не видно, движения воды никакого, полнейший штиль, гладь зеркальна, а на зеркале – желтый платочек. И маячил платочек долго. Полчаса и более.

Это было что-то феноменальное.

Такое действо кроме нее никто не способен был исполнить.

Как она его исполняет, – никто не мог решиться спросить.

Но вот желтый платочек наконец скользил поспешно к берегу. Из воды поднимались ее плечи, тело, она выходила на берег, блистая капельками бриллиантов, и ложилась на одеяло.

Почему-то мы не придали значения тому, что несколько дней Женя, так звали рыжеватого, не приходил утром на пляж. А женщина стала обходить нас, уходя подальше от облюбованного места. Наконец, в одно воскресное утро самый бойкий из нашего това-

рищества решился подойти к ней и спросить, почему не приходит Женя.

– А вы разве не слышали по телевизору? Он умер. От инфаркта. Ночью.

Нет, желтый платочек не исчез в синей глади. Он также скользит по воде и замирает далеко-далеко от берега. Метров за четыреста.

Там можно и поплакать и душу отвести.

И как-то мне пришла в голову мысль: а не написать ли мне картину о море?

Конечно, я не Айвазовский и не кто-то еще там из маринистов, но меня не отпускает этот сюжет, он день и ночь перед глазами, бередит душу, не дает покоя: золотистый песок берега, белое кружево пены на урезе моря, широкое зеркало воды цвета сапфира и бирюзы, уходящее к горизонту и сливающееся с небом, и желтый платок в виде лотоса на зеркале воды.

Сумею ли? Хватит ли умения?

Поймут ли и примут ли?

Такие, как Толик, как Жерар, поймут. Как Жерар? Почему Жерар? А почему и нет? Частный коллекционер – это не Наргиз или какой-то там предприниматель. А что, если на самом деле написать картину и подарить ему? Адрес его у меня есть. Впрочем... а почему мне самому не поехать в Париж? На бульвар Осман, в ковровый магазин! Ведь у меня там живут дядя и брат. Единокровные. Да, да, в наших жилах течет одна кровь. Но вот почему они забыли обо мне? Ведь сколько лет-то прошло после нашей встречи и всякое могло случиться за это время.

Да, я буду писать эту картину. Пусть я не профи, но душа моя просит, душа моя требует, значит, ангел-хранитель будет водить моей кистью своей рукой.

Я буду писать эту картину.

Подхожу к калитке своей усадьбы и долго с неподдельным удивлением смотрю на нее. Неужели забыл запереть? Забывчивости со мной не случалось. Кто мог рыться в моих комнатах и что вынес? Да бог ты мой, что ценного у меня найдет домушник? Картины? Чего они стоят, незаконченные, не доведенные до ума, непонятные еще мне самому...

Я вхожу во двор... и застываю на месте. В беседке сидят Тима и Черный. Тима удобно расположился на скамейке, подняв ноги на стол, пес сидит на земле, уставившись на него. Увидев меня, Тима опускает ноги, а Черный медленно, как-то нехотя и обиженно подходит и трется о мое бедро.

– Как ты умудрился открыть замок? – будто мне не о чем больше спрашивать.

– Нас всему обучают. Меня Черный позвал. Вы, наверное, забыли его покормить. Уж очень жалобно он скулил.

И он прав на самом деле. Только сейчас я понимаю, что забыл покормить Черного перед уходом. Склероз? Или старость стучится?

Мы ужинаем в беседке. Он состоит из салата с огурцами, помидорами, луком, порезанным колечками, политого кукурузным маслом, бутербродов с ветчиной и крепкого черного горячего чая с пахлавой.

– Вы с этим пустоголовым не якшайтесь, – говорит задумчиво Тима, потягивая чай.

– Ты мне задал задачу.

– Какую? – он поднимает на меня глаза.

– Пустоголовый – это кто такой?

– Мужик Гульнары.

– А-а-а, – произношу я протяжно. – Уже и до Симзар донесли.

– Подруги ведь, – коротко поясняет Тима. – А он грозный тип. И страшный. Точнее – коварный.

– По одежде не скажешь. Да и смотрится браво. Голову бреет.

Тима долго молчит.

– Начинал свое дело с рэкета. Хорошо нажился. Сейчас примазался к цеху бизнесменов, а бывшие друзья стараются уже его доить. Рэкетиры пошли на рэкетира.

– А полиция куда смотрит?

– Полицию, думаете, они заботят? Ее заботит пустота своего кармана. Вот если где-то кто-то что-то взорвет, подожжет, кого-то похитят – тогда разыгрывается спектакль: преследования, обыски, поимки,

потом суды, потом... Рэкетиры на свободе. Денег у них много. Ныне деньги решают все. Впрочем, как и во все времена.

– Ты всем так подробно и ярко рисуешь интерьер нашего времени?

– Только вам.

– Вот и хорошо. И никому больше. Хотя всем все известно.

Тима уходит поздно. Он устает от шумной семьи, не говоря уже о неблагодарной работе, а у меня находит отдохновение: здесь тихо, уединенно, покойно.

Только поднимаюсь из душевой на балкон, как меня призывает мобильник. Прикладываю к уху.

– Братан, делиться надо, – слышу глухой, хриплый голос.

– Чем делиться? – не понимаю я. И вдруг... догадываюсь. Именно так они и требуют.

– Мне делиться нечем, – говорю спокойно.

– Ты что, лох, что ли?

– Слушай, как тебя называть, ахмах или абдал, во-первых, не тыкай, я тебе в отцы гожусь, а во-вторых, я не олигарх. Приходи, если понравишься мне, подарю тебе первый этаж своего дворца. Там у меня санузел, душевая и кухня.

В трубке раздается глухой, хриплый смех. Голос не свой, подделывает.

– Пахан, а что ты со своими миллионами делаешь?

– Кто настучал тебе о моих миллионах? Какой козел?

В трубке снова смех.

– Кто – не скажу. А что нашептал – было такое.

– Слушай, пацан, ты знаешь, где у нас биржа труда и Арбат, не знать не можешь, у тебя же профессия такая. Так сходи туда и спроси у мужиков, что я продаю и почем. Потом и поделимся, ахмах.

Просто, легко, как-то естественно идет у нас разговор. И мирно завершается.

Я ложусь на тахту. Расслабляюсь. Ни о чем не думаю. Только одна мысль буравит голову: как долго еще будут жить поганки?

23

Сон

Чувствую тяжелое прикосновение к плечу, открываю глаза. Бородачи выпрыгивают из машины и выводят нас с Альдо.

Светает. Вокруг горы. Они окутаны холодной синей дымкой. Машина стоит перед утесом, обрывающим горную дорогу на две стороны. Сопровождающие нас о чем-то говорят, разговор их накаляется, но вскоре тон смягчается. Двое подталкивают Альдо к левой тропе.

– Бамбино, нас разлучают, но ты не бойся их и не вешай носа. Они нас не убьют. Видишь, до сих пор не тронули.

– Ты как всегда прав, Альдо, тебя сейчас пристрелят на левой стороне, меня на правой, – зло шучу я, чувствую, как холод пробирает до костей.

– Мама мия, о чем ты говоришь... Не малодушничай. Нас выкупит наше правительство. Я потребую, бамбино, чтобы оно выкупило и тебя. Я выступлю в газетах, по телевидению, я подниму всю репортерскую рать... Только не падай духом...

Меня выкупит твое правительство, если эти мерзавцы согласятся продать, хочу крикнуть Альдо, но я уже дрожу от холода и хочется поскорее идти.

– Бамбино, я не прощаюсь, мы встретимся, – кричит Альдо...

Сопровождающий меня мужчина не сильно, но твердой рукой подталкивает и кивает на тропу: иди.

Полчаса быстрой ходьбы, и чувствую, как разогревается тело. Мой конвоир неслышно, мягко, как рысь, следует за мной. Во мне медленно накипает злость, вызывающая острое желание развернуться и броситься на него. Наконец, я резко останавливаюсь и круто поворачиваюсь, но он готов к моему выпаду: в грудь мне упирается автомат, в глазах – насмешливо-ироничный взгляд.

Мы продолжаем путь. Молчание тяготит меня. За это время Альдо рассказал бы массу политических анекдотов, разыграл бы карту политических деятелей, убедительно обрисовал бы будущее Европы и всего мира, а этот молчун следует по пятам как рысь и даже не свистнет, не сплюнет даже. Может, мне с ним заговорить...

Я бросаю через плечо несколько фраз на тюркском языке. В ответ – молчание. Повторяю их на фарси. Молчание. И вдруг...

– Ту курд?[1]

Наконец-то брешь пробита, не так тягостно будет идти в неизвестное. Впрочем, не так уж и неизвестно ожидаемое меня.

– Я из Советов, – отвечаю ему на фарси, он понимает не все мои слова.

– А почему говоришь на курдском? – допытывается он.

– А ты сам кто?

– Я тожик. А ты говоришь как курд.

– Здесь и курды живут?

– Здесь кто только ни живет. Курдов стало мало, очень мало, ушли на ту сторону.

– А ты не боишься так свободно идти по горам?

– Кого мне бояться? – удивляется он.

– Царандоев или солдат Наджибуллы.

– Что-что, царандоев? – протяжно произносит он и вдруг над горами раскатывается хохот. – Царандоев... Эта земля наша, здесь хозяева моджахеды. Ты много не разговаривай, не то быстро выдохнешься, а мне не хочется тебя нести на себе.

– Как ты попал к моджахедам?

– Как другие попадают...

– А другие как попадают?

– Как я попал.

– Ты философ.

– Кто, кто?

– Ты, говорю, прямо как Улугбек.

---

[1] – *Ту курд?* – Ты курд?

– Умный, значит. Ну спасибо, что признал мой ум.

– А там, куда ты меня ведешь, кто живет?

– Люди, – отрезает он грубо.

– Что люди – ясно. Хотел узнать, на каком языке говорят.

– Придешь – узнаешь.

Чувствую, что-то его рассердило и обидело в моих словах: возвращаюсь мысленно к разговору. Неужели сравнение с Улугбеком? Почувствовал иронию. Какое самолюбие... А почему не должно быть у него самолюбия? Мы не приятели, более того я – пленный, и выслушанная от меня в свой адрес ирония вызвала у него недобрую реакцию. Я поступил бы точно также.

Утомительно долог путь. Утомительно медленно тянется время.

Я останавливаюсь внезапно. На меня натыкается мой конвоир, что-то грубо бормочет, но глянув в мое лицо, умолкает.

Передо мной простирается плато, окаймленное зубчатыми горами и залитое золотом солнца. Далеко-далеко видны очертания поселения.

– Наш кишлак, – слышу за спиной голос конвоира.

24

Скорпион падает на меня с белой полоски, четко выделяющейся в непроглядной тьме, даже не падает, а направленно прыгает. Я вскрикиваю от укола его острого безжалостного хвоста и от боли открываю глаза.

В открытую дверь просачивается утренний свет. На улице лают сирены полицейских машин и протяжно стонут кареты «скорой помощи». Ну то, что «скорая помощь» издает протяжный, бесконечный стон, можно понять – больной, в принципе, не смеется. Но вот полицейская машина почему лает? Если вы не слышали, я вам воспроизведу – «авау», «авау», «авау» – словно гонится собака за кем-то. Вот этого я никак не разумею. Создайте, придумайте любой звук, но только не собачий лай. Что этим хотят сказать

преступнику? Что за ним гонятся? Что лай пса его испугает и остановит?

Не понимаю. Не разумею.

Лай и стон, наконец, умолкают. На смену им приходит гул тяжелого мотора.

Что-то за стенами моей хижины происходит.

Выхожу на балкон.

За моим забором, во дворах многоэтажных домов людно. Подростки куда-то бегут, возвращаются взбудораженные, о чем-то горячо говорят, взрослые тревожно судачат.

В отдалении видны вооруженные бойцы спецназа.

Начинаю понимать случившееся. Как говорят служивые, обстановку или ситуацию. Значит, и наш спокойный микрорайон «осчастливили»?

Над толпой поднимается рука, зычный голос перекрывает гул:

– Выходи.

Это Сава.

Сбегаю вниз, оставляю у ворот Черного, наказываю никого не впускать в мой двор. Он внимательно смотрит мне в глаза, садится у калитки, большой, словно медведь. Малыши подбегают к нему, гладят, обнимают – он любимец детворы всей округи – не реагирует. Ноль внимания.

– И к нам наведались гости-прищельцы? – спрашиваю Саву, который отделился от толпы.

– Ну район-то у нас тихий, да считай – окраина.

– И в каком же доме?

– Да вон, в четвертом от нас. Метров сто пятьдесят будет. Всех жильцов попросили из квартир. Вот беда-то. Ну, бандитов выбьют, это как пить дать, дом заблокирован, а компенсацию за разрушенную квартиру кто выплатит? Я не слышал, чтобы кому-то выплачивали.

– Сейчас научились выбивать: один хлопок из ствола БТР – и готово.

– Хлопок, хлопок, а добра нажитого нету. – Сава сокрушенно покачивает головой.

Мимо нас быстрым шагом проходит спецназовец. Он сосредоточен, никого не замечает.

– Капитан, желаем вам удачи, – обращаюсь к нему. Это Тима. Он узнает по голосу. Направляется к нам.

– Вот негодяи. Не уймутся.

– И сколько их? – спрашиваю.

– Да кто считал. И знаете, в чьей квартире? Старушки. Ветхой старушки. Знакома мне. У нее двухкомнатная квартира. Одну сдает студенту. Третьекурсник, спокойный парень, боевыми искусствами занимается. Не думал, что связн с лесными братьями. Попытаюсь поговорить, образумить пацана. А вот кто подельники – не ведаю.

– А почему ты? – удивляется Сава.

– Ну а кто другой? Я хоть знаю его. Да и он меня.

Мы желаем ему удачи. Он уходит.

Стоять здесь полдня или день и ждать исхода операции меня абсолютно не прельщает. Как выражались в молодые годы, даже козе ясно, чем завершится противостояние. И вообще, откровенно говоря, за вторую половину своей жизни я навидался всякого дерьма и ничто меня уже не удивляет.

– Сава, ты завтракал?

– Да мне давно на работе надо быть. Пойду. Вечером встретимся.

Я ухожу в свою хижину, наскоро завтракаю, выношу Черному собачий корм, жду, пока он поест и напьется, закрываю калитку и вместе с ним спускаемся к морю.

Вот он, единственный мой друг, который всегда со мной. Все прожитые мною годы прошли у моря. За исключением тех, что были заключены в холодных Гималаях и в раскаленных землях пуштунов и персов.

Сегодня оно искрится и переливается сказочными цветами. У золотистого берега вяжет белые кружева, чуть подальше колышется и играет бирюзой, еще дальше бугрится тугим телом синего цвета, дальше стелется полотном бутылочного цвета и уходит в линию горизонта, сливаясь с сизой дымкой...

Я могу часами смотреть на это диво и не уставать. Оно не утомляет меня, наоборот, успокаивает, очищает душу и располагает к размышлению.

Я не выношу, когда оно штормит, бьется тугой грудью о многовековые скалы и громадные валуны, разбивается вдребезги и вновь бросается со страшным ревом, переходящим в гул, и вновь разбивается, и вновь бросается... Но этот поединок долго не длится.

И снова устанавливается тишь. И снова глаз человеческий радуют сказочные краски.

Кажется, победителя нет. Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие бьется вода со скалами. И победителя нет.

А нет ли? Если приглядеться к каменным исполинам, можно заметить, как они отточены, как волны словно резцами сумели выбить на многих из них различные формы, отчетливые очертания – вот я вижу пасть льва, чуть сдвинуться с места – уже жаба, еще движение – лошадиная морда...

И какой же вывод? Да, вода сильнее. Она обладает немыслимой силой разрушения.

И созидания.

Дерзкая мысль заставляет меня вздрогнуть. А что, если в один прекрасный день или ночь, еще проще – просыпаешься утром – а моря нет. Вот сейчас у моих ног ластится белое кружево огромного моря. И вдруг его нет – и передо мной простирается безбрежное пространство золотого песка. Пустыня. За спиной, в семи километрах горы, у подножия гор – город, уходящий в пустыню.

В знойные пески.

Безжизненное пространство.

Может случиться такое?

Почему нет? Случилась же такая метаморфоза с Аральским морем.

Да чего я лезу в научные и исторические дебри?

Ударился в банальщину.

А впрочем, не банальное ли существо на земле сам человек?

Уж банальнее не сыщешь.

А история Каспия?

Миллионы и миллионы лет он занимал площадь от Персии до нынешнего Апшерона. Затем в резуль-

тате смещения двух пластов земли воды хлынули на север. В результате таяния снегов Каспий еще больше разлился и его уже с Черным морем соединяла река Фазос, о которой упоминает Геродот. На сегодняшний день от Фазоса осталась небольшая река Маныч, что затерялась на Северном Кавказе.

Я встаю с горячего песка, медленно вхожу в воду, приятно ощущая ее свежесть, ласковое прикосновение к ногам, бедрам, груди. Вытягиваюсь, медленно плыву. Проделав взмахов сто, переворачиваюсь на спину и, заложив руки под голову, любуюсь небом.

Пока я покоряю море, рассекая его упругое тело, за мной, недовольно фыркая, плывет Черный, но как только отдаюсь покою, он разворачивается и направляется к берегу. Отдыхать на спине, к сожалению, его никто не учил.

Домой возвращаемся в полдень. Во дворе покойно и безлюдно. Ничто не напоминает об утреннем событии. Но может ничего и не было? Ни сирен, ни спецназовцев, ни Савы и Тимы? Не приснилось ли все это мне после укола скорпиона? Его безжалостного хвоста?

Но было же. Было. Я еще не лишился рассудка.

Пообедав на кухне, поднимаюсь в мастерскую, включаю люстру с десятью лампочками – мне нужно много света – и подхожу к холсту. Портрет вырисовывается. И, кажется, не дурственно. Это пока еще первые штрихи, первые мазки. Чего-то не достает. Увы, не чего-то, а души в глазах, состояния души, энергетики. Но начало положено. Надеюсь, получится. А нет – разорву холст и выброшу, что и проделываю часто с другими.

Голоса приятелей зовут меня в беседку.

– Ну, пацаны, расскажите, чем завершились события? – свой вопрос обращаю ко всем. На столе, в большом блюде, лежат увесистые гроздья винограда. Конечно же, урожай с моих кустов. – Помыли? Или сдули пыль?

– Обижаешь, парень. Мы не враги своему здоровью, – говорит Сава.

– Ну расскажите же, почему так скоро завершилась операция, – повторяю я.

– Тиму ждет повышение в должности. Или крупная звезда на погонах, – подает голос Рома, смакуя виноград.

– Перестань поясничать, – нехотя отзывается Тима. – Я ведь был знаком со старушкой, она нам молоко приносила. И квартиранта ее знал хорошо. Вот и решил поговорить с пацаном. Долго просил впустить меня, настаивал. Ну наконец меня впустили, старушку, конечно, выпустили. Она, бедная, вся в слезах, знала чем завершается штурм. В общем, захожу – сидит мой студент, бледный, напуганный, и еще двое, и два раскрытых баула. С оружием. Оказывается, все трое – однокурсники. Двое пришли к другу переночевать, а оружие должны были вывезти под утро. Лесным братьям. За эту работу мальчикам платили хорошие деньги. Отказаться уже не смели – хана, как говорится. Ну я вывожу их на откровенный разговор: у вас руки в крови? Нет, говорят. Сейчас будете отстреливаться? Да. Ну убьют же вас как цыплят, одним снарядом из бэтеэровской пушки. Умереть хотите? Если сдадимся, нас убьют, отвечают те, что в лесу. Я вам гарантирую жизнь, говорю. Нет, нам уже не жить, отвечают, а губы дрожат. Что-нибудь придумаем, говорю, скажем, бэтеэр даст холостой выстрел, спецназ выбьет дверь, постреляет в воздух, вынесут три завернутых матраса в черных мешках – как бы три трупа, толпа разойдется, квартиру старушки оставим под охраной. А ночью вывезем вас. Отправим в другой конец России, устроим в профильный вуз, продолжите учебу.

Это я коротко излагаю. А говорили часа три. Вот и все.

– И волки сыты, и овцы целы, – подытоживает Рома.

– Ха, умник, – изрекает Сава. – овцы целы – верно, а что волки сыты – промашку дал. Оружие-то они не получили. Тима, руководство тебя поощрит – это как пить дать, а старушка принесет бочку молока.

Смехом завершается наш вечерний разговор. Приятели не засиживаются – день был для них тяжелый, томительный.

Я лежу на тахте, расслабленный, глаза уже отходят ко сну, как подает голос мобильный телефон. Беру его с огромным нежеланием, прикладываю к уху:

– Слушаю.

– Братан, извини. Ориентировка была неверная.

Ах, черт тебя побери, какие же они организованные. Надо же. Неверный адрес дали... Да шут с ними. Ложная информация дошла – ваши проблемы. Мне это надо? Мне по фигу. Но извиняться... Это уже что-то новое, по-робингудовски.

– Забудем, – отвечаю ему. – Что бы там ни было, мы все-таки люди, человеки...

– Брат, не говори так. Мы о тебе всю ориентировку имеем. Правдивую. А тот, поганка, дал все наоборот. Мы обман не прощаем. Знай, я твой дворец проведал и картины посмотрел. И с волкодавом познакомился и подружился. Ну, будь здоров, брат.

Мобильник умолкает.

Уже утопая в вязкую темноту сна, я утешаю себя тем, что у меня нашелся еще один брат. Да в доме побывал. Вот как...

25

Сон

Просыпаюсь от крика.

Съеживаюсь. Сковывает страх.

Медленно открываю глаза. Тьма. Не видать ничего. Словно жидкой смолой залили комнату.

Постепенно глаза привыкают к темноте.

Различаю темно-серое пятно на стене.

Это окно.

В комнате кроме меня нет никого.

Но кто же так истошно кричал? Вдруг осознаю, что кричал я. Вспоминаю, что во сне я убегал от чудовищ, одно из них уже разинуло пасть над моей го-

ловой и я от страха заорал. Затем в памяти всплыл другой кадр: осторожно, боязливо спускаюсь по крутой узкой горной тропе, неясная сила толкает меня в спину, я оступаюсь с узенькой тропы, камнем падаю в пропасть. Из горла вырывается душераздирающий крик...

Я стал часто кричать во сне. И просыпаюсь от собственного крика в холодном поту.

Такого со мной не случалось прежде. Началось в Афганистане.

Может быть здесь, в Гималаях, я оказался во власти непонятных сил? Таинственных и враждебных?

Утомляюсь от раздумий. Усталость наваливается на меня тяжелой плитой и я засыпаю.

Просыпаюсь от неприятного ощущения, словно золотой кистью водят по глазам. Открываю опасливо веки – в окно струится солнечный свет. На душе становится покойно.

«Как же мало нужно человеку для успокоения и счастья», – говорю про себя и задаюсь вопросом: «А разве видеть яркое солнце, улыбаться в его ласковых лучах – этого человеку мало? »

В моем жилище холодно, при выдохе изо рта поднимается пар, а в постели тепло. Не хочется вылезать из нее. Правда, это сейчас тепло. А первые дни я сильно замерзал, чтобы унять дрожь сворачивался в калачик. И как было не мерзнуть, если спал на шкурах непонятно каких зверей или животных и накрывался такими же. И жилище, собранное из горного камня, не отапливалось. Кому сказать, что я мерзну и днем, и ночью? Некому. Здесь кроме нас двоих никого нет: я и мой конвоир. Он меня и охраняет, – не дай бог, чтобы я убежал, а куда тут убежишь – с горы на гору? Он и кормилец мой. Рацион не богатый, но с голоду не умер. Утром – лепешка, сыр, чай из трав, днем – мясо, не знаю, какого животного, но свежее. Вечером опять сыр с лепешкой...

Спустя месяц конвоир поменял мне постель. Теперь я сплю на матрасе, набитом травами: от них исходит необыкновенный, неописуемый запах, который

быстро усыпляет. Накрываюсь одеялом, которое тоже набито травами. А поверх набрасываю шкуру яка.

Меня ведь надо беречь. И берегут, как штучный товар...

За дверью тихо разговаривают. Я вылезаю из постели, прислушиваюсь.

– Надоело мне, отец, я не в прислуги нанимался, я воин, а приходится пищу подавать, от холода беречь, тьфу...

Узнаю голос конвоира. Кстати, неплохой человек, уважительный. И с виду настоящий воин – крепко сложен, мужественный, ловкий.

– Не ропщи, Комол, роптать – удел женщин. И потом, чем тебе здесь плохо? Ты хочешь, чтобы тебя какой-нибудь бешеный моджахед случайно пристрелил? Они в наш край не лезут, вот и спасибо всевышнему. А вдруг дурная голова приведет их сюда? – голос второго собеседника старческий, но твердый.

– Воины нашего Ширхана не позволят...

– Не обманывай себя, сынок, кто захочет, – ему горы не помеха, найдет тропинку. Ты вот что скажи мне, его друзей выкупили?

– Давно-о-о, – протянул Комол.

– А что же этот, богом забытый?

– Никто не ищет.

– Что так? Ни родных, ни друзей? Ни начальников? Кто-то же в Афган послал? Как и тех, кого выкупили? Факир, ой факир[1].

Я всполаскиваю лицо и тело холодной водой, растираюсь полотенцем, одеваюсь, одежда дарена, вернее принесена Комолом, и выхожу наружу.

– Салам алейкум[2], отец, салам алейкум, брат.

Они некоторое время пристально смотрят на меня, потом отвечают на приветствие. Собеседник Комола рукой указывает место рядом с собой: они сидят на большом камне и греются под лучами солнца. Ему лет восемьдесят, но выглядит намного моложе. Кра-

---

[1] *Факир* – несчастный.

[2] *Салам алейкум* – мир вашему дому.

сив настоящей мужской красотой. Смуглое лицо обрамляет коротко подстриженая белая борода, волосы на голове седые, густые, в глазах – блеск.

– Как спалось, сынок?

Он обращается ко мне по-русски, говорит чисто с легким акцентом. Я искренне удивлен, а потому спрашиваю.

– Отец, вы где научились так хорошо говорить?

– Зови меня Мирзо-бобо, – он тихо смеется и смех у него добрый, теплый. – Я советский человек, советский гражданин.

Я непонимающе смотрю на него. Очевидно, со стороны выражение лица у меня должно быть глупое.

– Да, советский, живу в Тоджикистоне, на юге, а здесь у меня имение, – смеется. – Дача. Летняя дача. Где ты найдешь лучшее место? Горы, чистый воздух, покой... А еще я был солдатом. Воевал в Отечественную. Дошел от Сталинграда до Вены. Закончил войну капитаном.

– У уважаемого Мирзо-бобо много наград, – добавляет Комол. – Два ордена Боевой Славы, Отечественной войны, Красной Звезды...

– Перестань, Комол. Не люблю говорить о прошлом. О нем сегодня не хотят слушать. Не понимаю, стесняются, что ли? А болтать – болтают о чем угодно. Вот Горбач[1], заболтает и все хорошее, и все плохое, и всю страну... Ну-ка, сынок, скажи, а ты где выучил фарси[2]?

– Нигде. Это мой язык. Вернее, той семьи, которая меня вырастила. А язык моего деда, отца тюркский. Азербайджанский.

– Как так получилось?

– Потом, позже как-нибудь расскажу.

– И с каких ты мест будешь?

– Из самого древнего города страны. Родился я в Дербенте.

– Знаю Дербент, – улыбнулся Мирзо-бобо.

---

[1] *Горбач* – Горбачев, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС.

[2] *Фарси* – персидский язык.

– Были там?

– Сынок, я учитель! Учитель истории, – последнее слово Мирзо-бобо произносит уважительно. И повторяет, – истории. Мы вот сидим с Комолом и думаем, как быть с тобой. Продать покупателям не позволим. Выкупить тебя друзья, родня не собираются. Скажи мне, а родня твоя с тобой враждует, что ли?

– Нет ее у меня.

– Ни семьи, ни братьев, ни сестер? – изумляется Мирзо-бобо.

– Семьи нет. Как-то не успел обзавестись. И братьев и сестер нет – не откроюсь же я, что дядя с двоюродным братом живут в Париже, на бульваре Осман, имеют свой дом и магазин.

– Факир, – тихо произносит Мирзо-бобо. – Факир. Мы тебя в обиду не дадим.

Молчим. Не хочется говорить ни о чем.

Мы сидим в окружении трех колец величественных гор, и сверху на нас льется золотой поток тепла.

26

Черный устрашающе лает. Лай у него густой, утробный, устрашающий. Так он отпугивает незнакомых или незваных гостей. Они бывают редко, но нет-нет да случается.

Лай одиночный. Черный пугает. Он пытается остановить чужака, преградить ему дорогу во двор. Но, видимо, тот не уходит. Лай становится частым. Злым.

Я прерываю работу, бросаю кисть и выхожу из мастерской на балкон. Ночь безлунная. Темное небо, низко нависшее над домами и морем, сплошь утыкано мерцающими зеленовато-голубыми зернами бриллиантов.

– Кто там? Кого-то ищете? – громко спрашиваю я, стараясь перекричать Черного.

– Я к вам, – доносится ответ из темноты.

Голос мне кажется знакомым.

– Кто вы? Как вас зовут?

– Бахтияр.

Ну, конечно же, это голос Бахтияра. Но что его привело в столь поздний час?

– Черный, он наш, пропусти его, ты слышишь меня? Не смей лаять, успокойся, а теперь пропусти.

Утробный голос переходит в ворчанье и вскоре пес умолкает.

Я спускаюсь вниз, выхожу на крыльцо и приглашаю Бахтияра в гостиную.

– Как ты нашел мою хижину?

– Дядя Тима показал со своего балкона.

«Какой же я не догадливый», – думаю про себя и ухмыляюсь.

– И что за срочность привела тебя в такой час?

– Был у друга, он живет поблизости. Ну и решил навестить вас.

– Ну и молодец. Пойду-ка сварю кофе. После обеда как встал у мольберта, так и прикипел к нему.

– Вы отдохните, я сам сварю. Я дома варю кофе. Только подскажите, что где лежит на кухне.

– Сам найдешь. Бутерброды в холодильнике.

Откидываюсь на спинку дивана, закрываю глаза. Нет, неспроста он здесь, что-то его привело. А в воздухе уже распространяется аромат кофе. И вот Бахтияр расставляет тарелки с бутербродами, разливает горячий напиток, и мы приступаем к поздней трапезе.

– Ну, друг мой, выкладывай, что произошло?

– Ничего страшного.

– А что, и страшнее бывает?

– Вы не так поняли. Дуркует отец.

– Слово-то какое – дуркует. От тебя не ожидал.

– Неделю назад пришел взвинченный, возбужденный, будто осел лягнул в... – Бахтияр осекается. – Кого ты принимаешь в моем доме, кричит на мать, я за эту землю миллионы заплатил, а он забрал ее без единой копейки. А я тут при чем, говорит мать, иди разбирайся. С кем разбираться, кричит он, твой гость с большими людьми на «ты», я что же, по-твоему, к мэру должен пойти? Кому ты дал, кричит мать уже на него, у тех и забирай свои грязные миллионы. Ах

ты, дура, кричит он, они же сами все под одной крышей работают. Ты сам дурак, бритый дурак, значит, тебя кинули. Ты что, совершенно перестал соображать? Ор стоял долгий. И вдруг оба умолкли. Как-то разом. А потом он тихо говорит, будто шипит: «Я такое ему устрою, твоему поклоннику с дырявым карманом, что он все свои деньги потеряет. И сарай деревянный. Откуда взялся этот губошлеп: с большими людьми дружбу держит, а живет в сарае. Ахмах».

– Ну и почему тебя задел этот разговор? Поорал, похамил и ушел.

– А вчера пришел... – Бахтияр откашливается, – какой-то растерянный, осунувшийся, таким мы его не видели никогда. Сел в прихожей на диван, опустил голову на руки и покачивается слева направо, справа налево. Молча. Мама спрашивает его с издевкой: – что еще случилось? А он в ответ: – магазин Тамилы взорвали. Тамила – его вторая жена. Как взорвали, почему? – мама хватается за голову, – почему Тамилы? Ты хочешь, чтоб и твой взорвали? Не волнуйся, дойдут и до твоего. Мерзавец ты, бросает ему в лицо мама, сам рэкетом нажил состояние, а теперь твои дружки тебя доят. И вдруг он так горестно произносит: с тобой и поговорить уже невозможно, из грязи вытащил, видной женщиной сделал, состоятельной, а ты меня мерзавцем называешь, потаскухой ты была, потаскухой и осталась. Встал и тихо ушел.

Мы молчим. Не знаю, какие найти слова, доводы, чтобы успокоить его. Ну что он знает о жизни, двадцатилетний мальчик? То, что на виду, на поверхности – оно всем ясно, а что в глубине души, что заперто за семью замками – оно остается мучительной тайной.

– Хочу вас спросить, – говорит Бахтияр, – не посчитаете нужным, не отвечайте: вы верующий?

– Я человек абсолютно не религиозный.

Как ему просто, доходчиво объяснить свою позицию?

– Понимаешь, Бахтияр, существует закон бумеранга. Закон обратной связи. Его создавала, выковала

сама природа. Вот ты, к примеру, улыбнешься встречному – и он тебе улыбнется, бросишь на него злой взгляд – и он на тебя бросит такой же, ударишь его – и он тебя, обнимешь его – и он тебя. Что ты сделаешь, то тебе возвращается. Добро – на добро. Зло – на зло. Во всех священных книгах, а точнее – все священные книги – и Коран, и Евангелие, и Тора – все ведут человека к одной мысли, к одной истине, которая звучит так: не желай никому того, чего не желаешь себе. А великий Конфуций за пятьсот лет до нашей эры сказал: «Что делаешь себе, то делай другому».

Ты спрашиваешь, верующий ли я. Если ты совершаешь доброе дело: поднимаешь с земли упавшего человека, подносишь воду жаждущему, спасаешь тонущего, сострадаешь больному, выносишь из пожара детей – к чему возносить хвалу кому-то или чему-то? Вознеси хвалу душе своей – твоему богу, который ведет тебя по верному пути и не позволяет упасть в мерзость. Воспитай бога в душе.

27

Утро изумительное. Яркое. Искристое.

Обычно в городе постоянно дуют ветры – то северный, то южный. Сменить могут друг друга в любое время суток. Северный горожане прозвали Иваном, южный – Магомедом.

Сегодня тишь. Ничто не шелохнется. Белый дымок из высокой трубы теплоцентрали поднимается в синее небо ровным снежным тонким шнуром.

В такое утро грех заниматься делом.

Спускаюсь к морю. Рядом сопит Черный. Уже на тротуаре, откуда надо сбегать по откосу на берег, сдерживаю шаг и поворачиваю вправо.

Черный ждет, очевидно, думает, что я ошибся с местом спуска и вернусь. Но так и не дождавшись меня, нехотя, вразвалочку догоняет.

Что меня увело к городскому пляжу, сам не пойму.

А пляж уже заполнен любителями солнца, моря, горячего песка, спорта, встреч, знакомств и просто

посудачить на светские и политические темы. Благо, сегодня такое время, что можно говорить и спорить о чем и о ком угодно, выражать открыто свое мнение и не опасаться ни последствий, ни стукачей.

Разрешено выпускать пар из котла.

Ступив на песок, сворачиваю в сторону камней – вековых валунов. Здесь собираются любители покоя и тишины.

Вижу моих приятелей. Они уже обронзовели – начали купальный сезон в мае, сегодня начало августа. Это отставные полковники и подполковники милиции, судьи и адвокаты, преподаватели вузов, научные работники. Одним словом – элита. Пардон, как говорят французы, элитой они были в прошлой системе, сегодня элита – олигархи, бизнесмены. Их на нашем пляже не бывает. То ли они чураются нас, то ли им тесно здесь со своей многочисленной охраной, то есть секьюрити. Да бог с ними, как говорится, без них спокойней.

– Вот еще наш человек идет, – громко произносит отставной полковник Далгат. Среднего роста, крепко сложенный, весь шоколадного цвета, он стоит плотно прислонившись спиной к большому плоскому камню: вбирает из него энергию.

Обмениваемся рукопожатием.

– Что-то ты пугливым стал, – иронизирует Далгат, – то график свой меняешь, то вот с охраной ходишь, – указывает на Черного. – Разбогател?

– Пора, иначе никто не считается с тобой. Кому ты нужен, голоштанник?

– Далгат за тебя волнуется, – вступает в разговор тоже отставной полковник Абдурахман. – Каждый день что-то случается в городе.

– Ты что, не слышал? – удивляется Далгат. – О вчерашнем теракте не слышал? Двойном?

– Где ты живешь и чем занимаешься? – шутливо спрашивает Абдурахман.

– Вот хорошо, что ты задал мне этот вопрос, – говорю, – сколько лет я живу в своей хибаре, но ни разу не видел своего участкового. Ну хоть бы записку

бросил во двор – сам приду познакомиться. Нет. Хоть поинтересовался бы, кто построил этот дом, кто дал на строительство разрешение. Чем занимается этот человек... В той, исчезнувшей, вернее сломанной системе, участковый был чуть ли не членом каждой семьи. До сих пор в памяти его лицо, походка, манера беседы с жильцами дома. Где сегодня наш участковый, какой он – ума не приложу.

– Дворцы уважаемых и состоятельных людей охраняет, – произносит Далгат.

– Как так?

– А вот так, – дразнится Абдурахман. – Дома высоких руководителей, олигархов. Знаешь, сколько их в городе? Кто будет беречь? Вот участковых переквалифицировали в охранников. Мы взялись было объяснять, что нельзя ломать структуру, но нам мягко сказали: цыц. Обратились выше – нам заметили, что работаем старыми методами. Вот мы и в отставке.

– А новые методы – это секьюрити?

– Работа с бумагами, – смеется Далгат. – Бумаготворчество. Молодежь сидит в кабинетах и строчит отчеты... О чем строчит – не пойму, дел-то не видно.

– Слушай, брат, ты что-то мне хотел сообщить, – говорю, – да разговор свернул на скучную тему.

– Да, это Абдурахман нас сбил... Ты не слышал разве о двойном теракте? Вчера в конце дня случился. На северном блокпосту. Сначала смертник в «Жигулях», начиненных взрывчаткой, врезался в блокпост, а рядом стояли пассажирские автобусы. Картину представляешь? Ну, как обычно, ринулись спасать людей, подъехали пожарные машины, милицейские, «скорая помощь»... А недалеко стояли другие «Жигули». И они – трах-бах. Представляешь, сколько людей?.. За что? Простые люди за что должны гибнуть, в чем их грех на этой проклятой земле? В чем грех детей, оставшихся сиротами? В чем грех отцов и матерей, оставшихся без детей? В чем грех несчастных, оставшихся калеками, без руки, без ноги, искалеченные, изуродованные...

Далгат замолкает. После долгой паузы он продолжает:

– А им наши старые методы, видите ли, не подходят. Они новый изобрели – бумаготворчество. Мерзавцы. Зла не хватает.

Мы с Далгатом идем к воде. Ну какое же удивительное сегодня море. Сложно его описать. Слов не хватит. Может, что краски помогут, если самому приготовить. Перед нами – огромное зеркало. У берега, на урезе моря, нет даже кромки воды. Она словно всосалась в песок. Не по такому ли зеркалу пошел Христос, который привел в изумление своих учеников, и велел им пойти по воде. И они пошли.

Мы входим в воду. Далгат останавливается. Чувствую, старается перебороть себя. Наконец, решается:

– Разговор только между нами. Верю, что не проболтаешься. Три дня назад поздно пришли от родственников, жена устала, пошла спать. Меня будто кто-то лишил сна. Часов в двенадцать, да нет, около часа, звонок. Подхожу к двери, спрашиваю: – Кто там? Хриплый грубый голос: – Открой. – Кто ты такой, чтобы тебе открывать дверь, назови себя. Голос опять: – Открой, говорю.

Я всю свою жизнь проработал в милиции и много повидал подонков. Выношу в коридор кресло, ставлю напротив дверей, она у нас железная, достаю свой именной пистолет, кладу на колено. В это время просыпается жена, увидев меня с пистолетом, ужасается, я, конечно, успокаиваю ее и велю не выходить из комнаты. Теперь уже мой гость не звонит, а ковыряется в двери, в замочной скважине. Слушай, говорю, мерзавец, я сижу напротив в кресле с пистолетом в руке, если только ты войдешь, я всажу в тебя и в дружков, если они есть, все пули. Ни одна не пройдет мимо. Ты меня знаешь, коли ты пришел ко мне. Потом звоню в дежурную часть милиции. Там отговариваются, мол, все бригады на вызове, как подъедут – обязательно направят. Ну, как обычно. И только я называю свою фамилию как в ответ: – Сейчас подъедут. Но стука в дверь уже нет. Подъехавшие мили-

ционеры в подъезде никого не застали. Вот таковы сегодняшние реалии.

– За что? – коротко спрашиваю.

Он понимает вопрос.

– Я с такими дело не имел. Может, заказали? А может, ошиблись.

И чуть погодя продолжает: они не ошибаются. Но одно знаю – за мной грехов нет.

После небольшой паузы, словно спохватившись, спрашивает:

– Тебе денежное вознаграждение не выдали?

– За что? Кто? – я бросаю на него удивленный взгляд.

– Где... В МВД, за спасение девушек.

– Нет. МЧС представит к медали.

– Я же говорю – мерзавцы.

Далгат несколько раз окунается и мы плывем в открытое море.

28

Сон

Я выхожу из своего полутемного жилища – отталкиваю тяжелую дверь и тут же зажмуриваюсь от ослепительного солнечного света. Золотой диск почти над головой.

Неужели я так долго спал? И никто меня не будил? Может, и хотел, но не решался – жалел? Сочувствовал? А за что? За то, что я здесь нахожусь долгие месяцы никому не нужный? Забытый своими, а может, и проклятый? Мало ли что могли сообщить обо мне, оклеветать, опорочить. При желании, точнее в гневе, все что угодно можно приписать.

Несколько раз стараюсь открыть глаза, но они мгновенно закрываются.

– Подойди сюда, – слышу тихий спокойный голос Мирзо-бобо, – иди, не бойся, ну вот и хорошо.

Чувствую прохладу. Открываю глаза. Я у стены его дома. Тень от нее постепенно суживается.

– Хорошо же ты спал, – говорит Мирзо-бобо, – видно, никто не беспокоил во сне, ни черти, ни моджахеды, ни женщины. – Он тихо смеется. – Без них хорошо спится, особенно без последних.

– Без них я сплю уже много-много месяцев, забытый даже друзьями и товарищами, – говорю я, присаживаясь рядом на большой отполированный временем плоский камень, покрытый шкурой яка.

– Не бери мрачные мысли в голову. Верные друзья не забывают. Не должны забывать. Думаю, они не ведают, где ты, что с тобой произошло. А может, какие грязные слухи распустили о тебе твои похитители... Кто знает? Мы с тобой отгородились от мира, нам до солнца ближе, чем до людей. Протяни руку – погладишь его. Только не обожгись.

Что верно, то верно. Вот оно, висит над головой, пышущее здоровьем, заливающее золотом все окрест.

Удивительное место выбрал для жизни Мирзо-бобо, на территории соседней страны – в Афганистане. В этой части азиатского государства живут и персы, и туркмены, и узбеки, и таджики... Каких только племен здесь нет. Корни рода Мирзо-бобо именно отсюда, где проживают испокон веков таджики. Местных таджиков с республикой Таджикистан разделяют бурные горные реки Пяндж, что переводится Пять рек, или Пятиречье, и Вахш, в переводе Бешеная. Они – естественная граница, проложенная самой природой между двумя азиатскими государствами. И чтобы перейти ее, надо обладать не только мужеством и бесстрашием, но и дружить с законами и хитростями природы.

Когда в Таджикистане местное население столкнулось с соседями и в ход пошли ножи и обрезы и полилась кровь, Мирзо-бобо быстро собрал свой скарб и с двумя сыновьями, невесткой и внуком пошел на юг, к родне, которая жила за рекой. К ним присоединились и десятки соседних дворов.

Место, которое облюбовал себе Мирзо-бобо, было неприступным. Так считал он и так объяснял. Но как оно может быть неприступным, если сумел на него

ступить? – задавал я ему вопрос. А он только улыбался в ответ.

Этот клочок территории представлял собой ровный, как стол, участок земли размером с футбольное поле. Он был взят в объятие кольцом гор, заросших мелким кустарником. Это кольцо лежало в объятиях более высоких, обросших густым сосновым лесом. Над ним возвышалось кольцо исполинских глыб: на его плоских спинах лежали вечные снежные одеяла, а на хребтах и острых головах – ослепительные ледники.

Двор Мирзо-бобо, если такую площадь можно назвать двором, расположился на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Вместе с сыновьями они построили большой дом, большую кухню, несколько сараев, помещение для овец, коз, двух ишаков и лошади – овчарней или конюшней их не назовешь. С этой площадки, словно созданной Богом только для Мирзо-бобо, вниз убегала узкая тропка, по которой способны были ходить местные горцы, овцы, ишаки да лошади.

Только не я.

Долго Мирзо-бобо скрывал от меня, чем занимаются его сыновья.

– Ну твой племянник Комол видно чем, – говорил я ему, – служит у моджахедов, а сыновья? По ним не видать, чтобы они были воинами...

Наконец, Мирзо-бобо раскололся: понял, очевидно, что я, похищенный и плененный моджахедами, вряд ли могу причинить ему зло, или осознал, что я на стукачество не способен. Так вот оба сына его и племянник закупали на юге коробочки мака с зернами, называли их хош-хош и продавали на севере, в республике. Их использовали в хлебопеченье, добавляли в сладости, применяли в медицине. Но дохода от торговли почти не было: пограничникам приходилось платить немалые деньги. И вдруг им повезло: отправились как-то со старателями вверх по реке и... набрели, ну не на золотоносную жилу, а на золотой песок. Вот этим и занимаются: промывают песок и

ищут золотые крупинки. Жить-то надо. Чем убивать ни в чем не повинных людей и самому не быть убитым, лучше копошиться в ледяной воде – может, Бог вознаградит за тяжелый труд старателя... – так считал Мирзо-бобо.

– Что меня здесь держит? Я счет времени потерял. Продаете – так продавайте. Долго торгуются. Будто я золотой Будда. Вот дурачье-то.

Мирзо-бобо долго смотрит на меня большими карими глазами и вдруг раскатисто хохочет:

– Они думают, у тебя большое состояние.

– Откуда такое взбрело в голову?

– Ты же пишешь. Как наш Мирзо Турсун-заде. Знаешь нашего поэта?

– Как не знать?

– Вот он состоятельный человек.

– Так пусть его и похищают.

– Он – тоджик. А ты русский, шурави.

– Какой же я русский, если мой язык фарси.

– Не говори так, ты шурави. И нас называли бы шурави, если бы жили за рекой.

– Ты, отец, что-то путаешь. Сам рассказывал, что воевал в Сталинграде, освобождал Ростов, Киев, шагал по городам Европы, тогда ты кто был? Не шурави?

– Нет, сынок, тогда я был советский человек, гражданин СССР. Сейчас другое время. Горбач заболтал страну. В Риге разгоняет митинг, в Вильнюсе разгон, в Тбилиси, в Баку... Сколько людей побили. Такого не было. У нас резня. Такого не было. Горбач не ладит с головой. Что-то нехорошее ожидается. Тревожное время...

Я удивленно гляжу на него:

– От кого ты это слышал? У тебя ни радио нет, ни телевизора. Он, что ли, сообщает? – я поднимаю лицо к небу.

– Сын сказал, Рустом. Он ходил за реку, там слышал.

К нам приближается Комол, мой конвоир, с автоматом за плечом. Здороваемся.

– Как дела, брат, как здоровье, – спрашивает он меня, присаживаясь рядом.

– Паршиво. Надоела такая жизнь. И себе несладко, и вам обуза.

– Везде паршиво, – говорит он.

– Слушай, а вы продайте меня кому-нибудь, – подаю ему идею. – И вам легче, и мне новая жизнь...

– Кому ты нужен, брат, – произносит Комол. – Забыли о тебе похитители. Наверное, более выгодную сделку совершают.

– Так можно убежать? – восклицаю я.

– Куда ты убежишь? Ты знаешь куда бежать? – Комол громко смеется, успокоившись замечает: – А вдруг заявятся? А тебя нет. Всех нас перебьют. Они за один доллар мать родную убьют. Сиди уж, брат, не торопи время.

29

Я долго вынашивал желание сыграть в рулетку. В русскую рулетку. Я не игрок, и не любитель острых ощущений. Более того, никогда не имел финансовых возможностей. А то, что касается игры... Да, я несколько раз играл в кости, путешествуя по Азии, если мой путь по земле Афганистана и Персии можно назвать путешествием. Так вот, несколько раз играл, чтобы не потерять сознание от голода. И какая-то мелочь спасала меня: на нее ни разу не позарились даже карманные воришки.

И вдруг в душе родилось желание сыграть в русскую рулетку. Я о ней немало знал из книг, но участвовать в этой азартной игре и не помышлял.

Какое-то непонятное, спонтанное желание. Никак, происки дьявола?

Я даже обратился ночью к своему ангелу-хранителю, вызвал ее из темноты, просил совета – как быть. Ее строгое, холодное лицо было непроницаемо. И только после долгих просьб и заверений, что эта игра будет первой и последней, выражение ее лица смягчилось. Но слово так и не сорвалось с ее губ.

Я ей искренне признался, что меня абсолютно не прельщает крупный выигрыш, если он и случится, и не пугает проигрыш, что вполне может быть. Меня влечет азарт. Ну хоть раз испытаю азарт игры. А деньги на это есть: вырученные от продажи картины Жерару. Готов выложить две тысячи евро. Это почти сто тысяч рублей.

Итак, лицо ее смягчилось.

Но слова не услышал. Его не было.

Я стою в казино, в толпе любопытных, внимательно следящих за бегом шарика. За их плотными спинами и головами не видно игроков. Только крупье, обворожительная девушка, смотрит на всех и на все происходящее безучастно. «Ей бы участвовать в конкурсах красоты, – думаю, – а не обслуживать зажравшихся бизнесменов». И будто прочитав мою мысль, она на мгновение бросает свой взгляд на меня, взгляд больших голубых глаз, ничего не выражающий, утомленный, и снова обращает его на бег шарика.

Вздох облегчения. Некоторые любопытные хлопают в ладоши. Слышу громкий, жизнерадостный голос:

– О, и ты тут? Где я, там и ты?

Знакомый голос. Вглядываюсь. Бритоголовый. Супруг Гульнары. «Ну надо же, ухмыляюсь я, почему-то судьба нас стала часто сталкивать. Что это значит?» Пока не понимаю.

– Подходи, присаживайся, лишние деньги появились? Сейчас я их прикарманю. Сегодня мой день. Может, и дворец свой поставишь на игру? Ха-ха-ха... Все твое будет мое.

Бритоголовый радостно потирает руки. Двое друзей бритоголового узнают меня и уже не отрывают глаз.

Рядом со мной стоят две девушки. Внимательно следят за игрой. По глазам видно, что недавно плакали, но привели себя в порядок и что-то их еще удерживает в зале. Я приглядываюсь к ним и вдруг забываю о бритоголовом и его дружках, и о рулетке, да и обо всем:

– Здравствуйте, девушки, как вы себя чувствуете?

Они удивленно смотрят на меня и непонимающе поглядывают друг на друга, будто спрашивая: кто такой?

– Ну конечно, вы меня можете не только не помнить, но и не знать. Ведь вокруг был дым и огонь...

Они не сводят с меня глаз, что-то осмысливая, и внезапно с возгласом: – это были вы, – бросаются мне на шею. И заливаются слезами. Слезами радости. А может и горя от потерянных в игре денег?

Любопытные шикают на нас, удивленные и возмущенные сценой братания, и я вывожу девушек на улицу.

День догорает. Справа от выхода из казино одно из лучших и любимых горожанами кафе. Впрочем, рядом с казино плохого кафе не бывает. На широкий тротуар, выложенный цветными плитками, вынесены плетеные столы со стульями, от прохожих их отгораживают туи, высаженные в деревянные бочонки.

Усаживаю девушек за стол. Они никак не успокоятся и говорят наперебой.

– Мы вас где только ни искали, никто ничего не знает...

– Да, где только ни были – не знаем, не знаем... Везде один ответ...

– Погодите, успокойтесь. Во-первых, познакомимся, как вас звать? – спрашиваю.

Имена – красивее не придумаешь. Одну звать Медея, другую – Нимфа. Что имели в виду их родители, подбирая такие имена, что предвидели в их будущей жизни, – не мне знать. У Медеи волосы цвета закатного солнца, у Нимфы иссиня-черные, глаза у обеих словно расписаны аквамарином с позолотой. Я не могу отвести от обеих взгляда.

– Вы нам не верите? – удивляется Медея. – Мы были и в милиции, и в редакциях газет, даже в МЧС ходили...

– К чему такие муки?

– Как зачем? – поражается моим ответом Нимфа. – Вы же нас из огня вытащили, от смерти спасли. Мы ваши должники... Или должницы?..

Я смеюсь, и в это время к нам подходит официант. Я заказываю три порции мороженого и три кофе.

– Плакали почему? Деньги проиграли? – спрашиваю девушек.

Они с удивлением смотрят на меня.

– Как вы узнали?

– Плачут девушки в двух случаях: когда теряют или возлюбленного, или деньги. Раз вы в казино, следовательно, деньги. Мороженое растает, ешьте...

Едим мороженое, запиваем глотками горячего кофе. Молчим. Наконец, паузу прерывает Медея:

Проиграли семьдесят тысяч. Нимфа настояла заканчивать игру.

– С какой суммой садились?

– Сто тысяч.

– Видать, очень нужны большие деньги?

– А вам нет? – иронизирует Нимфа.

Потом с подозрением смотрит мне в глаза. – А может, вы выслеживаете кого-то из толстосумов?

Внезапно перед глазами вырисовывается лицо бритоголового, его алчный взгляд. Кипа денег... «Тьфу ты, – произношу про себя, – не хватает мне еще путь грабителя выбрать на старости лет».

– Ну, выиграли бы добрую сумму, а дальше? Как с ними поступать?

– Как поступать? – этот вопрос Медея задает уже себе: – Мы же думали свой малый бизнес открыть. Надоело на кого-то работать.

– Расскажите, какой, если не секрет?

– Хотели заняться выпечкой, открыть кондитерский бутик...

– Ими наводнен город, – перебиваю ее.

– Верно. И все-таки решили так, это Нимфа подсказала: будем выпекать не торты, не пироги, не рулеты, а сладкое для детей. Вы знаете, для детей у нас, кроме печенья и пряников, больше ничего не выпекают. А Нимфа отлично может лепить зверушек, она училась на художественно-графическом факультете. Вот и будем выпекать медвежат, лисиц, слонов, бегемотов, кроликов, дельфинов, китов, спрутов,

верблюдов, буйволов, ну всего, всего, всего и все со сладкой начинкой, с вкусным кремом... И дети пойдут к нам.

– Идея, впрочем, не дурна, – говорю я. На самом деле, дети одобрят продукцию. – В чем же загвоздка?

– Вот пошли в казино в надежде выиграть.

– В казино, да с надеждой, – усмехаюсь я. – А помещение? О нем вы подумали?

– Уже взяли в аренду. Там почти все готово, – говорит Медея.

– В каком районе города?

– Да прямо напротив нашего сгоревшего магазина.

– Напротив сгоревшего? – удивление как-то само по себе вырывается из меня.

– Мы не суеверные, – смеется Нимфа.

Я прихлебываю кофе, закрываю глаза, и внезапно из темноты выплывает мой ангел-хранитель. Лицо строгое, но глаза улыбаются. Одобряешь? – спрашивает ее мой внутренний голос, она молчит, но глаза продолжают улыбаться, и с этой улыбкой она уплывает и исчезает.

– Девушки, кто-нибудь из вас откройте свою сумку, – обращаюсь к ним.

– Это зачем еще? – удивляется Нимфа. – Вы позарились на оставшиеся деньги?

Чего-чего, но такого страха от них, такого финала разговора я не ожидал. На мой громкий смех оглядываются прохожие.

– Открывайте, иначе уйду. – Смех не прекращается, на щеки уже накатываются слезы.

Медея опасливо открывает свою сумку («значит, оставшиеся тридцать тысяч у Нимфы», – догадываюсь я), достаю из своего кармана две тысячи евро и засовываю на самое дно ее сумки.

– Что это? – удивляется она.

– Две тысячи евро. Считай сто тысяч рублей. Открывайте свою лавку.

Они молча непонимающе переглядываются и, когда до них доходит суть происходящего, вдруг одновременно вскрикивают:

– Нет, нет, мы не возьмем...

– За кого вы нас принимаете...

– На нас оглядываются, помолчите, – не столь строго, как грубо, прерываю их. – Вы же не дурочки, в конце концов. Что люди подумают? – Потом смягчаю тон: – Все равно я их проиграл бы. А на доброе дело не жалко.

– А может, выиграли бы? – говорит Нимфа.

– Из выигрыша дал бы.

– Но мы же вас не знаем. Совсем не знаем, – произносит Медея.

– Как это не знаете? – смеюсь я. – Сами говорите, что я ваш спаситель.

– Но такие деньги просто так не дарят. Что же потом потребуете с нас? – в глазах Медеи непонимание борется со страхом.

– Когда колесо закружится, ну вы понимаете, когда дело пойдет, вернете мои деньги.

– Но как, мы же не знаем...

– Возьмите мобильники, запишите номер моего телефона, адрес. Ну, живее.

Я диктую свой адрес, имя, фамилию, они быстро заносят в свои смартфоны, и в это время из казино выходит бритоголовый с оттопыренными карманами в сопровождении подельников.

– Вон сколько забрал, – тихо произносит Нимфа, и в ее голосе чувствуется неподдельная зависть.

– Сколько забрал, столько и отдаст, – говорю я.

– Как это отдаст? Кому?

– А очень просто. По закону бумеранга.

Я вижу, как в тот момент, когда бритоголовый с подельниками садятся в свою машину, перед ними, резко сбавив ход, останавливается белый внедорожник, из него быстро выходят трое крепко сбитых парней, влезают в машину бритоголового, буквально тут же выходят и садятся в свою. Белый внедорожник отъезжает, но вдруг резко подает назад, дверца открывается, чья-то рука швыряет на дорогу пачку денег, и машина срывается с места.

Улица молчит. Прохожие еще переваривают в себе эту, казалось бы, безобидную сцену, хотя уже понимают, что произошло.

– А что это было? – протяжно произносит Медея.

– Бумеранг, девушки, бумеранг. Забрали миллионы. Давайте-ка я вас посажу в такси и отправлю домой. Только в машине ни звука, ни слова ни о казино, ни о рэкетирах. Вы меня поняли?

Девушки кивают в знак согласия головой и не могут прийти в себя от увиденного спектакля.

На город опускается вечер. Улицы переливаются лампами всех цветов радуги, разливают яркий свет огромные рекламы богатых ресторанов, кафе, ночных клубов, супермаркетов. Над домами стынут густо-оранжевые сполохи.

Я иду домой. В свой тихий, уютный микрорайон. Иду по безлюдной полуосвещенной улице. Совершенно не думая о том, что кому-то вдруг взбредет в голову остановить меня, попросить сигарету, а потом и деньги... К его огорчению у меня нет ни того, ни другого. Я не курю, а в кармане пусто.

30

– Что ты хочешь мне сказать?

Она строго и пристально смотрит мне в лицо, но в ее глазах теплится улыбка.

– Почему ты так долго не являлась мне?

– А ты будто долго ждал меня. Соскучился, сиротинушка?

– Очень даже. Ты появлялась и тут же растворялась в воздухе. Исчезала.

Ее портрет четко вырисовывается в большой рамке на стене: крупное строгое лицо, большие глаза, твердый взгляд, короткая прическа. Чем-то напоминает лицо женщин племени североамериканских индейцев – гуронов, ирокезов, могикан. Почему индейцев – ума не приложу.

– Не беспокойся, я всегда рядом с тобой.

– Постоянно, что ли?

– Ну, конечно. Вспомни тот день, когда из парка пробирался по крутой тропе вниз с мальчишками, ты оступился и покатился кувырком по откосу. Поломал правую ключицу, несколько ребер, повредил позвоночник... А если бы я тебя не остановила? Вспомни, как ты попал в воронку и открыл уже рот и хлебал морскую воду, но тебя ухватила рука спасителя. Кто его подослал? Вспомни, как на горной дороге летела вниз, словно птица, машина без тормозов, в которой сидел ты с товарищами. Кто развернул руль и направил машину на отвесную стену горы? А ведь с другой стороны была пропасть. Машина перевернулась и встала на дороге колесами кверху. Кто тебе после операции кричал: – дыши, дыши? Тебя пытались вывести из коматозного состояния.

– Ты действительно всегда со мной? – удивляюсь я.

– Конечно.

– И с какого дня?

– Как только появился на свет и завопил, – она тихо смеется.

– И всегда будешь со мной?

– Конечно. Пока будешь жить.

– А когда меня не будет, и ты уйдешь?

– Нет. Мне уготована вечная жизнь.

– Кто ее тебе дает?

Она улыбается. Долго молчит. Наконец, тихо произносит:

– Не знаю... Нет, тебе этого не знать.

– Вот таинства мира, я тоже хотел бы вечно жить. Кого просить-то? Подсказала бы.

– Ну какой тебе интерес жить вечно? Одним и в сорок уже скучно, другим в восемьдесят тягостно, третьим в сто уже стыдно, за себя стыдно. А ты – о вечной жизни задумался. Скучно будет.

– Нет, не будет. Сады разобью фруктовые, дороги проложу.

– А дальше?

– По земле пойду путешествовать.

– Дальше.

– Книги напишу.

– Дальше.

– Перепашу брошенные земли, посею пшеницу, рожь...

– Дальше, дальше...

– Полечу в космос, открою миры, познакомлюсь с жителями других планет...

– Дальше...

– Там разобью сады, проведу дороги, засею...

– Все слова, слова, слова... Надоест. Даже долго жить надоедает – есть предел силам, органам человеческим. А вечно жить невозможно.

– Прости меня если тебе не понравятся мои слова: но ты же живешь вечно?

– Да, – она умолкает. Потом тихо произносит: – Думаешь, хочется? Надоело.

Ее последнее слово меня ошарашивает:

– Как? Тебе надоело? А кто велит?

Она опять тихо смеется:

– Но надо. Надо быть рядом с человеком.

– А когда, скажем, человека не будет? Людей не будет на Земле?

– Вот тогда и нас не будет на Земле.

– Только на Земле?

– Ну на других планетах они же есть, живут. Им тоже нужно наше присутствие, наша помощь. Ты умный, не тебе объяснять, друг мой. Дьявол-то не дремлет.

Мы умолкаем оба. В голове у меня от столь заумного разговора какая-то каша. Вкусная овсянка на молоке. Моя любимая.

– Недавно я слушал интересную беседу ученых-уфологов. Они авторитетно заявляют, что ангелы-хранители не что иное или не кто иной, как инопланетяне, прикрепленные к каждому землянину. Ну и как?

После долгого молчания, она со смехом спрашивает моими же словами:

– Ну и как?

– Так это я тебя спрашиваю.

– Ученые-уфологи говорят? А уфологам уже кто это вбил в голову? Подумай сам. Впрочем, тебе давно спать пора. Да и мне время уходить. Но помни: я всегда рядом.

Лицо растворяется в темноте. И в это время откуда-то сверху мне на лоб падает неясное существо. Оно не больно царапает кожу, пробегает по телу, доставляя неприятное, более того – омерзительное ощущение. Долго возится в ногах и исчезает. И тут догадка осеняет меня: это же скорпион, ах, мерзавец, ах, подлая тварь... Да за что его ругать, надо сказать спасибо, что не ужалил, не вонзил в меня свой хвост.

Внезапно он садится мне на лоб и выделывает какие-то кренделя. Я напрягаюсь, ожидая укола...

Открываю глаза и резко привстаю с постели.

За открытой балконной дверью тихо. Утро расцвечивает холодное небо лиловыми и фиолетовыми красками. И воздух напоен соленым морским запахом.

31

Сон

Сижу на плоском холодном камне на берегу горной реки. Ее прозрачные воды цвета сапфира с шумом, бешенной страстью несутся вниз, разбиваясь о могучие камни и пенясь у берегов. В голове не укладывается, каким образом можно перейти на другой берег.

Пальцы ног разбиты. Ступни словно в огне – натер до крови. Поясница ноет: я спускался по узкой бесконечной тропе, откинув корпус назад, чтобы тело вдруг не понесло меня вниз...

Шум, грохот, рев бешеной реки – а вокруг высоченные холодные горы.

– Слава Аллаху, – слышу голос за спиной.

Тихо подходит и садится рядом Мирзо-бобо. Удивленно смотрю на него.

– Отсюда дороги нет никуда, – говорит он.

– Но вы же уходите. И приходите.

– Мы горцы. Горы для нас как книги, мы умеем читать их страницы. Ты городской житель. Горы тебе ничего не расскажут.

– Отец, если пойти вдоль реки направо, куда можно прийти?

– По камням? Это не твоя дорога.

– А все же?

– К ледникам. – Он умолкает, потом задумчиво произносит. – Туда ходят мои оба сына и их друзья намывать золотой песок. Сейчас они там.

– А если влево?

– Выйдешь к узбекам, спустишься ниже – выгоревшая от солнца степь, а из живого там только ящерицы и змеи. Так что сиди пока на хуторе.

– Пока – это очень долго? – спрашиваю.

– Кто его знает. Аллах подскажет.

Что-то он дважды произносит имя Аллаха. Чем это вызвано, хочу узнать у Мирзо-бобо и не решаюсь – боюсь обидеть, вернее, задеть чувство старика. Очевидно, он читает мои мысли и произносит:

– Сегодня Аллах тебя спас. По этой тропинке очень, очень опасно спускаться: она ведет в никуда. Да и горные козлы могли столкнуть, и барс мог бы встретить...

Он умолкает. Хочется тишины, но голова тяжелеет от рева и грохота бешенной реки.

– Слышишь, как грозится, – тихо говорит Мирзо-бобо, словно прочитав мои мысли: – Отец моего отца и мой отец были суфии или суфисты. Ты человек грамотный и должен знать их учение. Они ходили в Индию, в Тибет. Познали науку, входили в нирвану. Отец и мне начал было передавать свои знания, но было уже время Советов. Ты же знаешь, большевики отвергали религию. Меня в комсомол не приняли, кто-то из учеников сообщил, что мой отец и отца отец были суфии... Вот так. А на войне, в окопе, мне вручили партбилет. Так что я человек советский. Идейный. И учителем истории стал потому, что поклялся себе научить детей любить свою страну, свою землю, свой дом. А Аллах... – он трижды хлопает ладонью

по груди, – он там, мой Аллах, глубоко в душе. Не много ума надо человеку, чтобы бегать и кричать: я верующий, я верую в Аллаха.

Солнце повисает над хребтом. Скоро оно закатится. Как же мы вернемся в темноте? Но... это уже забота Мирзо-бобо.

– Я тебя не спрашиваю, веришь ли в Бога. Ты мужчина умный. Глаза выдают твой ум. И твердый. Только вот интерес у меня появился, скажи-ка мне в каком месяце ты родился.

Выслушав мой ответ, он оживляется:

– Значит, когда солнце находилось под созвездием Скорпиона. А это значит, что ты мистик. Как и суфии.

В его глазах читаю чувство уважения ко мне.

– А это хорошо или плохо? – прикидываюсь глуповатым.

Мирзо-бобо лукаво улыбается: да разве такого старца обманешь...

– Ты никого и ничего не боишься. У тебя нет чувства страха ни перед недругом, ни перед смертью. Ты сам себя казнишь и сам себя оживляешь. Тебе надоедает пустая жизнь и ты находишь интерес к жизни. Ты можешь нагрубить, оскорбить, но потом в душе страдаешь и изводишь себя...

– Довольно, отец, не то вместо меня сейчас явится скорпион, – мягко перебиваю старика. – Пора, наверное, в обратный путь.

– А я вижу скорпиона, – смеется он. – Ну, если ты решил, значит пора.

Мирзо-бобо поднимается и, тихо напевая под нос, опираясь на посох, направляется к тропе. Я следую за ним, превозмогая боль в ногах и спине.

32

Иду домой обычным маршрутом. Справа от меня, за железнодорожным полотном, море. Оно бунтует. Ветра нет, а белые буруны бегут к берегу, обгоняют друг друга и обрушивают свои массивные тела на вековые многотонные камни и песок.

Меня эта картина не радует. Да, она красива, красива мощью, яростью, но нет в ней добра, не вижу, не чувствую я его. Много в ней буйства, стона, рева, но не слышно в ней молитвы...

Время катит к вечеру. С самого утра я сидел на горе, на смотровой площадке, и любовался городом. Он очень заметно разросся. Из провинциального за короткий срок превратился в цивилизованный. Саманные дома вытеснили многоэтажные и высотные, ровные широкие проспекты тянутся к морю...

Привольно раскинулся город. А найти для работы, для полотна сюжет не могу, не вижу. Ну, есть высотки, есть улицы, есть потоки машин и людей, ну и что? Панорама. Ну, напишу эту картину – кому она доставит радость, кого заставит напрячь мысли свои?

Не могу найти изюминки, души его не чувствую. Тепла...

Полдня проходит совершенно впустую. Не открыв даже этюдник, я решаюсь спуститься в город через аул – он сегодня получил статус поселка. Это древнее поселение, шамхалы которого издревле дружили с русскими царями, и кстати, уроженец аула был прадедом прославленного советского кинорежиссера Тарковского.

Спускаюсь в аул. И ничуть не сожалею. Наоборот, очаровываюсь архитектурой его каменных домов и чистыми узкими улочками, резными воротами и тяжелыми плодоносящими ветками деревьев, свисающими через каменные заборы. На всем лежит отпечаток прошедших времен.

На пригретом солнцем камне сидят две старушки в накинутых на голову шелковых платках. Не обращая на меня внимания, они о чем-то судачат и тихо хихикают, то и дело хлопая ладонями по коленям.

Я достаю из полотняной сумки альбом, карандаши и присаживаюсь напротив них – тут у каждых ворот или большой плоский камень, или деревянная скамейка.

– Я вам не помешаю? – спрашиваю у старушек.

– Пиши, пиши, сюда многие приходят писать, – отвечает одна из них, и они продолжают свою прерванную беседу.

Отличный сюжет. Превосходнее не бывает. И яркие типажи. Очевидно, мой ангел-хранитель удружил. За несколько часов я делаю серию набросков-этюдов и спускаюсь в город легкой походкой, довольный работой. Нашел то, что хотел. У этих людей, у аула была добрая энергетика, добрая душа – я почувствовал сразу.

Мысли мои прерывает гудок тепловоза и мерный стук колес: справа от меня, под откосом медленно катит поезд, набирая скорость, вскоре последний вагон скрывается за многоэтажкой, построенной почти у железнодорожной насыпи.

Иду домой. Через правое плечо перекинуты этюдник и полотняная сумка с альбомом и карандашами, в левой руке пакет с продуктами к ужину, в душе – покой и радость от удачного дня.

Я ступаю на бордюр, за бордюром – тропинка и крутой спуск к железной дороге. Не знаю, что повело меня на бордюр – слышу гул мотора бешено мчащейся машины, правая нога моя оступается на бордюре, стопа больно выворачивается и я падаю на тропу. И в тот же миг, едва не коснувшись меня, ударившись шиной о бордюр, мимо проносится машина, высоко подскакивает, подброшенная «лежачим полицейским», мчится дальше... Сильный хлопок. Удар. Наступает минутная тишина, но тут же оглашается криками людей.

Я пытаюсь встать. И не могу. Резкая боль в правой ноге вынуждает меня сесть.

Что это было? Какого черта он мчался на бордюр? Ведь он мог скатиться вниз, на рельсы. Ну что за дьявол? Взбесились от богатства, накупили машин, водительских прав и лихачат. А может, напился и решил удаль показать своей даме? Надо пойти глянуть...

Пытаюсь привстать. Но боль не позволяет. Закатываю штанину и принимаюсь делать массаж правой, а потом и левой ноги.

Завывает сирена «скорой помощи», вслед за ней и полицейской.

Мимо меня проходят две женщины, оживленно обсуждают происшествие. Увидев меня, сидящего на земле, одна вскрикивает:

– Ой, они вас сбили? Вызову «скорую», – и достает из сумочки мобильный телефон.

– Не надо, – упреждаю ее, – я оступился. Если бы по тротуару шел, вот тогда мокрое место осталось бы. Мчались как дьяволы.

– Чем вам помочь? Мы, кажется, соседи? Проводим вас.

– Спасибо. Сам доберусь потихоньку. Побаливает нога. А кто сидел в машине?

– Ну кто может? Крутые. Двое их было. Увезли в больницу.

– А машина?

Женщины смеются.

– Без передней части. Бетонный столб боднула, как бешенный бык.

Добираюсь до своей хижины поздно вечером. Приняв душ и покормив Черного, у самого аппетита нет, ложусь на тахту. Закрываю глаза. Из темноты выплывает лицо моей женщины – ангела-хранителя. Ее глаза улыбаются.

Ночью я сплю спокойно, только вот скорпион хвалится своими бойцовскими качествами – принимает боевую стойку, напрягает хвост, жалит себя, падает, встает, снова принимает стойку...

33

Сон

– Брат, это же наш хутор, – в голосе Комола явно чувствуется восхищение.

– Вот наш дом, ишаки у стойла, горы, окружающие нас, вон та дальняя гора, покрытая снегом и ледником. Ты скрывал от нас, что большой усто[1]?

---

[1] *Усто* – мастер.

– Какой я усто? Не выдумывай. Я журналист. А рисовать ты научил меня.

– Я?! – изумляется Комол. – Я и зайца не могу нарисовать.

– А кто мне привез альбомы и карандаши? Не ты, скажешь? А потом кисти, краски, холсты?

– Ну да, привозил, а рисовать-то я не умею. Так, как ты рисуешь, в Душанбе не многие могут.

– Скажешь тоже, – смеюсь я, – в Душанбе да чтобы не могли. Не верю.

– Ну... я не видел.

– Ты много чего не видел.

А к рисованию я обратился на самом деле благодаря Комолу. В этом забытом богом уголке месяц за месяцем проходили в безделии, скуке и ожидании спасения. Я дважды решался на побег и оба раза меня постигала неудача. В первый раз меня вернул с тропы горный козел. Увидев меня, он подскочил с тропы на отвесную стену горы и спокойно пошел по ней, словно альпинист. Я глядел на него затаив дыхание. Казалось, его копыта присасывались к горе магнитом. И тут сверху посыпались камни. Не дожидаясь камнепада, я повернул обратно. Во второй побег у меня закружилась голова – тропа была очень узка и мне стоило глянуть вниз, в пропасть, как закружилась голова, я оступился и скатился вниз. Конец падения был бы плачевным, если бы мои ноги не зацепились за дикие кусты. Поднял меня к вечеру Комол. И он же вправил поломанную ключицу и туго затянул ее длинной полоской кожи.

Однажды, когда на хуторе никого не было, чтобы как-то скоротать время, я стал чертить на каменистой земле острыми камешками контуры гор. Вскоре вся территория так называемого двора была расписана.

Спустя некоторое время Комол принес мне несколько альбомов и карандаши.

– Рисуй, брат, тебя просят боги.

Первой моей работой карандашом был портрет Комола. Он не знал, что я его рисую с натуры, потому не закрывал лицо, не отворачивался. Но подойдя ко

мне и увидев себя на листе белой бумаги, долго молчал, потом тихо проговорил:

– Брат, ты разве не знаешь, что у нас не позволено рисовать человека?

– Это когда-то было. Сейчас на дворе какой век?

– Сейчас тоже.

– Так ты его спрячь. Дом твой на севере? За рекой? Вот дома вставь в рамку. Это подарок от меня.

Также скрытно я сделал портрет и Мирзо-бобо, когда он вернулся с севера, из Таджикистана (он часто отлучался). Глядя на портрет, он долго причмокивал языком, бросая частые взгляды на меня, потом довольным голосом произнес:

– Ты хороший усто. А знаешь, почему? Потому что показал в глазах то, что скрыто глубоко в душе. Спасибо, сынок. Когда тебе боги дали такое ремесло?

– В твоем доме, Мирзо-бобо.

– В моем доме? – удивился он. – Тогда ты должен его благодарить. Хотя бы перед сном. Ложась в постель, закрыв глаза, произнеси несколько благодарных слов.

– Скажи, отец, у вас человека нельзя рисовать?

– Почему нельзя? Кто такое мог тебе сказать?

– Брат Комол.

Мирзо-бобо тихо засмеялся.

– Хоть он и из нашего рода, но не так образован, как северяне. Мы живем в Советском Союзе, сам знаешь как власть насаждает культуру, именно насаждает, а он родился здесь, даже хуже – на юге Афганистана. Сам знаешь, кого там готовят. И даже сейчас он свою дорогу не выбрал: то у моджахедов служит, то у царандоев. Но что успокаивает – руки его не в крови. Душа у него чистая, добрая.

А еще через некоторое время Комол привез мне из Душанбе краски, кисти, холсты. И когда они увидели написанные красками их горы, одетые хвойными лесами, покрытые снегами и накрытые ледниками, горного козла, взбирающегося по щеке горы, ленту реки в глубоком ущелье, свои лица – их чувства светились в глазах.

Горцы не любят много говорить.

По тропе поднимаются люди. Один. Два. Три. Друг за другом. Одежда и бороды выдают в них моджахедов. Как они пробрались на территорию, контролируемую таджиками, непонятно. Впрочем, в горах всякое случается. Даже не глянув в нашу сторону, они заходят в дом.

Наверное, вспомнили о тебе, – тихо говорит Комол.

– Наконец-то. А я думал – уже давно забыли.

– Такие не забывают.

Долго не появляются. Видать, разговор длинный, а Мирзо-бобо в таких делах дипломат тонкий и хитрый. Наконец, они выходят, все четверо садятся на пригретые камни неподалеку от нас с Комолом.

– У тебя что же совсем родных нет? Ни одного? – спрашивает старший из них, зорко глядя на меня, потом поворачивает голову к Мирзо-бобо, – переведи ему.

– Ему переводить не надо, он знает твой язык, – говорит Мирзо-бобо.

В глазах моджахедов появляется интерес.

– Как это так? Пуштун, что ли?

– Нет, фарс, и родных, к вашему огорчению, у меня нет, – отвечаю ему.

– Как так, один на всем белом свете?

– Как видишь, если до сих пор никто не ищет.

– Жалок одинокий человек. Послушай-ка, не хитри. А куда делись твой парижский дядя и брат? А? Ну-ка ответь?

Вот куда зашли, докопались и до них.

– Мне откуда знать?

– Не хитри, не навлекай на свою голову беду. Ты же был в Париже?

– Ну и что с того? Повидал и уехал. Озолотили они меня или одарили чем? Вы же все выведали.

– Выведали, говоришь? Да, выведали. Не хотят они тебя знать. Тебя и твои товарищи по работе отвергнут: сколько грязи ты на них вылил в своих писанинах в газетах, – он смеется, смех у него громкий,

задиристый, злой. – После такой писанины тебя на родине ждет тюрьма.

Я это предполагал. Сколько статей, подписанных моей фамилией, они опубликовали в газетах, как только ни поливали и власти, и достойных людей, ни оскорбляли руководителей. Безусловно, если на родине всему написанному поверят, мне там уже не жить. Но поверят ли?

Не должны.

Но почему в таком случае не ищут?

Не выкупают.

Словно прочитав мои мысли, он произносит:

– Итальянец хотел тебя выкупить. Денег предложил мало.

– Подождем, пока накопит, – говорю я.

– Ты еще и шутить любишь? Молодец, уважаю шутников. Но что с тобой делать? Продать, что ли, на юг, есть покупатель.

– Подождем еще немного, – советует Мирзо-бобо, – а там решай, как знаешь.

– Да и ничему не научен. Писать умеет, и вот рисовать. Кому это нужно? Сегодня воины нужны, сильные воины, а бумагу марать и тряпки красками разукрашивать все могут. – Он замолчал. Задумался. – Послушаемся аксакала Мирзо-бобо, подождем еще немного, а там... А там решим. Может и в расход пустим. Лишний ишак в хлеву есть просит.

34

Словно пустая железная бочка срывается с большой высоты. Взрыв. Спустя минуту второй взрыв. Третий. Огненное пламя взвивается в небо. Какие-то неясные тени в дыму. Я кричу. Не слышу своего голоса.

Открываю глаза. Сердце гулко бьется, словно пытается выпрыгнуть из груди.

А вокруг – тишина.

Выхожу на балкон. Ночь еще крепко спит. Окна многоэтажек темны.

Я ложусь в постель, укрываюсь с головой одеялом и тут же засыпаю.

Долгое назойливое жужжание заставляет открыть глаза. «Да что же это за дурная ночь, – думаю про себя, – то взрывы бухают, то оса покушается... Ос здесь вообще не бывает, откуда эта заявилась...»

Жужжание не прекращается.

«Ах, ты, черт побери, так это же мобильник».

Протягиваю руку к тумбочке и нехотя подношу телефон к уху:

– Дайте, черт побери, поспать, кому там не спится?

– Брат, как ты себя чувствуешь?

– Какой я тебе брат, дай поспать...

В трубке – смех.

– Солнце уже над головой.

В голове у меня звучит слово «брат», кому я стал братом? И вдруг просыпаюсь окончательно от сна.

– Ты опять предлагаешь делиться?

В трубке смех.

– Чем тебе делиться? Скажи лучше, как ты себя чувствуешь? Здоров?

– А что должно быть со мной? – удивляюсь я.

– Ну так бывай здоров.

К чему был этот разговор, не понимаю. Мир, по-моему, перевернулся. Незнакомые люди желают здоровья, знакомые делают всяческие пакости, преступные элементы оказывают уважение, друзья давно забыли. Друзья... Как много их было, когда я им был нужен: статьи в прессе придавали значимость. Было время, когда доброе слово повышало имидж человека. Одним это помогало продвигаться по служебной лестнице, другим служило визитной карточкой.

Сегодня слово утратило силу.

Стало инертно.

Сегодня деньги решают все.

Выхожу на балкон. Двор полон детей, а где дети, там крик, плач, смех, галдеж, одним словом – гвалт – настоящая жизнь. К калитке подходит Тима.

– Ты почему не на работе? – спрашиваю.

В его глазах вижу недоумение. Неужели я сказал что-то глупое?

– В воскресенье? – спрашивает он.

«Что-то происходит со мной, – сокрушаюсь про себя: то взрывы снятся, теперь дни стал путать... Неужели стучится старость? Кто-то из философов древности оставил нам об этом возрасте, пугающем очень многих, меткие слова: «Старость – интересная пора жизни, но старость без интереса уже не жизнь». Прекрасно сказано. Что касается меня, то интерес к жизни у меня есть. А может, он затухает? Нет, не должен. Чувствую, что он есть...»

Тима поднимается на балкон, садится в кресло спиной к солнцу:

– Вы что так долго спите? К месту взрыва бегали, что ли? Вам-то что там делать?

Я удивленно смотрю на него:

– А что, был взрыв?

– И не один. Вы не слышали?

– Я во сне видел. Три взрыва.

– Во сне? И три? И не проснулись?

– Проснулся. Но была тишина. И я заснул.

– Не тишина была. Шок.

– Что взорвали?

– Железнодорожное полотно подорвали.

Нет слов. Но о чем еще можно говорить, если бандиты распоясались. Любопытно, что они требовали и от кого на этот раз?

Я спускаюсь в кухню варить кофе.

Когда возвращаюсь с кофейком, чашками и бутербродами, Тима тихо, будто про себя, говорит:

– Гулин муж разбился.

– Как это разбился, – говорю я небрежно, разливая горячий ароматный напиток в чашки, а до меня еще не доходит смысл слова «разбился». Но уже минуту спустя замираю: – Разбился? Жив?

– Жив. Переломы обеих ног, руки, разбита голова.

– Как же это случилось? Наверное, на федеральной дороге?

– Если бы... Да на нашей улице. Врезался в бетонный столб. Лихач чокнутый.

На прошлой неделе на бешенной скорости внедорожник пронесся мимо меня, чуть не зацепив. Может, целью его было зацепить? Но ангел-хранитель опередила его. Неужели он хотел сбить меня? Но... я об этом Тиме не говорю. Он и не знает, что я сорвался с бордюра на тропку и повредил ногу. Зачем ему знать?

– Гуля, наверное, горюет, – говорю я, стараясь вложить в эти слова сострадание.

– Еще бы, – говорит Тима с ухмылкой, – несколько месяцев носить передачи в больницу.

– Грех оставить без внимания мужа в таком состоянии.

– Конечно, грех. Дом получила. Магазин открыла. Правда, доходы делят. Делятся, как говорится, по взаимному согласию. Ну вы же видели, как она живет.

Я все ждал, когда же он выскажется. И, наконец, дождался. И засмеялся, просто от души засмеялся.

– Она вас уважает. Очень уважает. Не знаю, почему. Даже, мне кажется, любит, – произносит Тима.

– Я ей не пара. И никакой любви... даже тени. И вообще, ты знаешь, сколько мне лет?

Он молчит.

– Возраст, в принципе, не помеха, – словно рассуждая сам с собой, произносит Тима.

– Для кого-то – да. А я не хочу расставаться со своим одиночеством. Одиночество, Тима, это глубокая, многоцветная, прекрасная философия. Оно не всякому дано, а ко мне вот снизошли небеса. И я в его мире живу несказанно богато. Душой, Тима, душой.

Он внимательно слушает меня, откинувшись на спинку кресла и потягивая кофе. Хотел бы я знать, о чем он думает. Об одиночестве? Но сможет ли понять он это состояние?

В состоянии одиночества я остаюсь сам с собой, со своим думами, мыслями, прожектами и проектами, тревогами, радостями. Нет, нет, я не отгораживаюсь, не убегаю от мира, я со всеми, но душу не отдаю сие-

словию. Я живу и советуюсь со своей душой, а разве это называется одиночеством? Душа – это́ второе «я», душа и я – нас двое, и в это же время одно целое. И никто из них не может предать друг друга. Целое – неделимо. Одиночество... Как его изобрази́ть? Как его опи́сать? Невозможно. Его можно ощутить. В нем нужно жить. Оно неописуемо прекрасно.

35

Сон

– Уйду я. Надоело мне здесь, понимаешь, так надоело, хоть волком вой. Ты слышал, как волки воют?

Комол дает мне выговориться, потом с усмешкой произносит:

– У нас здесь волков нет. Горные козы есть. Барсы есть. Ишаки кричат. Волки у вас, если ты слышал их вой.

– Уйду я.

– Два раза уходил – не смог. Если с тропы не смог спуститься, как Пяндж[1] перейдешь? Как посты обойдешь? Э, разговариваешь только.

Солнце обогревает вторую половину дня. С гор дует холодный ветер. Небо синее-синее и так низко, что если подняться чуть выше, по нему можно провести рукой.

Тихо и покойно. Со стороны тропы сначала показывается голова в бараньей шапке, потом сам человек в тулупе, наконец, и лошадь, на которой он сидит. Я внимательно вглядываюсь в него.

– Мирзо-бобо пришел, – спокойно говорит Комол.

Мирзо-бобо не было с нами почти полгода.

Лошадь идет медленно. А может, сам Мирзо-бобо не хочет спешить? Он что-то говорит, шевеля губами, и бьет рукой лошадь по загривку. Спешившись, заводит ее к овцам, а потом уже подходит к нам:

---

[1] *Пяндж* – река.

– Боло́[1] свалилось на наши головы, – горестно произносит он, опускаясь на камни. – Большое боло́, больше не бывает.

Он замолкает и закрывает глаза.

– Кто-то отдал душу Аллаху, Мирзо-бобо, – с тревогой в голосе спрашивает Комол.

– Лучше бы отдали души, – отвечает старик, не скрывая душевную боль.

– Но что случилось? Что произошло? – его состояние вызывает тревогу и у меня.

– Этот Горбач заболтал огромную страну, большие народы. Болтал и болтал, болтал и болтал, а Ельцин взял и выбросил его из кресла. Переворот, дети, переворот совершили в Москве.

Для меня эта новость как гром среди ясного неба. Государственный переворот в социалистическом государстве? А впрочем – почему и нет? Я три года сижу здесь взаперти, правда, без замка, и ничего абсолютно не знаю, что происходит в моей стране, да и в мире. У перестройки, начатой Горбачевым, были добрые намерения, но ее заболтали. Заболтал и сам зачинатель, как точно заметил старик. Но государственный переворот, захват власти?.. А почему и нет? Это свойственно России. Как будто до Ельцина переворотов не совершали.

– Отец, жили при Горбаче, поживем и при Ельцине, – успокаивает старика Комол. – Нам-то чего горевать? Мы люди маленькие.

– Ахмах, ду-у-у-рак, – вдруг повышает голос Мирзо-бобо. – А ты знаешь, что сделал этот Ельцин? Поживем при Ельцине, – передразнивает Комола. – Ельцин с белорусским Шушкевичем и украинским Кравчуком собрались в заповеднике, наелись-напились и Ельцин распустил Советский Союз. Ты понимаешь? Распустил. Берите, говорит, суверенитета столько, сколько сумеете съесть. Так может сказать умный политик? Так может сказать хулиган. А когда хулиган в политике – жди большой беды.

---

[1] *Боло́* – беда.

– Так нельзя говорить о больших политиках, – говорит Комол. – Ты меня извини, что поправляю тебя, но нельзя.

– Э, ягненок ты еще, – усмехается Мирзо-бобо. – Он и в детстве был хулиганом. Палец оторвал себе самопалом. А сейчас устроил большой взрыв. Такую империю развалил, свою, не чужую. Немка Екатерина Вторая расширяла земли России, грузин Сталин еще больше расширил, этот ахмах взял и раскидал республики.

– Наш аксакал большой человек был, – шепчет мне Комол. – Десять лет самой крупной школой руководил в небольшом городе недалеко от Душанбе, был секретарем парторганизации. Большой человек, много знает.

– А в Афганистан почему пошли? – продолжает делиться своими мыслями Мирзо-бобо. – Пуштуны с русскими были добрыми соседями. Зачем лезть в чужой дом, ломать установившиеся веками устои жителей, сами разобрались бы. Нет, полезли в угоду кому-то. Похулиганили. И что получили? Тысячи смертей, сожженные хозяйства, сегодняшний раздрай в Афгане и вот теперь развал Союза. Болó, большое болó свалилось на наши головы. Все четырнадцать республи́к оторвались от кормилицы России. Десятки миллионов людей. А ты говоришь, нам что горевать? Оххо-хо... – старик затихает.

Я ошарашен. Не верится в произошедшее. Но Мирзо-бобо не врет: весь его вид, все его душевное состояние говорит о постигшем его горе. Да иначе и быть не может. Он – человек, выросший в советском государстве, воспитанный советской властью, отстоявший ее в страшной войне, воспитавший тысячи детей и давший им знания, гражданин Советского Союза...

И вдруг, словно прочитав мои мысли, Мирзо-бобо обращается к Комолу:

– Ты еще жеребенок, Комол. Россия найдет в себе силы, она большая, богатая. Это мы будем горевать:

опять появятся беки, басмачи, или по-новому буржуи, опять расцветет нищета, безработица... Болó свалилось на наши головы, болó!

Мирзо-бобо пристально смотрит мне в лицо:

– Теперь, сынок, тебе надо уходить. И мы с Комолом уходим. Посмотрим, как пойдут дела в Тоджикистоне. Может, и ты с нами? Поживешь у нас, а потом пойдешь дальше?

– Нет, отец, я пойду в Персию, оттуда в Азербайджан, а там я уже и дома.

– Легко говоришь. Тебе надо еще Афганистан пройти. Здесь не так опасно, по соседству с нами живут узбеки, туда Дустум моджахедов не пускает, подальше живут туркмены, а рядом уже персы. – Мирзо-бобо задумывается, потом продолжает, словно окончательно решил: – С тобой пойдет Комол. Он и дорогу знает, и свои люди есть в тех племенах. От моджахедов пора ему уходить. Ты слышишь меня, Комол?

– Слышу, – коротко отвечает Комол.

– Вот одно плохо, – Мирзо-бобо опять пристально смотрит на меня, – как ты поведешь себя, когда муэдзин будет кричать азан? Ты же не молишься?

– Могу сделать вид, что молюсь, – говорю я.

Мирзо-бобо опускает голову, захлебывается, из горла чуть не вырывается смех:

– Ты хоть знаешь, как надо кланяться, сколько точек тела должны соприкасаться с землей? Заметят – не сдобровать тебе. Да и великий грех обманывать Аллаха.

– А я объясню, что он путешественник, ходил в Индию, Китай, а теперь возвращается домой, – подает голос Комол.

– Слушай, сынок, в твоей голове тоже иногда рождаются умные мысли...

Мы смеемся. И на душе вдруг становится спокойно. И тяжелые думы заливаются слезами смеха. А может, нежданной беды?

36

На Арбате не густо.

Конечно, люди есть. Прохожие. И художники, кто ежедневно выстаивает часы. Одни прохаживаются нервно – видно по лицам, что озадачены и расстроены, другие кучкуются и что-то горячо обсуждают, подкрепляя свои слова жестикуляцией.

И ни одной выставленной на продажу картины. Ни одной.

Потому и пусто.

В дальней группе верховодит худенький человечек. Это Толик. Увидев меня, он кричит:

– На ловца и зверь бежит. Прошу к нашей артели, если мы тебе не противны.

Уже подходя ближе, слышу, как говорит собратьям по кисти:

– Он нам поможет. У него должно быть знакомство с большими людьми.

После крепких рукопожатий, спрашиваю:

– Митингуете?

Именно в этот момент, когда нежелательное слово срывается с моих уст, рядом останавливаются трое сотрудников полиции общественного порядка. Старший из них прикладывает руку к виску:

– Лейтенант Крымов. Предъявите, пожалуйста, документ.

– Чем удостоен такой чести?

Толик настороженно глядит на меня: чувствую, тревожится, чтобы что-нибудь резкое я им не слямзил (это его любимое слово).

– Прошу предъявить ваш документ, а потом уже я свой, – отвечаю.

Лейтенант Крымов не возражает и раскрывает служебное удостоверение. Мне оно и не нужно, ну абсолютно не нужно. Просто решаю подурачиться. Впрочем, как и он.

Я достаю из кармана паспорт, благо, что сегодня его взял с собой, а обычно не ношу никаких документов, и подаю лейтенанту. Он внимательно изучает его,

дважды отрывает взгляд, обращая его на меня, внезапно улыбается и возвращает паспорт:

– Извините, служба.

Узнал. Ну, конечно, иначе жди от наших службистов извинений. Узнал во мне спасителя двух продавщиц.

Толик в недоумении, не может понять ситуацию, вернее, сценку, и тихо спрашивает:

– Он что, шутил, что ли, с тобой?

– Как понять – шутил? Такими вещами не шутят. Наверное, никогда меня здесь не видел, вот и хотел узнать, благонадежен ли я. Залетных-то не мало.

– А чего потом заулыбался?

– Догони и спроси.

– Да ладно, черт с ним. Перейдем к делу.

– Ты мне предлагаешь дело? Очевидно, лейтенант это и почуял.

– Да прекрати паясничать. Слушай внимательно. Ты должен нам помочь. И себе, конечно.

– Чем? А что случилось вообще? Пацаны кучкуются. Картин нет. Вас берегут полицейские.

– Переселяют нас, вот что.

– Переселяют? – недоумеваю я, – за что, почему? Благодаря вам этот уголок стал одним из красивейших, людных, привлекательных в городе. Туристы первым долгом устремляются сюда. Переселяют, вот те на...

– А знаешь куда? На дальний рынок, где торгуют барахлом, хозтоварами... Искусство на помойку.

Я невольно смеюсь, представив живописные полотна художников рядом с пластиковыми трубами, унитазами и бачками для санузлов, самоварами и чайниками, смех переходит в хохот.

На меня оглядываются, бросают недовольные взгляды.

– Я-то чем могу помочь? А кто переселяет-то?

– Одни говорят – администрация, другие – Управление архитектуры.

– Ты видел их представителей? Сам, лично?

– Видел и говорил с ними.

– И что говорят? Чем объясняют переселение?

– Скоплением людей. Мол, террористы облюбовывают такие места.

– А на рынке нет скопления людей... Ты что мне лапшу вешаешь на уши?

– Слушай, выйди на больших людей. Помоги пацанам.

– А ты мне правду изложи. Тогда и подумаю.

Толик поворачивается назад, кого-то выискивает глазами в группе кучкующихся, громко зовет:

– Рудик, иди сюда.

Вразвалочку подходит крепыш лет сорока.

– Расскажи ему все без утайки, – говорит Толик.

– Да что тут утаивать-то. Денег требуют за аренду территории.

– Сумму называли?

– Десять тысяч. В месяц. С каждого.

– Кто подходил?

Крепыш бросает взгляд на Толика. Тот кивает головой, мол, говори.

– Директор ресторана.

– Фамилию его, надеюсь, знаешь. А от кого он приходил? От чьего имени? Ну, кто уполномочил?

– Долго не раскрывался. Главный архитектор.

– В администрацию города не ходили?

– Что зря ходить. Контора-то одна.

Боже мой, опять идти к мэру, и опять я становлюсь зависим от него. Опять придется оплачивать пером. Все закольцовано, и нет из кольца выхода.

– Толик, подойди-ка, у нас от тебя секрета нет. Слушайте внимательно. Соберите пацанов в кафе, да где хотите, сядьте за стол и подробно изложите на бумаге все, все, все. И о вымогательстве, и о сумме, и фамилии визитеров назовите. И распишитесь под письмом. Бумага – документ, слово – пустой звук. Последствий не бойтесь, это я подставляю свою голову. Если согласны – за работу. Я на час должен отлучиться.

Спустя час Толик подает мне письмо на пяти листах. На двух – изложение просьбы, на трех – подписи пятидесяти художников. Аккуратные, четкие.

– Дай-ка мне ручку, – прошу Толика.
– Да там все грамотно изложено, все выверено...
– Не зуди, дай, говорю, ручку.
Я вписываю свою фамилию.

37

Сон

– Отец, а кто остается здесь, на хуторе? Мы с Комолом уходим, вы уходите, все же разворуют.

Мирзо-бобо с усмешкой смотрит на меня.

– Кто здесь поблизости есть? Да и что воровать? Живность я погнал вниз, поближе к приискам. Там вся наша родня песок промывает. А сюда будут наведываться сыновья. Держи,– он протягивает мне длинную ленту тонкой шерстяной ткани и внимательно смотрит, как я обматываю ею голову. – Настоящий тоджик, в халате, с бородой, только вот белее нас.

– Но я же грек?

– А что, греки белокожие? Я что ли греков не видел? – Мирзо-бобо смеется. – Вот тебе документ. Если будут проверять – ты путешественник из Греции. Ходил в Пакистан, Индию, Кашмир, Непал, Китай, Тибет. Запомни: все документы твои сгорели в пожаре, сам еле ноги унес. Эту бумагу дали в Пакистане. Подписи, печать – подлинные. Деньги все умеют делать.

Они с Комолом долго думали, за кого мне безопасно выдать себя. За таджика, пуштуна, узбека, турка? Рискованно. В часы намаза заподозрят неладное – ведь не могу совершать намаз. Остановились на греке – в этих местах православных нет.

– Этот посох твой помощник и друг, – Мирзо-бобо держит в руке толстую сучковатую палку. Она какая-то неказистая, чем-то вымазана. – Вот здесь, в голове, видишь эти сучки, большие, а вот маленький, запомни его, хорошо запомни, вот нажимаешь его сильно и голову посоха поворачиваешь налево...

Он раскручивает верхнюю часть и медленно из чрева посоха вытягивает сверкающий на солнце стилет длиной в полметра.

– Хочешь – руби, хочешь – коли. Но только не мешкай, не жалей. Бей первым.

– Я же не драться иду, отец. Понимаю, путь длинный, но...

Мирзо-бобо прерывает меня:

– Ты не знаешь, что ожидает в пути. Банды, разбойники. Если что – бей первым и внезапно.

Он подает мне посох.

– А теперь встань и сними халат.

– Это зачем? – удивляюсь я.

– Снимай, снимай, ты же не женщина, – ухмыляется он.

Я подчиняюсь.

– Снимай и рубашки. Все снимай.

Мирзо-бобо достает из-под своего халата пояс, которым охватывают талию.

– Надевай. Через голову надевай. Хоб[1]. Нет не снимай. Теперь одевайся и слушай меня внимательно. Пояс сделан в два слоя, в нем немного золотых крупинок. Путь твой неблизкий, тебе нужны будут деньги. Продашь крупинки – купишь деньги. Но будь осторожен. Могут избить, даже убить. Все беды человека из-за них.

Не знаю, как и благодарить его. И он тоже понимает, что я не знаю, как благодарить его. Потому и улыбается. В глазах у меня стоят слезы. Опускаю голову и проглатываю ком, застрявший в горле.

– Комол, покорми нас перед дорогой, – прерывает Мирзо-бобо.

Наконец, мы покидаем хутор, в котором я прожил три года. На душе и радостно, и тягостно. Тягостно потому, что я больше никогда не увижу такой красоты, перед которой не устоял Николай Рерих, великий ученый и путешественник, и вернулся в край божест-

[1] *Хоб* – хорошо.

венной природы, нетронутых цивилизацией могущественных гор и ослепительных ледников... Радостно потому, что я делаю первый шаг к родному дому.

Мирзо-бобо ловко садится на низкорослого жеребца, своего любимца, который медленно и осторожно ступает на тропу, за ним Комол пропускает меня, а сам идет позади. Он одет в камуфляжную форму, на груди висит автомат Калашникова.

Тропа узкая и крутая. То и дело из-под наших ног и копыт жеребца вниз срываются камни. Ноги слабеют и начинают дрожать. Я вынужден напрягать их, подавая тело назад, иначе оно своим весом увлечет меня вперед, и ноги устремятся вниз, как очумелые, и я ринусь сломя голову и тут уж ничто не поможет и никто... Упаси бог, говорят в таких случаях те, кто верует, а я мысленно прошу своего ангела-хранителя не дать мне сорваться.

Чуть не натыкаюсь на жеребца. Он стоит и нетерпеливо бьет о каменную землю копытами. Мирзо-бобо ловко спрыгивает, подходит ко мне, обнимает:

– Иди, сынок, иди домой, у каждого должен быть свой угол, свои стены, своя земля. Вон гляди, козы бегают по скалам, по тропам, а вниз не спускаются. Там их дом.

На отвесной каменной щеке горы, поросшей мелким кустарником, стоят козы. Такое ощущение, будто висят и смотрят в нашу сторону.

– Прощай, сынок, ты украсил мое время и уединение. Иди с богом.

Я не могу сдержать слез, душа моя плачет. Мирзо-бобо обнимает меня, садится на жеребца и тот выходит на дорогу, которая ведет к недовольно шумящей реке.

Мы с Комолом ступаем на широкую тропу, уходящую на плато. Окруженное со всех сторон горами, заросшими густыми лесами, оно пылает, охваченное пожаром закатного солнца.

38

Мобильник, наверное, давно раскалился. Он зовет меня уже минут десять. Конечно, с передышками. Не могу же я бросить кисти и бежать к нему. Прервешь работу – и моментально гаснет вдохновение, забывается задуманный штрих, оттенок краски. Так и у литератора: отвлекут, оторвут от работы – тут же исчезает мысль, к которой долго пробирался и наконец нашел – а теперь мучайся, ищи, зови, может, и найдешь, но уже не ту, заветную. А ведь как точно сказала Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...».

Зовет, надрывается мобильник. Ну не брошу же я кисти. С холста на меня смотрят два замечательных человека, два горца – Мирзо-бобо и Комол. Таджик и пуштун. Подарившие мне жизнь. Сидят на камне, пригретые добрым солнцем, и о чем-то беседуют. О чем – я сам не знаю, но сколько в их лицах, глазах благородства, доброты...

А мобильник продолжает звать.

Я бросаю кисть и подхожу к журнальному столику. Подношу телефон к уху.

– Виват, Арбат.

Крик разносится по всей комнате.

– Толик, черт тебя дери, ты оторвал меня от важного штриха.

– Штрих тебе вернется, дурашка. Главное, Арбат вернулся.

– Вот видишь, если собраться в кулак, набраться смелости, подавить в душе страх, а заячьих душ сегодня много, – всего можно добиться.

– Ты молодец. Все тебе благодарны. Все до единого. И все до единого решили сделать тебе подарок.

– Толик, не дури. Без глупостей.

– Да знаю я тебя, знаю. Решили подарить щенка сенбернара.

– Черт вас дери, у меня есть огромный, как бычок, дагестанская овчарка. Куда мне еще одного...

– Знаю я твоего Черного, – перебивает меня Толик, – и этот мальчик. Кобелек. Подружатся. Скрасят твою одинокую старость. Жди малыша.

Он хохочет. Сколько радости, искрящейся радости и счастья в его голосе.

– Виват, Арбат, – кричит он снова и замолкает.

Я стою оглушенный криком моего старейшего товарища Толика и в глубине души мой внутренний голос говорит:

«Какой это красивый поступок – дарить человеку радость. – Но какой же это поступок, – пытаюсь возразить ему, – считай, что обычное доброе дело. – Ты так думаешь? – в его голосе чувствую иронию, – сегодня это поступок».

Может, и на самом деле поступок? Впрочем, кто бы и как бы его не считал добрым делом или поступком, главное, Арбат жив. И художники будут творить и ради хлеба насущного, и чтобы красота не погасла. И будут восхищаться этой красотой тысячи людей, осознавая силу и величие ее доброты.

39

Сон

За нашей спиной, далеко-далеко в серой дымке, как ящеры вытянулись горы. Перед нами плоская желтая земля, источающая полуденный жар. Солнце в зените.

Днем здесь очень жарко. Ночью очень холодно. Нас выручает теплая одежда из овечьих шкур, которые мы носим в больших рюкзаках, закинутых за спину. В моем, кроме одежды, еще и кисти, краски, карандаши, бумага, холсты. Их заставил взять Комол, объяснив одним словом – пригодится.

Ноги зудят. Тело одеревенело. Почти неделю немытые – обходим стороной встречающиеся на пути кишлаки: подальше от всяких случайностей.

Комолу, конечно же, не привыкать к условиям кочевой жизни. Он горец, он прошел, наверное, вдоль

и поперек свою землю, а я городской житель, знающий только тротуары, ступеньки, лифты...

– Нам всевышний помогает, – произносит он, пристально глядя вдаль.

Над знойным маревом поднимается облако пыли.

– Сиди здесь, брат, – говорит Комол и быстро уходит навстречу раздувающемуся облаку.

Жду долго. Наконец слышу его голос:

– Биё инжо[1].

Встаю, взваливаю рюкзак за спину и иду на голос.

Пыль оседает. В большом внедорожнике, «Хаммере», сидят двое молодых мужчин. Здороваюсь, желаю их дому мира, ну, конечно же, на фарси. Как будто меня кто-то или что-то заставило говорить на их языке. Ну не на русском же с ними разговаривать. Но и фарси произношу не чисто, делаю вид, что с трудом подыскиваю нужные слова. Одним словом, вынужденная конспирация...

– Нюш[2], – говорит водитель, показывая рукой на заднее сиденье.

Там уже свободно расположился Комол. В просторном салоне «Хаммера» уютно и прохладно.

– Ты из каких мест будешь? – спрашивает водитель на фарси.

Делаю вид, что не понимаю, о чем он меня спрашивает.

Водитель поворачивает голову к Комолу:

– Твой попутчик в порядке?

– Конечно, – отвечает Комол.

– А почему не отвечает?

– Не понял, наверное, что ты к нему обратился. Он же не фарс, а не пуштун.

– А почему заговорил на фарси, – удивляется водитель.

– Уважение оказал. Он грек.

– Гре-е-е-к? – протяжно говорит водитель и коротко смеется. – И что его сюда занесло?

---

[1] *Биё инжо* – иди сюда.

[2] *Нюш* – садись.

– Путешественник он. Был в Пакистане, Индии, Кашмире, Непале, Тибете, Китае. Вот возвращается домой.

– К нам в древние времена приходил один грек, но до Индии не дошел. Как его звали, вспомни, ты у нас ученый человек, – водитель обращается к приятелю.

– Искендер, – отвечает тот лениво. – О нем много легенд сложено. Из Македонии был.

– Вот, вот, Искендер, разорил страну и ушел. И отправился к праотцам. А этот грек что везет из наших стран?

– Ничего, – отвечает Комол.

– Э, брат, не поверю, из таких стран ничего не везти нельзя. Не верю, – он опять поворачивает голову и пристально всматривается в меня. – А в мешке что?

Комол смеется: смех вынужденный, чтобы успокоить водителя:

– В мешке одежда, краски, карандаши, холсты.

– А это зачем?

– Он художник, хорошо рисует.

– И все? И это все? Из такого путешествия возвращаться с пустым мешком?

Дикий хохот оглушает меня.

Длинные автоматные очереди. Пистолетные. Опять автоматные. Взрыв. Опять автоматные.

Я открываю глаза. Сна как не бывало.

Выхожу на балкон.

Во двор и на улицу высыпали жильцы домов. Гвалт, крики, беготня детей. Лаем заливается Черный.

У калитки моей хижины треплются Сава и Рома.

– Пацаны, там что, фильм снимают или что-то серьезное?

– Серьезное. Наркодельцов зацапали. Выходи посплетничаем, – зовет Сава.

– Зацапали? Ну и добро. Я пойду досыпать.

– Да ты что?

– А то...

Захожу в комнату, закрываю дверь, ложусь в постель и тут же окунаюсь в сон.

Солнечный шар, раздувшийся от натуги, заметно клонится к горизонту. В небе все больше плещутся розовые краски, выцветающие в лиловые. Удивительный быстро меняющийся мир красок. Еще некоторое время – и солнце сядет ребром на край земли, станет сползать куда-то вниз, в невидимую пропасть, потеряет свою половину, последний ломтик, багровый и горячий, медленно соскользнет... и все видимое пространство накроет черная шаль.

А пока еще солнце будто кто-то притягивает к щели между землей и небом.

«Хаммер» останавливается. У шлагбаума несколько мужчин в камуфляжной форме курят длинные сигареты, оживленно беседуя. Водитель «Хаммера» с приятелем вылезают из машины и направляются к ним.

– Граница, – говорит Комол. – Пойдем знакомиться.

Закинув за плечи рюкзаки, мы подходим к шлагбауму, но к нам навстречу идут уже двое, офицер и рядовой. Вглядевшись в Комола, офицер вдруг улыбается, ускоряет шаг и вот они уже обнимают друг друга. Утомленный долгой дорогой, а она тянулась много дней, я иду медленно, далеко отстаю и не слышу, о чем они говорят. Когда уже подхожу поближе, оба хитро смотрят на меня и смеются.

– Ну и что ты увидел смешного? – спрашиваю Комола совершенно без обиды, и вдруг осекаюсь: ведь на фарси мне говорить нельзя, а если и говорить, то искажая слова.

Офицер и Комол заливаются смехом.

– Не волнуйся, тут все свои, – говорит офицер. – Я и тоджик, и пуштун. Половина на половину. Как и Комол. Служу на границе. Фарсы, иранские пограничники, тоже наши друзья. Так что волноваться тебе нечего. Значит, ты грек? – снова смеется он. – А похож. И на нас похож.

– В моих жилах тюркская кровь. Как не быть похожим.

– Так тебя никто и не выкупил? – с сожалением произносит офицер. – Да и кто вспомнит сейчас о тебе? Новые люди, новые планы... Везде одно и то же. Сейчас пойдемте в казарму, помоетесь, покормят вас, выспитесь, а завтра отправлю в Энземи. Как раз утром идет туда машина.

– А «Хаммер»? Я слышал, что «Хаммер» ночью пойдет в Энземи, – говорю я.

Офицер бросает взгляд на Комола, потом тихо говорит.

– «Хаммер» тебе не нужен. Ты поедешь с нашими ребятами.

– Слушай, Имомоли, я бы сейчас продолжил путь, – задумчиво произносит Комол. – Мне идти обратно.

– На хутор? – удивляется офицер.

– В Душанбе. Не знаю, что там происходит. Что за власть, кто у власти? Мирзо-бобо тоже туда ушел.

– Завтра пойдешь. Отправлю тебя через туркменов. Машина пойдет. А сейчас идите помойтесь, вас покормят, а потом и побеседуем немного.

Мы с Комолом направляемся к казарме.

– Слушай, брат, а почему он сказал, что «Хаммер» мне не нужен? – спрашиваю его. – Что-то я глупое сказал?

Комол останавливается, долго смотрит мне в лицо, потом продолжает путь. Минуту спустя произносит:

– Те ребята героин везут. Дали хорошие деньги.

– И их пропустили? – удивляюсь я. – Ладно, забудь что я спросил.

– Брат, жить-то надо. Ты не слышал, как плачут голодные дети?

Идем молча. Спустя некоторое время с моих уст опять срывается вопрос:

– Так и мы, то есть я, должен заплатить?

– Ты не героин, – смеется Комол. – Ты наш человек. Такой же, как и мы. Правильный. Сердобольный. Мирзо-бобо тебя сразу прочитал, в душу заглянул и прочитал. А душа твоя светится в глазах.

Он замолкает. Потом тихо произносит:

– Не хочется расставаться с тобой. Жалко расставаться. Тяжело. Привык к тебе. И Мирзо-бобо так говорил. Но у каждого есть свой дом, свой угол, своя земля. Эх... хватит говорить об этом. Наш Имомоли баню обещал, ужин сытный и разговоры. Пойдем побыстрее.

Мы ускоряем шаг.

40

Который день идет дождь. Дождь? Мягко сказано – ливень. Словно в очередной раз разверзлись хляби небесные. Потоки воды стеной падают сверху и с шумом текут со двора вниз, на шоссе, которое превратилось в реку. По водному потоку, уподобившись катерам и моторным лодкам, медленно, опасливо, захлебываясь, едут «Краузеры», «Ленд Роверы», «Мерседесы», «Тойоты», «Лады Калины», «Приоры», «Газели», окатывая друг друга волнами дождевой воды... Шум и гул не перестают ни на час. Правда, бывает, что потоки воды чуть угомонятся, не надолго – вдруг спохватываются и вновь обрушивают свой гнев. За что? Неясно. Правда, для полей, для земли – это благо, но для города почти беда. Для нашего города, в котором почти нет ливневых стоков, те, что есть – не работают: забиты мусором и грязью...

Дверь на балкон открыта. Комната наполнена воздухом: пахнет дождем и соленым морем. Море в гневе катит к берегу крутые бугристые валы воды. Страшные валы.

Небо низко нависло над домами. Вернее, не небо, а одно сплошное темно-серое махровое покрывало. Оно временами свертывается, лохматится, бугрится, выжимая из себя воду, потом снова выравнивается, но не надолго. Беспокойное, тяжелое, оно обняло все небо, все верхнее пространство.

Эти дни я никуда не выхожу. Сижу – размышляю. Лежу – думаю. Собрался было взять в руку кисть, взял даже, да бросил в сердцах – нет никакого желания писать. Рисовать.

Душа не горит. Не плачет. Не велит. Я давно усвоил для себя правило жизни, вернее, закон жизни: роль свою следует не играть, а прожить. Ведь актер становится великим только в том случае, если живет в роли своей, а не играет ее. Живет. Писатель создает настоящее произведение, волнующее душу, только в том случае, если живет сам в созданном образе, в созданных ситуациях, а не описывает их. Живет. Вносит свои чувства, свои переживания, радости, огорчения, боль... Живет. Дарит всего себя. А там – пусть говорят, что хотят.

Художник, истинный творец, дарит своей работе – картине, будь то портрет, будь то пейзаж – душу. Сердце. Не потому ли перед такими картинами человек стоит часами? Стоит, о чем-то думая, переживая, восхищаясь, очаровываясь. Просыпается душа. Не потому ли, а именно для насыщения души истинной красотой, из разных городов и стран приезжают в крупные музеи тысячи и тысячи людей?

Человек жаждет познать свою душу. Насытить ее красотой.

Сегодня ходячей стала фраза «Красота спасет мир». Якобы ее подарил нам Федор Михайлович Достоевский. А ведь совсем не так говорил он в своем романе, вернее, не так говорили его герои. Возьму на себя смелость привести несколько фраз из их разговора: «Спасет ли красота мир?» – спрашивает один из них. И другой отвечает: «Кабы она была добра, все было бы спасено».

Кабы она была добра...

Вот она, жемчужина фразы. Кабы она была добра. А добра она в том случае, когда в ней светится, теплится, плачет, сострадает, радуется душа.

А если в душе злоба, зависть, корысть? В том-то и дело, что тогда она не добра. Не красота. Кто завистливую, злую душу может назвать красивой? Кто, как не дьявол?

Такая погода располагает к размышлениям и уединению.

Оно помогает, вернее потворствует разговорам с душой, спорам, поискам истины, позволяет вспомнить былое и даже жить в них и черпать в них доброе.

Особенно с годами.

Люди преклонного возраста часто вспоминают прошлое, ставят его в пример юным. Маразматики, говорят о них иные, оседлавшие новое время, ностальгируют по прошлому. Ностальгия ли это – возврат к тем дням и годам, дороги которых давным-давно уперлись в тупик?

Нет, это не ностальгия.

Не тоска по тем временам, ушедшим безвозвратно.

Вороша память, бередя сердце и душу, возвращаясь к детским годам, я стал понимать, что это... молитва. Да, именно молитва.

Детские годы чисты. Детские годы не знают злобы и зависти, корысти и жадности, ненависти и предательства. Детские годы чисты своими помыслами и поступками.

Детские годы богаты своими добрыми деяниями.

И уходя в то безвозвратное прошлое, я прошу своего бога, внутреннего бога, который живет в моей душе, свое Я, или Эго, чтобы оно сохранило во мне ту чистоту помыслов и взглядов, которыми жил в детстве.

Я стараюсь и сегодня жить ими.

И когда слышу то справа, то слева, то от верующего, то от материалиста одну и ту же, уже набившую оскомину, фразу – воспоминания это ностальгия, возрастной маразм, – я говорю и вслух и про себя:

– Господа, постарайтесь молиться за чистоту душ и праведность, за доброту и терпимость.

Они были в детстве.

Были у всех.

Шум дождя стихает. Выхожу на балкон. Дождь еще идет, но туча над морем рассеивается. Просвечивается тонкая линия горизонта.

41

Сон

Вторая половина осени. По календарю. У нас, должно быть, уже идут ливневые дожди и улицы города превращаются в реки и речки, по которым как катера мчатся машины, выплескивая воду на тротуары. А здесь тепло. Даже очень тепло. И сухо.

Я сижу недалеко от сквера, в котором галдят дети, и гляжу на море, которое улыбается под лучами солнца и манит к себе. Синее ласковое тепло воды, не стесненное ни мысами, ни волнорезами, снимает напряжение глаз. Целый час я рисовал портрет маленькой девочки, прелестной трехлетней девочки. Она играла со сверстницами, и таким чистым жизнерадостным был ее смех, что я не удержался, достал из сумки альбом и карандаши и принялся набрасывать на бумагу ее портрет. Маленькая непоседа убегала, приближалась, я ждал, когда она повернется ко мне лицом, а она будто дразнила меня.

– Хумар, биё инжо, – раздается женский голос. От неожиданности я даже вздрагиваю.

Из-за моей спины выходит молодая женщина, как две капли воды похожая на малышку. Вернее, девочка точная копия своей мамы.

– Вы художник? – спрашивает она, мягко глядя большими серыми глазами из-под шелкового платка.

– Что вы, сестра, нет. Я путешественник.

– Слышу, вы не чисто говорите на фарси. А откуда родом?

– Грек я.

– А, грек, – она замолкает. Чуть погодя, говорит: – Но вы хорошо рисуете. Не возьметесь сделать портрет Хумар? Моей девочки? Я заплачу.

– Платить мне не надо, но я попытаюсь.

– Как это платить не надо? – удивляется она. – Любой труд должен быть оплачен.

Я попросил принести ее детский стул, усадил девочку и принялся за работу. Это было сущее мучение,

а не работа: она вертелась, поминутно поворачивала голову, корчила рожицы, разговаривала с подружками – лицо ее постоянно меняло выражение. Только один раз я поймал нужное мне выражение и крикнул:

– Стой, не двигайся. – Она замерла, испугавшись моего голоса, но через несколько секунд снова принялась смеяться и тараторить с подружками.

Я ушел, обещав женщине принести портрет Хумар через неделю.

Обещание выполняю: приношу два портрета, сделанные карандашом, и один – красками на холсте. С холста женщина долго не могла отвести глаз, потом молча опустила руку в сумочку...

– Никакой оплаты. Иначе заберу.

– Но как же... – голос дрожал, – такая работа. Такая работа. Дай Аллах вам радости и здоровья.

– Это мой подарок малышке Хумар.

А девочка подпрыгивала у ног женщины и весело, звонко кричала:

– Мама, это я, мама, это я...

С этого дня все и началось: женщины подходили, просили делать портреты их детей, я не отказывал – чем-то надо же было заняться в чужом городе, я уже не отказывался от оплаты – мне надо было питаться, платить за ночлег, а я здесь жил уже довольно долго и почему-то стал привыкать и к людям, и к образу жизни. Они не столь уж сильно отличались от наших. А язык... он был почти мой.

Я сижу недалеко от сквера и гляжу на море. На мое море. Оно целует упругими толстыми губами берега стран, где живут русские, дагестанцы, азербайджанцы, казахи, туркмены, иранцы... Оно кормит их, соединяет паромами и судами... Соединяет... Отсюда, из Энзели, я могу уехать в Баку, а может, и в Махачкалу. Но как, каким образом я могу попасть на палубу судна? Кто возьмет на себя смелость взять человека без документов? Бумажка, которую сумел добыть или организовать Мирзо-бобо, еще не документ. Греческий путешественник... Но что с того? А паспорт где? Тут нелегалов, террористов, бандитов пруд

пруди, с документами да большими деньгами. А я кто или что? Песчинка в пустыне? Забытый даже своими? Да и остались ли те, свои, на прежних местах? Или их унес, вымел ветер перемен?

Синий ласковый шелк воды, не стесненный ни мысами, ни волнорезами, мягко снимает напряжение глаз.

В Энзели мне уютно.

Молодые таможенники, которые подвезли меня несколько месяцев назад к оживленному району города, а сами направились в свое Управление, тепло попрощались со мной – я для них был заметной личностью – путешественником, прошедшим пешком Азию, и подсказали, где можно устроиться на ночлег за небольшую плату.

С посохом в правой руке и рюкзаком за левым плечом я свободно шел по узким пыльным улочкам, стесненным одноэтажными каменными домами, широким шумным, людным проспектом, и никто на меня не обращал никакого внимания. Я был одним из них. Таких, как я, смуглых, с темной щетиной на щеках и в одежде подобной моей, здесь было немало.

Утомившись от шума и гвалта торговых пассажей и крытых базаров, в конце дня я наконец вышел на окраину города, к самому морю. К Каспию. Оно и здесь было таким же, как и в моем городе.

Улица, на которой я стоял, пережила, наверное, несколько столетий. Одна ее сторона была застроена одно-и двухэтажными каменными домами, почерневшими от ветра, морского воздуха и времени, на другой не было никаких строений. В километре виднелся морской торговый порт. На этой улице я и нашел ночлег: уютную комнату с душевой и санузлом. Пожилая хозяйка в чадре, владелица двухэтажного домика с внутренним двориком, сдавала комнаты морякам, не спрашивая никаких документов. Полюбопытствовав, кто я и откуда, выслушав мое объяснение на ломаном фарси, что я путешествовал по Азии и возвращаюсь домой в Грецию, не взглянув даже на мою бумагу-документ, она протянула мне ключ и исчезла. Цена была сносная.

Я начинаю привыкать к Энземи. Здесь тихо, уютно, тепло, много фруктов и зелени. Карандашами и кистью я зарабатываю на еду, оплату за съемную комнату и краски. Но ночлег меняю каждый месяц, долго боюсь засиживаться: вдруг мною заинтересуется полиция? Поверят ли моей легенде?

Чужая страна, иные нравы, свои законы.

Сижу на скамейке, мысленно рассуждая – мозгу тоже надо давать пищу для работы, набрасываю на холст краски моря.

– Не дает скучать, говоришь? – раздается сбоку мужской мягкий баритон. Такой не должен принадлежать недобрым, коварным людям.

– Я родился у моря и всю жизнь живу у моря. Иногда кажется, что оно надоело мне, опостылело, а уезжая, скучаю по нему.

– Верно говоришь. Словно мои мысли читаешь. Я тоже не могу уже без него.

Мужчина садится на скамью. Я прерываю работу, поворачиваю к нему голову. Одет в морскую форму. Лицом чуть-чуть кого-то напоминает, вырисовываются знакомые черты. Но как могут быть мне знакомы его черты, если он мне совершенно не знаком? Первый раз в жизни вижу.

– А ты мастерски нарисовал мою девочку, – говорит он.

– Какую? Я их с полсотни нарисовал... – и тут же умолкаю. Да, что-то в ней есть от него.

– Хумар.

– Чудная девочка, – говорю, – непоседа.

– Я не то, что удивился, а поразился, как ты сумел поймать момент. Рука Аллаха тебе помогала. Ты хороший художник.

– Спасибо.

И вдруг, сам не знаю, кто меня вынуждает, спрашиваю его шепотом, словно вокруг нас стоит толпа стукачей:

– Как можно сесть на судно?

Он бросает на меня удивленный взгляд:

– Это зачем тебе?

– Ну как же? Мне надо продолжать путь.

– Я что-то слышал о тебе. Путешествуешь, говоришь? Так иди пешком. Через Ирак, Сирию, Турцию.

–Я хочу через Кавказ. В Баку или Махачкалу. Так ближе к дому. Четыре года хожу. Устал.

За время разговора я достаю из сумки альбом, карандаши и набрасываю его портрет. Урывками смотрю на него и рисую. Типаж хороший, колоритный.

– Дорого стоит, – наконец произносит он. – У тебя таких денег нет.

– Верно говоришь, у меня больших денег нет.

А рука уже работает смело, карандаш наносит нужные штрихи.

– Я могу капитану сделать с десяток портретов. Красками на холсте. Такая работа больших денег стоит.

– У меня нефтеналивное судно. Опасно брать. А вот друг мой на сухогрузе через месяц идет в Махачкалу. Поговорю. Может, возьмет, – задумчиво произносит он.

– С меня – портреты. А тебе я подарок сделаю. Подходи через неделю.

– И подойду. Посмотрю, что ты во мне найдешь. Успеха тебе. Работай.

Через неделю он подходит со своим, как и обещал, другом. Тепло здороваемся, словно старые знакомые. Я достаю из сумки портреты, сделанные карандашом. Они внимательно их рассматривают, оценивают, наконец отец Хумар произносит:

– Хоб.

На его губы ложится улыбка.

Подаю еще картину, написанную маслом на холсте.

Он бережно берет ее, она в дорогом багете, долго вглядывается в себя. Наконец, еле слышно произносит:

– Аллах водил твоей рукой. Да ниспошлет он тебе здоровье и благополучие.

Насладившись собой, поворачивает голову к другу и с хитринкой в глазах спрашивает:

– Как, Рустам, берешь его на сухогруз?

– С условием, если всю дорогу будет пахать красками и кистями.

42

Я давно не ходил по этой широкой, шумной, расцвеченной броскими рекламами улице. Она уходит в сторону горы, а не к моей хижине, и потому по ней хожу редко – в том случае, когда хочу продлить себе путь, чтобы получить удовольствие от прогулки. Но сегодня... сегодня вышел на нее без желания. Долго просидел со своим старым товарищем Асадом за разговором о нашем журнале. Удивительно, как он сумел убедить студенческого друга, олигарха. Выходит, что есть среди них, миллионеров, идущие в ногу с совестью и моралью. Так вот мой товарищ сумел убедить его стать спонсором нашего литературного детища. Все остальное будем творить мы с Асадом.

Под впечатлением от разговора я вышел на эту улицу.

Почему на эту? Именно на эту?

Чей неслышный голос позвал?

Чья воля указала эту дорогу?

Мы, право, редко задумываемся, чему, а может быть и кому подчиняются наши действия и желания.

Есть другой мир? Есть другой разум? Или наше Я, наш внутренний Бог ведет нас, учит, не дает сойти с верного пути, ведущего к истине?

В последние годы я часто вспоминаю слова первого имама Персии, жившего в тринадцатом веке, Шамсетдина Тебризи. В возрасте шестидесяти трех лет он вдруг обратился к прихожанам (или пастве) со словами: «О вы, кто взыскует Бога. Нет нужды искать его. Бог – это вы». Конечно же, шариатский суд приговорил его к смертной казни. Но что его заставило на исходе жизни произнести такие слова? Неужели он почувствовал, услышал в себе Бога? И хотел, чтобы каждый нашел в себе Бога, дабы совершать добрые, благородные дела...

Как много человеку суждено размышлять, чтобы прийти к истине...

Медленно иду по улице, ощущая в груди, в душе неясное чувство: оно о чем-то мне пытается напомнить и смущает.

Я поднимаю голову, бросаю взгляд на двухэтажные дома, вытянувшиеся в ряд, и внезапно останавливаюсь. И задаюсь вопросом: а где же обгорелые стены? Да, именно здесь случился пожар в магазине, потом многие месяцы между двумя домами зияла пустота – обгорелые стены снесли. Теперь стоит дом. Двухэтажный. На фасаде ярко горят большие буквы: «Детский магазин «Сказка». На первом этаже – кондитерская, на втором – одежда.

Очевидно, умный бизнесмен. Вложил свои деньги в недвижимость: и деньги целы, и доход получает от арендаторов. Научились жить по-новому.

– Молодой человек, – слышу за спиной девичий голос. – Мужчина...

В мою сторону оборачиваются прохожие.

– Вас, окликают вас...

«Молодой человек? – усмехаюсь я про себя. – Молодость, молодость. Когда-то она была, но вот где запропастилась, неизвестно».

Поворачиваюсь на голос:

– Это вы меня обзываете молодым человеком? Или порадовать решили?

Ко мне подбегает милая блондинка.

– Где вы пропадаете? Мы вам звоним который месяц, где вы были, уезжали куда?

Боже ж ты мой, так это же продавщица того сгоревшего магазина... Медея... Она хватает меня за руку и буквально затаскивает в «Сказку».

Меня обволакивает чудный запах ванили и пирогов. Из-за прилавка выбегает Нимфа. Они наперебой о чем-то говорят. Дети в очереди терпеливо ждут продавщицу, сидящие за столиками со вкусом едят зверушек со сладкой начинкой и кремом и запивают соком. Откуда-то тихо льется песня крокодила Гены из полюбившегося всем мультфильма.

Уютно. Красиво. И просто приятная атмосфера.

Медея уходит во внутреннюю комнату и вскоре возвращается с конвертом в одной руке и большим раздувшимся пакетом в другой.

– Спасибо вам великое, великое, вот ваши деньги, с процентами, и наша продукция на пробу.

– Продукцию возьму с удовольствием, я, знаете ли, сладкоежка, а проценты заберите. Без возражений. У нас договора о них не было.

И ведь на самом деле о процентах у нас и разговора не было, когда я отдавал деньги. Решил помочь погорельцам. И даже не задавал себе вопроса ни в тот момент, ни позже: кому даю? Кто они тебе? Что ты из себя строишь Ротшильда или Рокфеллера? Сам-то как и чем живешь? Ты веришь, что они вернут?

Но вернули же. Вернули.

Значит, мир еще не погряз в алчности, обмане, неблагодарности...

Мысленно размышляя о перипетиях жизни, приближаюсь к своему микрорайону. Вечереет. Справа от меня шумит море, недовольно горбясь и выбрасывая на берег волны. Оно не желает приближения зимы. Мое море любит лето, солнце, тепло.

Осень на исходе, а шаловливая погода вернула ранний сентябрь. Что-то неясное происходит не только в умах и поступках людей, но и в природе.

Я открываю калитку, вхожу во двор, но Черный не бросает свои лапы мне на плечи, а почему-то напрягся и утробно ворчит.

– Ой, уберите собаку, – слышу за спиной женский голос.

Он кажется мне знакомым. Поворачиваюсь назад. Меня окутывает волна дорогих духов.

– Собаку, собаку, уберите, я их страшно боюсь.

За спиной стоит Гуля.

– Здравствуйте. Вот не ожидал. Что-то случилось?

«Хотя почему же не ожидал? Хоть Тима однажды и произнес хитро, что она интересуется моей личностью, я видел по ее взглядам, что я ей небезынтересен, чувствовал, что она ищет сближения. Да, она

женственна, она притягательна. Она ищет мужчину для отдохновения, для душевного равновесия, спокойствия.

Но мне это надо?

Мне, безумно влюбленному в уединение. Уединение располагает не только к философским размышлениям, но и к творческой работе, оставив за порогом дома, а если точнее – души, рутину быта и пустой звон человеческих страстей. Быт и страсти – это топкое болото, трясина, поглощающая мятущуюся мысль, которая могла бы вылиться во что-то большее...»

– Вы о чем-то размышляете... – ее голос возвращает меня к прерванному разговору. «Как она сумела почувствовать, о чем я размышляю? Умна и хитра».

– Мысли – наша беда, как просто и легко жилось бы человеку без них. Входите в дом.

Я открываю дверь в гостиную.

– Познакомьтесь с моей хижиной. Я тем временем приготовлю кофе. Угощу вас сладостями.

– Не думала, что вы сладкоежка.

– Да, плюс ко всему еще и сладкоежка. Но пакет – это подарок от магазина «Детская сказка».

– «Детская сказка», – протяжно произносит Гуля. – Так вы...

Но я дальнейших слов не слышу. Положив пакет на кухонный стол, вдруг задумываюсь: почему я должен терять время на кухне, когда в доме женщина, и громко обращаюсь к гостье:

– А впрочем, готовьте кофе сами и на стол накрывайте. В гостиной. А я умоюсь с дороги.

Конечно, неприлично, более того – не этично оставлять женщину одну, но я, закоренелый эгоист, успеваю принять душ, сменить одежду и спускаюсь в гостиную, когда уже стол накрыт и воздух напоен ароматом кофе.

– Я успела осмотреть ваш дворец, – говорит Гуля, разливая в чашечки кофе. – Не спросив у вас разрешения. Простите.

– Глупости. За что прощать-то? Ничего безобразного не обнаружили?

– А теперь вы говорите глупости. Мне понравился ваш дом. Я с удовольствием в таком жила бы.

– Бог ты мой! – удивляюсь я. – После вашего, как сегодня выражаются, элитного дома?

– Он теплый, понимаете? Нет, вы меня не поймете. В нем покойно, уютно, тихо. Я чувствую, как от него исходит энергетика. Умиротворяющая. Только вошла – покой объял меня. А мой дом... – она задумывается, потом продолжает, – а дом не мой, мужа, я отсудила его после развода.

– И чего же он ходит? Да ревнует к тому же.

– Компаньоны мы. И любит еще. Наверное, другие жены слабы в искусстве любви.

Она весело смеется, в смехе, чувствую, наигранность.

– Вкусное пирожное, – говорит Гуля, меняя тему разговора. – Вот это, слоеное.

– Мой любимый Наполеон. Действительно вкусное, тает во рту.

– Моя племянница прекрасный кондитер. Золотые руки у нее.

Ловлю хитрый взгляд, но увлеченный пирожным, делаю вид, что не расслышал ее слов. Бог ты мой, какая же из двух ее племянница? Брюнетка, очевидно. А может, блондинка? Да дело не в цвете волос, их, волосы, можно выкрасить. Дело в том, что круг замкнулся. В этом круге Наргиз, Шахсенем, Сима, Гуля, кондитер, и черт знает кто еще может быть. Но почему в таком случае никто не помог девушкам в трудную минуту? А может, и помог. Я ведь не интересовался.

– У вас никогда не было семьи?

Давно ожидаю этого вопроса. И долго же она его вынашивала.

– Нет. Никогда.

– Простите, и женщин?

Я смеюсь, но осторожно, чтобы не обидеть ее:

– Ну почему же. Я же не евнух.

– А вы мне нравитесь, – говорит она, смело глядя мне прямо в глаза. – Я влюбчива и любвеобильна. Вы меня не осуждаете, что я с вами так откровенна?

– Совсем нет. Думаю, дар божий быть откровенным, а не лукавым и юлящим.

– Я служила в сауне. В голодные годы, – тихо, словно себе, говорит Гуля, но так, чтобы я услышал. – Жить как-то надо было.

– Я в те годы отсутствовал, – говорю, желая поддержать разговор и не дать понять, что ее профессия меня шокировала.

– Служила мужчинам, – продолжает она. – Там и познакомилась со своим... Он женился на мне. Очевидно, пришлась по душе как женщина. Я видела, что он из этих, ну новых дагестанцев, но надо было убираться из сауны. Да и мальчик был у меня уже. Сама не знаю, кто его отец. Двадцать лет сыну, а кто его отец – не знаю.

Боюсь, что она расплачется. Наверное, долго, очень долго она не могла выговориться, скрывала от всех свою тайну. Душа изнемогла, и вот, наконец, она открылась, вздохнула тяжко, эта душа, и стало ей покойно...

Она не плачет. Только две слезинки блестят на ресницах.

У меня всегда разрывается сердце, когда я слышу чужую боль. Боюсь, как бы в один прекрасный день оно не взорвалось. Боюсь, на самом деле. Ведь как много людей, которые не сумели обрести в жизни покой, счастье, мечутся в поиске, и метаниям нет конца.

– Как бы я хотела жить в таком домике, – прерывает мои мысли Гуля. – А у вас квартиры не было? Вы столько лет работаете, и вас, думаю, многие знали. Большие люди знали. В то время, в ваше время, таких, как вы, уважали.

– Была квартира, да продал я ее.

– Как? Почему?

– Жить-то надо было. Я вернулся, у меня ни документов, ни денег. Ну ничего. Одна одежда, в кото-

рую меня нарядили пуштуны, и посох. Там, где я работал, новые люди, совершенно незнакомые. Другой породы. Один остался в своем кресле, удержался, его я знаю более тридцати лет. Да мэр города. Вот он остался нашим человеком, советским: срочно помог и с паспортом, и мою квартиру заставил вернуть... Без паспорта я ее не получил бы. Да вот и участок дал, на котором я хижину построил.

– Как бы я хотела в нем жить, – произносит Гуля.

– Ну о чем вы говорите, милый мой человек? Мне без трех шестьдесят.

– Не поняла! – удивленно смотрит на меня Гуля.

– Через три года шестьдесят лет. Пенсионер.

Она долго молчит, очевидно усваивает мною сказанное.

– А при чем тут годы? Мужчину красят дела и душа. Я тоже не девочка. И мне сорок.

Не удерживаюсь от смеха, смеюсь долго и весело.

– Так это прекрасный возраст. Бальзаковский. А я медленно и уверенно иду к старости. Вам это надо?

– Так вам никто не даст ваших лет.

– Это я был законсервирован в Гималаях. Еще несколько лет – и на меня обрушится старость.

– Да что вы заладили – старость, старость. Я поднялась в вашу мастерскую, посмотрела работы... Это сколько же надо иметь терпения, умения, любви к работе, любви к красоте, чтобы писать их.

– Я недавно услышал важные для меня слова из уст знакомого мне человека: старость тоже интересная пора жизни, но старость без интереса – уже не жизнь.

– У вас-то интереса больше, чем нужно, – вдохновляется Гуля.

– Так вы меня уже записали в старики? – смеюсь я.

Она тоже вторит мне смехом.

– Это вы начали. Слушайте, а почему вы не вернетесь к своей литературе? Вернее, почему не вернете ее? – Гуля пристально смотрит на меня. – Она же ваша подруга, ваша женщина. Верните ее в свой дом,

в свой дворец, распахните для нее душу, вам надо выговориться, вам есть что ей поведать. Или нет?

Она задевает мою душу. Она желает мне добра, но делает мне больно. Я не хотел возвращать ее, литературу, она мучила меня, высасывала все соки, дни и даже ночи. Жила во мне, в голове, в сердце, я не знал покоя, мысли терзали, пока я не изливал их на желтые листы бумаги, и потому, уйдя в мир красок, я ощутил покой, умиротворение, какую-то легкость...

– Неужели вам нравится то положение вещей, в котором мы живем? Взятки, рэкет, бандитизм. Я прочитала ваши статьи в интернете...

Я делаю удивленный вид. На самом деле удивлен.

– Мне подсказал сын. Вас читали. Вас уважали, с вашим мнением считались. Где же ваши статьи, куда делось ваше слово?

«Она меня отчитывает, как мальчишку».

– В вас, как журналиста, верили, когда включили в состав делегации...

«Она права. И верили, и ожидали... И забыли. Ну ладно, время рассудит. Но я же дал людям «Афганский излом»?

Она словно читает мои мысли.

– Да, «Моего брата пуштуна» вы выдали.

– И то благодаря настойчивому совету собрата по перу, – говорю я, имея в виду Асада.

– А то, что происходит сегодня? Убийства? Поджоги магазинов? Взрывы? И конца им не видно?

– Милый мой человек, – я улыбаюсь, глядя на ее разрумянившееся от волнения лицо. – Вы читаете нашу главную газету? Я ей отдал более двух десятков лет своей жизни. Сегодня на ее страницах кроме восхвалений больших людей, отчетов высоких чиновников о планах на будущее, ничего нет. Ни жизни аулов и маленьких городов, ни волнующих людей проблем... И результат – тираж в несколько тысяч экземпляров. На всю республику. И кого-то это волнует? В советское время газета выходила тиражом в сотни тысяч экземпляров. Заглянули бы в архив, перелистали бы подшивки, поучились, как делать газе-

ту, не все же было в ту пору плохо. Не хотят. Сегодня в прессе работают не журналисты, а журналюги. Подкакивают кому надо. Угождают. Возвеличивают людей с поломанными ушами и бритыми головами. Это не мое. Я вас попрошу заварить еще кофе. Мы не пробовали ореховый рулет и яблочный пирог.

Гуля уходит в кухню и вскоре гостиная вновь наполняется ароматом.

– Первый час ночи? – удивляется Гуля.

– Хорошая беседа времени не подвластна.

– Засиделась я у вас. А впрочем могла бы и остаться на ночь.

В ее глазах играют хитринки.

– Негде уложить вас, милая женщина, – говорю с улыбкой.

– А тахта на что? Она и широкая, и уютная.

– Не скажите. Она очень жесткая. Мне под стать. Родственные души.

– Вы жесткий, – удивленно произносит она и заливается тихим смехом. – Жесткость ваш панцирь. Защитный панцирь. Насчет тахты я пошутила, хотела вас проверить. На прочность.

– Я понял, что вы шутите.

Мы смеемся.

– Вызовите мне такси, пожалуйста. Поздно уже.

– Нет необходимости вызывать. Я вас отвезу до самого дома, до ворот.

– У вас есть машина? – с неподдельным удивлением произносит она, растягивая слова.

– На улице всю ночь дежурит... такси.

Громкий смех заставляет меня прервать свое объяснение.

Запираю калитку, выходим на улицу. Морской воздух окутывает прохладой. Где-то недалеко, совсем близко шипят волны. Ночь темна. Безлунна. Черное полотно неба усеяно мириадами осколков алмазов.

– Какая красота!.. – шепчет Гуля, словно боясь нарушить глухую тишину. – Бог мой, какая красота. Постоим немного... Молча... Я давно не видела такую красоту.

Она не отрывает глаз от неба.

43

Сон

Город, море, суда, причалы порта в легком прозрачном тумане. Пройдет совсем немного времени, на востоке из-за края моря выглянет узкий ломтик солнца, поползет вверх, раздуется в шар и... не станет тумана. Растает под искрящимися золотыми лучами. А пока еще туман дышит сыростью.

Я спускаюсь по трапу с помощником капитана, который должен провести меня через таможенный пост. Он здесь не впервые, его многие знают.

– Ты подожди меня, пока я переговорю с ними.

Долго не задерживается, подходит с улыбкой на широком обветренном лице:

– Хоб. Иди и ни на кого не смотри. Спокойно, как хозяин. Все хорошо.

Мы обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и подталкивает, мол, смелее.

Великое дело, если ты знаешь язык другого народа. Я знаю фарси, но искажал его, чтобы как-то убедить в своем не персидском происхождении, но даже такое произношение они принимали тепло и относились ко мне как к брату. Я слушал все их разговоры, и за все дни плавания ни разу в мой адрес не было сказано ни обидное, ни колкое слово. Они даже учили меня своему языку. И приодели: где-то, у кого-то раздобыли и джинсовую куртку с брюками, и рубашку, и кеды – ну не ходить же мне по судну в одежде пуштуна с обмотанной головой и посохом в руке.

Нетрудно представить, как отнеслись бы они ко мне, узнай, что я из их рода племени – азиат. Азербайджанец.

Так распорядилась судьба, что в годы крушения царизма, то есть революции, обманутый и напуганный неясным будущим, мой дед с семьей покинул родной город и направился в Персию, оставив по дороге в селе, в доме бедного крестьянина тяжело больного сына, моего будущего отца, попросив хозяина по

выздоровлении отвезти мальчика в город, в семью соседа-тата. Он надеялся вскоре вернуться. Но надежде не суждено было сбыться.

Новая власть выстояла. Окрепла. Она и вырастила мальчика по образцу и подобию своему.

Я вырос в той семье, вместе со своими татскими братьями, овладел их языком, который был диалектом фарси, воспитывался на их обычаях, культуре, нравах. Но кровь-то моя чистая, дедовская. Я веточка его древа. И если бы иранцы узнали, что дед мой был по вере шиитом, они носили бы меня чуть ли не на руках...

Но я для них грек, и потому они и не помышляли спросить, какую веру исповедую. Грек – значит христианин. Православный. А я, между тем, материалист. Не атеист – это слово не приемлю, а – материалист.

Своих благодетелей я не оставил без внимания. Каюту капитана украшают его портреты, морские пейзажи, членам команды рисовал на картоне, на плотной бумаге, на оборотной стороне белой клеенки. Угодил всем.

Таможню прохожу, не глядя ни на кого: так, как велел капитан. Да и личность моя, как мне показалось, никого не заинтересовала. Деньги или некий товар сделали свое дело – решили вопрос при обоюдном согласии обеих сторон.

Выхожу в город. Мой город, в котором я не был почти четыре года. Ушел при одной общественной формации, вернулся при другой. Была социалистическая страна, ныне демократическая. Лучше ли стало, не знаю, ведь я только ступил в новое государство. Одно только чувствую: аура тяжелая. Атмосфера тяжела и напряжена.

«Куда мне теперь идти? Без документов? Домой? Но я ясно осознаю, что в моей квартире уже кто-то живет: или взял самозахватом, или поселился работник ЖЭУ. Выгнать жильцов не смогу, потому что у меня нет паспорта, идти в милицию, поднимать архивы... Бог ты мой, как долго будут наводить справки

чиновники, да и в креслах сидят уже другие люди, люди, долгие годы рвавшиеся к власти. Это они на митингах кричали: порулили и хватит, дайте и нам порулить... Пойти в свою редакцию? Но и там, должно быть, иные работники, с другой начинкой и другими взглядами...»

Размышляя сам с собой, подхожу к газетно-журнальному издательству. Пятнадцатиэтажное здание кажется мне уже не родным. Оно почему-то не притягивает меня, а отталкивает. Какое-то холодное оно, угрюмое. Без особого желания, через силу я вхожу в вестибюль, поднимаюсь по лестнице, неведомая сила легко подталкивает меня в коридор второго этажа и останавливает перед дверью директора издательства.

Стучусь в дверь, не ожидая ответа, тихо открываю ее и вхожу в просторный кабинет.

За столом сидит Асад. Он ничуть не изменился. Социальная формация изменилась, а он такой же, каким и был. Но может, я ошибаюсь в своих выводах? Внешне остался прежним Асадом, а разумом уже стал новым человеком, демократом?

Наконец, Асад поднимает лицо от стола, пристально глядит на меня, потом долго, протяжно произносит:

– Ты-ы-ы-ы, – встает из-за стола и бросается ко мне.

Долго стоим обнявшись.

Мы с ним давние-предавние товарищи. Близкие товарищи. Знаем друг друга около сорока лет. Со студенческой поры. Познакомились на занятиях литературного кружка, работу начали в молодежной газете. Потом судьба усадила его в кресло руководителя издательства, но эта работа не мешала нам видеться чуть ли не каждый день.

– Где ты пропадал? Где тебя черти носили? – наконец произносит он. – Пятый год. Где же ты скитался? Брось рюкзак и палку, сядь на диван. Небось, собак стал бояться?

– То посох, не палка. И откуда ты взял, что пятый год, четвертый пошел...

– Ты что же, уже не в ладах и со временем? – удивленно произносит он, склонив голову на правую сторону – это его привычка, – тебе чужбина была мачехой, я вижу. И где же ты был?

– В Гималаях.

– Где? В Гималаях? – протяжно произносит Асад. – Какой дьявол тебя туда затащил? Мы слышали, что ты поехал в Афганистан.

– И оказался на Памире. А Гималаи – это так... для красивости, романтикой веет.

Асад пожимает плечами.

– Это кто же тебя научил говорить загадками?

– Да какие, к чертям, загадки. Послушай быль...

– Минутку, ты явился как с корабля на бал, я попрошу заварить кофе, а потом распутывай свою легенду.

Он выходит, но ненадолго, вслед за ним его сотрудница вносит поднос с кофейником и бутербродами и оставляет нас одних.

– Новая? – спрашиваю Асада (работниц издательства я знал всех).

– Да здесь почти все новые. А в твоей газете начисто всех сменили. Пришла, извини меня за плохое слово, одна шушера. Представления не имеют, что такое журналистика. Зато хорошо чуют запах денег. Не поднимайся к ним, высокомерны, недружественны, но с амбициями, апломбом, не поднимайся, знаю твой характер – вызовешь скандал. Да и не с кем тебе там говорить... Ну, рассказывай свою легенду.

Прихлебывая горячий кофе, я как сказку излагаю историю моей поездки, похищения, жизни в горах и долгой дороги домой.

– Мерзавцы, – задумчиво произносит Асад. – Тут некоторые большие люди, из демократов, конечно, разнесли слухи, что ты писал пасквили на наших руководителей, оскорблял партийных работников... не хочу больше говорить. Вот таких недругов нажил ты своими статьями. Сейчас они у руля. Трудно придется тебе с ними.

– Ты тоже поверил? Говори честно, без дураков.

Он задумывается.

– Не буду врать. Сначала поверил. Погоди, не перебивай. Да, поверил. Но скоро опомнился: кто разносит такие слухи, спрашиваю себя, его идейные недруги, те, кого он потрошил и высмеивал в статьях, только те. Вот потому и не думали выкупить тебя. Это они напускали черный дым... Мерзавцы. Да и я оказался мерзавцем, молчал и слушал.

– Себя оставь в покое. Прощаю, – говорю со смехом. – А там-то, в центре, в Москве, они почему молчали?

– Ха-ха-ха, – с издевкой произносит Асад. – Ты думаешь, там люди лучше наших? Ха. Да и чиновники сегодня в верхах другие. Тебе трудно понять – ты жил в Гималаях, в Ги-ма-ла-ях, где природа, сама природа блюдет чистый воздух, чистые помыслы, чистые дела. Ты ведь не знаешь, что у нас у руля встали мздоимцы, домокрады... Да ну их всех в... задницу. Слишком большая честь о них много говорить... Ты ешь, ешь, видно не завтракал!

– Ты меня удивляешь. Я же прямо с судна и сюда. Правда, и сам не знаю, почему ноги меня сюда принесли.

– Тебе и устроиться негде? – Асад удивленно смотрит на меня. – У тебя же квартира своя есть.

– Да? А паспорт? Как докажу, что я – это я и квартира моя? Подскажи, умник.

Асад задумывается. Вдруг он сильно шлепает ладонью по лбу:

– Мэр.

– Ну, что мэр.

– Мэр города мой очень хороший знакомый. Мы вместе закончили сельхозинститут. Ну ты же сам его прекрасно знаешь, да и он тебя.

– Идти к нему как-то неудобно. Не знаю, какое у него сложилось мнение обо мне...

– Выйди в коридор, – вдруг решительно велит Асад.

– Выйти?.. – удивленно спрашиваю, но он прерывает меня:

– Выйди, я поговорю с ним по телефону. Быстро.

Прохаживаюсь по длинному коридору. То и дело из кабинета в кабинет выходят и входят сотрудники с совершенно отрешенным видом. Не читается на лицах ни радость, ни деловая озабоченность – какие-то они пресные. И аура в помещении тяжелая, угнетающая.

– Заходи, – кричит в открытую дверь Асад.

Я присаживаюсь и наливаю в чашку остывший кофе: хочется есть.

Глаза Асада смеются.

– Он примет тебя в одиннадцать часов. Был поражен, что ты нашелся. Кстати, сказал что не верил всем бредням, зная тебя. Завтра получишь новый паспорт. А жить будешь в нашей гостинице пока не решишь вопрос с квартирой. Ты пьешь холодный кофе? – он выскакивает из-за стола, видимо разговор с мэром придал ему энергию, открывает дверь: – девочки, принесите кофе.

Милый человек. Не ожидал от него такого участия к себе. Может быть, он стал жить по принципу: «Спешите делать добро»? Или вдруг вспомнил другой принцип: «Добро оплачивают добром»? Лет двадцать пять назад, когда рассматривали кандидатуры на должность редактора молодежной газеты, благодаря моему слову, если хотите – мнению, предложению, он занял это место.

– Тебе нужна и трудовая книжка. Ведь ты не думаешь работать в своей газете? Нет? И правильно думаешь. Она уже другая. Иная, пустая. Трудовую тебе закроет моя заведующая отделом кадров. И этот вопрос решен. Думаем далее. Где ты будешь работать, хотя бы временно.

– Нигде, – говорю я.

Его взгляд застывает на моем лице.

– Как это нигде? А питаться, одеваться тебе не надо? Отвык уже?

– Я рисую.

– Что рисуешь? Подожди, не понял, что ты сказал?

– Я рисую. Продаю картины и тем зарабатываю на хлеб.

– Ха-ха-ха, – Асад не удерживается от смеха. – Ты что же, художником стал? Да я тебя знаю как, ну как, – не может подыскать нужное слово. – Ты никогда ничего не рисовал!..

– В Гималаях научился. Не знал, куда себя девать от безделья. По-моему, высшие силы подарили мне это ремесло.

– Ну, брат, ты меня убил наповал. И что, покупают?

– Ты же видишь, что я жив, здоров. И на судне приплыл из Энземи без денег. Заплатил портретами, пейзажами.

Асад откидывается на спинку кресла.

– Нет слов у меня. Слушай, а почему ты не напишешь книгу об Афганистане? О том, что видел своими глазами. Это будет хороший удар по твоим недругам. Представляю их рожи, оскал.

– Уже бродит в голове. Назову «Афганский излом».

– «Афганский излом», – повторяет Асад. – Хорошее название.

Он задумывается. Чувствую, хочет высказать мысль, но почему-то удерживает себя. Наконец, произносит:

– Ты меня извини, конечно, но я бы предложил тебе сделать название, как бы сказать, двойное. Понимаешь, в твоем изломе проявляется политика, а люди, у которых ты жил, которые тебя вывели из плена, не прочитываются. Я бы расширил... Как? А вот так: «Мой брат пуштун, или Афганский излом».

Он смотрит прямо мне в глаза, старается прочитать мою реакцию. А что, это интересно. Мой брат пуштун... И даже заманчиво. Чувствуется интрига.

– Ты мне подсказываешь хорошую мысль.

– Вот видишь, – радуется он, – я еще не забыл литературу.

Я забыл отметить, что Асад писал юмористические рассказы и выпустил в свет несколько книжек, но газетная работа захлестнула его.

– Ты знаешь, меня сейчас посетила непрошеная мысль, вернее, непрошеная идея. А не взяться ли нам с тобой за выпуск литературного журнала? Пишущие у нас есть, не глупее писателей крупных городов, а издания нет. Горько сознавать, что литература наша находится в загоне.

Его слова вызывают у меня невольную усмешку:

– Видать, ты успел разбогатеть?

– Не понял. На бедность не сетую.

– У тебя есть средства на издание журнала?

– А-а-а... Теперь понял. Найдем спонсора.

– Идеалист. Найти дурака, который будет бросать деньги в бездонную бочку.

– Есть у меня на примете такой дурак. Но он умный дурак. Мой бывший однокурсник, в свое время был заядлым книголюбом. Сегодня он олигарх. Не воровал, не обманывал, не грабил, умело поставил дело в своем районе, ну по части сельского хозяйства, сегодня богат, депутат Народного Собрания. Он умный, как ты выразился, дурак. В его доме одна комната заставлена книжными шкафами. Начитанный олигарх. Я познакомлю тебя с ним. Вот он согласится. Сейчас его здесь нет, уехал за рубеж на какой-то симпозиум. Как приедет, встречусь с ним. Так что готовься. И жди от меня звонка.

Глаза Асада светятся радостью. А что, может и осуществит свою идею? Вспыхнувшую, пришедшую нежданно-негаданно? Но почему нежданно? Может, она сейчас в душе Асада проснулась и заголосила?

– Пора тебе идти к мэру. Как вернешься, провожу в нашу гостиницу. Поживешь, пока не вернешь свою квартиру.

44

Уже за полночь. Не спится. И не работается. Надоело мазюкать кистями по холсту. Надоели эти горы, леса, море, натюрморты. Одно и то же, одно и то же. Была бы в них мысль, одна отличная от другой,

но нет же... Правда, ракурс другой, краски иные, светотени несхожие... Но мысль, где она, новая, свежая мысль... Надоело. Иссяк. Да, писал, чтобы заработать на хлеб, и не скрываю того. Жить же надо. Ремесло освоил, чтобы не скатиться до унижений, сохранить достоинство свое. Но у меня и в мыслях не было дотянуться до великого мастерства Рериха, Айвазовского, Шишкина. Бог ты мой, о чем я говорю! Мне даже имена их называть не следует. Стыдно.

Выхожу из мастерской на балкон. Ночь. Мгла. Далеко-далеко, где должно быть море, почему должно – оно есть, словно мелкие-мелкие камешки рубинов светятся огоньки. Это плывут суда. Их ведут мои братья по языку... Ну, скажем, собратья. Какое великое чувство ты испытываешь, когда осознаешь, как один язык объединяет разные народы, разный уклад жизни, разное понимание мироустройства, разные характеры и устремления, но язык единый – и сами люди расположены друг к другу.

И тут оступаюсь о свою философию. Да, язык сближает, роднит. Но он не помеха для вражды. Однако враждуют и братья по крови. И братья по вере. И нет этой вражде конца. Человек со дня появления на Земле враждовал со своим братом или собратом за место под небом. И нет ей, этой вражде, предела. Тысячелетия назад орудием вражды была дубина. Потом придумали стрелы. Затем мечи. Алебарды. Винтовки. Пушки. И вот баллистические ракеты. Если дубина раскраивала голову, меч врубался в тело, винтовка выстреливала пулю, пушка сносила дом, то одна ракета может испепелить целое государство. А если несколько?

Человек, которого ученые продолжают называть хомо-сапиенс (разумный), стал хищником.

Ни одно животное, ни один дикий зверь, если он сыт, не нападает на сородича, на соседа. Человек, успешный во всем, обеспеченный всем, чего душа требовала, не гнушается обделить другого, ниже по статусу, теснить, выдавливать, ступить на его территорию.

Где предел желаниям?

Пороки паутиной нависли над человечеством. Оплели его.

Представляю паутину в осеннем лесу в яркую солнечную погоду. Шелковая сеть из тончайших нитей покрывает желтые листья. Красота ее завлекает глупую пчелку. Она трепыхается в нитях, затихает, и тут к ней подползает хозяин сети – паук. Спустя минуту он уползает. Пчелка усыхает.

Я много раз видел такую картину.

Все сущее – в сетях. Но в сетях хитрого создателя, мстительного владыки или в умах вездесущих?

Для чего надо было наших ребят посылать в Афганистан? Помочь построить новый мир?

Хорошо помню слова моего собрата по перу, с которым колесили по выжженной солнцем земле пуштунов: социализм на броне танков не завозят. И он прав. Социализм должен родиться в умах людей, вызреть в сердце и исполниться в страстном желании созидания. Импортируют в страну товар. А социализм – идея, идеология, зреющая столетиями. И еще неясно, во что она воплотится и чем обернется.

А наши соседи не были к тому готовы.

Сколько тысяч ребят остались лежать в знойной земле Афганистана. Сколько кишлаков, городов, садов было сожжено, детей и стариков убито. И несмотря на страшные беды пуштуны беззлобно, без ненависти произносят слово «шурави», так они называют русских, потому что американцы, англичане, немцы, пришедшие сюда, принесли с собой ненависть к восточному человеку и гнусное желание засыпать мир опиумом.

Голова моя тяжелеет от дум и размышлений. Сколько ни убеждаешь себя, что мир людей должен в конце концов избавиться от пороков и гнусностей, они продолжают жить, перевоплощаясь в иные мерзости.

Я захожу в комнату и вытягиваюсь на тахте. Тишина оглушает меня. Несколько часов назад за окнами гремел бой. Бой природы с человеком. Там, на земле Афганистана, я не слышал таких чудовищных

звуков. Еще полчаса назад в небе грохотали свинцовые тучи, рассекаемые саблями молний словно лазерными лучами. Тонны воды обрушивались на крыши домов и, казалось, вот-вот выдавят их. Ветер выл и стонал, ломая деревья, а иные вырывая с корнем.

И вот... тишина. И мгла. И красные огоньки судов моих собратьев по языку, идущих в мой порт.

Поднимаю глаза к потолку, ищу его. Где он, ну где же, друг мой скорпион? Испугался рёва погоды, бешеных потоков воды? Скорпион, как я понимаю, любит сырую погоду. Как и я. Почему его не видно? Струсил? Но он не из трусливых. Очевидно, ждет своего часа свидания со мной. Неужели он еще не наступил?

Рассуждаю о всякой всячине и вдруг на стене проявляется образ женщины. Вглядываюсь в видение... Бог ты мой, да ведь это лицо Гули. Да, да, Гульнары. Она смотрит на меня с улыбкой и шевелит губами. Что она хочет сказать? Пристально слежу за движениями ее губ, буквально впиваюсь глазами. Слово... Возвращайся к Слову... Да, да, она произносит эти слова. А может, видение не Гульнары, а моего ангела-хранителя, который идет со мной по жизни, мой оберег и советчик? Но почему лицо Гульнары?

Внезапно по видению пробегает откуда ни возьмись скорпион и все исчезает.

С ума можно сойти от такого явления. Расскажи кому-нибудь о нем – сразу сочтут меня за свихнувшегося с ума.

Меня не покидает желание понять, что же она хотела сказать. Слово... возвращайся к Слову... Это значит... Да, да, мне велено возвращаться к литературе. Она и есть Слово. Она способна разбудить мысль и распахнуть душу.

Я встаю с тахты и вышагиваю по комнате.

Да, надо, время уже возвращаться к литературе. Мне есть что сказать человеку сегодняшнего дня. Мне есть что поведать читателю будущего – о пороках, о мздоимстве, чинопочитании, угодничестве, лжи, лихоимстве, лицемерии, коррупции, бандитизме, захлестнувших нас.

Тяжелая мне предстоит дорога. Хватит ли сил дойти до конца? А разве дорога имеет конец? В нашем многомерном мире всё закольцовано.

Я подхожу к небольшому письменному столу, сажусь на стул, выдвигаю ящик стола, достаю стопку бумаги и ручку и кладу на стол. Бумага желтая, газетная, я всегда любил писать на такой. Итак, надо приниматься за работу, пока есть силы, пока позволяет здоровье. Мне есть что сказать и как сказать.

Я зажимаю пальцами ручку, сильно зажимаю, и крупными буквами вывожу название будущей книги – «Сны Скорпиона».

Пальцы замирают. Я понимаю, я осознаю, что эти два слова не полностью раскрывают смысл, суть задуманной книги. Мозг лихорадочно думает. Может быть, назвать как-то иначе, данный вариант уж явно пахнет мистикой. Бог ты мой, а мы-то сами разве не мистические существа?

Я зачеркиваю название. Продолжаю думать. На ум приходит несколько вариантов. На каком остановиться?

Не ошибиться бы.

Ведь удачное, меткое, название – это и интрига, и уже полдела. Это соль, или точнее нерв всего содержания. Это красная линия, которая поведет читателя в неведомый ему таинственный мир. Который еще неведом и таинственен даже для автора, но он уже готов в него войти, сам еще не ведая, что его ожидает в пути и каков будет конец.

Наконец, решаюсь и вывожу: «Сны Скорпиона, или не умирай пока живешь».

Махачкала. 2013–2014 гг.

НЕВЫДУМАННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ

Новеллы

Нажать на курок не так трудно

– Мне нравится вот так осторожно водить пальцами по твоему лбу, лицу, по твоей шее, ощущать нежность, прохладу твоей кожи. Душа замирает от наслаждения. Твое тело гладкое, как мрамор. И прохладное. Я словно в раю...

– Тебе нравятся холодные женщины? – спросила она замирающим голосом.

– Я не сказал холодное, я сказал прохладное.

Он нежно водил пальцами, подушечками пальцев по ее лбу, лицу, шее, потом осторожно положил голову ей на грудь. И прошептал:

– Как спокойно оно бьется, ровно, сердце твое. Не чувствует ни тревоги, ни...

– Потому что ты рядом, – перебила она, – мы вместе – и оно радо, а мы всегда будем вместе.

– И запах твоей кожи меня с ума сводит. Ведь я должен озвереть и рвать тебя от голода, от любви, а видишь – я на невесомых крыльях умиротворенности, блаженства. А от моей кожи исходит запах?

Она засмеялась. Смех был тихий, счастливый.

– Ты же не Адам.

Он приподнял голову, заглянул в ее серые глаза:

– Какой Адам?

– Это от него исходит запах, бог создал Адама из глины. И потому Лилит убежала от него. Ты создан из любви...

Он провел подушечками пальцев по ее губам:

– Бог мой, какие они красивые у тебя, полные, как...

– Сейчас скажешь, как устрицы, – засмеялась она.

– Нет, не скажу. Они чувственные. Так и притягивают к себе.

– Тебе нравятся? – спросила она, глаза ее ждали ответа.

Он приподнялся, взял со стола маленькую коробочку, открыл, втянул в одну ноздрю, потом в другую белый порошок и протянул ей. Она повторила то же, что сделал он. Вернув коробочку на место, он опустил голову на подушку.

– Как в раю. Мир весь в бликах. И бескрайняя пустота. Вот уже и глупость сказал – пустота разве имеет край? И краски радужные пляшут вокруг...

– А мне видятся лица, лица, то подплывают ко мне из глубокой пустоты, то отплывают. Вот он приблизился ко мне, это мой муж, красивый, молодой, заглянул в глаза, улыбнулся и уплыл, а вон поплыла доченька моя, Марьяша, моя кровиночка, а рядом с ней моя мама. И даже не посмотрели в мою сторону...

Голос ее ослаб. Она утихла.

Оба задремали.

– Как ты вышла за него замуж? – голос его, словно пришедший из небытия, застыл в воздухе и растаял.

– За боевиков родители дочерей замуж не отдают, – слова исходили словно из пустоты. – Мы познакомились на улице. Я шла домой после учебы. Идущий впереди меня парень споткнулся, еле удержался на ногах, выругался, очень остро выругался, обернулся к своему обидчику, а это из земли торчала арматура, потом поднял лицо, глянул на меня и пошел дальше. Меня будто током ударило его лицо, мужественное, сильное, страстное. Он вдруг остановился, опять обернулся, взглянул на меня улыбнулся, и, ни слова не говоря, пошел рядом.

А потом он познакомил меня со своими братьями.

– И все они были ему под стать? Такие же красивые?

– Они были братья по лесу. Он пригласил меня поехать на шашлык в лес. За горой у нас красивый густой лес. Я не побоялась поехать. Это были славные мальчики. Нет, нет, я чувствую, о чем ты подумал. Они были не террористы. Они были мстители. Собрались, чтобы мстить.

Наконец, она открыла глаза и села. Он протяжно, сладостно вздохнул: она была изумительна. Настоящая мраморная статуэтка.

– Мстить? За кого?

– Еще до нашей встречи, до знакомства, он занимался бизнесом. Как-то ночью отправился на центральный телеграф позвонить партнерам. Заказал разговор. В зале было душно, он вышел на улицу покурить. К нему подошли два милиционера, молоденькие, потребовали предъявить паспорт. А у него был взрывной характер. Слово за слово, один из них подбросил ему в карман наркотик. Отвезли в милицию. Состоялся суд. Дали пять лет. Через два года родные откупили. Он вышел из тюрьмы, выследил своих обидчиков и одного застрелил. Там же, недалеко от центрального телеграфа. И ушел в лес. Больше некуда было идти.

– Как он погиб?

– Ехал ночью с товарищами на большой скорости, не остановили машину по требованию депеэсников. Расстреляли из автоматов. Свою дочь Марьяшу так и не успел увидеть. Бедный мальчик.

– Как он любил тебя?

– Как зверь. Со мной был нежен, ласков. Но любил, как зверь, словно чувствовал, что недолго будет со мной. Подай-ка коробочку.

Она глубоко вдохнула порошок, вернула коробочку и вытянулась пластом.

– А Марьяша с кем?

– С мамой моей. Родные умоляли порвать с мстителями, но разве с ними порвешь? Потом прокляли и изгнали из дома. Я уже ко всему привыкла. Но без девочки моей... тяжело. Очень тяжело.

Из глаз потекли слезы.

Он подушечками пальцев растер их по ее мраморному лицу.

– Но почему твой выбор пал на меня? – он наклонился над ней и залюбовался ее лицом, утомленным от горя, страдания и любви. – Я же не такой, как вы.

– Это ты выбрал меня. Ты так смотрел, что разбудил мою душу – она уже умирала. Ты не похож ни на нас, ни на славян, ни на азиатов. Я долго глядела на тебя и пыталась угадать, кто ты, из каких краев...

– Долго гадала бы.

– Что тебя привело сюда из Риги? Тоже кого-то убил?

– Нет, милая, я мокрухой не занимаюсь. Люблю путешествовать, а кормлюсь за счет простаков: у кого сумка раскрыта, у другого дыра в кармане, – он засмеялся. – Мир не без добрых людей. А веру твою принял только из-за великой любви к тебе.

– Ну, конечно. Чтобы лечь в постель со мной.

Она поднялась, обнаженная, молочно-белая, и пошла в кухню.

Квартира, в которой они жили двое суток почти в центре города, была съемная. Здесь в любом районе можно было снять квартиру и на несколько часов, и на сутки, и более. Они поселились в однокомнатной, обставленной изысканной мебелью. Он, латыш Янис, во вкусах толк знал. Иначе... иначе не выбрал бы эту красотку из тысяч миленьких молодых женщин.

– Так кто же ты, вор, бомж, шулер... Чем ты занимаешься, милый?

Она шла из кухни, осторожно держа поднос с кофейником, кофейными чашками и сладостями.

– Я человек мира.

Она весело расхохоталась, едва не уронив кофейник.

– Да, милая, я ничем и никем не связан, сегодня могу быть здесь, завтра уже далеко отсюда, сегодня я мусульманин, завтра православный, послезавтра опять католик, буддист... Как-то в Бурятии подружился с буддистским монахом. Понравился почему-то я ему, часто беседовали. Я старался познать их науку, их образ жизни. И вот однажды он мне тихо и спо-

койно сказал: «Людей обнадеживают раем, царствием небесным. Нечестно поступают с ними, обманывают, оглупляют. Нет ничего этого. Пусто вокруг нас. И над нами пусто, и под нами. Мы приходим в пустоту, здесь уже что-то сделано до нас, и мы стараемся это что-то совершить, а потом уходим в пустоту. Ты разве никогда не ощущал в душе пустоту?». Ощущал, но не задумывался над ее природой.

– Лесные братья могут убить тебя, если услышат такие слова... – ужаснулась она.

– Эти одурманенные пацаны? Ну и что с того? Не боюсь я ни пули, ни кары небесной, ни горящих котлов ада... Прожил в свое удовольствие. И ушел из этого мира.

– Да ты безбожник!..

– Один из великих французских философов, правда, забыл его имя, сказал: «Атеист не отрицает бога. У него свой бог».

Она удивленно взглянула на него:

– Оказывается, ты такой умный! А может быть, ты скрытый атеист?

– Нет, милая, я не атеист. Я католик. Сегодня еще и мусульманин. Но я не рисую в воображении тех богов, которых рисуете вы и поклоняетесь им. Мой бог – любовь.

– Твой бог – любовь. Но любовь к кому, к чему?

– Любовь к красоте земной, к женщине. Ради такой любви я готов выслушать судебный приговор Бога любви. Других просто нет. Иди ко мне, любовь моя.

2

Утром она проснулась первой. Неслышно пошла под душ, приготовила легкий завтрак и только потом разбудила его.

– Пора, милый, вставай...

– Он нехотя открыл глаза, потом, словно что-то вспомнив, вскочил, поцеловал ее в обе щеки и заторопился в душевую, повторяя:

– Не опоздать бы, не опоздать бы, мы с тобой заказаны, милая...

Завтракали не очень уж спешно, но и не столь медленно, как в другие дни.

Заказав такси, он дал ей сигарету и закурил сам. Расслабившись, он тихо проговорил:

– Ты ничего не почувствуешь, милая. Абсолютно ничего.

– А там меня не обидят? – спросила она слабеющим голосом.

– Там? – он задумался. – Не знаю. Там я не был.

– А почему ты знаешь, что я ничего не почувствую? – спросила она с иронией.

– Да потому что и меня взрывали, – усмехнулся он.

– Как? Когда? Ты мне об этом не говорил...

– Я же, милая, был диверсантом, – тихо засмеялся он. – Десантником.

– И ты только сейчас мне об этом говоришь? Когда я ухожу? – изумилась она.

– Я тебя провожу. Запомни: ровно в восемь ноль-ноль. Сверим часы. Тебе ничего не надо нажимать, включать... Наденешь пояс, поверх – платье. Черный платок возьмешь с собой. Выйдешь в своем роскошном халате с сумочкой в руке. В раздевалке скинешь халат, а выйдешь уже в черном. Не мешкай. И ни о чем не думай. Одно не забывай – время восемь ноль-ноль. Покури еще одну сигарету. Цветные картинки успокаивают.

Зазвонил телефон: на улице ждал таксист. Они вышли из подъезда сели на заднее сиденье. У пляжа он первым вышел из машины, помог выйти, крепко поцеловал в губы. Она была прелестна.

– Янис, я жду тебя, милый, – сказала она тихо и, слегка пошатываясь, пошла к воде.

– До завтра, милая.

Он сел в машину, отъехал метров триста, к дикому пляжу, где из воды вставали почерневшие, обглоданные временем вековые камни, расплатился с шофером и пошел к воде.

3

Она шла словно в тумане, который расслаивался, густел, принимал, причудливые формы. Зеркало моря искрилось и смеялось. У самого берега по воде бегали и резвились дети. Она не испытывала никаких чувств. Просто шла и ждала своего времени.

– Марьяша, далеко не уходи, – раздался молодой женский голос.

Ее словно прошило иглой.

– Марьяша? Не моя ли крошка, кровиночка? А с кем она сюда пришла, с бабушкой? С тетей?

Она подошла к девочке.

– Нет, – прошептала, успокоившись, – не моя. Нет.

И вдруг спохватившись взглянула на часы.

Было без десяти восемь.

Она пошла к раздевалке.

В ожидании, когда ее освободят, окинула взглядом волейбольную площадку, вокруг которой столпились болельщики, приметила милиционеров, стоявших поодаль, и, наконец, вошла в кабинку. Быстро сняла халат, накинула черный платок, надела очки. Как только она ступила на песок, наступила глухая тишина, которую тут же распороли крики. Одни падали ниц на песок, другие убегали, третьи от ужаса не могли сдвинуться с места. К ней, пригнувшись, уже бежали милиционеры.

«Вот вы мне и нужны», – сказала она себе.

И тут воздух прорезал вопль:

– Марьяша!!!

«Марьяша», пронеслось в ее помутненной голове, «Марьяша, моя кровиночка. Нет, нет, это не моя»...

Из ее груди вдруг вырвался протяжный раздирающий крик:

– Убегайте, убега...

Второе слово оборвало и накрыло взрывом.

4

Он не знал, куда себя деть. Его окутала пустота. Было пусто в душе: он не чувствовал ничего. Было пусто в голове: никаких мыслей, словно отпали начисто. Было пусто на улицах города...

Прав был Чолбасар, тот буддистский монах: всюду пустота. Человек пришел из пустоты, что-то создал – а иначе он не человек, не созидатель, – и ушел в пустоту. Круг замкнулся. Но кому, для чего все это надо? Итог всему – пустота? И Земле? И остается пустота, которую мы называем небом? Кто придумал это слово-то – небо? Что оно значит? Небо... не быть... Верно ли я думаю? Подумай-ка: не быть... Никому и ничему не быть? А эти отморозки придумали слово «рай» и тешат им слабых душой. Раем утешают, рай вдалбливают в мозги. Зомбируют. Подкрепляют слово травкой, зельем, уколом... Бедная моя девочка, там пусто, и эта пустота ждет и меня. За мной акт возмездия, акт мщения. Но за кого мстить? Она, бедная девочка, мстила за мужа. Но мне-то за кого мстить? Не за кого. За любовь? Но разве за утерянную любовь, убитую любовь взрывают?..»

Голова его уже начала утомляться от накатывающих мыслей.

«Подонки, отморозки, опоили меня любовью девочки и хотят отправить в пустоту этих ребят, сосунков. Да один их вид вызывает жалость. Они-то кому причинили зло?»

Он проходил перед отделом внутренних дел города. Молодые ребята в бронежилетах, с автоматами в руке, охраняли здание. Он остановился у парадного подъезда, где на стене была прибита искусно оформленная, мемориальная доска из черного мрамора с барельефом видного большевика. Потом пошел дальше.

«Вот тебе и охрана, – сказал он себе с усмешкой, – не остановили, даже не глянули на меня. Ведь я не такой, я не похож совершенно на них, чужак, хотя бы спросили – кто ты, откуда? А я должен в восемь

утра вот здесь, у этого барельефа взорвать себя с ними и исчезнуть в пустоте? Ах вы, отморозки».

В квартиру он вернулся на исходе дня. Уходящее солнце заливало комнату оранжевым светом; свет этот, теплый, бархатный, спокойный, всегда вызывал у них легкое, радостное настроение.

«Как она была бы рада ему, этому свету», – сказал он себе и прошел в кухню. Сварил кофе, нарезал тоненькие ломтики батона, полукопченный сервелат и принялся жадно есть. Утолив голод, он лег на кровать.

«Итак, приступим к аналитике, Янис, – обратился он мысленно к себе. – Ты не их человек и за тобой установлен дозор. Это уж точно. С ней было проще, ее готовили быть смертницей. Ты – чужак. Отморозки не глупы: они сумели посадить меня на травку. – Он достал из ящика тумбочки папиросу, чиркнул зажигалкой, затянулся... – Хорошо... Легко стало... Продолжим рассуждать: пояс смертника у меня, дистанционка у них, дозорный обитает в подъезде или где-то поблизости. Каждый мой шаг у него запечатлен. Просто, незаметно не уйдешь, не затеряешься. Спасение – ночь. Тем более, она безлунная, да и фонари на улице почти не горят... Я этим отморозкам преподам урок. В конце концов я диверсант-десантник. Мы друг друга подначивали так в батальоне: диверсант. Живу на десятом этаже, надо мной – крыша, диверсанту ничего не стоит взобраться наверх и по крыше уйти. – Он облегченно вздохнул. – А если на крыше тоже дозорный? – кольнула непрошеная мысль. И тут же усмехнулся и успокоил себя, – в таком случае – рукопашный бой».

Он открыл коробочку, втянул в ноздри порошок, втянул так сильно, что даже прослезился, подошел к открытой двери на балкон и далеко отшвырнул коробочку.

На улице уже было темно, тихо, пусто.

«Уйду по крышам, – повторил он, – этому я хорошо обучен».

Он лег на кровать, уткнулся лицом в подушку, почувствовал тонкий аромат. Это был запах ее волос. Он обхватил подушку двумя руками, из глаз выкатились слезы. Он не плакал, не рыдал, не всхлипывал, просто лились слезы, угнетая душу. Он еще глубже запустил руки под подушку, словно хотел плотнее прижать ее к себе, и тут почувствовал холодок металла, пальцы осторожно ощупали его... Он вытащил пистолет.

– Беретта. Беретта моей Иветты, – проговорил он. – Да, моя Иветта любила Беретту.

Очевидно потому, что имена были созвучны. Она часто водила им по лицу, как глупый ребенок, прикладывала к губам, целовала дуло... да, дуло, и сокрушалась, что курок у него очень тугой...

Он приставил дуло Беретты к своему рту и приложил указательный палец к курку:

– Инструктор как дятел долбил нам, салагам: «Нажимайте пальцем на курок плавно, ласково». Он учил нас на пистолете Макарова. А я слушал его и говорил себе: «Да пошел бы ты со своей наукой, пока я плавно буду спускать курок, из меня сделают решето». Это пистолет Беретта. Попробуем, какой у него курок? Тугой, даже очень. Ну-ка, прижму его. Так, пошел... А ствол-то пустой? Конечно, должен быть пустой. Иветта часто им забавлялась. Курок тугой, но поддается. Эх, батя все твердил: «Плавно, ласково... он не девица. Он любит силу»... Ну-ка, еще разок.

Раздался выстрел.

Но он его не услышал.

Деньги рушат сильнее бульдозера

1

Он и не услышал, как кто-то вошел.

Кабинет был большой, непомерно большой, скрипа двери не было слышно, да она и не скрипела, потому что петли регулярно смазывали машинным мас-

лом, звук из приемной не проникал, и потому он не услышал и не заметил. Какое-то чувство, неосознанное, беспокойное, заставило его поднять от стола голову, увидеть на ковровой дорожке вишневого цвета дорогие мужские туфли, пепельного цвета брюки... И наконец резко поднял голову.

Мужчина широко улыбался.

– Визивали? – протяжно произнес он.

Именно так – «визивали».

Сидевший за столом устало, отрешенно покачал головой, словно хотел сказать этим движением: «Как мне надоели твои дурацкие выходки», – и указал рукой на кресло:

– Садись. Как ты вошел? Кто тебя пустил? Это же мой час.

Утром с девяти часов он прорабатывал план работы на день.

– Как? Кто? – мужчина удобно расположился в кресле. – Машутка впустила. Я ей очень доходчиво объяснил, в самое ушко, что дело, с которым я явился, грандиозное, и его решение не терпит отлагательства. Ну и, как сам понимаешь, коробку хоро-о-оших конфет.

– А что это за дурацкое «визивали»?

– Э, брат, прекрасное слово из анекдота. Рассказать? Не время? Ну, концовку хоть послушай. Значит так, когда гость насладился всеми удовольствиями, распахиваются двери, входит огромный мужчина, на ходу засучивает рукава шелкового халата и, улыбаясь, сладко произносит: «Визивали?». Гость испуганно таращит глаза: «Нет, нет». А тот все выше закатывает рукава и все ближе подходит, как кошка: «А, еще кокетничаешь?».

Сидевший за столом долго удерживал в груди смех, но он вырвался наружу и перешел в хохот.

Успокоившись и вытерев навернувшиеся слезы со щек белым носовым платком, хозяин кабинета откинулся на спинку кресла:

– А здесь я буду засучивать рукава. Потому и пригласил тебя...

– Пока не засучивай. Я пришел решить очень важное дело. Понимаешь, грандиозный проект.

– Ну и... – насторожился хозяин кабинета.

– Причем тут «ну и»... Это огромное здание, такого не то что в нашем районе, во всем городе нет. Будет красой и гордостью нашей столицы.

– Ну и?..

– Что ты ну икаешь? Ну и, ну и.

– А ты излагай дело сразу и по сути, а не анекдотами.

– Большие деньги, брат. Огромные.

– Не боишься лопнуть? Твой шар недолго может продержаться в воздухе. Впрочем, как и всякий шар.

–А ты, брат, для чего? Глава администрации самого крупного района столицы. Твое слово – и он снова в воздухе. Накачанный. Деньгами.

– И большие деньги, говоришь?

– Большие. Всем хватит. Кто одобрит твой план – получит хороший пакет.

– Так где же твои олигархи хотят строить свой дворец?

– Я не сказал – дворец...

– К слову сказано. Так где?

– В конце нашей улицы. На которой мы жили.

– На которой мы родились шестьдесят лет назад... – проговорил хозяин кабинета. – Я потому и вызвал тебя с утра. Кто там ночью вырыл котлован? И забором оградил огромный участок? А забор из хорошего леса, видать, денег не жалеют. Кто дал разрешение?

Большие карие глаза уперлись в лицо собеседника.

– Нет там никакого котлована. И забора нет. Кто такую глупость мог сказать? Только наши с тобой недруги.

– Я там был. Я сам своими глазами видел. И ты мне смеешь врать?

– Брат, я же им не разрешил, бумаги не подписаны, я велел не торопиться. Как же они меня подвели...

– Чтобы к концу дня котлован был засыпан и забор снесен.

– У меня же нет спецтехники. Я просто главный архитектор.

– У тебя есть деньги. Исполняй, что я тебе велел. Иначе завтра соберу коллегию. Прекращай уродовать город...

Замолчали оба. Молчание было долгое. Каждый думал о своем.

Первым заговорил глава администрации:

– Эх ты, Борька, Борька... Ты давно был на нашей улице? Улице нашего детства?

– Никак не удается. Времени свободного нет. И не по пути. Ну хорошо, Салик, подумаешь, тут же с нами никого нет.

– Ну да, конечно, ты живешь в микрорайоне олигархов, да и твой дом не уступает их особнякам. Разжился, брат Борька, а как мы жили с тобой, ты хоть помнишь или уже забыл?

– Так времена другие, брат Салик.

– Времена наступили другие для всех. Времена приходят и уходят. А вот душа... Да что тебе о душе говорить... Прошелся я вчера вечером по нашей улице, и так тепло стало на душе, так уютно, и показалось – кто-то заплакал у меня в груди, там, глубоко-глубоко. Те же дома, ну, многие одеты в кирпич, кое-где двух-и трехэтажные, те же дворы, но покрытые асфальтом, те же деревья. Борька, те же деревья, что росли пятьдесят-шестьдесят лет назад – акации, липы, деревья-вонючки, мы их так называли, потому что они испускали неприятный запах. И все они огромны, и накрывают не только тротуары, но и мостовые, и идешь по улице как по зеленому коридору. Это единственная улица, я думаю, где топор или пила не коснулись еще дерева и бульдозер не срезал дом. Тихая, спокойная, не загазованная. И аура здесь светлая, добрая...

Салик замолчал.

Молчал и Борька.

– Я как-то, до вчерашнего вечера, шел по нашей улице, и думаю: дай-ка зайду во двор, где мы провели детство и юность... Каждый дом отгородился от друго-

го забором. А как у нас было? В одном общем дворе жили четыре семьи. Ворота были большие, двустворчатые, деревянные, в одной створке – калитка, чуть больше окна, в нее входили и из нее выходили полусогнувшись. А в самом конце двора из земли торчал кран водопроводный. Из него постоянно текла вода и тонким ручейком стекала вниз, к нашему дому и на улицу. Жили. Все выжили. Готовили еду кто на керогазе, кто на примусе. Двери у всех открыты. Вечерний чай все пили вместе, во дворе, расстелив на земле палас. А на середине паласа стоял медный самовар.

– Такой же двор был и через две улицы, – оживился вдруг Борька: видимо, картины минувших лет всплыли в мозгу. – Помнишь, на центральной улице у Дворца пионеров? Он прилепился к боковой стене Дворца. Мы с тобой ходили в кружок. Когда не прийдешь, у ворот двора танцевали мальчишки. Один танцевал лихо, очень лихо. Из носа текут сопли, а он руки вразлет, ноги что-то выделывают. Кажется, его звали Шурик. А поодаль стоял старший брат, Йосик, и подсказывал, учил как уже заправский учитель. Шурик сейчас руководит детским ансамблем. А Йосик где – не знаю.

– В Москве живет, – коротко сказал Салик.

– И в школу все ходили в пятую, – продолжал Борька. – Из состоятельных семей ребята учились в первой и второй – они были совсем рядом и по современным понятиям считались элитными, а мы все ходили в пятую, в такую даль...

– В ту пору считалось – даль... Но зато ребята были боевые. И похулиганить можно было. Под боком «Шанхай», чуть дальше «Гургур-аул». Все наших побаивались.

Салик снова замолчал.

– Эта улица – живая память. Как картинка осталась от прошлого. Есть еще несколько улиц у моря. Остальные загублены. Двора Шурика и Йоськи давно нет, как и тысяч других дворов. А наша улица есть. Видимо, ангел ее хранит. Вот и я решил ее сохранить как заповедную. Молодежь ни черта не знает, каким

был наш город лет шестьдесят-семьдесят назад, – заключил Салик.

– Фотографии-то есть, – сказал Борька.

– У фотографии души нет. Она не греет, когда на нее смотришь. А ты пройдись по своей улице – каждый нерв встрепенется, теплая волна нежности охватывает тебя... А какие-то сволочи уже котлован роют. Закопать память. Придавить душу. Не дам, Борька. Ты знаешь, что в том месте, где соединяются несколько улиц с нашей, я запланировал лесопарк. Чего у нас в городе нет? Лесопарка. Для людей. Не для олигархов, толстосумов, жуликов. Нужен им земельный участок? Выдели в поселке. Здесь нет. Так что, брат, хватит жировать...

– Так я один что ли? И они. И ты...

– Дурак был я, глупец... Значит, так: к концу дня котлован должен быть засыпан землей, забор снесен. Будь здоров.

– Ты что, брат? Вопрос надо решить...

– Вот и реши. Не решишь – соберем коллегию. Будь здоров.

– Брат, люди ждут. Большие люди, – Борька сделал удивленные глаза, – и деньги большие. Если позволишь, я решу этот вопрос сверху, – он поднял палец к потолку.

– Откуда хочешь, оттуда решай, хоть сверху, хоть снизу. Но котлован засыпай. И довольно трепаться. Уйму времени потерял с тобой. Будь здоров.

2

Он задержался на работе на пару часов. Впрочем, как и каждый день. Когда вышел на улицу, опускались сумерки. Дневная жара спала и было приятно медленно идти, пропуская вперед спешивших прохожих, особенно женщин, которые сновали как челноки, забегая из супермаркета в супермаркет, разглядывая яркие рекламы, обещавшие сброс цен на товары, ликвидацию залежавшейся продукции...

«Наша реклама – пособник обмана, – сказал он про себя и кисло улыбнулся. – И все-таки клюют на нее. Многие клюют».

Он и не заметил, как с широкой, шумной, ярко освещенной улицы свернул на полутемную. Не по своей воле свернул, а ноги вынесли. Бывает. Так часто бывает: человек о чем-то размышляет, утопает в своих думах или, наоборот, ни о чем не думает, и голова пуста, то есть свободна от всего, а ноги несут его туда, куда ты и не думал идти. Неужели они получают информацию или команду? От кого? Откуда? Может быть, от души? От того Эго, которое живет там, в душе?

Он вышел на улицу своего детства. И весь рабочий день с его совещаниями, встречами, разговорами, указаниями, спорами, увещеваниями, обидами и примирениями, льстивыми улыбками и злобными взглядами, умиротворенными посетителями и грубиянами, нахалами, весь этот странный и страшный хаос, одурманивавший мозг, испарился, исчез.

Сквозь густую крону деревьев тяжело пробивался свет уличных фонарей. Словно десятки лун выливали сквозь листья на землю лишнюю голубизну, которая не нужна была небу. Это был цвет, а вернее – свет воспоминаний. Под таким светом, призрачным, успокаивающим, умиротворяющим, человек обычно окунается в воспоминания. Тем паче, если он романтическая натура.

И он, как в бледно освещенном сне, стал перелистывать картинки детства: и двор, летом раскаленный южным солнцем, а осенью и зимой заливаемый непрерывными дождями, и шустрого, нагловатого Борьку, задиристого, драчливого Серого, красивую до умопомрачения Мехрибан, с которыми рано утром отправлялся в школу, которая находилась почти в конце города, в трех километрах от их дома. Три километра туда и три километра обратно. И никто не роптал. И никто не добивался объяснения – почему одним отмерять детскими ногами километры, а другим – несколько сот метров...

Время было такое. Люди были не требовательны. Довольствовались тем, что предоставляли, что разрешали...

А потом была армия. И все трое – он, Борька и Серый, оказались на одном корабле. Кто-то служил совсем недалеко – в соседней республике, другие в Подмосковье, а они на Дальнем Востоке – на Тихом океане. И никто из них не выяснял – а почему именно им служить на Тихом океане. Характер выработался такой.

А потом... ну просто смешно об этом даже думать – словно кто-то ими управлял или оберегал их спайку – все трое в Политехническом институте...

Он тихо брел по улице детства, прошел мимо своего двора, и глаза стали влажными.

«Так недолго и расплакаться», – улыбнувшись, сказал он про себя и ускорил шаг. Дойдя до конца улицы, он пытался было изумиться, но изумления не получилось – просто усмехнулся и сказал беззлобно:

– Я так и предполагал. Да что там предполагал – ожидал. И не случайно меня ноги сюда привели. Все-таки есть в этом мире что-то такое, что ведает нами и ведет нас. Желаем мы того или нет. Вот тебе и зажравшийся мерзавец, вот тебе и брат Борька...

Он достал из кармана костюма сотовый телефон, набрал номер. Долго ждал связи.

– Алло? Серый? Спал что ли?

– Да где там спать... На работе я еще. Ударник труда. Это ты что ли, Салик?

– Не узнал?

– Голос усталый. Доконали, небось?

– И это есть. Серый, ты должен мне помочь.

– Ну?

– Там, где я планировал разбить лесопарк, невидимки вырыли котлован и обнесли забором. Без разрешений, без документов... Одним словом, невидимки.

– Кому уплатили? Или рейдерский захват?

– Да кто их знает, – Салик выдержал паузу. – Эту тайну Борька может знать.

Серый раскатисто захохотал.

– Какова моя задача? – спросил он.

– Ты директор спецавтохозяйства или черт знает кто... Гони два бульдозера и двух-трех рабочих. Я жду.

– Так ты на самом деле там?

– А чего бы я тебе звонил? Жду.

Он облегченно вздохнул и ощутил, как тяжелая ноша приятно сползла с плеч. Решил было обойти весь участок, обнесенный деревянным забором, но махнул рукой: сейчас его снесут и на этом точка.

Он представил лицо невозмутимого бывшего морского десантника Сергея Бухановского и улыбнулся. Крепкий, мордастый увалень, он еще будучи школьником одним ударом сшибал мальчишек с ног. А что он вытворял снежной зимой... В центре города, рядом с центральной площадью, одна из улиц сбегала вниз, к морю. Сбегала очень круто. Даже в погожие дни по ней с большим трудом; урча, ревя, вопя, еле взбирались машины, зачастую пробуксовывая и создавая пробки.

В снежную зиму для проезда она закрывалась. И вот Сергей у такого же сорвиголовы, как и он сам, брал напрокат огромные деревянные сани, ну буквально полозья, на пару из конца города подгоняли к началу спуска этой улицы, усаживали в нее всю братву, несколько пацанов толкали сани и уже на ходу запрыгивали на нее, точнее на нас. Сани набирали скорость, по пути – мчались мы три квартала – на нас еще прыгали пацаны с обочины дороги – и вот эта гора тел с криками, свистом, улюлюканьем мчалась вниз. А внизу пересекает улица. Сани мчатся навстречу огромному окну аптеки, вот-вот влетят, разнесут и стекло, и стоящую в кадке пальму. Но... сани тупо ударялись о высокий бордюр тротуара, опрокидывая и раскидывая орущих ребят в снег. Потом вся ватага вставала, отряхивалась и натужно толкала сани наверх, на исходную позицию – это три квартала, торопливо усаживалась и снова мчалась вниз. А впереди, словно извозчик, в треухе и тулупе восседал Серый.

Как-то повелось, но как, почему – уже забыто, Сергея стали звать Серым, Бурхана – Борькой, а его, Саламата – Саликом. Живут на свете уже шесть десятков лет, а клички пацанские остались. И не обижаются ведь. Иногда, нет, не иногда, а даже часто, помогают вспомнить минувшее.

Долго ждать не пришлось. Сперва подъехала «Волга», из которой вылез крупный мужчина, за ней две автоплатформы с бульдозерами.

– Серый, ты куда это собрался, – удивился Салик, пожимая его большую тучную руку.

Тот довольно засмеялся:

– Иначе ты ждал бы до полуночи.

Работа шла споро. Бульдозеры весело, даже залихватски, свалили забор, с нескрываемым удовольствием прошлись по нему и сбросили в котлован. Затем затолкали гору земли, которую не успели вывезти невидимые или несостоявшиеся хозяева, и принялись утрамбовывать.

– Серый, у тебя в бюджете лишней мелочишки не найдется? – спросил Салик.

– В бюджете лишнего не бывает – засмеялся Серый. – В нем дыр сколько угодно. Да ладно, я тебя понял: заплачу ребятам за работу. А ты отправляйся уж домой. Поздно. Идти-то в другой конец города. Возьми мою машину, мы еще тут малость поработаем, следы этих пакостников сотрем.

– Я пешком. Хочу проветриться. Позвони Борьке, сообщи, что завтра в одиннадцать часов у нас заседание коллегии. Он должен быть. Должен. Понял? Ну и ты, само собой разумеется.

Салик пошел по улице детства в обратном направлении. Споро. И уже не испытывая ностальгии. До дома было километра четыре. Вышел на широкую, освещенную многоцветьем реклам улицу. По ней, как и совсем недавно, мчались машины, число их ничуть не убавилось, а заметно увеличилось: город давно уже негласно получил статус торгово-развлекательного, и развлекалось, конечно, имущее население по ночам в ресторанах, клубах, барах, банкетных залах.

Дойдя до перекрестка, он свернул направо и вышел на старейшую улицу, которая красиво, грамотно, именно архитектурно грамотно обновлялась. В самом начале этой улицы, у лесопарка был его дом. В этом доме он получил квартиру еще при другой власти, при советской. Четырехкомнатную. Общей площадью в семьдесят квадратных метров. В семье было семь человек. В ту пору такие квартиры считались элитными и их владельцев-чиновников склоняли на рынках, на улицах, в общественных местах, да и там, где собирались несколько человек. Эта тема для обсуждения, осмеяния и осуждения была первой. Сегодня, а вернее сказать – лет тридцать этот дом уже никого ничем не интересует. Всюду – на пустырях, во дворах, между одноэтажками выросли высотные – в шестнадцать этажей. Площадью в двести, сто пятьдесят квадратных метров... Пятиэтажка, в которой он жил свой статус давным-давно потеряла.

Запел соловьем сотовый телефон. Он достал его из кармана. Борька. Отключил и положил обратно.

Телефон не переставал звонить.

«Вот братишка Борька. Родился в общем шумном дворе, вырос в саманном одноэтажном домике, как и все в ту пору. Вода – во дворе. Туалет – во дворе. Кухни с керосинками – во дворе. Сегодня живет в трехэтажном доме, с мансардой, опоясанном красивым забором из горного камня. Стоимость только забора выше стоимости моей квартиры...»

Салик был уже почти у дома. Со стороны лесопарка веяло прохладой.

«Да я не против. Я не завидую. Живи и радуйся. Но...»

Телефон опять залился соловьем.

Он задумался, собираясь с мыслями. А их было много. Они накатывали, как маленькие упорные волны в тихую погоду, и не давали сосредоточиться на одной. Главной.

«Но... – он опять сделал паузу. – Как говорил древний мудрец, время идти и время остановиться.

Время разбрасывать камни и время собирать камни... Если я не ошибаюсь, так мудрствовал царь Соломон».

Соловьиные трели не прекращались. Они не давали ему сосредоточиться на мысли.

Салик вытащил из кармана телефон, нагнулся, аккуратно положил его на керамическую плитку тротуара, поднял правую ногу и сильно ударил твердым каблуком кожаного ботинка по жизнерадостному соловью.

Раздался неприятный хруст.

Носком ботинка он расшвырял в разные стороны осколки раздавленного мобильника и направился к своему подъезду.

Бенефис Майкла Астарханова

Майкл Астарханов, девяностолетний актер, отдавший сцене семьдесят лет, вы только представьте себе разумом и сердцем – семь десятков лет – уютно сидел в большом кресле и весь был погружен в мысли. В мысли, которые никогда еще так остро, так настойчиво, так больно не тревожили его душу. «Ну как, ну как я это сыграю, если не знаю, не имею никакого представления, что там, как там, за порогом, по ту сторону жизни? Черт дернул меня согласиться сыграть роль... Тьфу...»

– Ну и что? – спокойно сказал Он, произнеся каждое слово раздельно.

– Ну и что, – точно также передразнил его Майкл. – Тебе-то что? Ты-то в стороне... И вообще, ты-то кто такой?

– Ха-ха-ха, – захохотал Он, – вот этого не ожидал от тебя. Ну, старик, боюсь, что уже сдаешь свои позиции. Я же – ты, твой двойник, твое Эго, твой внутренний бог...

– Довольно, довольно, довольно, – заволновался Майкл, – опять черт-те что. Кажется, умом слабею.

– Не прибедняйся, ум у тебя крепок, крепче, чем у иных. Иначе молодой драматург лично для тебя не

написал бы пьесу. Гордиться должен. Лично для тебя. На твое девяностолетие.

– Да его пьеса – черт знает что! – воскликнул Майкл. – Я иду, вступаю в другую жизнь, ты можешь представить себе, в другую. Но я представления не имею, какова она, другая жизнь, – удрученно закончил он.

– Прекрасно понимаю, что не знаешь, и вряд ли кто ее знает. Помоги молодому драматургу поэкспериментировать с его продуктом, осуществить его новацию, как сегодня модно стало говорить.

– Тьфу ты, дуралей, – в сердцах заключил Майкл. – Пойми, я не суеверный. Ничуть.

– Это я прекрасно знаю.

– Не верую ни в Бога, ни в райские кущи, ни в кисельные берега...

– И это прекрасно знаю.

– Не знаю, что там, Бог ты мой. Я больше верю в инопланетную жизнь, чем в ту, над которой ломает голову драматург, да и я тоже. Бог ты мой, как она тяжела у меня сейчас, перед началом спектакля. Перед самым началом. Меня ожидает провал. Полный провал...

– Ты стал упоминать Бога? – спросил низкий, бархатный голос. – Ведь ты человек неверующий... И вдруг столько раз упомянул Бога.

– Мы это слово часто употребляем, как... ну как приставку или... для пущего убеждения, – Майкл вдруг осекся. – А ты-то кто будешь? Или что? Я тебя не звал и, кажется, не нуждаюсь в тебе.

Послышался мягкий бархатный смех:

– Но ты беседовал со своим Богом, внутренним Богом...

– Ну и что? – отрезал Майкл. – Он мой. Яснее скажу: он – это я. В определенных ситуациях мы раздваиваемся, спорим, ищем истину, консенсус. Без него трудно было бы, мир стал многолик, люди – многоликими, а я вот – живу, цел и невредим. И спектакль играю. В девяносто лет. Бенефис, – раздельно произнес Майкл.

– Знаю, – сказал Голос.

– Так кто же ты? Откройся. Или что? – спросил Майкл.

– Бог твоего маленького Бога, – смеясь, сказал Голос.

– Бог моего маленького Бога? – удивился Майкл. – Но ведь мой маленький Бог – это я. Я, понимаешь?

– Понимаю, значит, твой Бог.

– Не издевайся надо мной, инородец, – устало проговорил Майкл. – Прости, что я называю тебя так невежливо, но ты невидим... Я утомлен, очень устал, работая над этой пьесой новоявленного драматурга. Я не чувствую спектакля. Ну какого черта...

– Без скверны, – сказал Голос.

– Я вступаю в иную жизнь. Но я о ней представления не имею. Доподлинно знаю, что материя тленна. Труп, мышечную ткань съедают могильные черви, кости спустя десятилетия превращаются чуть ли не в пергамент. Их часто можно увидеть на заброшенных и забытых кладбищах. Что остается? Душа? Ученые многих стран этот факт подтвердили. Но ведь она, душа – информационно-энергетический блок, невидимый глазу, уходит в атмосферу. Сегодня модно стало говорить – реинкарнация. Слышишь меня? Реинкарнация... Красиво звучит. Покрыто таинственностью. Ну ладно, допустим, существует процесс реинкарнации. Но мой образ, или облик, моя плоть не возвращаются! Они стерты природой. Мне, уже не существующему, легче, если моя энергия и мои знания, заключенные в воспарившей так называемой душе, обогатят новорожденного человека? Но меня же нет. Я – пустота. Фу-у-у, – Майкл выдохся от своего монолога, провел ладонью по лбу и затих.

Воцарилась тишина. Долгая. Глухая.

– Ты крепкий атеист, – сказал Голос.

– Из чего ты узнал? – спросил Майкл.

– Я все знаю.

– Не ведаю, кто ты или что ты, но если ты все знаешь, скажи мне, кто был первее, как выражаются дети, да, да, первее, Бог или человек? В Библии чита-

ем, что Бог создал свет, землю, воду, а затем человека. А мой великий драматург пишет, что человек создал Бога. Изобрел. Я должен жить в другом мире, ином, которого никто не знает. Но я актер. Я должен знать предмет, который играю. Прости, оговорился, – в котором должен жить. Настоящий актер живет в роли. Если я говорю о вишне или сливе, или абрикосе, я должен, должен видеть их цветение и обонять их запах. Я должен их съесть, чтобы познать их вкус. Иначе... Я запутал и себя, и тебя... – Майкл замолчал.

Послышался тихий, добрый смех. Так обычно смеется умудренный жизнью человек над лепетом несмышленого малыша.

– Я тебе, кажется, сказал, что я все знаю. И что твое имя Малик. Имя это тебе дали отец и мать. Но в юности друзья стали называть тебя Майклом. И тебе это имя понравилось, ты поменял имя, данное родителями. Но это не грех. Был бы грех, если бы ты поменял фамилию. Ведь она – символ рода. А если проще – пуповина.

А теперь подумай и скажи, что первичней – яйцо или курица?

Голос умолк.

– Ну, об этой шараде люди судачат много веков, – задумчиво произнес Майкл.

– А не судачат ли они о другой шараде – Бог создал человека или человек создал Бога?

– Право, сложно устроен мир, – вздохнул Майкл.

– Вот тут ты попал в точку – мир очень сложная и в то же время хрупкая конструкция. А человек в нем временный путешественник и искатель. И не обойтись ему без поводыря. Или проводника. Время его ограничено.

– Ну откуда тебе все это знать? Почему ты так самоуверен?

– Я же тебе уже сказал, что я все знаю.

– Все, все?

– Да, все, все.

– А вот и нет. Иногда и ты можешь чего-то не знать или ошибаться. Само слово «атеист» мне претит. Я его не люблю.

– Майкл, ты много знаешь, желание больше знать у тебя не иссякает? – спросил Голос.

– Я пришел к такому знаменателю: Бог – это ахиллесова пята человека, или человечества.

– Интересная формула, – сказал Голос. – Ты раскрываешься передо мной в новой ипостаси.

– В древней Персии, в тринадцатом веке, жил и нес в народ слово божье первый имам Персии Шамсетдин Тебризи, кстати, он был учителем поэта Джалаладдина Руми. И вдруг, во время проповеди, он вдруг произносит (какая муха его укусила?): «О вы, кто ищет Бога. Нет нужды искать его. Бог – это вы». А шел ему уже седьмой десяток. Шариатский суд приговорил его к смертной казни.

– Ну и каков твой вердикт, друг мой?

– В душе у каждого человека должен жить Бог. Свой Бог. Это, я убежден, добро, милосердие, веротерпимость, совесть, честь. И любовь. Всепоглощающая любовь, отвергающая злобу, зависть, жадность, скаредность, ложь, чинопочитание, лизоблюдство, воровство, убийство, прелюбодеяние...

– Достаточно, Майкл, ты человек глубоко верующий... – произнес мягко бархатистый Голос, но Майкл прервал его:

– Извини меня, нет, нет, я не верующий...

Но тут прервал его Голос:

– Знаю, что ты хочешь сказать. Я все знаю. Да, ты не веруешь в Бога в том понимании, в каком воспринимают иные, ты считаешь, что исходит от природы, она – колыбель жизни...

– Безусловно. Она – исходное начало. Она дает жизнь, она ее выпрямляет или искривляет, она ее забирает.

– Считай, что твой Бог – природа, – заключил Голос.

– Я так и считаю. Так и говорю. Но многие насмехаются, называют чудаком и как только не судачат за спиной. А я считаю так, точнее, убедил себя в

том: верю в то, что вижу, что ощущаю, чувствую, обоняю, все остальное – досужий вымысел, сказки, болтовня, чушь... Там рай, говорят, кущи небесные, реки медовые. А ты был там, ты, кто это говорит, ты видел кущи, ты ел мед? И каким образом вернулся? Ведь тело твое истлело в земле.

Майкл умолк.

Молчал и Голос.

– Человек родился свободным. Дайте ему свободу мыслить! Не дают. Дайте ему без страха выговориться! Не дают. Тех, кто хочет чем-то помочь свободомыслящим, устраняют. Кто потворствует? Бог?

– Не богохульствуй, Майкл, – тихо, но строго сказал Голос.

– Прости, но я не богохульствую. Привести примеры?

– Не надо. Я их знаю. Людей надо лечить, потому что дьявол посеял на земле много пороков. Лечить любовью и кнутом.

– Вот кнута-то и не надо.

– И кнутом. Ибо иные не ведают, что творят.

– Знакомые слова. И очень верные. «Не ведают, что творят». Христос лечил любовью...

– Да, ты верно говоришь, Майкл, он пришел на землю, чтобы лечить любовью, – тихо проговорил низкий бархатистый Голос. – И принял грехи людские на себя...

– Ему не было дозволено пользоваться кнутом? – сказал Майкл. – Только ему? А ведь в руках у Господа и любовь, и кнут. Я вас люблю, но страшитесь гнева моего, – громовым голосом вдруг произнес Майкл, и снова перешел на свой баритон. – Потому и появились ад, чистилище, рай... Данте удостоился описать их, не побывав там... Забавно.

– Ему позволили, – сказал Голос.

– Тут и козе понятно.

Голос засмеялся.

– Иначе откуда он смог срисовать ужасающие полотна? Такая бредовая фантазия кого только не остудит, даже с ума может свести.

– А талант-то какой... Воображение богатое, безудержно богатое... – сказал Голос.

– И все из пустоты.

– Как ты сказал? – удивился Голос.

– Все взято из пустоты. Ведь мы существуем в пустоте. Мне буддийский монах как-то за ужином, который состоял из домашнего хлеба, сыра и родниковой воды, спокойно и просто сказал: «Все пусто и везде пусто. Это закон вселенной. И на месте Земли было пусто. Миллиарды лет назад вспыхнула Звезда – наше Солнце – и была слеплена Земля из космической пыли. Через следующие миллиарды Солнце погаснет, на месте Солнца будет пусто, и от Земли ничего не останется. И мы – сама пустота. Мы появляемся на свет из пустоты и уходим в пустоту».

– Что ты так разгорячился, Майкл? – тихо засмеялся Голос. Так сильно, так рьяно убеждаешь себя в существовании пустоты. Ты же сам некогда пребывал в ней.

– Я? В пустоте? – удивился Майкл.

– Да. Ты.

– Из чего ты узнал?

– Я тебе уже говорил, что я все знаю.

– Как Бог?

– Но ты же не веришь в существование Бога.

– В таком случае, каким образом?..

– А ты вспомни. Напряги свою память. Это было лет пятнадцать назад... – Голос замолк. Потом тихо, настойчиво велел:

– Вспомни.

Перед глазами Майкла поплыли лоскуты перистого тумана. Память его напряглась. И вдруг... он вспомнил. Вспомнил, как его засосало в ослепительно искрящуюся трубу, потом труба превратилась в длинный, бесконечный тоннель, пылавший золотым солнечным светом, и неясная сила стремительно уносила его. Но что удивительно, он не испытывал ни страха, ни боли, и был совершенно бесчувственным к тому, что с ним происходило. Мыслей не было. Мозг не работал (все это он позже понял).

Полет в стремительной струе длился недолго. Внезапно его выбросило из тоннеля. Он встал на твердь. Она была бела. Все вокруг было бело. Не снежного цвета, нет – он холодит, остужает. Цвета теплого парного молока.

Вокруг было пусто. Куда ни глянь – пусто. Он один в белой пустоте.

Он присел на белую твердь и вдруг почудилось, что у ног плещется вода. Вгляделся – да, узкая полоса воды. Еще больше напряг зрение – ему почудилось, что перед ним простерлось море, но простор этот был белый, цвета теплого молока, и был пуст. Он принялся оглядываться по сторонам и где-то вдалеке-вдалеке заметил высокие узкие дома, устремленные вверх. Белые дома в пустоте.

И тут услышал Голос. Низкий, бархатный:

– Ты почему здесь? Тебе еще рано.

...Когда он открыл глаза, у изголовья сидел хирург и внимательно вглядывался ему в лицо.

– Очнулся, наконец, – произнес он. – Долго не хотел просыпаться. Сны хорошие видел?

Позже ему рассказала медицинская сестра, как его всю ночь выводили из комы.

– Ты слышишь меня? – сказал Голос. – И что, по твоему разумению, это значит?

Майкл замешкался.

Голос засмеялся. Тихо. Доверчиво. Добро.

– Пустота, говоришь? А ведь там зарождается все: миры, звезды, планеты. Зарождаются, гаснут, рассыпаются. И вы, люди. И твари земные. Мысли ваши. Дела. Пустота... – Голос замолчал, он о чем-то думал, над чем-то размышлял. – Как тебе объяснить... Пустота – как чрево материнское. Дальше сам вразумляй себя. Ты великолепный актер. И достойный человек. И прекрасно знаешь, что ты, человек – отдельный мир. Особый мир. Микромир. Сердце твое – солнце, генератор энергии. Ты, вернее твой мир, должен приносить другому, такому же, радость, добрые деяния... А потом – пустота. И вновь – зарождение нового мира.

– Лама для меня открыл мир проще, а может и глубже, чем мудрый царь Соломон, – произнес Майкл. – «Суета сует. Все суета... И это пройдет». А лама? Обычный человек, бурят, не кичащийся своим образом жизни, просто и спокойно утверждающий, что вокруг все пусто, и мы приходим из пустоты и уходим в пустоту, и пока живем на Земле, надо любить и саму Землю, и людей, и зверей, и все, что на ней живет и произрастает.

Майкл умолк, чуть передохнул и продолжил:

– А Данте решил накинуть петлю на шею человека своим воображением. Он, человек, и без того существо закабаленное природой, а тут еще показана кара за грехи и пороки... а воображение какое, его богатой палитре позавидовать можно.

Майкл входил в роль актера.

– Так могут и Бога нарисовать. Кто угодно. И дьявола. Запрета нет. Запрет должен быть в душе. Вот здесь, – Майкл ударил рукой по груди. – Твое сердце – твой Бог. Людям дать волю – они такое нагородят. Ведь люди – актеры. Великие и никудышные. Добрые и алчные. Красивые и злые. Одним словом, актеры. Но одно качество в них мне нравится. Их безалаберность. Наверное, это слово я хотел сказать? Да. Так вот, один из этих людей, классик английской литературы, долго думая и размышляя о бренности человеческого мира, записал: «Любя себя, человек создал Бога по своему образу и подобию. Он обнаружил, что слаб – и придумал идеального гения, чьей мощи он мог бы вверить себя и сказать: «Господь – на небесах и с миром, стало быть – все в порядке». Забавно. Не правда ли? Тебя не утомляют мои сентенции? Тебя не смешит, не удивляет, не смущает, что люди – марионетки?

– Да, люди – актеры, подтверждаю.

– И это говоришь ты? – удивился Майкл.

– А почему нет? Почему ты считаешь, что я не знаю этого и не должен знать?.. Люди – актеры, а мир, вселенная – огромный театр, – сказал Голос.

– Ну, это уже не твои слова. Их сказал в свое время великий Уильям Шекспир.

– Великий Шекспир сказал то, что было говорено задолго до него. А высказало его внутреннее существо, как ты изволил себе выразиться – Эго, его Бог, – Голос еле слышно засмеялся.

– Данте так описал ад, чистилище, рай... С чего он скопировал? Кто ему позволил? – проговорил Майкл, словно размышляя сам с собой. – Он опустился в такие глубины... Как он мог решиться? И почему не покарали силы небесные?

– Сила воображения. Огромная, непоколебимая сила воображения и мучительные поиски истины. Вот ты сейчас тоже мучаешь, терзаешь себя, пытаешься познать непознаваемое. Не все, сын мой, познается. Но... – Голос сделал паузу, – что-то позволяется познать. Особо страждущим. Особо настырным. Кому сильно развитое воображение становится пыткой, – Голос умолк.

– Ну и... – проговорил Майкл, – я весь – внимание.

Голос мягко засмеялся:

– Ты уже давно весь – внимание. Ну и вот, что я хочу тебе сказать: ты знаешь человека, который видел непорочную деву Марию? О ней когда-нибудь упоминали книжники или писатели? Ее увидели благодаря гению Микеланджело, Рафаэля... Но и они ее не могли видеть – разрыв во времени между ней и ими был огромен. Да и была ли она вообще, такая женщина? Сила нечеловеческого воображения, нечеловеческого желания создала образ. И все дальнейшие поколения верят, убеждены, что она была такой, какою изображена на полотнах Рафаэля, высечена в мраморе Микеланджело. Все поколения верят, что изображенный на полотне художником Ивановым человек, явившийся у озера, – это Христос. Вот что такое сила воображения.

– Больного воображения, – проговорил Майкл.

– А может быть, и больного. Но гениального, – заключил Голос.

– Но для этого еще что-то требуется, – сказал Майкл. – Сила воображения? Да, я согласен. Но для создания из мифа образа человека, которого никто не видел и которого, может быть, вообще и не было, нужно еще что-то. Сильное. Неколебимое.

– Ты прав, – сказал Голос.

– И что же?

– Твой дух.

– Что?

– Твое Эго. Твой Бог, как ты его называешь, – засмеялся Голос. – Без него ничего не осуществится. Почему люди верят изображенным на полотнах и высеченным в мраморе образам? Потому что в них поверили их Боги. Души.

– У меня в голове, в черепной коробке все напряглось, – устало сказал Майкл. – Все смешалось. А выступать надо. И что я скажу зрителям? А их сотни человек. Они хотят узнать от меня, что я вижу в другом свете, каков он. Драматург написал его для меня. А я его не вижу. Я должен жить в написанном для меня мире. А я его, повторяю, не вижу. Он для меня пуст... – усмехнулся Майкл. – Видишь ли, я давно уже стою на пороге пустоты.

– Ты так и не усвоил мои слова, – усмехнулся Голос, – или просто не хочешь усвоить. – Он сделал паузу, затем продолжил. – Сила воображения. Огромного воображения. Ну-ка встань, да, да, вылезай из кресла.

Майкл неуверенно встал, удивленный его велением. Голос силой поднял его с места.

– А теперь иди. Спокойно иди.

Майкл медленно пошел по подмосткам сцены и остановился у края оркестровой ямы.

– Иди, – велел Голос.

– Но здесь яма, я грохнусь вниз, – сказа Майкл.

– Ну и что? А где же твое неистребимое воображение? Представь, что перед тобой подмостки, не яма, а опять подмостки сцены, и ты идешь по ним. Вспомни, как Христос пошел по воде и ученики его были поражены таким явлением.

– Но то был Христос... – протянул Майкл.

– А ты разве не человек? К чему тогда было сказано так много слов? Чем произносить тысячи пустых слов, лучше попытаться совершить один шаг к подвигу. Иди. Боишься? Посоветуйся со своим Богом, с тем, кто у тебя в груди. И вот что, Майкл, да ты и сам это ясно сознаешь: кто верует в Бога – пусть верует в Бога, кто верует в природу – пусть верует в природу, кто верует в Заповеди – пусть верует в Заповеди...

Без веры жить нельзя, ибо без нее человек будет пребывать в вечном страхе, невежестве, безволии и бессилии...

И помни, Майкл, помни слова: «Бог – ахиллесова пята человека»...

Не я сказал – ты.

– Иди, – тихо произнес кто-то в груди, – вообрази, что идешь по сцене. И иди.

И Майкл пошел.

Пошел над бездной.

Пошел над оркестровой ямой будто по доскам, не ощущая не только ни страха, но даже опасения. Потом вернулся и сел в кресло.

Зрительный зал окутал белый свет. Даже не белый, а молочный. Он плыл мягко, окутывая ряды кресел, балконы, плафоны, люстры. Вскоре весь зал предстал перед Майклом в молочном тумане. И в этом молочном тумане поплыла тень большой ладони.

– Послушай, где ты? – сказал Майкл. – Я себя плохо чувствую. Будто не в своей тарелке.

– В своей, в своей, – засмеялся тихо Голос. – Просто предстал в другой, новой ипостаси. Мне пора уходить.

– Но подожди, – воскликнул Майкл, – ты же мне не помог ничем. Что мне им рассказать? Тысяча людей сидит в ожидании моих слов, моего открытия, а я не знаю, как сыграть свою роль, эту дурацкую роль, подожди, не уходи, – Майкл рванулся вперед, пошел над оркестровой ямой, не осознавая, что делает – по-

шел над рядами кресел, но тень руки еще раз махнула ему и Голос сказал:

– А ты не играй по пьесе драматурга. Ты играй по нашей пьесе. Расскажи о нашей беседе. И успеха тебе. Ты великолепный актер. Живи долго.

Майкл устало смежил веки. До начала спектакля оставалось совсем немного времени, и он попытался собраться с мыслями, как гнетущую тишину нарушил низкий бархатный Голос:

– Майкл, пусто. Все пусто. И в этой пустоте создается и исчезает, рождается и умирает все, все, все, что вы видите и слышите. Пустота – не мертвый организм, не мертвая субстанция. Она живая. Ты это давно сам осознал, еще раз успеха тебе.

– Это ты говоришь со мной или мой внутренний Бог? – улыбнулся Майкл.

– Ну, хочешь, считай, что твой.

* * *

Час спустя Майкл Астарханов, великолепный актер, которому в этот вечер исполнялось девяносто лет, читал, вернее, говорил свой монолог. Несколько сотен зрителей, затаив дыхание, слушали его. В первом ряду сидел автор пьесы, опустив низко голову, зажав ее обеими руками, раскачивался. За кулисами метался режиссер, словно ужаленный гремучей змеей.

А он спокойно и свободно говорил со зрителями. Обнажая душу. Обращаясь к разуму людей. А они пожирали необычное слово актера, впитывая в себя, чтобы потом дать ему оценку.

Наконец, голос Майкла умолк.

Наступила тишина. Настораживающая. Непредсказуемая.

Люстры и плафоны не светились.

Над рядами кресел, над головами зрителей плыл туман, он был теплого молочного цвета.

Занавес не опускался.

Партер и балконы молчали в ожидании дальнейшего откровения актера, осмысливая его игру. Его философию.

Наконец, в последних рядах партера поднялись несколько зрителей. Послышались жидкие, опасливые хлопки. Постепенно они становились гуще, громче. И вдруг на Майкла обрушился шквал аплодисментов.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

Монолог на площади Согласия 3
Сны Скорпиона, или не умирай, пока живешь.... 235

НЕВЫДУМАННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ

НОВЕЛЛЫ

Нажать на курок не так трудно 426
Деньги рушат сильнее бульдозера 435
Бенефис Майкла Астарханова 446

Феликс Михайлович Бахшиев

СНЫ СКОРПИОНА,
ИЛИ НЕ УМИРАЙ, ПОКА ЖИВЕШЬ

Редактор *В. Полюля*
Художник *Р. Темирова*
Художественный редактор *М. Левченко*
Технический редактор *В. Гаджиева*

Лицензия ИД 05334 от 10.07.2001 г.

Подписано в печать 20.12.2016.
Формат 84x108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «SchoolBookC». Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 24,4. Уч.-изд. л. 22,8. Тираж 300.
Заказ № 372. Цена свободная.

ГАУ РД «Дагестанское книжное издательство»
Министерства печати и информации РД
367000, Махачкала, ул. Пушкина, 6

Отпечатано в ООО «Издательство Лотос».
367000, РД, г. Махачкала, пр-кт Петра, I, 61.